

АНДРЕЙ САХАРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ [2]

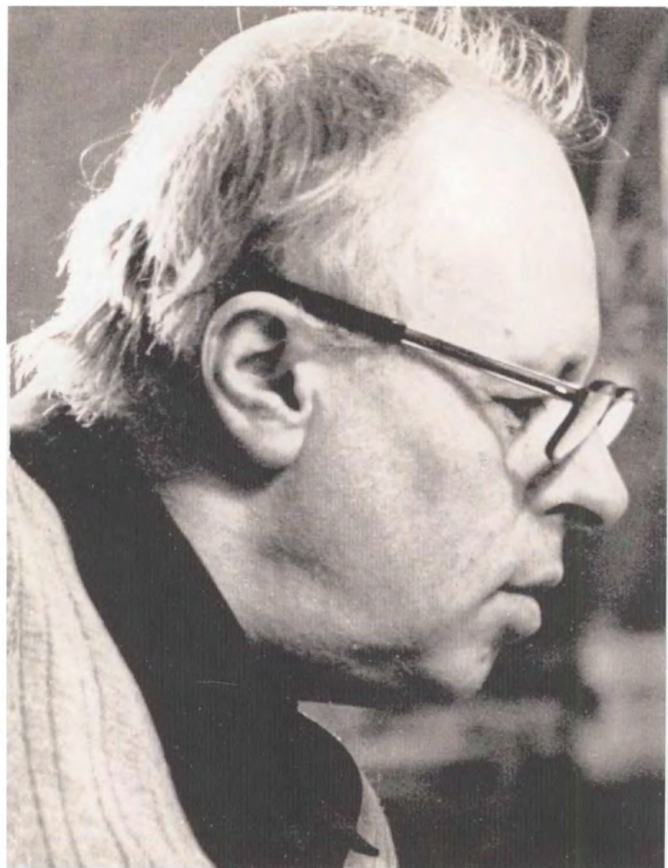
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



АНДРЕЙ САХАРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ [2]

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ





АНДРЕЙ САХАРОВ

собрание сочинений

составитель
елена боннэр

АНДРЕЙ САХАРОВ

В ОСПОМИНАНИЯ [2]

МОСКВА
2006



ББК 63.3(2)

С22



**Издательство выражает благодарность
Анатолию Борисовичу Чубайсу
за поддержку в издании собрания сочинений**

на фронтисписе

Борис Биргер. *Андрей и Люся Сахаровы. 1974*

дизайн, оформление

Валерий Калныньш

Андрей Сахаров

С22 Воспоминания. Т. 2. — М.: Время, 2006. — 832 с.; илл. — (Собрание сочинений)

В первое собрание сочинений академика Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–1989) входят сборник статей, писем, выступлений и интервью «Тревога и надежда» (в двух томах), «Воспоминания» (в трех томах), а также впервые публикующийся роман-документ «Дневники» Андрея Сахарова и Елены Боннэр (в трех томах).

В настоящем томе публикуются воспоминания А. Д. Сахарова о его совместной с Е. Г. Боннэр общественной правозащитной деятельности с начала 70-х годов, об обстоятельствах ссылки в Горький, драматичной истории жизни в изоляции под неусыпным надзором.

ISBN 5-94117-162-5 (общий)
ISBN 5-94117-164-1 (т. 2)



© А. Д. Сахаров, наследники, 2006

© Е. Г. Боннэр, составление, 2006

© Е. С. Холмогорова, Ю. А. Шиханович,
комментарии, 2006

© «Время», 2006

АНДРЕЙ САХАРОВ
ТРЕВОГА И НАДЕЖДА

(СТАТЬИ, ПИСЬМА, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ИНТЕРВЬЮ)

ТОМ 1

ТОМ 2

ВОСПОМИНАНИЯ

ТОМ 1

ТОМ 2

ТОМ 3

АНДРЕЙ САХАРОВ, ЕЛЕНА БОННЭР
ДНЕВНИКИ

ТОМ 1

ТОМ 2

ТОМ 3

[2]

ГЛАВА 26

Люся — моя жена

В июле 1971 года я снял комнату недалеко от Сухуми. Две недели мы жили около моря — с дочерью Любой и сыном Димой. Своего пса Малыша (помесь таксы со спаниелем) мы на это время подбросили по Люсиному предложению к ней на дачу, которую она снимала в Переделкине и где жили в это время ее мама Руфь Григорьевна и сын Алеша. Отвозя Малыша, я впервые увидел Руфь Григорьевну и Алешу, а также близких друзей семьи — Ольгу Густавовну Суок, жену умершего в 1960 году известного писателя Ю. К. Олеси, и Игнатия Игнатьевича Ивича, писателя и литературоведа. Они были очень интересными людьми.

В один из дней нашего пребывания на юге к нам заехали по пути совершаемой ими поездки Таня, дочь Люси, и ее муж Ефрем Янкелевич. Таню я уже знал по эпизоду с зеленой папкой, а мужа ее видел впервые (они поженились менее года назад). Ефрем поразил меня при первой же встрече. Он сказал мне (Таня и моя дочь Люба в это время куда-то отошли), что весной кончает Институт связи, большинство распределений — в «ящики». (Условное название для секретных

учреждений: «Почтовый ящик номер такой-то».) Но он не хочет работать на военные цели, надеется попасть в аспирантуру, а если не удастся — будет добиваться какого угодно гражданского распределения. Весной он уже был зятем Сахарова, а евреем — от рождения («подсахаренный» Янкелевич, как сказала одна наша родственница), и аспирантура ему «улыбнулась». Руководитель аспирантуры сказал:

— Вы понимаете... (многоточие).

Уже при этой первой встрече проявились особенности моего будущего зятя — принципиальность, не знающая отклонений, внутренняя честность и ясность понимания ситуации. А также — доверие ко мне, с первого взгляда. Я пользуюсь случаем сказать, что это — взаимно.

Из Сухуми я приехал с флюсом. Люся позвонила:

— Что у вас?

— Флюс.

— Ну, от этого не умирают.

Но приехала со шприцем для обезболивающего укола. Я рассказал этот эпизод, потому что он как-то характеризует ее нелюбовь к сентиментальности и готовность прийти на помощь.

Август я проводил уже в Москве. Накопились какие-то дела. Тогда же я несколько дней провел на процессе Т., а потом делал его запись. В это время Люся с Алешей совершили поездку по тем же местам, где

только что был я (это, быть может, тоже было какой-то формой заочного общения). Я дал Люсе адрес нашей дачной хозяйки, рассчитывая, что, быть может, это облегчит ей с Алешей поиски жилья. Когда Люся ее нашла, та долго не могла понять, на кого Люся ссылается, а потом воскликнула:

— А, тихий такой старичок!

Весь этот год мы с Люсей становились все ближе друг к другу, мучились от невысказанности наших чувств. Наконец 24 августа мы сказали друг другу о них. Начиналась жизнь, каждый год которой, как мы говорим между собой, надо засчитывать за три. На другой день Люся повезла меня к своей маме Руфи Григорьевне Боннэр, вместе с которой она жила. С ними жили также дети Люси — старшая Таня с мужем Ефремом и младший Алеша, перешедший в 9-й класс. С отцом детей Иваном Васильевичем Семеновым Люся разошлась за несколько лет до описываемых событий. Он — ее однокурсник по медицинскому институту, сейчас — заведующий кафедрой судебной медицины в том же институте. Дети в те дни были в Ленинграде, где живет их отец. Руфь Григорьевна лежала больная. Я раньше один раз видел ее, но в этот день ощущал ее уже как близкого мне человека. Мы с Люсей прошли на кухню, и она поставила пластинку с концертом Альбини. Великая музыка, глубокое внутреннее потрясение, которое я переживал, — все это слилось вместе,

и я заплакал. Может, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни.

После августа 1971 года наши с Люсей жизненные пути слились, дальше о них можно рассказывать вместе. Но до встречи со мной у Люси и у ее мамы Руфи Григорьевны уже был за плечами большой и сложный жизненный путь, и кое-что из того, что мне стало известно из их слов и от других, я должен здесь привести.

В особенности много я узнал от Регины Этингер, Люсиной подруги с детства, ставшей моим другом. Я не пишу, конечно, всего, что мне известно о Люсиной жизни в прошлом, — это вовсе не полная ее биография или характеристика. Мне кажется, однако, важным более подробно рассказать об общественной, социальной стороне ее личности и о тех обстоятельствах, которые формировали ее в этом отношении, поскольку без этого трудно вести дальнейшее изложение нашей уже совместной жизни.

Руфь Григорьевна Боннэр родилась в 1900 году в семье сибирских евреев, жизненный стиль которых сильно отличался от традиционного представления о евреях, живших в Европейской части России, в особенности в черте оседлости, характеризуясь большей уверенностью в себе, обостренным чувством собственного достоинства и жизнестойкостью. Ее мать Татьяна Матвеевна Боннэр рано овдовела, оставшись без всяких средств с тремя маленькими детьми, стала работать и сумела дать

своим детям образование. Она одна из тех, кто оказал большое влияние на формирование Люсиного характера. Руфь Григорьевна — еще совсем юная — участвовала в гражданской войне на Дальнем Востоке, училась в КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока), затем работала в Средней Азии, в Ленинграде, в Москве на партийной работе. У нее было двое детей. Моя будущая жена — старшая, родилась в 1923 году. Ее брат Игорь моложе на четыре с половиной года.

Муж Руфи Григорьевны — Геворк Алиханов — родился в 1897 году в Тбилиси; с ранних лет участник революционной борьбы. Окончил семинарию в Тбилиси вместе с Анастасом Микояном, вместе с ним был в дашнаках (армянская националистическая партия), вместе стали большевиками. Знал Камо, Берию — последнему, за какое-то хамство с девушкой, в 1916 году дал пощечину. Активный участник Бакинской коммуны и установления советской власти в Армении в 1920 году. Провозгласил советскую власть с балкона в Ереване перед собравшейся толпой и частями Красной Армии и тогда же послал вошедшую в историю телеграмму об установлении Советской власти «Вождям мирового пролетариата — Ленину, Троцкому, Зиновьеву». Первый секретарь ЦК КП(б) Армении. При восстании дашнаков отошел с частями Красной Армии на Семеновский перевал, несколько месяцев держал там оборону в необычно холодную зиму. С тех пор и в течение всей жизни

был дружен с Агаси Ханджяном (убитый Берией в 1936 году секретарь ЦК КП Армении). Работал вместе с Кировым. В последний период жизни был членом исполкома Коминтерна, заведующим отделом кадров Коминтерна. В то время Генеральным секретарем Коминтерна был Георгий Димитров, работали Эрколи-Тольятти, Вальтер-Тито¹, Ибаррури и многие другие известные деятели мирового коммунистического и рабочего движения.

29 мая 1937 года Геворк Алиханов был арестован в его рабочем кабинете в исполкоме Коминтерна². Вместе с ним были арестованы большинство его сотрудников (многие из них погибли). Из немногих оставшихся на свободе — Борис Пономарев (в то время в подобных случаях это служило почти точным доказательством сотрудничества с НКВД). Пономарева Алиханов взял на работу незадолго до этого по ходатайству жены. Руфь Григорьевна пожалела нуждающегося и не бойкого на вид парня, которого никто не хотел брать к себе. Дальнейшая карьера Пономарева хорошо известна.

Немногие уцелевшие после лагерей товарищи по работе и сотрудники Алиханова практически ничего не могли рассказать ни о драматических, покрытых тайной событиях истории Коминтерна в 30-х годах, ни об обстоятельствах следствия и гибели Алиханова. В Люсиной книге³ приведена фотокопия свидетельства о смерти, выданного при реабилитации и выписанного

задним числом. Там нет указания о месте смерти; указанные дата смерти (11.XI.1939) и причина (пневмония) вызывают сомнение⁴.

(Добавление, апрель 1988 г. В 1987 году к нам в дом пришел Игорь Пятницкий, сын известного революционера, в двадцатые — тридцатые годы работника Коминтерна и ЦК КПСС И. А. Пятницкого (Иосиф Аронович Таршис). Еще ранее нам была известна изданная в США Чалидзе книга «Дневник жены большевика», в которой были собраны материалы о судьбе его отца и матери. Пятницкий в 1937 году выступил на пленуме ЦК против резолюции о физическом уничтожении Бухарина и предоставлении чрезвычайных полномочий Ежову, был арестован и погиб. В книге, в частности, содержится запись разговора Игоря Пятницкого с заместителем Главного военного прокурора Тереховым, возможно проливающая свет на обстоятельства гибели Геворка Алиханова. Вот отрывок из этой записи:

«О Ланфанге А. И. Он вел дела почти всех работников Коминтерна, применяя зверские методы. Убил на допросе т. А. Ежов еще до июньского пленума ЦК приблизил к себе этого бандита, его руками создал видимость троцкистской организации в Коминтерне».

Единственным работником Коминтерна, фамилия которого начинается на букву А, был Алиханов. Руфь

Григорьевна на полях книги, рядом с записью беседы с Тереховым написала: Алиханов. Это было незадолго до ее смерти.

Добавление, июнь 1988 г. На днях Игорь Пятницкий передал нам запись рассказа бывшего коминтерновца А. Г. Крымова от 2. VI. 1988 в ИМЛ. Из записи следует, что в действительности Ланфангом был убит Анвельт, бывший Председатель Правительства Советской Эстонии (умер на допросе от инфаркта?). Его фамилия также на букву А. Я счел нужным тем не менее оставить и предыдущую запись.)

Через полгода после ареста мужа арестована и Руфь Григорьевна. Она не признала обвинений, предъявленных мужу, что привело бы, как обещал ей следователь, к более мягкому приговору, и была осуждена как ЧСИР (член семьи изменника Родины). Такое противозаконное обвинение было обычным в те годы. 8 лет она находилась в каторжном лагере в Казахстане, в тяжелейших условиях, затем — годы ссылки и полного бесправия.

Из ее лагерных воспоминаний. На рассвете женщин построили на утреннюю проверку. Нестерпимо холодно, пронизывающий ветер, женщины еле стоят на ногах от усталости, недоедания. Первые лучи восходящего багрового солнца. Р. Г. говорит своей соседке:

- Смотри, как красиво!
- Ты с ума сошла!

В 1954 году реабилитирована, восстановлена в КПСС, получила двухкомнатную квартиру в Москве (ту самую, в которую я пришел как муж ее дочери и жил вплоть до высылки). Живя с дочерью и с внуками, затем с правнуками, она неизменно деятельно заботлива и общительна, стоически перенося тяжелую и мучительную хроническую болезнь с тяжкими обострениями.

В 30-е годы, вплоть до ареста, родители Люси жили в Москве, в «коминтерновском» доме, где жили многие деятели Коминтерна.

Мать Руфи Григорьевны, Татьяна Матвеевна Боннэр, и старший брат с женой и дочерью жили в Ленинграде. К ним после ареста родителей приехали Люся и Игорь. Вскоре был арестован (и погиб в лагере⁵) Матвей Григорьевич Боннэр. Возможно, именно приезд детей послужил толчком к этому. За арестом последовала высылка его жены. На руках у Татьяны Матвеевны осталось трое детей. Люсе было 14 лет, Игорю 10, Наташе два года.

Люся кончала школу (ученье давалось ей легко), работала уборщицей в домоуправлении, стирала белье и одновременно занималась бегом, гимнастикой, волейболом (в школе была хорошо поставлена физкультура), а также танцами. Очень важными для нее были и занятия в Доме литературного воспитания школьников — ДЛВШ, основанном Маршаком. Жизнь продолжалась.

Люся оказалась из тех, кого страшные испытания делают сильнее, более жизнестойким.

Через два года после ареста Руфь Григорьевна, по изуверскому приговору лишённая права переписки, увидела в лагере у другой заключённой групповую фотографию девочек-волейболисток. Одна из них была её дочь Люська. В 1938 году раз в месяц Люся ездила в Москву и, выстаивая длинную очередь, передавала передачи на А — отцу и на Б — матери — пока их принимали. Когда Люсе и Игорю пришло время получать паспорта, она приняла фамилию матери, а брат — отца. Люся одновременно выбрала себе и имя Елена — как у Елены Инсаровой Тургенева⁶. Романтический выбор этот оказался возможным, так как родители вовремя не зарегистрировали детей, и в 1937 году Люся и Игорь оказались без метрик. Как дочь «врагов народа» Люсю исключили из комсомола, но она добилась восстановления. Во время летних каникул 1938 и 1939 годов работала архивариусом на заводе полиграфических машин, после окончания школы работала старшей пионервожатой и одновременно год училась на вечернем отделении филологического факультета, там окончила курсы медсестер запаса.

В первые дни войны Люся пошла в военкомат и вскоре уже ехала к фронту. Тогда же добился отправки на фронт друг её детства и юности Всеволод Багрицкий, сын поэта Эдуарда Багрицкого и тоже молодой поэт. Мать Всеволода Лидия Густавовна Багрицкая,

как и Люси́на ма́ма, в это время находилась в лагере. В феврале 1942 года Всеволод погиб.

Кратко расскажу о ее жизни военных и послевоенных лет. В 1941 году Люся была санинструктором — выносила раненых. Большую часть войны медсестра, старшая медсестра на военно-санитарных поездах (сначала ВВСП — временный военно-санитарный поезд, потом, после контузии и госпиталя, ВСП — то же самое, без эпитета «временный», соответственно вагоны, а не теплушки; и тот, и другой всегда переполнены сверх меры, всегда тяжелый изнурительный труд — уход за ранеными, стирка бинтов, рубка дров, всегда на каждой станции надо воевать с начальством, чтобы раненые были погружены, иногда — вблизи линии фронта — бомбежки). В 1945 году Люся — на разминировании в Карелии.

В октябре 1941 года — тяжелая контузия и ранение. Ее засыпало землей на железнодорожных путях, и только случайно группа моряков ее обнаруживает, несколько дней она лежит ослепшая, оглохшая и лишившаяся речи; вероятно, именно последствия этой контузии потом привели ее к инвалидности.

Люсю контузило на станции Валя. Недавно в автобиографической повести Виктора Конецкого я вновь встретил это название. Тоже описана жестокая бомбежка — глазами десятилетнего мальчика. В этой же повести Конецкий вспоминает стихи Сергея Орлова

«Станция Валя», некоторые их строчки трогают душу. Но, может быть, это разные станции под одним названием, бывает и такое.

Потом еще ранение. Недавно, собирая повсюду компрометирующий материал на мою жену, работники КГБ несколько часов допрашивали начальника санпоезда, в котором служила Люся. (Ему сейчас значительно больше восьмидесяти лет.) А он не мог сказать о ней ничего нужного: «Мы все ее очень любили».

Незадолго до конца войны — новая попытка исключить ее из комсомола, так как она отдала кусок мыла и хлеб немцу-военнопленному; она удачно отругивается на собрании. Кончает войну лейтенантом медицинской службы, демобилизуется по инвалидности (инвалид Отечественной войны II группы по зрению), диагноз — травматические катаракты и увеит (потом добавилось многое другое). Сразу после демобилизации Люся съездила к маме в Казахстан, в лагерь; несколько дней они — вместе. Возвратилась в Ленинград, началась новая — штатская — жизнь, поначалу это очень трудно. Она рассказывала, как вышла в Ленинграде на Московском вокзале и села прямо на площади, положив рядом вещевой мешок, не зная, куда идти, что делать.

В первое послевоенное время у Люси жили многие подруги и друзья — у нее, как у находившейся в армии, сохранилась комната. Люся помогала многим ссыльным

и политзаключенным; в это время от Елизаветы Драбкиной она получила прозвище — «Всехняя Люся» (посылки должны были быть от родственников, и Люся называлась дочерью всех тех, кому что-то посылала; отсюда — Всехняя; о Драбкиной я рассказываю дальше).

В 1945 году врачи предсказывали Люсе полную слепоту через несколько лет, и она изучила азбуку Брайля. Весь год лежала по глазным клиникам, подвергалась мучительному лечению. Ей запретили поднимать тяжести более 2 кг, иметь детей, учиться в вузе, работать. Но ей удалось — с большим скандалом, преодолев сопротивление медицинской комиссии — поступить в медицинский институт.

В январе 1953 года на страну обрушивается дело «врачей-убийц». Повсюду проводятся собрания, на которых трудящиеся требуют смертной казни для арестованных. Среди них — профессор Люсиного института Василий Васильевич Закусов. Люсе, профсоюзной и комсомольской активистке, поручили выступить на общем собрании. Вместо ожидавшихся от нее слов она (может, неожиданно для самой себя) сказала:

— Ребята! Вы что, с ума посходили — смертную казнь В. В.?

Ее исключили из института. Но вскоре Сталин умер. Приказ об исключении был аннулирован.

В 1950 году Люся нарушила запреты врачей — у нее родилась дочь Таня, в 1956 году — сын Алеша. После

окончания института Люся работала участковым врачом, врачом-микрopedиатром в родильном доме (с недоношенными детьми). Работала на две ставки. (Оклады медиков в СССР — постыдно, невероятно малы.) Я уверен, что Люся была прекрасным врачом — самоотверженным, старательным и умным.

В 1959 году Люсю направили в заграничную командировку на год в Ирак на кампанию оспопрививания. (Сейчас, когда ВОЗ объявила об искоренении оспы, Люся с гордостью вспоминает о своем участии в этом деле.) Этот первый выезд за рубеж — так же, как раньше арест родителей, поставивший ее перед дилеммой: погибнуть или стать человеком, как война с ее общей, общенародной бедой и общей борьбой, как мединститут и работа врачом — еще один этап формирования личности. Она увидела то, что остается неведомым большинству советских граждан, — что советская система вовсе не есть единственно возможная, а в чем-то даже совсем не лучшая. Она свободно общалась с арабами — более свободно, чем это обычно допускается для советских граждан. Среди ее новых друзей и знакомых — иракские коммунисты (многие из них потом погибли при очередном перевороте), промышленники, просто врачи. Но также среди них — премьер Касем. Люся случайно первой оказала ему помощь после покушения; пожалуй не совсем случайно, потому что, пока она накладывала повязку, кто-то из больницы позво-

нил в советское консульство и на вопрос — оказывать ли помощь Касему — получил бесподобный ответ:

— Да, если есть уверенность, что он будет жив.

Люся работала несколько месяцев в Сулеймании — центре провинции, населенной курдами. Была знакома с лидером курдов Барзани. Как Люся рассказывала, иногда по вечерам, когда она гуляла по городу, он посылал за ней мальчишек, которые еще на бегу кричали: «Доктора, Барзани зовет пиво пить». Большую часть получаемых денег (что оставалось после того, как значительную часть забирало себе государство) Люся тратила на поездки — увидела Вавилон и другие исторические памятники, на один-два дня выезжала в Ливан, была в Египте, слышала выступление Насера, который, воздев к небу руки, призывал гибель на головы евреев и коммунистов. По возвращении из Ирака Люся написала репортаж об этой стране, опубликованный ленинградским журналом «Нева» — хотя редакция кое-что, более острое, опустила, все равно ее рассказ «хорошо смотрится».

В середине 60-х годов Люся разошлась с мужем и переехала из Ленинграда с детьми в Москву к маме. Люся стала работать преподавателем детских болезней и заведующей практикой в медучилище. Зарплата была немного больше, очень существенно, что близко от дома и большой отпуск (в это время болел Алеша), и ей нравилось иметь дело с молодежью. Скоро Люся организо-

вала в медучилище группу самодеятельности, приобретающая девушек из подмосковных поселков, часто из самых неблагополучных семей, к поэзии и музыке.

К этому времени относятся ее выступления в газете «Медицинский работник» на медико-социальные темы, в их числе получившая огромное число откликов статья «Дайте пропуск маме» — о том, что мама должна быть около ребенка в больнице.

В 1966 году Люсю командировали в Армению, чтобы она написала к 50-летию Октября очерк о своем отце (кажется, инициатива командировки исходила от ЦК КП Армении; Люсин журналистский дебют об Ираке, а может, также газетные выступления, видимо, сыграли в выборе именно ее какую-то роль; ей были предоставлены большие возможности для работы и определенные, почти «номенклатурные» удобства). Несколько месяцев подряд Люся рылась в архивах, в том числе в архивах ЧК. Гражданская война и революция предстали перед ней не в условно-романтическом ореоле (всадники, мчащиеся на киноэкране с обнаженными шашками под развевающимся, пробитым пулями знаменем), а во всей их безмерной жестокости, грязи, вероломстве и страданиях (но была и романтика). Она не смогла писать об отце, не поняв до конца, не пережив внутренне всего того, что ей открылось. Одно время она хотела писать о друге отца, герое гражданской войны на Кавказе Калганове, но потом оставила и эту

мысль. Возвратилась в Москву. Вскоре она вступила в партию.

Люся — активный человек, ей хочется исправлять жизнь, «исправлять советскую власть». Ну а исправлять советскую власть легче всего, конечно, изнутри — со стороны ее сердца, партии, будучи ее членом. Собственно, Люся давно занималась исправлением советской власти, и ее вступление в партию было не более чем запоздалое оформление этого. Запоздалое — потому что время было уже другое, когда в партию уже вступали, в основном, ради карьеры и привилегий, и потому что она сама уже была другой.

В 1967 году Люся поехала в свою новую зарубежную поездку — на этот раз в гости в Польшу. Там жили друзья, бывшие сотрудницы отца (тоже, как Руфь Григорьевна, прошедшие через тюрьмы и лагеря, многое пережившие и понявшие). По сравнению с СССР уже и Польша была почти западной страной — с большим чувством человеческого и национального достоинства. И не мирящейся с тем, с чем мириться нельзя. Сегодня мы видим дальнейшее развитие этих особенностей — но еще не последнее слово. В 1968 году Люся поехала уже в самую настоящую западную страну — во Францию, где жили многие родственники Руфи Григорьевны, заброшенные туда судьбой, кто до, а кто после революции. Она впервые встретилась с ними и их друзьями — с коммунисткой-аристократкой в рваных

джинсах и со сверкающей спортивной машиной; с другим коммунистом, членом ЦК, который «боится» поехать в страну реального (развитого) социализма, чтобы не разочароваться; с рабочими, инженерами, агрономом, врачами, педагогами — ставшими французами и полюбившими эту страну, но с пристальным вниманием и болью всматривающимися в свою далекую прежнюю родину. Люся приехала во Францию вскоре после майских событий, еще не были смыты со стен экстравагантные лозунги, но уже все внимание — Чехословакия, что там сделает СССР? И вот — 21 августа. *Ваши танки в Праге*, — с упреком сказал ей дядя. Племянник (11 лет) не поздоровался:

— Я не подаю руки советскому солдату.

На экранах телевизоров — непрерывные передачи о чешских событиях. Оттуда (с Запада) советская акция (прикрытая Варшавским пактом) выглядела особенно страшной и саморазоблачительной. Уже казался неактуальным вопрос, возможен или невозможен социализм с человеческим лицом в принципе, — ясно, что в своей империи и на ее окраинах СССР не допустит, не может допустить даже тени чего-нибудь подобного. И вот Люся вернулась в СССР. Она опять вела занятия в медучилище, руководила самодеятельностью, волновалась за судьбу своих девушек и юношей. Но к партбилету в кармане она была уже безразлична.

И наконец, 1970 год. У Люси дома — Эдуард Кузнецов.

— Эдик, ты что-нибудь скрываешь от меня?

— Не спрашивай, я не могу тебе ничего сказать и мне очень не хочется тебя обманывать.

Она не настаивала (потом горько жалела). О дальнейших событиях «самолетного дела» я уже рассказывал.

С 24 августа 1971 года мы с Люсей — вместе.

Осенью 1971 года Люся повезла меня в Ленинград к ее близким друзьям Регине Этингер, Наташе Гессе и Зое Задунайской. Это был наш первый совместный выезд из Москвы. Дружба с этими людьми была очень важна для Люси, и она должна была ввести меня в этот круг. Так оно и получилось — это стало еще одним моим внутренним приобретением благодаря Люсе. Регина (Инка, как зовет ее Люся) была ее школьной подругой в Ленинграде. Их дружба была очень глубокой, каждый из них был очень нужен другому на всех крутых поворотах судьбы — целых 43 года, вплоть до смерти Регины осенью 1980 года. Они хорошо понимали и знали друг друга; Люся говорила: Регина знает обо мне больше, чем я сама (это распространялось и на фактические обстоятельства жизни, которые Люся иногда забывает, и на внутренние — Регина, с ее тонким душевным проникновением, чуткостью и аналитическим умом, видела, как говорится, на сажень в земле). В середине 60-х

годов Регина тяжело заболела — у нее обострился порок сердца, она стала полупостельной больной, прикованной к дому, по существу полным инвалидом. Эта болезнь привела ее к смерти через 17 лет, но, благодаря собственному удивительному мужеству и стойкости и преданной непрерывной и самоотверженной помощи друзей, Регина прожила эти годы содержательно и в каком-то смысле красиво. Были у нее в это время новые занятия, увлечения, а самое главное — она была очень нужна своим друзьям. Регина, Наташа и Зоя жили втроем (а теперь только двое из них) в одной квартире на Пушкинской (мы их между собой называем «пушкинцами»)⁷. Они — не родственники, но далеко не каждая семья может создать такую атмосферу дома. Все трое — пенсионерки с ограниченными доходами. Их дом стал центром притяжения для многих людей разных возрастов — благодаря удивительному духу какого-то внутреннего благородства, интеллигентности, товарищества, внимательности к каждому. Каждая из трех хозяек вносила что-то свое, необходимое в этот дух. Старшая из них — Зоя Моисеевна Задунайская; вероятно, она внесла больше всего доброты, мягкости, терпимости, деятельного повседневного труда; она долго работала под началом известного детского писателя Самуила Маршака, была одна из «маршаковен». Вместе с Наташей они составляли и в последние годы сборники сказок. О Наталье Викторовне Гессе я уже писал —

это она была в Калуге на процессе Пименова—Вайля. Решительная, деятельная, умная, с живым интересом к людям, событиям, идеям, Наташа стала достойной и необходимой третьей вершиной Пушкинского треугольника. Таковы были Люсины главные друзья, ставшие и моими... Теперь этот дом сильно опустел без Регины...

В октябре 1971 года мы с Люсей приняли решение пожениться. У Люси были серьезные сомнения. Она боялась, что официальная регистрация нашего брака поставит под удар ее детей. Но я настоял на своем. Относительно ее сомнений я полагал, что сохранение состояния неоформленного брака еще опасней. Кто из нас был прав — сказать трудно, «контрольного эксперимента» в таких вещах не бывает. Удары по Тане, а потом по Алеше — последовали...

Официальная регистрация в ЗАГСе состоялась 7 января 1972 года. За два дня до этого был суд над Буковским. Я должен сначала рассказать о некоторых событиях конца 1971 года и начала 1972 года, в которых для меня тесно переплелись общественное и личное...

ГЛАВА 27

Поэты. Беседа с Туполевым. Дело Лупыноса. Суд над Буковским. Поездки в Киев. Новые аресты. Диссиденты

Люся, в отличие от меня, еще в детстве и юности была близка к писательскому миру. Я писал о Всеволоде Багрицком, сыгравшем большую роль в ее жизни. В 60-е годы у нее возобновились отношения с поэтами и писателями. Осенью 1971 года она привела меня к Булату Окуджаве. Это была не первая моя встреча с ним, но первая настоящая. Формально же первая была за три года до этого, в Тбилиси, во время Гравитационной конференции. Он пришел тогда вместе с женой ко мне в номер в гостинице, но разговора не получилось, да и вообще я, наверное, произвел на них «странное» впечатление. В этот самый день Володя Чавчанидзе, в прошлом аспирант в ФИАНе, а в 1968 году — видная фигура в научном мире в Грузии, директор Института кибернетики, вместе со своим сотрудником Марком Перельманом пригласил меня в ресторан и там напоил — это почти единственный случай в моей жизни. Творчество Окуджавы, его песни, которые он поет в сопровождении гитары, очень близки, дороги мне (так же, как большинству моих свер-

стников еще раньше, но ведь я был сильно оторван от общего мира). Я вижу в песнях Окуджавы что-то глубинное от времени, от меня самого (и осуществившееся, и неосуществившееся, только заложенное во мне). Такое же чувство было у Люси еще с начала 60-х годов (и она сильно способствовала моему прозрению). 21 мая 1971 года, когда мы с ней еще были на «вы», она сделала мне царский подарок — машинописный сборник песен Окуджавы, в самодельном зеленом переплете, с вложенной от нее запиской. Там были все основные произведения Окуджавы, написанные к тому времени, — от таинственно-пронзительной «Ели» до углубленного в раздумья «Моцарта». Я немного волновался, идя к поэту, образ которого окружен для меня неким романтическим ореолом. Но все обошлось. Возник даже некий душевный контакт — конечно, благодаря Люсе. Булат был нездоров, полулежал в постели, но он явно обрадовался нашему приходу, Люсе. Встреча эта запомнилась. К сожалению, такая теплая встреча оказалась последней. Жизнь развернула нас в разные стороны. Через два года, встретившись случайно с Люсей, на ее вопрос, как он живет, Булат сказал (зло, по словам Люси):

— Хорошо живу. Денег много. Вот машину купить собираемся.

Незадолго до моей высылки нам удалось пойти на авторский концерт Окуджавы. Он с большим блеском исполнял свои вещи (старые и некоторые новые).

В те же осенние дни Люся повезла меня к Давиду Самойлову — прекрасному поэту, быть может лучшему сейчас поэту классического звучания, прямому наследнику поэзии XIX века. Самойлов жил за городом, в большом доме деревенского типа. Они с женой радушно приняли нас — тут отношение ко мне было явно отражением их отношения к Люсе. Самойлов прочитал свои новые стихи, осведомившись сперва, могу ли я долго слушать чтение. Он прекрасный чтец, голос его в домашней обстановке звучал, по-моему, даже лучше, выразительней, чем на эстраде. Читал он тогда и не свои стихи. Мог ли я представить себе что-либо подобное еще за полгода до этого?

В ближайшие месяцы я впервые увидел и многих других поэтов и писателей. Среди них был Владимир Максимов, ставший потом нашим с Люсей большим и верным другом. Это человек бескомпромиссной внутренней честности, напряженной мысли, прошедший трудный жизненный и идейный путь. Сейчас он в эмиграции, издатель прекрасного (при множестве недостатков, срывов, крайностей и ляпсусов) зарубежного литературно-публицистического журнала «Континент», жизненно важного для всех нас. В ту первую нашу встречу Максимов был очень расстроен, может и не чем-либо конкретным. Запомнились его слова:

— Эту страну надо уносить с собой на подошвах сапог.

В декабре 1971 года был исключен из Союза писателей Александр Галич, и вскоре мы с Люсей пришли к не-

му домой; для меня это было началом большой и глубокой дружбы, а для Люси — восстановление старой, ведь она знала его еще во время участия Севы Багрицкого в работе над пьесой «Город на заре»; правда, Саша был тогда сильно «старшим». В домашней обстановке в Галиче открывались какие-то «дополнительные», скрытые от постороннего взгляда черты его личности — он становился гораздо мягче, проще, в какие-то моменты казался даже растерянным, несчастным. Но все время его не покидала свойственная ему благородная эlegantность. Галич жил вдвоем с женой, Ангелиной Николаевной. В доме — довольно много антикварных вещей; недавно, когда он был преуспевающим киносценаристом («На семи ветрах», «Верные друзья» и др.), он умел со вкусом распорядиться своими гонорарами; сейчас же ему было (пока) что продать, чтобы купить жизненно необходимое. На стене висел прекрасный карандашный портрет Ангелины Николаевны (я не знаю, кто был художник, — в эту женщину можно было влюбиться) и рядом стоял бюст Павла I. Я несколько подивился такому выбору, но Галич сказал:

— Вы знаете, история несправедлива к Павлу I, у него были некоторые очень хорошие планы.

(Недавно мы с Люсей читали интересную книгу Эйдельмана об эпохе Павла I, в чем-то подкрепившую для нас мысль Галича о некоторой несправедливости традиционных оценок этого человека.)

Еще один эпизод из этой встречи запомнился — может, и не очень значительный, но хочется рассказать. Я стал говорить о «Моцарте» Окуджавы — я очень люблю эту песню. Но Галич вдруг сказал:

— Конечно, это замечательная песня, но вы знаете, я считаю необходимой абсолютную точность в деталях, в жесте. Нельзя прижимать ладони ко лбу, играя на скрипке.

Я мог бы сказать в защиту Окуджавы, что старенькая скрипка — это метафора и что все воспринимают Моцарта не как скрипача, а как композитора. Но в чем-то, с точки зрения профессиональной строгости, Галич был прав, и мне это было интересно для понимания его собственного творчества — скрупулезно-точного во всем, филигранного. А «Моцарта» и другие песни Окуджавы я люблю от этого не меньше. Потом мы еще много раз бывали у него; после отъезда Галича за границу нам очень не хватало возможности заехать иногда в эту ставшую такой близкой квартиру у метро «Аэропорт». Бывал он и у нас, чаще всего — на семейных праздниках, всегда охотно и помногу пел свои песни, без которых нельзя себе представить наше время. Помню, как однажды он на секунду замешкался, не зная, с чего начать, и Юра Шиханович (голосом, который у него становится в таких случаях несколько скрипучим) попросил спеть «По рисунку палешанина... (кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в бе-

лой бурке на коне...)». Саша тронул струны гитары и запел:

...едут трое, сам в середочке, два жандарма по бокам.

Его удивительный голос заполнил маленькую комнату Руфи Григорьевны, где мы все сидели. Сместились временные рамки, смешались судьбы людей, такие различные и такие похожие в своей трагичности (Александра Пушкина, Александра Грибоедова, Александра Полежаева и Александра Галича). Вскоре был арестован Юра Шиханович. Александр Галич летом 1974 года эмигрировал, а еще через три года — его не стало. «Столетие — пустяк».

Незадолго до отъезда Галич был у нас на дне рождения Люси. Он спел, в числе прочих, посвященную ей ностальгическую песенку о телефонах. Спел он в тот раз и свои, звучащие как завещание «А бойтесь единственно только того, кто скажет: “Я знаю, как надо!”», «Не зови — Я и так приду!», «Когда я вернусь...».

Последний раз я слышал голос Саши в «нобелевскую ночь» в октябре 1975 года. Сквозь помехи и ночные трески международных телефонных линий прорвался его теплый, низкий голос:

— Андрей, дорогой, мы все тут безмерно счастливы, собрались у Володи (Максимова), пьем за твое и Люсино здоровье. Это огромное счастье для всех нас...

Когда Люся вышла в 1975 году из поезда на парижском вокзале, первый, кого она увидела, был Галич, элегантный, с красными розами в руках. В 1977 году Галич приехал в Италию, где находились Люся (на операции для лечения глаз) и Таня и Рема с детьми, незадолго перед этим вынужденные эмигрировать. С Люсиных слов я знаю о трогательном эпизоде, произошедшем с Галичем и моим четырехлетним внуком Мотей. Саша звал ужинать в какой-то близлежащий ресторанчик. Мотя почему-то не хотел идти и заявил:

— Я не пойду, ты не тот Галич.

(Он уже знал о Галиче-певце, его песни уже существовали для него, но отдельно от Галича-знакового.)

— Как не тот?

И Галич порывисто и легко встал на одно колено, положив на другое гитару, и запел:

— Снова даль предо мной неоглядная...

Мотя несколько минут внимательно молча слушал, потом сказал:

— Дидя Адя тоже хорошо поет.

Это было признание Галича (после этого Мотя сунул свою руку в его и готов был идти куда угодно) и одновременно — высочайший комплимент для меня. А через несколько недель Галич погиб. Та версия, которую приняла на основе следствия парижская полиция и с которой поэтому мы должны считаться, сводится к следующему:

Галич купил (в Италии, где они дешевле) телевизор-комбайн и, привезя в Париж, торопился его опробовать. Случилось так, что они с женой вместе вышли на улицу, она пошла по каким-то своим делам, а он вернулся без нее в пустую якобы квартиру и, еще не раздевшись, вставил почему-то антенну не в антенное гнездо, а в отверстие в задней стенке, коснувшись ею цепей высокого напряжения. Он тут же упал, упершись ногами в батарею, замкнув таким образом цепь. Когда пришла Ангелина Николаевна, он был уже мертв. Несчастный случай по неосторожности потерпевшего... И все же у меня нет стопроцентной уверенности, что это несчастный случай, а не убийство. За одиннадцать с половиной месяцев до его смерти мать Саши получила по почте на Новый год странное письмо. Взволновавшись, она пришла к нам. В конверт был вложен листок из календаря, на котором было на машинке напечатано (с маленькой буквы в одну строчку): «принято решение убить вашего сына Александра». Мы, как сумели, успокоили мать, сказав, в частности, что когда действительно убивают, то не делают таких предупреждений. Но на самом деле в хитроумной практике КГБ бывает и такое (я вспомнил тут анекдот о еврее, едущем в Житомир, который рассказывал Хрущев). Так что вполне возможно, что телевизор был использован для маскировки — «по вдохновению», или это был один из тех вариантных планов, которые всегда готовит про запас КГБ.

Вернусь к событиям 1971 года. Приближался суд над Буковским. (Власти не решились — или не захотели — пустить его по психиатрическому пути, как мы опасались.) Я решил обратиться к знаменитому авиаконструктору академику Андрею Николаевичу Туполеву с предложением вместе со мной поехать на суд. Я считал, что если два известных академика встанут на путь открытого сопротивления незаконным репрессиям против честных людей, защитников прав человека, других людей — то это может иметь решающее значение не только в конкретном деле Буковского (которое меня волновало), но и для всей обстановки в стране. Если два, а не один, то почему не большинство? Я и сейчас думаю, что согласие Туполева на мое предложение было бы огромным событием.

Дело Буковского, уже пользовавшегося большой известностью не только в СССР, но и за рубежом, выступавшего без всякой личной, обращенной на себя окраски, а явно за других, — было очень подходящим. Почему я из всех академиков обратился именно к Туполеву? Во-первых, в силу его огромного авторитета, особого положения в государстве — оно было много выше, чем у меня, и приближалось к положению таких людей, как Курчатov. Во-вторых, я знал, что Туполев сам был репрессирован в 1939 или в 1940 году, перенес тяжелые изнурительные допросы (несколько суток стоял перед следователем — отеки ног уже не прошли до конца его

жизни); знал я и то, что Туполев возглавлял «шарашку», держал себя с большим достоинством, требовал хороших условий для всех работавших там заключенных специалистов (среди которых был С. П. Королев, вытребованный им с Колымы, с «общих работ», известный физик-теоретик Ю. Б. Румер и многие другие, спасенные им, может быть, от смерти). Я, правда, знал и другое — что А. Н. Туполев все послевоенные годы был фактически главой фирмы, имел очень тесные связи с партийно-бюрократическим аппаратом и, в частности, с «оборонными» отделами, т. к. значительная часть деятельности фирмы была направлена на военные цели (Мясищев, который вместе со мной получал Ленинскую премию, был его заместителем; с другим заместителем, Архангельским, я встречался еще в 1955 году на испытаниях). Знал я также об исключительной осторожности Туполева в высказываниях — мне об этом рассказывал Игорь Евгеньевич, знавший его в 40-е годы. Так или иначе, я решил рискнуть — игра стоила свеч.

Числа 20 декабря я приехал к Туполеву на его загородную дачу на академической машине. Я как академик имел право вызывать машину для служебных и — неофициально — личных надобностей с «конвейера» академического гаража и широко этим пользовался начиная с 1970 года. Но долго держать машину не рекомендовалось. В этот раз я несколько нарушил это

правило. Туполев, уже овдовевший к тому времени, жил один (вероятно, с какой-то обслугой, но я никого не видел, кроме привратника, открывшего мне калитку, когда я позвонил) в большом загородном доме, окруженном высоким сплошным забором. Мы разговаривали в кабинете, где на письменном столе стояла модель сверхзвукового лайнера ТУ-144, а у стен были расположены шкафы со справочной, журнальной и научной литературой и развешаны фотографии различных туполевских самолетов — в полете, на взлете, в сборочном цехе.

Я кратко и насколько сумел убедительно изложил цель своего приезда. Туполев слушал меня с напряженным вниманием и несколько минут молчал. Потом на лице его появилась язвительная усмешка, и он стал задавать мне быстрые вопросы, иногда сам же на них отвечая. Суть его речи сводилась к тому, что никакого Буковского он не знает и знать не желает, что из моих ответов он видит, что Буковский бездельник, а в жизни всего важнее работа. Он видит также, что в моих взглядах — абсолютный сумбур (это было сказано, когда я упомянул, что советские военные самолеты с арабскими летчиками бомбят колонны беженцев в Нигерии, осуществляя тем самым геноцид — я это говорил уже в конце разговора в смысле: пора подумать о душе). Ехать на суд он категорически отказался, мне же, по его мнению, необходимо обратиться к психиатру и подде-

читься. Он, однако, ни разу не сказал, что считает советский суд самым справедливым в мире — я мог бы ему тогда напомнить, что он сам был осужден за продажу «панской» Польше чертежей своего бомбардировщика за 1 млн. злотых (таково было официальное обвинение); просто все это теперь его не интересовало. Так эта моя попытка кончилась неудачей. Когда я уезжал, он язвительно заметил мне:

— Вы сидели на моих перчатках и помяли их.

Я не удержался от замечания, что смятые перчатки можно выгладить, смятую душу — значительно трудней.

За несколько лет до моего визита на каких-то академических похоронах ведавший похоронными делами человек рассказал, что Туполев ездил на Новодевичье (сильно привилегированное) кладбище и заранее заказал участок для себя и своей жены, тогда еще живой. Эта история мне вполне понравилась.

Через несколько дней после поездки к Туполеву мне сообщили, что в Киеве предстоит суд над украинским поэтом Лупыносом — ему угрожает психиатрическая тюрьма. Мы с Люсей поехали на аэродром; с помощью моей книжки Героя Соц. Труда удалось достать билеты, и вечером накануне назначенного дня суда мы были в Киеве. В гостинице нам дали койки на разных этажах, т. к. в наших паспортах еще не было отметки о браке (эта церемония еще предстояла), а нравственность в советских гостиницах охраняется весьма стро-

го. Стоявший позади нас мужчина, вероятно сопровождавший нас гебист, пытался протестовать — такому заслуженному человеку можно сделать исключение. У него, конечно, была своя цель — облегчить наблюдение, но он не хотел при нас открыться. Утром, когда мы с Люсей встретились на нейтральной почве, в гостиницу пришли украинцы — И. Светличный, которого я уже знал раньше, Л. Плющ и еще кто-то, и мы пошли на суд. По дороге Светличный рассказал нам суть дела. Лупынос уже был ранее осужден по обвинению в националистической пропаганде. В лагере он тяжело заболел, какое-то время мог передвигаться только на кресле-каталке, потом с костылями. Весной этого, 1971 года читал стихи у памятника Тарасу Шевченко (вместе с другими поэтами). В его стихотворении была фраза об украинском национальном флаге, который стал половой тряпкой. Кто-то донес об этом «националистическом и антисоветском» выступлении, и он был арестован. К нашему удивлению, всех пришедших свободно пустили в зал суда. Но заседание не открывалось. Наконец, вышел секретарь и объявил, что судья заболел (кто-то из наших, однако, видел его утром), — заседание переносится. Это, конечно, был результат нашего приезда. Через две недели суд состоялся совершенно неожиданно — почти никто, даже отец Лупыноса, которого мы видели на первом заседании, об этом не знал. Лупынос был направлен в специальную психи-

атрическую больницу, а именно — в Днепропетровскую, одну из самых страшных в этом ряду. С 1972 по 1975 год именно там находился Леонид Плющ, и он многое рассказал об этом заведении. *Лупынос находится там до сих пор* (сведения 1979 года) — таково его наказание за одну стихотворную строчку¹.

В начале 1972 года мы с Люсей выехали на мою дачу, подаренную мне по постановлению правительства в 1956 году. Я с Клавой не жил там во время моей работы на объекте, так как я практически все время находился вне Москвы, и мы не имели ни сил, ни умения ее освоить. Сейчас мы хотели пожить во время школьных каникул с моим сыном Димой (отношения с которым, как и с другими моими детьми, не складывались) и с Алешей, тоже школьником, на год старше Димы. Но через два дня на дачу приехал наш знакомый Алексей Тумерман. Он сообщил, что на 5 января назначен суд над Буковским. Мы тут же выехали в Москву.

Суд был в Люблине — там же, где суд над А. Красновым-Левитиным. Но на этот раз никакой кудрявый гебист не встречал меня. Нам всем преградила путь на второй этаж (где был суд) плотная шеренга «дружинников» с красными повязками, стоявших с наглым и самоуверенным видом, напоминая эсэсовцев из бесчисленных фильмов о войне (это, конечно, были гебисты). Всего внизу скопилось около 60 человек «наших». Я время от времени подходил к дружинникам, требуя вызвать коменданта

и провести наших представителей наверх, чтобы убедиться, действительно ли в зале нет мест (под этим предлогом нас не пускали). Гебисты же кричали мне:

— Советский ли вы человек, академик Сахаров?

Это уже было что-то новое. Позже мы узнали от родных Буковского некоторые подробности происшедшего в зале суда. Судья спросил одного из свидетелей, офицера-таможенника, бывшего в прошлом приятелем Буковского:

— Вы коммунист, пытались ли вы как-то переубедить обвиняемого, повлиять на него?

— Да, конечно.

— Что же вы ему сказали?

— Я сказал — стену лбом не прошибешь.

Буковский сказал в последнем слове:

— Я сожалею, что за 14 месяцев, которые я был на свободе, я успел сделать так мало. Но я горжусь тем, что я сделал.

Приговор — 7 лет заключения и 5 лет ссылки. Мы надеялись, что Буковского проведут по переходу и мы сможем его приветствовать. Но вдруг кто-то закричал: «Машина уже на улице!». Мы бросились туда — дружинники и милиция преградили нам путь. Люся резко оттолкнула одного из милиционеров, крикнув:

— Пусти, фашист!

Впоследствии Валерий Чалидзе, узнав об этом, упрекал ее за недостойное жены академика поведение,

а я — нет. Якир успел подбежать к машине, где был Володя, и крикнул:

— Володя, молодец!

Несколькими часами раньше он сказал с большой искренностью:

— 10, 20, 30 таких процессов! Я уже не выдерживаю! Сам я нового приговора уже не перенесу — это выше моих сил.

ГБ, конечно, все это «мотало на ус».

7 января в ЗАГСе нашего района состоялась церемония нашего бракосочетания. С нами почти никого не было, кроме свидетелей (Наташа Гессе и Андрей Твердохлебов), в последний момент, запыхавшись, прибежала Таня (Люсина дочь; я же по душевной слабости не сообщил своим детям о предстоящем бракосочетании — об этом я всегда вспоминаю с самоосуждением, подобное поведение никогда не облегчает жизни). ГБ прислало своих свидетелей — полдюжины мужчин в одинаковых, очень хорошо сшитых черных костюмах.

Мы обычно стараемся не думать о мотивах ГБ — у них настолько иная система ценностей и целей, что мы редко можем их понять, да и ни к чему. Но тут я рискнул высказать предположение, что так они выражали свое неудовольствие.

Вечером того же дня мы с Люсей вылетели в Киев, на этот раз чтобы встретиться с известным писателем Виктором Некрасовым (автором одной из лучших книг

о войне «В окопах Сталинграда») — мы узнали, что у него была переписка с главным психиатром СССР профессором Снежневским (автором сомнительной, по мнению некоторых, теории вялотекущей шизофрении — но тут я не могу иметь обоснованного мнения) по делу Буковского. Мы надеялись, что эти письма будут полезны для кампании в его защиту. Такое начало нашей официальной семейной жизни, быть может, символично. И дальше много лет подряд сотни общественных дел почти каждый день заставляли нас куда-то спешить, сидеть до 4 ночи за машинкой, с кем-то спорить до хрипоты. Но не это сделало нашу жизнь трудной, даже трагичной.

Некрасов встретил нас радушно, и мы сразу прониклись взаимной симпатией. Он поводил нас по горячо любимому им Киеву. В другую прогулку в тот же день Люся показала мне дом, где жили герои булгаковской «Белой гвардии» (и пьесы «Дни Турбиных»). Показала она и ту щель между домами, куда Николка Турбин прятал оружие. К сожалению, Некрасов не смог отдать нам писем Снежневского — переписка носила личный характер, и он не считал себя вправе сделать это. Кроме милых хозяина дома и его жены, мы в этот день познакомились с Семеном Глузманом, о котором я уже писал, — автором анонимной заочной психиатрической экспертизы П. Г. Григоренко. Вечером того же дня он провожал нас на поезд. Впечатление какой-то особен-

ной чистоты, готовности к добрым делам было у нас с Люсей общим. Он в это время еще работал психиатром городской «Скорой помощи», но тучи уже сгустились над его головой (мы тогда не могли этого подозревать). В мае Глузман был арестован и осужден на 7 лет лагерей и 3 года ссылки. В лагере он не мог не участвовать в общей суровой борьбе п/з за их права, за человеческое достоинство — голодовки, карцеры, другие репрессии следовали одна за другой. Глузман вместе с Буковским написал интересную статью, которую им удалось передать на волю, — «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». С мая 1979 года Семен Глузман — в ссылке в Тюменской области. Люся навестила его тогда (а после нее Лиза — невеста Алеши, чем не замедлила воспользоваться «Неделя»). Он сильно возмужал, стал более суровым, мужественно-строгим, решительным. Но что-то главное в нем осталось.

Еще в январе 1971 года (т. е. до нашего семейного объединения) Люсе как инвалиду войны удалось вступить в жилищно-строительный кооператив при горво-енкомате, удалось также с помощью друзей собрать деньги, немалые для ее бюджета (хотя кооператив был и «дешевый»). Строительство было окончено быстро (по нашим меркам), и в январе 1972 года Таня и Рема переезжали. Люся была очень озабочена жилищными делами еще в декабре 1970 года, а после моего переезда на улицу Чкалова в квартиру, полученную Руфью Гри-

горьевой при реабилитации, создалось очень трудное для всех членов семьи положение. Таня и Рема уступили нам с Люсей комнату, в которой они жили, и перебрались на диван в кухню, конечно только на ночь, днем они вообще оказались без места; в комнате же Руфи Григорьевны жил Алеша, тоже фактически лишенный своего угла (что осталось без изменения и после переезда Тани и Ремы). После их переезда Люся устроила в квартире ремонт («косметический» — в основном побелка и покраска). Для помощи в переезде и для ремонта она пригласила группу «наших» (т. е. «диссидентов»; это слово тогда еще только начало входить в обиход — вообще-то оно мне не нравится до сих пор, но я его употребляю для краткости). Ребята быстро все сделали. Это была не просто товарищеская помощь, а нечто «общественное». Работая то у одних знакомых, то у других, ребята собирали таким образом деньги для помощи детям политзаключенных.

Это было, как кажется сейчас, время не замутненных ничем личных и общественных взаимоотношений в «диссидентском» кругу. Конечно, в какой-то мере впечатление «незамутненности» есть результат перспективы, но, несомненно, что-то изменилось с тех пор. Большинство диссидентов работало тогда на государственной службе — их еще не выгнали, и это было единственным источником их существования; из своих небольших доходов они еще ухитрялись собирать деньги

для помощи другим — дополняя их заработками от работы в субботу и воскресенье. Чтобы иметь возможность без прогула присутствовать у дверей судов над друзьями, многие сдавали кровь — за это полагаются свободные дни, отгулы. Никому не приходило даже в голову делить своих друзей на «христиан», или «сионистов», или «правозащитников». Эти разделения наметились только потом (о причинах я кое-что пишу дальше). Никто из диссидентов не стал еще своего рода «профессионалом» (я не хочу никого упрекать сейчас — причиной появления «профессионализма» являются жесточайшие репрессии властей: увольнения с работы, бесправное положение вышедших из заключения, вынужденная эмиграция и многое другое). В общем — период тот воспринимается как нечто молодое, чистое, нравственное. У дверей одного из судов Татьяна Михайловна Великанова сказала мне:

— Они (т. е. КГБ, вообще власти) не могут не чувствовать нашей моральной силы.

(А спустя 8—9 лет, незадолго перед арестом, она же воскликнула:

— Почему раньше не было так противно! Откуда полезло столько мерзости!

Она сказала это под впечатлением какой-то конкретной некрасивой истории, но несомненно, что ее ощущения носили более общий характер. Все же мне не хотелось бы в 1982 году слишком осуждать участников

диссидентского движения. Очень многие находятся в заключении, подвергаются репрессиям. Людей нравственно чистых, умных и самоотверженных среди теperешних диссидентов не меньше — и среди ветеранов, и среди молодых. Просто сейчас в ряде отношений стало трудней! А что в семье не без урода, такое бывает всегда.)

К 1972 году уже ясно определились основные принципы и формы борьбы за права человека, определились и основные цели и направления. С 1968 года регулярно издавалась «Хроника текущих событий» (сокращенно — ХТС). Я уже писал об этом самиздатском журнале, который рассказывает о фактах нарушения прав человека в СССР, в особенности относящихся к свободе убеждений, вероисповедания, эмиграции, рассказывает о репрессиях — обысках, арестах и судах, об условиях и борьбе в местах заключения. Большое внимание уделяется в ХТС национальным и связанным с ними религиозным проблемам — в том числе проблемам прибалтийских республик, крымских татар, немцев, украинцев, армян, грузин. Основной принцип журнала — чисто информационный его характер, с сознательным исключением оценочных моментов. Несмотря на крайне сложные условия сбора материалов журнал стремится быть максимально точным и объективным; в тех случаях, когда удастся выявить неточности, публикуются исправления. Эпиграфом к журналу (который повто-

ряется в каждом номере) выбран текст ст. 19 Всеобщей декларации прав человека:

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Очевидно, что подобное издание принципиально не может быть клеветническим или преследующим подрывные цели. Однако именно клеветнический якобы характер журнала на протяжении более десяти лет выдвигается в приговорах судов в качестве основы для жесточайших репрессий людей, имевших отношение (часто даже весьма отдаленное) к ХТС. Ничего так не боятся репрессивные органы, как этих скромных тетрадок из листков папиросной бумаги. В этом — доказательство значимости, неотразимости ХТС. Я действительно считаю, что «Хроника» — наиболее ясное и значительное выражение духа борьбы за права человека, ее единственного метода — гласности, ее нравственной силы. 10 лет издания «Хроники» — это чудо!² ХТС издается без указания фамилий тех, кто ее делает. Сейчас можно назвать имена некоторых из ее первых издателей — это Наталья Горбаневская (сейчас живет

во Франции), Анатолий Якобсон (эмигрировал в Израиль, умер в 1978 году). *Добавление 1987 г.* Назову еще: Сергей Ковалев (в заключении и ссылке с 1974 по 1984 год), Татьяна Великанова (в заключении и ссылке с 1979 года), Татьяна Ходорович (эмигрировала, живет во Франции), Юрий Шиханович (в 1982 году — повторный арест³, с 1982 по 1987 год в заключении).

Очень большую роль в движении за права человека сыграла Инициативная группа по защите прав человека. В связи с Комитетом прав человека я уже писал о ней — не буду повторяться.

Таков был диссидентский мир десять лет назад — я пытался описать его, вспоминая о двух днях дружной и веселой работы наших друзей в январе 1972 года. Среди работавших были многие из названных мною. Возглавлял группу, был ее душой Юрий Александрович Шиханович, друг Люси, ставший и моим, математик и педагог, к этому времени уже лишенный работы в университете.

В кооперативном доме, куда переезжали Таня и Рема (формально квартира была записана на Люсю), еще не работал лифт. Отказник Володя Гершович (в шутку прозванный «Богатырь еврейского народа») проявил чудеса силы, один внеся на плечах холодильник на восьмой этаж. Люся приготовила для «грузчиков» обед — на столе дымилась отварная картошка и жареное мясо; усталые работники разлили себе водки. Еще

не успели ребята разойтись, как кто-то позвонил нам по телефону с тревожным известием: по Москве ходят обыски. На другой день с обыска увезли на допрос Кронида Любарского (о нем я рассказываю ниже). К ночи стало известно, что Кронид арестован⁴. Начался новый, более трудный период в диссидентской жизни. Впоследствии распространились слухи, что в конце 1971 года было принято решение о ликвидации «Хроники» и других проявлений инакомыслия. Я не знаю, насколько эти слухи справедливы, но, несомненно, 1972 год принес очередную волну политических репрессий. Особенно тяжелыми они оказались на Украине. Там были арестованы Светличный, Черновол, Дзюба, Стус, Ирина Стасив-Калынец и ее муж, Пронюк, Шумук, Строкатая (жена Караванского, о котором мы с Валерием писали в приложении к «Памятной записке»), Плющ⁵. В мае арестован Глузман. В Москве, кроме Любарского, арестованы Якир (летом) и Ю. Шиханович (в сентябре 1972 года)⁶.

ГЛАВА 28

Средняя Азия и Баку.
Обращения об амнистии и смертной казни.
«Памятная записка» и «Послесловие».
Встреча со Славским. Дело Якира и Красина

В конце марта мы с Люсей решили позволить себе нечто вроде свадебной поездки — в Среднюю Азию, где уже начиналась весна. Это были школьные каникулы, и мы хотели взять с собой двух мальчиков-школьников — моего сына Диму и Люсиного Алешу. Алеша был на год старше. Мы опять надеялись, что что-то наладится в наших отношениях с Димой (с Алешей этой проблемы в основном не было). Но, к сожалению, Дима, отчасти под влиянием сестер, наотрез отказался. Мы вылетели втроем — сначала в Бухару (подлинная средневековая Азия, с площадями, базарами, бассейнами и улочками, изумительные мечети и минареты, мавзолей Самани — одно из чудес мировой архитектуры), потом в Самарканд (город, где остались пышные, великолепные здания, построенные Тимуром и его наследниками) и, наконец, в Душанбе (перелет над застывшими громадами Памира, прогулки по ущельям в окрестностях города). Наш заезд в Душанбе, одна-

ко, имел и общественную цель — там жили родные Анатолия Назарова, о котором я писал выше, — он был арестован, а к этому времени уже осужден на три года заключения за пересылку своей знакомой моих «Размышлений».

Мы говорили с его родными и адвокатом, надеясь найти путь как-то ему помочь. К сожалению, наш приезд имел обратный эффект — из лагеря в окрестностях Душанбе его перевели на несколько сот километров дальше. После освобождения он писал нам, приглашал в гости и на свадьбу. Мы не смогли воспользоваться этими приглашениями — может, это и к лучшему.

Из впечатлений прогулок в окрестностях Душанбе: вход во многие ущелья загорожен, ворота снабжены торчащими вниз гвоздями, чтобы мальчишки не смогли пролезть под ними; там, в самых прекрасных уголках горного края, расположены роскошные дачи местного начальства — этих своего рода современных князьков. Социальные контрасты в национальных республиках более на виду, чем в России. Но это не значит, что в России их нет — просто заборы более непроницаемы для постороннего глаза («зеленые заборы», как у нас говорят).

Через месяц я получил приглашение на научную конференцию в Баку, которую проводило Отделение ядерной физики АН. Для нас с Люсей это явилось как

бы продолжением поездки в Среднюю Азию — много ярких впечатлений от южного города, его окрестностей. Традиционная экскурсия — храм огнепоклонников, считающийся главной достопримечательностью. В одно из воскресений — поездка в район, где некоторое время назад были открыты удивительные наскальные изображения — пляшущие человечки, фигуры зверей, сделанные реалистично и с большой экспрессией. Это были магические изображения — в этом месте зверей загоняли на обрыв, и они разбивались. Неподалеку — древний музыкальный инструмент — пятиметровый камень на трех точечных опорах, при ударе он издавал мелодический гул. Вокруг камня полукругиями располагались каменные же сиденья для слушателей. Во время этой прогулки Люся вдруг неожиданно взбежала на большой наклонный камень, нависший над дорогой. В испуге я закричал:

— Люська, стой!

Она резко остановилась в нескольких десятках сантиметров от 20-метрового обрыва.

В последний день конференции местное научное начальство устроило для «избранных» гостей банкет в Ботаническом саду под открытым небом, с каким-то редким вином из бочек и пышными восточными тостами; потом была поездка к плещущему пеной беспокойному Каспийскому морю и бешеная ночная гонка темпераментных водителей.

Во время банкета Люся неожиданно узнала среди гостей своего молочного брата Андрея Амадуни. В младенчестве он был вскормлен Руфью Григорьевной одновременно с Люсиным братом Игорем. Отец Амадуни был арестован, так же как Люсин, в 1937 году и погиб. Впоследствии связь с Амадуни потерялась. Андрей Амадуни стал физиком-теоретиком, сделал большую административную карьеру и опасается с нами общаться. В Ереване потом он пригласил нас к себе, но в Москве так и не решился к нам зайти.

Еще до этой поездки началась новая, памятная эпопея. В декабре должен был торжественно отмечаться 50-летний юбилей образования СССР. Татьяна Максимовна Литвинова, о которой я писал выше в связи с делом Григоренко (теперь она стала тещей Чалидзе, и мы иногда встречались с ней во время заседаний Комитета), высказала мысль о целесообразности коллективного обращения в связи с этой датой к Президиуму Верховного Совета с просьбой об амнистии политзаключенных и об отмене смертной казни. Мне очень понравилась эта мысль. Я решил, что нужно иметь два отдельных обращения (т. к. контингенты тех, кто может их подписать, не полностью совпадают), и написал тексты. Началась кампания по сбору подписей. Иногда я ездил к тем, чью подпись я хотел получить, один, но чаще — с Люсей. Очень быстро мы получили подписи многих инакомыслящих. Подписал оба обращения

также и Р. А. Медведев. Неожиданная трудность возникла с Чалидзе. Он оттягивал подписание, не желая оказаться в одной компании с некоторыми неприятными ему людьми. Это было началом тех недоразумений, которые, к сожалению, вскоре временно омрачили наши отношения. Но в конце концов он подписал. Легко подписывали обращения отъезжающие — мы старались даже ограничить их число теми, чье участие казалось нам более важным. Не подписал обращений А. И. Солженицын — он считал, что это может помешать выполнению тех задач, за которые он чувствовал на себе ответственность. Мне его позиция казалась неправильной. Особенно важным я считал иметь как можно больше подписей известных, пользующихся авторитетом представителей интеллигенции — ученых, писателей, художников, медиков и т. п., не принадлежащих к инакомыслящим, не оппозиционных, но разделяющих гуманистические цели обращений — освободить узников совести, отменить варварский институт смертной казни. Но тут меня постигло разочарование. Времена «подписантской кампании» 1968 года (1000 подписей) явно прошли, и это показывает, что и тогда некоторые подписывали «из моды», считая, что это совсем ничего не будет им стоить. Уже в Баку я имел несколько отказов от своих коллег-физиков. Вот несколько памятных моментов. Некий академик крайне перепуган, машет руками:

— Что вы, если у властей есть желание провести амнистию политзаключенных, получив такое коллективное письмо они обидятся и отменят ее!

Академик Петр Капица:

— Главное — не забота о нескольких политзаключенных. Перед человечеством стоят огромные задачи. Главная опасность — демографический взрыв, непрерывный рост населения в слаборазвитых странах, угрожающий миллионам людей голодной смертью.

Академик Имшенецкий:

— Не вовлекайте меня в антисоветские затеи, я на советскую власть не обижен, она меня 36 раз за границу посылала.

(Кажется, с Имшенецким я говорил по другому поводу — в данном случае это не имеет значения.) Я думаю, что Имшенецкий был откровеннее других. Никому из тех, с кем я говорил, не угрожали бы в случае подписания арест, увольнение или даже минимальное понижение в должности. Но в последние годы возникла новая психология, когда чрезвычайно высоко котируются менее необходимые блага, которые тридцать лет назад являлись бы недостижимой роскошью — например поездки за границу, о которых говорил Имшенецкий.

Жизнь, конечно, сложна, и у многих, не подписавших обращения, были другие, веские причины. Среди них — журналистка, успешно защищающая в периоди-

чески появляющихся статьях справедливость и достоинство людей от произвола и беззакония, академик, сделавший делом своей жизни защиту памятников старины от современных нуворишей, другой академик, уверенный, что любой его неосторожный шаг погубит его научную карьеру. Среди отказавшихся была Лиза Драбкина — в прошлом секретарь Свердлова, проводившая полжизни в лагерях, многое понявшая и пересмотревшая. Ей хотелось сохранить за собой возможность рассказать молодежи, что ей удалось понять. Конечно, она зря не подписала. Это она назвала когда-то Люсю «всехняя». Подарив нам карточку, она на обороте написала: «Дурочка рядом с Лениным — это я». Умирая, ее муж в бреду кричал:

— Верните нам нашу революцию!

Что бы он сделал по второму заходу? Боюсь загадывать. А сама Лиза Драбкина, когда ей из какого-то молодежного зала закричали:

— За что боролись, на то и напоролись! — горько ответила:

— Это вы напоролись, а мы боролись. (Страшная штука — история. Вообще-то Драбкина была не совсем права в своей ответной реплике.)

Для сбора подписей мы ездили с Люсей также в Ленинград и в расположенный недалеко от него дачный поселок писателей и ученых Комарово. В этой поездке выявилось, между прочим, насколько плотно и квали-

фицированно за нами следят. Обычно мы с Люсей игнорируем слежку, просто ее не замечаем. Пусть тратят казенные деньги, если им это нравится. Но тут нам рассказали. Мы обошли в Комарове несколько домов, в перерыве ходили по лесу, к морю, вели себя вполне раскованно, считая, что мы вдвоем. Но потом выяснилось, что в некоторые из посещаемых нами домов сразу же после нас заходили гебисты и допытывались, зачем у них был Сахаров. Среди тех, с кем мы разговаривали, был покойный академик-математик В. И. Смирнов. Он очень тепло нас принял (между прочим, его дом был единственным, где нас накормили), рассказал о трагических событиях красного террора в Крыму, свидетелем которого он был в молодости. Руководили этим массовым убийством Бела Кун и Землячка.

Обращения были отосланы в адрес Президиума Верховного Совета за два (или полтора) месяца до юбилея. Конечно, никакой видимой реакции на них не последовало. Незадолго до юбилея я передал обращения (вместе со списками подписавших — несколько больше пятидесяти человек под каждым из документов) иностранным корреспондентам в Москве. Сообщения об этом мы вскоре услышали по некоторым зарубежным радиостанциям. Несмотря на те разочарования, о которых я писал выше, я все же думаю, что эта кампания, забравшая у нас с Люсей немало сил, не была бесполезной. В новых условиях каждая подпись под обращением была очень

весомой. Обращения явились выражением мнения для многих и, быть может, многих слушателей радио заставили задуматься. Для многих из подписавших это было не простое решение, но акт гражданской смелости¹.

* * *

В середине лета 1972 года я решил, что пора опубликовать «Памятную записку». Я написал «Послесловие» к ней, в котором попытался разъяснить свою позицию, несколько расширив при этом тематику «Записки», привел примеры последних репрессий (приложение к «Записке», написанное год назад, в основном Чалидзе, не было опубликовано). В «Памятной записке» я отдал некоторую дань опасениям угрозы со стороны Китая. Эти опасения высказывали также Солженицын в «Письме вождям» и в других местах и Амальрик в его «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». К моменту опубликования «Записки» и составления «Послесловия» моя точка зрения на этот вопрос изменилась. Я считаю, что в силу своего военно-технического и экономического отставания и поглощенности внутренними проблемами Китай не сможет осуществить агрессию против СССР в ближайшие десятилетия, несмотря на свое огромное население. Соперничество за влияние на слаборазвитые страны и из-за Юго-Восточной Азии есть часть более широких, общемировых проблем (в том числе, советской экспансии,

противостояния с Западом и других), которые, по моему убеждению, должны решаться мирными способами на путях компромисса и терпимости. Также несомненно можно решить путем переговоров и некоторых уступок территориальные споры с Китаем. Чего следует опасаться — это возможных последствий советской экспансии в разных странах света. И не хочется даже об этом писать, но — возможной безумной акции советских ястребов, которые — конечно, при условии существенного изменения положения внутри страны и в мире в целом — могли бы начать превентивную войну. В настоящее же время китайская угроза усиленно раздувается советской пропагандой, как я думаю, в какой-то мере с внутривнутриполитическими целями. Я убежден, что урегулирование отношений с КНР безусловно возможно в результате положительных сдвигов во всей мировой ситуации; во многом это зависит от действий СССР. В последние годы стало известно о возникновении в КНР движения инакомыслящих и о жестоких преследованиях их властями. Я отношусь к этим сообщениям с большим интересом, восхищаюсь нашими китайскими единомышленниками, глубоко уважаю их, как и вообще китайский народ. К сожалению, эта точка зрения не нашла отражения в «Послесловии»; впоследствии я пытался исправить это.

Как я уже писал, летом 1972 года был арестован Петр Якир, один из активных московских диссиден-

тов. Я много слышал о нем, хотя почти не знал его лично (кроме тех двух встреч, о которых я писал, я его никогда не видел). Петр Якир — сын известного полководца гражданской войны Ионы Якира, расстрелянного во время сталинских репрессий 30-х годов. Жена Ионы Якира была арестована вместе с ним, сын Петр провел 17 лет в колониях для малолетних преступников, тюрьмах, лагерях, в ссылке. В середине 50-х годов мать и сын были освобождены, мать реабилитирована; по-видимому, она служила известной защитой для сына — во всяком случае, Петр был арестован лишь после ее смерти.

Я вспомнил, что отец Якира был близким другом Ефима Павловича Славского, министра среднего машиностроения и моего бывшего начальника, служил вместе с ним в гражданскую войну в Первой Конной и, по слухам, завещал ему заботу о сыне, если с ним что-либо случится. Правда, я также знал, что после ареста Ионы Якира Славский ничего не сделал для спасения его сына. Но все же я решил предпринять попытку помочь Петру Якиру, обратившись к члену ЦК и министру. Я позвонил Славскому с просьбой меня принять, и он, назначив время, распорядился о выдаче мне пропуска. Со странным чувством входил я в огромное тринадцатипэтажное здание, где, кажется, ничего не изменилось за четыре года, с тех пор как я был там в последний раз. Те же лица, то же выраже-

ние деловой озабоченности на них, те же просторные коридоры и ковры.

Ожидая Славского в его кабинете, я машинально рассматривал фотографии и расположенный под стеклом макет застройки города Навои в Средней Азии — одного из многих, которые строило МСМ руками сначала заключенных, а потом — стройбатовцев. (В 50-е годы одно из условных названий ПГУ было «Главгорстрой».) Сам разговор со Славским был кратким. Я рассказал суть дела, коротко рассказал о правозащитной деятельности вообще и упомянул, что отец Якира был его другом и, как я слышал, передоверил ему судьбу Пети. Славский ответил, что он ни в коем случае не будет вмешиваться в это дело.

— Раз вы хлопчете об этом человеке, которого я совершенно не знаю, то он, наверное, такой же антисоветчик, как вы.

Я воспользовался визитом к Славскому, чтобы попросить его о помощи еще в одном деле. Речь шла о рабочем Богданове, работавшем на одном из заводов МСМ в подмосковном городе. Доведенный до отчаяния задержками в получении квартиры, он прорвался к Славскому и потребовал от него помощи, но тот выгнал его. (Это начало истории Богданова я узнал только через несколько лет; во время разговора со Славским я знал лишь дальнейшее.) Тогда Богданов, вернувшись на завод, похитил секретную деталь и спрятал, обещая отдать ее в обмен на

квартиру; он держался несколько дней, потом не выдержал и вернул деталь (потом я узнал, что этой деталью был регулировочный кадмиевый стержень ядерного реактора; если это так, то секретность тут не Бог весть какая — на ВДНХ такие стержни открыто демонстрируются). Но ГБ не простило ему доставленных волнений. Через пару недель к нему подошли на улице какие-то люди и попросили закурить. Богданов дал. Через квартал он был арестован. Его судил специальный суд и присудил к 10 годам заключения за измену Родине — якобы те люди, которым он дал прикурить, были представителями аргентинской разведки (??!!!), а он пытался передать им какие-то сведения. Конечно, это была чистойшей воды провокация. Очень интересной деталью в этом деле является «специальный суд». Эти не предусмотренные опубликованным законодательством учреждения судят людей, так или иначе связанных с секретностью. Там специальный состав суда, все заседания закрыты для посторонних. О существовании специальных судов никогда не писалось на страницах советской печати, и не случайно — это вопиющее нарушение многих юридических норм: гласности, права на защиту, равной ответственности всех граждан перед законом.

Славский записал фамилию Богданова и обещал проверить. Насколько я знаю, Богданов отбыл полный срок заключения. Это была моя последняя встреча со Славским.

Я пробыл в отлучке из дома несколько часов. Люся сильно переволновалась за это время — она опасалась, не арестовали ли меня в Министерстве.

Суд над Якиром и его поделщиком Красиным состоялся через год. Уже в конце 1972 года и в начале 1973-го до нас стали доходить слухи об изменении их позиции, о том, что они «раскаялись» и уговаривают своих бывших товарищей отказаться от «антисоветской деятельности», обостряющей ситуацию, плодящей новые жертвы, утверждая, что все «правозащитное» движение сконцентрировано на мелких, второстепенных вопросах (при этом им давали очные ставки, что само по себе является редкостью в подобных делах). Якир и Красин, в частности, настаивали на немедленном прекращении выпуска «Хроники текущих событий», прибавляя при этом, что за каждым выпущенным номером последуют аресты диссидентов — не обязательно имеющих отношение к «Хронике» (?). Совершенно ясно, что Якир и Красин просто передавали то, что им поручило сообщить КГБ. Это было неприкрытое заложничество! К сожалению, когда мы пытались объяснить это иностранным корреспондентам (в данном и аналогичных случаях), они не вполне понимали нас, и на радио и в прессу подобные разоблачительные и важные для нас сообщения не попадали. Вообще советские граждане, верящие рассказам об антисоветской капиталистической прессе, жадной до «сенсаций», вряд ли предста-

вляют себе, насколько эта пресса на самом деле избегает всех *острых углов* в отношении *великих* стран социализма, но зато охотно и непрерывно разоблачает недостатки у себя на родине (последнее, конечно, хорошо и полезно, но чувство меры иногда теряется).

В начале 1973 года смущающийся лейтенант КГБ принес мне домой личное письмо Якира из следственной тюрьмы — небывалая вещь в СССР. Оно было написано в таком тоне, как будто мы с ним старые знакомые, и содержало ту же идею — каждый мой шаг никого не защищает, а губит многих.

Обвинителем на суде Якира и Красина был П. Солонин, но они сами клеймили себя столь же сильно (повидимому, на столь отрететированный суд все же никого из «посторонних» на всякий случай не пустили). Потом Якир и Красин выступали на пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению, пресловутая связь с НТС была лейтмотивом. Среди выступавших на суде был главный психиатр СССР профессор Снежневский, который утверждал, что в СССР нет никаких злоупотреблений психиатрией в политических целях. Приговор был мягким — что резко контрастирует с обычными очень жесткими приговорами инакомыслящим — ссылка², причем они отбывали ее вблизи Москвы: Якир в Рязани, а Красин в Калинин; вскоре они и вовсе были помилованы — Якир вернулся в Москву, а Красин уехал за рубеж. Уже из Рязани Якир сде-

лал еще одну попытку установить отношения со мной. Он позвонил мне по междугородному телефону и попросил приехать к нему в Рязань — якобы он должен сообщить что-то важное для меня. Я отказался. Больше он таких попыток не предпринимал.

Процесс Якира—Красина проходил уже тогда, когда внимание было приковано к газетной кампании против Сахарова и Солженицына и к их сенсационным выступлениям, в период необычной активности Запада в их защиту и прошел на этом фоне почти незамеченным, не оправдав надежд КГБ. Тем не менее, общее впечатление было тяжелым, «покаяние» обвиняемых явилось драмой для их друзей (и, конечно, для них самих).

Что же произошло с этими людьми? (Я буду больше иметь в виду Якира, о Красине я совсем ничего не знаю.) Следует прежде всего сказать, насколько тяжела имеющая место в СССР система следствия, когда на протяжении многих месяцев нет свиданий ни с кем, нет адвоката и арестованный общается по существу только со следователями — чрезвычайно умелыми, опытными, профессиональными «инквизиторами», на стороне которых в этой борьбе все преимущества: и свобода, и отдых, и комфорт, и все источники информации, и главное — отсутствие страха за свою судьбу, за судьбу близких. Неудивительно, что в этих условиях следователи легко находят слабые места в позиции и личности своих жертв. По моему глубокому убеждению, чудом является то, что

очень многие выдерживают это давление и с достоинством ведут себя на следствии и суде и в лагере (я горжусь тем, что среди них — мои друзья, я буду писать о каждом поименно в этой книге); тех же, кто не оказался столь феноменально тверд и силен, никак нельзя упрекать.

Еще одно важное обстоятельство: и Якир, и Красин — бывшие заключенные, и с этой страшной школой жизни они могли считать (и, вероятно, считали), что все «свои», их друзья, поймут их поведение как извинительный маневр перед лицом смертельной опасности. За 17 лет, проведенных им в детприемниках, колониях для малолетних преступников, лагерях и тюрьмах, Петр Якир пристрастился к алкоголю. Для следователей это была прекрасная возможность «легальной» попытки абстиненцией, и можно быть уверенным — они это в полной мере использовали. Не слишком ли много для одного человека, в чем-то сломленного еще до ареста?.. Я уже писал о его искреннем признании в слабости во время суда над Буковским.

Незадолго до ареста Якир написал и передал на хранение иностранным корреспондентам нечто вроде завещания (с указанием опубликовать после его ареста), в котором он заранее объявлял недействительными все покаяния и показания, которые будут вырваны у него следствием. Конечно, делать этого не следовало — это как бы предрешает капитуляцию, но теперь мы можем так или иначе принять во внимание эти его слова...

ГЛАВА 29

Арест Шихановича.
Демонстрация у ливанского посольства.
Грузия и Армения.
Исключение Тани из МГУ.
Суд над Любарским. Первое интервью.
Люся расстается с партией

В сентябре Люся поехала на очередное свидание к Эдику. Вскоре она вернулась ни с чем. Свидание было, как это то и дело происходит в лагерях и тюрьмах, отменено (это, при крайней ограниченности числа разрешенных свиданий, всегда большая беда; причины же обычно: взыскание из-за каких-то придинок начальства, голодовка, помещение в карцер, невыполнение нормы — самая частая, — а также причины, даже формально не зависящие от заключенного: карантин, ремонт дома для свиданий — но даже в этом случае перенос свидания ничем не компенсируется). За время ее отсутствия произошла беда — арестовали нашего друга Юру Шихановича.

Первый раз я увидел Юру у Валерия. Кажется, обсуждался процесс Пименова и Вайля. Кто-то сказал, что Пименов считает себя гениальным математиком. Я, желая замаять неловкость, позволил себе заметить (пошу-

тить), что, по моему наблюдению, все математики считают себя гениями. Юра встал со своего места и громким шепотом (так, что все слышали) сказал:

— А я считаю себя гениальным педагогом.

К этому времени у него уже сильно уменьшились возможности проявлять свою гениальность. После того, как он подписал письмо в защиту своего старшего коллеги Есенина-Вольпина, его уволили из университета. Само это дело стоит того, чтобы о нем рассказать.

Есенин-Вольпин, математик, поэт и один из первых диссидентов, был принудительно помещен в психиатрическую больницу. Его коллеги выступили с письмом, в котором просили дать ему возможность продолжать научную работу (не больше того, они даже не требовали освобождения Вольпина из больницы). Письмо вызвало огромное беспокойство властей, против подписавших были применены различные меры выламывания рук (этим занимался, в частности, сам президент Келдыш; более 4 часов он всячески угроvarивал и запугивал своего зятя, тоже академика-математика, Новикова; тот наконец снял свою подпись, несчастный и униженный пришел домой и — слег с тяжелым сердечным приступом). Вольпин же был вскоре втихую освобожден.

Я считаю Юру Шихановича одним из самых «чистых образцов» диссидента «классического типа» — того, о котором я рассказывал в одной из предыдущих

глав. Он много занят помощью политзаключенным и их семьям, у него находится время для переписки с десятками людей, для поездок в места ссылок (тут он часто выполняет роль носильщика тяжелейших рюкзаков; так они ездили в 1971 году вместе с Люсей к Вайлю, а сейчас он помогает уже самой Люсе в ее поездках ко мне). Юра очень не любит заочных голословных осуждений людей — на что многие у нас так скоры, всегда требует точных доказательств, а если их нет, то настаивает исходить из «презумпции невиновности». Есть у него и маленькая «странность» — скрупулезная требовательность в соблюдении «диссидентских» дней рождения. Очень человечная, по-моему. Юра часто выступает в роли диссидентского кинокультурга — на редкость квалифицированного. Даже здесь, в Горьком, мы с Люсей смотрели фильмы по его рекомендации (последний раз — «Не стреляйте в белых лебедей» — горькая лента об исчезновении не так даже русской природы, как русского народа).

За несколько месяцев до ареста он подобрал на улице белого бездомного песика. Джин очень к нему привязался. После ареста Шихановича фотография его с Джином обошла всю мировую прессу.

Кто-то позвонил, что у Шихановича обыск. Мы с Таней схватили такси и поехали. Рема в это время лежал в больнице. В квартиру нас не пустили. Гебисты уже выносили мешки с изъятой литературой (в основ-

ном, как всегда, совершенно произвольно; в том числе все, что было в доме на иностранных языках). Вскоре вывели и самого Юру, подчеркнуто спокойного. Таня успела поцеловать его через руки гебистов, а Юра сказать: «Ну, пока!»; его посадили в машину — черную «Волгу» со снятым номером (зачем такие хитрости?..). Джин с отчаянным лаем бежал несколько кварталов (угадал собачьим сердцем недоброе), затем, понурый, вернулся и забился в угол.

После ареста Ю. Шихановича мы с Люсей написали так называемое поручительство и отослали его в прокуратуру. Поручительство предусмотрено советским процессуальным кодексом и представляет собою просьбу к прокуратуре об изменении «меры пресечения»¹. Обвиняемый может быть по такой просьбе отпущен на свободу до суда под ответственность поручителей (их должно быть не менее двух), гарантирующих его неуклонение от следствия и суда и отсутствие преступных действий. Почти полгода мы не имели никакой реакции на наше заявление. Затем я получил повестку к следователю Шихановича Галкину в здание КГБ на Малой Лубянке (только я, Люся не была упомянута). Мы пошли, конечно, вдвоем, и по внутреннему телефону из бюро пропусков я сказал Галкину, что, так как заявление было от двоих, мы должны быть вызваны для ответа тоже вдвоем. Но Галкин сослался на техническую невозможность оформить второй пропуск и отка-

зывался перенести встречу. В конце концов я пошел один. Нас интересовал результат. Галкин принял меня в своем кабинете и сразу сказал, что наше поручительство не может быть принято, т. к. мы не являемся лицами, пользующимися доверием (что требуется кодексом). В доказательство он стал демонстрировать через стол, не давая мне в руки, журнал «Грани» (издательства «Посев»), в котором напечатаны мои заявления и статьи. Спорить было бесполезно. Такова была моя первая официальная встреча с КГБ. Когда мы вернулись, я позвонил корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Хедрику Смигу и попросил его прийти. Вскоре в крупнейшей американской газете появилась статья на эту тему. Эта, а также другие публикации, заявления друзей Шихановича, в том числе Люсины и мои интервью о Юре, несомненно способствовали привлечению внимания к его судьбе. В частности, очень большую активность проявили коллеги Шихановича — французские математики.

Шихановича КГБ пыталось пустить по психиатрическому варианту. Но в условиях общественного внимания власти не решились на его осуществление в полной мере — Шиханович был направлен «для лечения» в больницу общего, а не специального типа: фактически это была форма изоляции, лечения к нему не применяли. В 1974 году он был освобожден. Мне иногда кажется, что некоторую роль в этой истории сыграла

и фотография с собачкой, по которой можно было провести заочную психиатрическую экспертизу.

В сентябре 1972 года стало известно об ужасном преступлении — убийстве израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде. Эта акция, проведенная палестинскими террористами в нарушение традиционного мирного статута Международных Олимпиад, ведущего свое начало еще с античных времен, по утверждению ее организаторов, должна была привлечь внимание к трагическому положению палестинского народа и покарать сионистов, виновных в этой трагедии; в значительной мере, однако, она, по-видимому, явилась частью и началом террористической кампании, осуществляемой секретными службами некоторых государств по заранее согласованному плану с целью деструкции мирового капиталистического порядка (у меня нет прямых доказательств этого утверждения; это — предположение, истинность или ложность которого покажет будущее). Я принципиально осуждаю терроризм как чрезвычайно жестокое и разрушительное явление, какими бы целями он ни оправдывался. В частности, я решительно осуждаю и террористическую акцию против мирного населения палестинской деревни Дер-Ясин в период острых арабо-израильских столкновений 1948—1949 годов.

Вскоре после Мюнхенской трагедии правительство Израиля приняло решение об ответных акциях на тер-

рористические акты против израильских граждан, надеясь, вероятно, таким образом предотвратить террор. В ходе бомбежек палестинских лагерей на юге Ливана имели место многочисленные жертвы, в том числе среди мирных жителей (и об этом нельзя не сожалеть). Но террористические акты продолжались. За десять лет погибло (как я слышал по радио) 1300 граждан Израиля, от ответных бомбардировок — во много раз большее число палестинцев, поставленных руководством ООП в положение заложников. Сейчас, когда я пишу эту главу, правительство Израиля решило уничтожить военную Организацию Освобождения Палестины, предприняв крупное наступление. В ходе военных действий опять погибло много мирных жителей — палестинцев и ливанцев, много солдат с обеих сторон. Это трагично, но ведь трагично все положение, сложившееся на Ближнем Востоке. Нельзя не учитывать также дестабилизирующих международных последствий действий ООП на протяжении истекшего десятилетия, связь всей системы мирового терроризма с ООП. Особенно тяжелы последствия в Ливане, где от гражданской войны погибло более 100 тысяч человек. И все же у меня нет уверенности, что были исчерпаны все возможности мирного решения.

Несколько слов о том, как я отношусь к палестинской проблеме в целом. Несомненно, каждый народ имеет право на свою территорию — это относится

и к палестинцам, и к израильтянам, и, скажем, к народу крымских татар. После трагедии, разыгравшейся в 40-х годах, палестинцы стали объектом манипулирования, политической игры и спекуляции, оказались в руках у внешних и чуждых им сил. Давно можно было бы расселить беженцев по богатейшим арабским странам, дать им в руки технику и земли, деньги и образование, а не подставлять их под бомбы в ответ на бессмысленные террористические акты.

В перспективе возможны различные варианты мирного урегулирования и достижения палестинской автономии. Однако Израиль не может при этом допустить зависимого от СССР образования внутри своего государства или рядом с ним. Только безоговорочное признание Израиля, отказ от терроризма, создание гарантий независимости от внешних влияний могут стать подлинной основой решения судьбы палестинцев.

Израиль и палестинцы должны проявить волю к переговорам, соглашению, глубокому *компромиссу*, признать наличие у противоположной стороны законных прав и интересов, перестать обмениваться оскорблениями («террористы», соответственно — «сионисты»; последнее, правда, само по себе не оскорбление) и, тем более, вооруженными ударами.

(Добавление 1988 г. Я надеюсь, что изменения в СССР, касающиеся его внутренней и внешней политики, будут способствовать решению наболевшей

ближневосточной проблемы. В перспективе возможно и необходимо создание гарантий невмешательства СССР и связанных с ним стран — это должно устранить опасения Израиля.)

Как только стало известно о гибели спортсменов, московские евреи решили провести молчаливую демонстрацию протеста перед ливанским посольством. Нам об этом сообщил Алеша Тумерман. Я решил пойти. Люся была больна, и сопровождать меня пошли Тая, Ефрем и Алеша. Мне надо было, конечно, отказаться от этого «сопровождения», ставившего их под удар, но я этого не сообразил. Когда мы подъехали, то никого из демонстрантов не увидели — их всех еще на подступах хватили гебисты и отвозили в так называемый «еврейский» вытрезвитель. Потащили и отвезли и нас, привезли в здание, которое действительно было вытрезвителем, т. е. местом, куда милиция привозит подобранных на улице пьяных. Сейчас там никаких пьяных не было, только задержанные демонстранты в двух или трех комнатах. Через час или два нас стали поодиночке вызывать в другую комнату, где сидело несколько милицейских чинов, спрашивали фамилию и место работы и потом поодиночке же отпускали. Когда вызвали меня, еще до ребят, я не сказал, что они пришли со мною, рассчитывая, что моя компания не будет им в пользу, а так, возможно, на них не обратят внимания. На самом деле все это уже не имело значения. ГБ полу-

чило повод для акций против наших детей; на этот раз они избрали своей жертвой Таню.

В это время я получил приглашение на Гравитационную конференцию в Армении. Мы поехали вместе с Люсей: сначала провели несколько прекрасных дней в Грузии, еще с 1968 года милой моему сердцу, а затем вылетели в Ереван. Конференция проходила в горном лагере Цахкадзор; во время интересных для меня научных заседаний Люся бродила по окрестностям, покрытым лесом горам, потом и я к ней примкнул. Люся знакомила меня с Арменией — ее горами и камнями, общим неповторимым обликом, чем-то напоминающим библейский, архитектурой, скульптурными памятниками — старыми и новыми, среди них потрясающий памятник жертвам геноцида 1915 года. Люся говорила, что каждый раз, попав в Армению, она вдруг ощущает себя «Геворк ахчик» — дочь Геворка (и дочь Армении — подразумевается). И действительно, в лицах женщин, заполняющих улицы Еревана, я видел многократно повторенные ее черты. Мы — по рекомендации армянских физиков — встречались с прекрасными художниками и скульпторами, конечно ездили на Севан, в Эчмиадзин, видели развалины античного храма в Гарни и каменную подземную резьбу Гегарда. Люся показала мне исторический балкон, с которого ее отец провозгласил советскую власть, и обратила внимание на скромное, глухое упоминание о нем на стенде в Музее

истории. Встретились мы с одним из соратников ее отца — Каро Казаряном, он вспоминал об обороне от дашнаков на Семеновском перевале (Люся показала мне это место; название связано с тем, что туда были сосланы солдаты Семеновского полка, участвовавшего в декабрьском восстании 1825 года). Видели мы и целую улицу домов репатриантов; многие из них пусты — хозяева, разочаровавшись, уехали с «земли предков» обратно.

В Ереване мы узнали о Танином отчислении из МГУ, с вечернего отделения факультета журналистики. Таня случайно увидела приказ о своем отчислении на доске объявлений (это было 16 октября, примерно через месяц после демонстрации у ливанского посольства). Мы сразу вылетели в Москву. Период относительного благополучия, который мы разрешили себе (понимая его временность), — кончился. Начинаясь новый, более трудный период нашей жизни. Самое страшное в нем, что дети — Таня, Алеша, Ефрем — оказались заложниками *моей общественной деятельности*; когда появились внуки — то и они (а много потом — жена Алеши). Детям не дали получить полноценное образование, детям и зятю не дали работать; детям, зятю и невестке угрожало судебное преследование, и всем, включая внуков, — физическая расправа, убийство из-за угла. Это не плод больной фантазии, это та реальность, которая предстала перед нами во всей своей чу-

довишной нагоде. Тот, кто внимательно прочтет следующие ниже главы, согласится с этой оценкой.

На протяжении последующих нескольких лет мы пытались найти какие-то *приемлемые* выходы из положения, в которое мы были поставлены, делали разные попытки. В свете этого надо понимать многие действия и шаги, о которых я рассказываю ниже. Но в конце концов мы были вынуждены принять очень трудное, трагическое для нас решение об их эмиграции.

Осенью 1972 года Таня была уже на последнем курсе — ей оставалось только написать и защитить диплом (на что выделялось специальное время). Отчисление студентов на этой завершающей стадии — крайняя редкость, требует совершенно исключительных причин. Первоначально в приказе о Танином отчислении было написано «отчислена как не работающая». Потом приказ был заменен другим, с более рафинированной формулировкой «как не работающая по специальности». Согласно общему положению, студенты вечернего отделения обязаны во время обучения работать по специальности. Фактически очень многие пренебрегали этим правилом, и на это обычно смотрели «сквозь пальцы». Но Таня как раз работала — осенью 1972 года она исполняла обязанности младшего редактора в редакции научно-популярного физико-математического журнала для школьников «Квант» (к слову сказать, очень хорошего). Это была безусловно работа по специальности.

Однако Таня не была оформлена по штатному расписанию — она формально замещала женщину, ушедшую в отпуск по беременности. Таня, таким образом, фактически выполняла предъявляемые к студенту вечернего отделения требования, но у нее не было юридической возможности опротестовать вторую, измененную формулировку приказа. Ясно, что сначала было принято решение об ее отчислении, а затем уже задним числом хитроумные и осведомленные люди нашли ту формулировку, которая как бы оправдывала этот дискриминационный, по существу, акт. Оказавшись «на улице», Таня уже в конце октября пошла работать продавщицей в книжный магазин, расположенный в том же доме, где мы жили.

В конце октября состоялся суд над Кронидом Любарским — я писал о его аресте в январе. Любарский — астрофизик, специалист по астрофизике планет, одно время был председателем Московского Астрономического Общества². Люся знала его до ареста. Любарский обвинялся главным образом в распространении «Хроники текущих событий» (что было даже некоторым умалением его роли — теперь, в 1987 году, можно об этом сказать).

Летом мы с Люсей сделали попытки добиться у людей, знавших его профессионально, характеристики для суда. Двое или трое из них ответили отказом.

Характеристику написал Иосиф Шкловский, тоже астрофизик, член-корреспондент АН СССР, которого, независимо, хорошо знали и я, и Люся. (Шкловский был моим соседом в эшелоне в 1941 году.) Шкловский не имел за это почти никаких неприятностей (кроме временного перерыва в его заграничных поездках).

Суд над Любарским проходил в Ногинске (город Московской области, недалеко от его места жительства) по обычным канонам судов над инакомыслящими, может быть в еще более грубой манере, чем суд над Буковским. Конечно, никого, кроме самых близких родственников, в зал не пускали, не пускали и в коридор. Гебисты-«дружинники» в какой-то момент недосмотрели, и человек 10–12 «наших» проникло в половину этого коридора, отделенную от остальной части здания дверью. Вдруг эта дверь с треском раскрылась, и некое подобие тарана из гебистов ввалилось к нам. Через несколько секунд все мы были вытолкнуты на улицу, многих повалили на землю, некоторым — в том числе и мне — выворачивали руки. На улице Люся подскочила к старшему из гебистов, который стоял немного в стороне — он командовал этой операцией, он же был и утром — и неожиданно для него дала ему пощечину, крикнув что-то при этом. Он никак не ответил. В обеденный перерыв на входную дверь снаружи был повешен большой амбарный замок, и после перерыва суд возобновился; он — формально открыт — шел под замком!

Выразительный символ нарушения закона! Кронид Любарский был приговорен к пяти годами заключения.

Так же, как большинство других заключенных, он вскоре встретился в лагере с многочисленными беззакониями, прошел трудный путь сопротивления и репрессий.

Когда мы с Люсей, усталые и возбужденные, вернулись с суда домой, нас уже ждал там корреспондент популярного американского журнала «Ньюсуик» Джей Аксельбанк. Возникло нечто вроде интервью. Больше всего я хотел рассказать про суд Любарского, но, естественно, отвечал и на другие вопросы — о себе, о своих взглядах. Вскоре Джей принес показать написанную им (и уже опубликованную) статью. Меня очень расстроили в этом моем первом интервью некоторые неточности (скорей «интонационные») и почти полное отсутствие Любарского; даже долго не мог заснуть. Впоследствии, ближе познакомившись с тем, как работает пресса, я стал менее чувствителен к относительным мелочам — всегда было много причин огорчаться по более серьезным поводам. Как я теперь думаю, работа Аксельбанка была гораздо лучше, чем мне это показалось тогда. Потом у нас с ним установились вполне хорошие отношения.

Через 10 дней после суда (9 ноября) Люся получила вызов в Московский горком партии. Она заранее подготовила заявление о выходе из партии, в котором написала:

«...В связи с моими убеждениями, а также за неоднократные нарушения мною партийной дисциплины прошу исключить меня из рядов КПСС».

На то же заседание была вызвана секретарь партийной организации медучилища, в котором Люся работала до ухода на пенсию. (Люся уволилась в марте 1972 года, вскоре после достижения ею пенсионного возраста — 50 лет, установленного для женщин — инвалидов Отечественной войны. 50 лет ей исполнилось по паспорту, фактически она на год моложе³. Сразу после замужества у нее начались трудности с получением педагогической нагрузки.)

Как только Люся и секретарь парторганизации пришли, их вызвали на комиссию. За столом сидело несколько человек (вероятно, половина или все — гебисты). Один из них начал говорить: имеются сведения, что тов. Боннэр Е. Г. допустила хулиганские действия у здания суда в Ногинске, ударила работника органов государственной безопасности. Чем она может объяснить такое свое поведение, которое заставляет сомневаться, может ли она продолжать оставаться членом партии? Они явно хотели запугать угрозой исключения из партии, быть может заставить покаяться, дать обещание исправиться и т. д. Люся вынула из сумочки свое заявление и партбилет и положила перед членами комиссии. Это был удар огромной силы — она сразу по-

казала, что шантажировать таким образом ее не удастся, и наоборот — они оказываются перед очень редким и крайне неприятным для них фактом добровольного выхода из всемогущей партии. В этот момент секретарь партийной организации медучилища в крайнем испуге за Люсю зашептала ей:

— Что ты делаешь! Ведь у тебя же дети!

Люся:

— Отстань ты. При чем тут дети?

Секретарь хорошо относилась к Люсе, и ее самопроизвольно вырвавшаяся реплика была вызвана искренней тревогой. Не в первый и не в последний раз мы встречаемся с фактами, показывающими, что люди, находящиеся в советской системе, думают о ней не лучше, а даже хуже инакомыслящих, у которых еще, быть может, бывают какие-то иллюзии. Люся сказала:

— Так это, значит, КГБ нарушал законность у здания суда! Там они себя не афишировали!

Один из сидевших за столом попытался овладеть инициативой:

— Почему вы так враждебны к советской власти — она ведь все вам дала: образование, интересную работу?

Люся:

— Я не за так получала все, что имею, не в качестве подарка — воевала, почти потеряла зрение, работала круглые сутки.

Гебист сказал:

— Вы говорите неправду. Это все от вашей озлобленности. Вот вы всюду говорите, что ваш отец расстрелян. А он не расстрелян.

Неясно, говорил ли он чистую ложь или что-то знал — в этом и состоял, вероятно, психологический расчет — запутать, смутить, сбить с толку, вызвать на разговор. Люся промолчала (хотя внутренне была потрясена). Гебист сказал:

— Мы доложим о вашем деле на комиссии горкома.

Люся ответила:

— До свидания.

И вышла, оставив партбилет и заявление лежащими на столе. Никто никогда не извещал Люсю о дальнейшем ходе этого дела, а она не пыталась навести справки. По уставу исключает из партии только первичная партийная организация на общем собрании, обычно — в присутствии исключаемого, а райком КПСС утверждает это исключение. Исключенный имеет еще право обжаловать решение об исключении в комиссии партийного контроля. Но Люсино дело вряд ли обсуждалось в медучилище. Так или иначе, но фактически она с партией окончательно порвала, и, как они нарушают свой устав, ее уже не касается.

Описанные в этой главе события в своей совокупности ознаменовали наш переход в некое «новое состояние». В полной мере это проявилось в следующем, 1973 году.

ГЛАВА 30

Встречи с И. Г. Петровским. Выезд Чалидзе.
Статья Чаковского.
Интервью Улле Стенхольму.
Статья Корнилова. Алеша не принят в МГУ

Я решил обратиться к ректору Московского университета академику Ивану Георгиевичу Петровскому с просьбой о восстановлении Тани. Я встречался с И. Г. Петровским и раньше. До 1961 года, пока в Академии не было проведено разукрупнение Отделений, мы даже были с ним членами одного Физико-математического отделения. Крупный математик, он согласился в начале 50-х годов принять на себя трудную должность ректора, рассматривая это как выполнение некоторого общественного долга — перед молодежью и преподавателями. В те мрачные времена он несомненно был человеком, проявлявшим большую смелость и настойчивость защищая преподавателей и студентов. А защищать было от чего. Честных и талантливых преподавателей — от обвинений в низкопоклонстве перед Западом. Евреев — от неприкрытого антисемитизма. Незадолго до назначения Петровского целая группа студентов однажды не явилась на занятия — около 30

человек были арестованы в одну ночь. Это была санкционированная свыше акция, и тут уж никто не мог помочь — ни предшественник Петровского (не помню, кто), ни он сам. Кажется, в группе арестованных был Константин Богатырев, о котором я пишу дальше. Университет стал смыслом жизни Петровского. Хотя, я уверен, ему часто приходилось очень трудно (даже на родном математическом факультете была очень сильная оппозиция, готовая в любой момент свалить его), кое-что сделать ему удалось.

Предыдущая, перед 1972 годом, встреча с Петровским была в 1967 году. Трагически погиб Саша Цукерман — сын моего сослуживца на объекте В. А. Цукермана. Молодой человек сдавал устный приемный экзамен по математике у профессора Моденова, убежденного и принципиального антисемита. Моденов был сотрудником какого-то другого факультета, но его специально вводили в приемные комиссии, так как он очень умело и с удовольствием, со вкусом топил евреев-абитуриентов, а эта задача всегда была актуальной. С Сашей Цукерманом он проделал обычный трюк — дал ему задачи, которые очень трудно решить в обстановке устного экзамена, перебивал и сбивал с толку, а когда Саша все же нащупал — довольно быстро — правильный ответ, объявил, что экзамен окончен, и поставил неудовлетворительную оценку. Саша пришел домой с нестерпимой головной болью, у него обострилось

тяжелое ментальное заболевание, и через неделю он умер. Хотя, вероятно, трагический исход был только ускорен событиями экзамена, все происшедшее вызвало сильнейшее возмущение, тем более что произвол и несправедливость на приемных экзаменах были массовым явлением. Я сказал Петровскому о Саше (он уже знал это) и высказал предложение, которое мне подсказал отец погибшего мальчика, — что в реальных современных условиях единственно правильной формой приемных экзаменов, при которой все экзаменуемые находятся в равном положении, являются только письменные экзамены; устные экзамены должны быть отменены или заменены письменными. Петровский ответил, что он тоже так считает и прилагает все возможные усилия через министерство и ЦК, чтобы добиться изменений существующих правил. Я думаю, он говорил правду. Но ни ему, ни кому-либо не удалось добиться даже незначительных результатов. Петровский уже тогда выглядел усталым и больным — у него была болезнь сердца.

Мои переговоры с Петровским в 1972 году были очень трудными для обоих. К сожалению, он не был при этом до конца искренен со мной, ни разу не сказал, что не может ничего сделать в этом деле, хотя понимает, что Таня отчислена несправедливо. Если бы он так сказал, это осталось бы между нами, а я бы знал, что надо делать и на что рассчитывать. Но вместо этого он как

бы пытался убедить меня, что с Таней поступили согласно общим для всех правилам (что для меня выглядело явным лицемерием), и в то же время намекал, что, может быть, ему удастся что-то сделать. Это заставляло меня приходиться к нему вновь и вновь, все больше при этом нервничая. Во время предпоследней встречи он вызвал для подкрепления декана факультета журналистики профессора Засурского; тот был откровенней и сказал, что Таниного отчисления требовали арабские студенты (у них на курсе был только один африканец, с которым Таня дружила, — арабов не было). Это уже было косвенным указанием на истинную причину — на демонстрацию. На последнюю встречу Петровский вызвал секретаря парторганизации и проректора, человека явно гебистского вида. Разговаривая с ними — а они возмутительно лицемерили и одновременно (косвенно) угрожали, — я был резче, чем я обычно себя держу, и два раза ударил кулаком по столу. Петровский фактически не принимал участия в разговоре и грустно, молча сидел в конце стола. Встреча была опять же безрезультатной. В этот же день Иван Георгиевич Петровский скоропостижно умер. Мне после рассказали обстоятельства этой смерти. Он поехал в ЦК на встречу с начальником отдела науки Трапезниковым (по дороге он подвез на своей персональной машине одну из сотрудниц университета, шутил). На встрече решался вопрос о передаче МГУ от провинциальных универси-

тетов каких-то функций по подготовке аспирантов. Петровский придавал этому большое значение, написал специальную докладную. С. П. Трапезников, однако, отнесся к его докладной отрицательно и при встрече высказал свое мнение, быть может, как это часто бывает, в иронической форме. Петровский очень разнервничался, вышел во двор ЦК, там упал и умер. Вскоре в его смерти обвинили меня. Я получил сначала письмо от одной секретарши Петровского с этим обвинением, потом узнал о выступлении академика Понтрягина (тоже математика) на Президиуме Академии, в котором он требовал привлечь меня к ответственности за мои действия, повлекшие якобы смерть Петровского (стучал кулаком и т. д.). Затем я получил письмо от другого математика, известного тополога, академика П. С. Александрова с теми же обвинениями. Я ответил ему подробным письмом, в котором изложил все обстоятельства, в том числе дело Тани. Секретарше (к сожалению, я забыл ее фамилию) я не смог ответить — письмо было, насколько я помню, без обратного адреса. Естественно, вся эта история была мне очень неприятна. А Ивана Георгиевича мне было искренне жаль, я невольно чувствовал к нему определенную симпатию, несмотря на некоторую двойственность его поведения в деле Тани.

Во время предпоследней встречи, после ухода декана Таниного факультета, Иван Георгиевич, явно желая

разрядить атмосферу, начал говорить со мной на другие темы. Он рассказал, что устроил (или пытался устроить) на механико-математический факультет Г. И. Баренблата (о нем я упоминал выше в связи с делом его отца), преодолевая бешеное сопротивление факультетских антисемитов. Я тоже решил обратиться к нему с другими делами. И. Г. был депутатом Верховного Совета СССР и членом Президиума Верховного Совета. Президиум формально является высшим правительственным органом в стране в период между съездами Верховного Совета, его Указы имеют силу закона, он может не только дополнять, но и отменять все остальные законы, а также обладает правом помилования. Правда, И. Г. намекал, что роль «рядовых» членов Президиума в основном чисто формальная — все документы готовит аппарат, а они их только утверждают. Но тем не менее они что-то при желании сделать могут.

Я сказал И. Г. об усилении политических репрессий на Украине (он заметил, что еще со времени Петлюры — когда он был свидетелем еврейских погромов — настороженно относится к украинским националистам). Я, однако, высказал мнение, что сейчас особенно сильный удар наносится по демократическому крылу инакомыслящих, украинцев и неукраинцев по национальности, и попросил его использовать свое влияние в деле Семена Глузмана, о котором я писал выше. И. Г. охотно согласился и сказал, что он попросит затребо-

вать дело Глузмана с Украины. Во время беседы он, лукаво улыбаясь, наливал себе из термоса стаканчик за стаканчиком черный кофе; лукавство же его относилось к тому, что врачи запрещали ему пить много кофе, и секретарши, относившиеся к нему очень тепло, следили за этим, но он их обводил вокруг пальца. Я не знаю, удалось ли Петровскому что-либо предпринять по делу Глузмана. Скорей всего — нет.

Ко времени моих встреч с Петровским Таня уже работала в книжном магазине, но это не могло помочь в хлопотах по ее восстановлению, т. к. это не была работа по специальности. Оформить же ее на должность в какую-либо редакцию не удалось (в одном случае мы знаем о прямом вмешательстве КГБ — телефонном звонке). Впрочем, все это уже не имело особого значения — был бы найден другой предлог. Лишь через два года Таня была все же восстановлена в университете с помощью сменившего Петровского на посту ректора академика Р. В. Хохлова.

* * *

Другим волнующим меня вопросом, конечно менее острым, но тоже существенным, в те же последние месяцы 1972 года был отъезд из СССР Валерия Чалидзе. А. И. Солженицын пишет в своей книге «Бодался теленок с дубом», что это был прямой сговор с КГБ. Я это считаю совершенно исключенным. Однако в этом деле

было много неясностей, и Чалидзе явно не был со мною полностью откровенен. Это вызвало горечь в наших отношениях. Формально он выезжал по приглашению Международной лиги прав человека при ООН для чтения юридических лекций. Конечно, согласие на такую поездку могло быть получено только потому, что КГБ был заинтересован в устранении Чалидзе, игравшего важную роль в правозащитном движении. Он же, со своей стороны, хотел уехать, т. к. жизнь его стала слишком трудной в личном и общественном планах. Работы он лишился и терпел вместе с женой большие материальные трудности. Но все это вовсе еще не означает «прямого сговора»; по существу, очень многие отъезды происходят по этой же схеме. Мне было известно также, что существовал некий молодой человек, в прошлом несомненный сотрудник КГБ, который рассказывал Чалидзе в 1971 году некоторые, не очень, правда, существенные подробности по делу Буковского и еще что-то в этом роде; в начале 1972 года Чалидзе также встречался с ним. Возможно, слухи об этих контактах, которые я не одобрял, дошли как-то до А. И. Солженицына и усилили его неприязнь к Чалидзе, начало которой, вероятно, было положено историей с «член-корреспондентством» в Комитете. В конце ноября Чалидзе уехал — меньше чем через две недели он по постановлению Президиума Верховного Совета был лишен гражданства СССР. Такой исход легко

можно было предполагать, и одним из пунктов наших расхождений с Валерием накануне его отъезда было его нежелание согласиться со мной в этом, что я рассматривал как неоткровенность. В январе я написал резкое заявление с осуждением Чалидзе. Я думаю теперь, что это мое действие было неправильным (я в 1975 году написал об этом в книге «О стране и мире»). Текст заявления я отдал А. И. Солженицыну для опубликования, т. к. нам с Люсей казалось тогда, что заявление прошло незамеченным, в частности его не было на радио (вместе с ней мы зашли к Солженицыну в Жуковке). Учитывая (выявившееся, правда, полностью позднее) различие наших — моей и А. И. — позиций в вопросе об эмиграции, это, наверное, тоже было не совсем удачным действием.

Очень скоро по приезде в США Чалидзе (уже лишенный гражданства) нашел себе достойное и важное дело (которым он и занимается почти 10 лет). Это — издательство «Хроника-Пресс». Первоначальная задача издательства была заполнить по мере возможности ту брешь, которая образовалась из-за временного прекращения издания в СССР «Хроники текущих событий». В дальнейшем издательская деятельность «Хроники-Пресс» очень расширилась; сейчас оно является, вероятно, самым «внепартийным» издательством за рубежом на русском языке. Что касается «Хроники текущих событий», то эта задача стала менее актуальной,

т. к. в СССР после некоторого перерыва возобновилось ее издание. «Хроника-Пресс» — независимое в лучшем смысле этого слова издательство. Заслугу его создания вместе с Чалидзе в огромной мере делит замечательный человек Эд Клайн, большой защитник прав человека, американский бизнесмен, идеалист и меценат.

За два месяца до отъезда Чалидзе вышел из Комитета прав человека. А в декабре из Комитета без объяснения мотивов вышел также Андрей Твердохлебов. Причиной, видимо, было его несогласие с моим отношением к отъезду Чалидзе, а быть может, и другие какие-либо причины. Новым членом Комитета стал Григорий Сергеевич Подъяпольский, физик, геофизик, давний активный участник правозащитного движения.

В 1973 и 1974 годах заседания Комитета происходили регулярно у нас на Чкаловской квартире с тремя участниками — Шафаревич, Подъяпольский и я. Мы составили несколько неплохих документов и опубликовали их. Но все мы чувствовали, что форма Комитета изжила себя. Фактически мы составляли «обычные» правозащитные документы, и то, что они назывались документами Комитета, мало что к ним добавляло. Встречи наши стали постепенно приобретать в основном взаимно-информационный характер. «Хозяйкой» на этих встречах была, конечно, Люся, но вместе с Гришей всегда приходила его жена Маша (Мария Гавриловна Петренко-Подъяпольская) и принимала горячее

участие во всех хозяйственных мероприятиях. Мы с Люсей (и Руфь Григорьевна) скоро очень подружились с обоими — Гришей и Машей. А что касается Комитета, то постепенно мы стали все реже и реже вспоминать о его существовании. Еще раньше отошел от нас Шафаревич.

* * *

Мы с Люсей понимали, что одним из способов решить проблему образования детей является их отъезд из страны. Но мысль о таком выезде, означавшем неминуемую разлуку, почти без надежды увидеть их когда-либо, и многое другое (что мы имеем сейчас), — была слишком трудной для нас. Мы не могли решиться на этот шаг — практически необратимый в условиях нашей страны — не испробовав возможности временной поездки для ученья (как мы мечтали — на несколько лет, в течение которых, может быть, что-либо изменится в ситуации). Мы почти не верили в такую возможность, но надо было все же испробовать. К этому времени относятся слова пятнадцатилетнего Алеши: «Я больше психологически готов к Мордовии, чем к эмиграции». Надо знать немногословного, точного в выражениях и несколько скептического, не склонного к позе Алешу, чтобы по достоинству оценить эти слова, всю их серьезность. По совету моего друга и сослуживца из ФИАНа Е. Л. Фейнберга я с его помощью устано-

вил связь с профессором Массачусетского технологического института Виктором Вейскопфом (МТИ, Бостон, США) — с тем самым, которого я видел у Игоря Евгеньевича летом 1970 года. Весной 1973 года пришел первый вызов Тане, Ефрему и Алеше из МТИ, подписанный президентом МТИ Джеромом Визнером; потом эти вызовы повторялись неоднократно, в том числе заверенные в Госдепартаменте США и с подписью и печатью лично Киссинджера. Начались длительные — и бесплодные — попытки добиться поездки детей.

Весной 1973 года произошло еще одно событие, которому я не придавал тогда особого значения; впоследствии оно получило широкую огласку и вызвало многочисленные отклики. Мне позвонили из США представители университета в Принстоне (тогда еще были возможны разговоры с границей) с предложением приехать на сезон 1973—1974 года в Принстон для чтения лекций по теоретической физике (приглашение, как я думаю, было по инициативе профессора Уилера, который, вероятно, помнил меня по Тбилиси). Я решил, что во всяком случае я ничего не теряю не отказываясь с ходу от их предложения — отказаться от Принстона, где провел свои последние годы Эйнштейн, было бы бестактностью. Я при этом еще в гораздо меньшей степени, чем для детей, рассчитывал на возможность такой поездки (в силу своей засекреченности до 1968 года) — настолько, что ни разу всерьез не задумался,

что именно я там буду рассказывать (на самом деле, конечно, следовало бы рассказать мою работу 1967 года о барионной асимметрии Вселенной; эта работа тогда практически была неизвестна за рубежом, и мое сообщение могло бы повлиять на ход научного процесса, а так — увы...). Вообще говоря, в то время уже многие из моих коллег стали ездить за рубеж для участия в семинарах и конференциях, чтения курсов лекций и т. п. (в их числе некоторые бывшие на объекте), так что ничего экстраординарного формально в моей поездке не было бы. Но, повторяю, я считал ее чрезвычайно маловероятной. Вместе с тем, я не мог тогда полностью исключить такую возможность. Жизненный опыт учит, что иногда происходят самые неожиданные вещи. Я при этом был *уверен*, что *совершенно исключено*, чтобы меня выпустили с тем, чтобы лишить гражданства, как Чалидзе — ведь при этом власти лишатся контроля надо мной и могут считать, что я почувствую себя свободным от обязательств хранить государственную тайну (на самом деле, возможностей нарушить эти обязательства у меня, пока я в СССР, ничуть не меньше, но я не собирался и не собираюсь этого делать!). Приведенное рассуждение я имел в уме и осенью 1973 года, и потом (в связи с Нобелевской церемонией и приглашением меня на Конгресс АФТ—КПП в 1977 году).

Через несколько месяцев после телефонного разговора пришло официальное приглашение в Принстон.

В феврале 1973 года в «Литературной газете» появилась статья ее главного редактора Александра Чаковского. Статья разбирала мою работу пятилетней давности — «Размышления о прогрессе...». Известно, что, хотя на первой странице «Литературной газеты» стоит, что это орган Союза советских писателей, фактически она часто используется как рупор ЦК КПСС, а сам Чаковский, говорят, пользуется доверием Брежнева и даже якобы — один из авторов его «Воспоминаний». В своей статье Чаковский характеризовал меня как наивного и тщеславного человека, «кокотливо размахивающего оливковой ветвью» и пропагандирующего утопические и поэтому вредные идеи так называемой конвергенции. Общий тон статьи — скорее снисходительный к моему невежеству в общественных вопросах, чем «клепящий». Занялся, дескать, не своим делом и напутал в простых вещах. Таким образом, «заговор молчания» по отношению ко мне был прерван. Почему это было сделано именно тогда, в 1973 году, не знаю.

В конце июня или начале июля 1973 года я дал свое второе интервью для иностранной прессы. Оно оказалось очень важным — как по существу, т. к. касалось принципиальных вопросов, так и по своему воздействию. Интервью получило широкое распространение, вызвало острую реакцию КГБ и оказало большое влияние на мою судьбу. Это интервью я дал корреспонденту шведского радио и телевидения Улле Стенхольму. Так

же, как с Джемем Аксельбанком, у нас установились с ним к этому времени теплые, дружеские отношения. Улле за некоторое время перед этим (я думаю, за два месяца) просил об интервью на общие темы, дал написанные на бумажке свои примерные вопросы, чтобы я мог к ним подготовиться (это сильно мне помогло). Наконец я решился. Мы пришли с ним в нашу с Люсей комнату. Улле сел на кровать напротив меня (а я в кресло), достал магнитофон и поднес микрофон к моему рту.

— Что вы думаете о ...?

Интервью началось. Вопросы касались общей оценки природы советского строя, возможностей его изменения, возможного влияния на это диссидентов, отношения к ним властей, положения с правами человека. Я впервые говорил перед микрофоном на общие темы, это было трудно, но в то же время отсутствие боязни впасть в самоповторение расковывало меня. Мне кажется, интервью получилось¹. Через неделю оно было передано зарубежными радиостанциями и в течение следующих двух недель неоднократно повторялось. А потом грянул гром! Вновь была использована «Литературная газета». В ней появилась статья ее обозревателя Юрия Корнилова (сотрудника АПН — Агентства печати «Новости» — опять-таки якобы независимого, а на самом деле одного из главных орудий КГБ). В этой статье особенно резко осуждалась (без точного цитирования, так что было не совсем ясно, о чем идет речь)

моя характеристика построенного в СССР общества как государственного капитализма с предельной партийно-государственной монополией в области экономики, идеологии и культуры. Острота реакции показывала, что я «попал в точку». В статье Корнилова содержались ссылки на австрийскую коммунистическую газету «Фольксштимме»². В следующие дни в «Литературной газете» и «Известиях» и в других советских газетах были перепечатаны и другие «антисахаровские» заметки (много потом выяснилось, что началом всей этой эпидемии перепечаток явилась статья того же Корнилова, так что он в «Литературке» цитировал самого себя). Руфь Григорьевна по воспоминаниям 30-х годов опасалась, что вслед за газетной кампанией³ может последовать что-либо более существенное. Действительно, вскоре я получил повестку к зам. Генерального прокурора СССР Малярову (к тому самому, который звонил за 6 лет до этого по делу Даниэля). Но до этого произошло еще одно очень важное для нас и печальное событие — Алешу не приняли в университет.

Сын Люси Алеша учился с 8 класса во 2-й математической школе, с увлечением и вполне успешно. Нравилась ему и интеллектуальная и свободная обстановка там, сильно отличавшаяся от того, с чем встречаются дети в большинстве школ, в том числе и он до этого (в математическую школу он поступил после того, как

оказался в числе призеров математической олимпиады; из трех матшкол пришли приглашения — 2-я была выбрана как более близкая к дому).

Советская школа — это тема особого и очень серьезного разговора (хотя, возможно, она в каких-то отношениях и лучше общих школ в некоторых других странах). Вызывает тревогу положение учителей — низкая зарплата, приниженность, непомерная нагрузка. Бедой советской школы являются огромные программы, которые невозможно сколько-нибудь серьезно выполнить, приводящие к перегрузке учащихся. Конечно, еще хуже противоположная крайность — отсутствие высоких интеллектуальных требований к учащимся; фактически именно это часто и получается, особенно в сельских школах. Переполненные душные классы, другие неудобства и бедность в большинстве школ. Социальные проблемы современного советского общества, спроецировавшиеся через семью на детей — в частности, такие как национальная рознь, доходящая до расизма, алкоголизм, цинизм и общая разочарованность — все это чрезвычайно серьезно; ведь ничто так легко не может покалечить человека, как плохая школа (и плохая семья, конечно). 2-я математическая школа, в которой учился Алеша, явилась своего рода исключением. И преподаватели, и общая атмосфера там были другие. Правда, к концу Алешиного пребывания и там очень многое стало меняться в худшую сторону. А сей-

час 2-ю математическую школу и вовсе «прикрыли», очевидно как несоответствующую «духу времени» — яркая черта современного периода (там теперь школа со спортивным уклоном). За несколько месяцев до окончания школы на Алешу начали оказывать все более сильное давление (директор, завуч) — требуя, чтобы он как-то отмежевался от меня. Требовали обязательного вступления в комсомол как некоего подтверждения такого отмежевания. Тут я должен рассказать об эпизоде, произошедшем за год до этого.

В классе Алеша проводился (как и повсеместно по стране) так называемый «ленинский урок». Сам факт присутствия на таком уроке автоматически означал вступление в комсомол. Я сказал тогда Алеше, что подобный огульный автоматический прием⁴ не накладывает никаких моральных обязательств, и посоветовал ему не ломать себе жизнь из-за такого чисто формального момента и пойти на урок. Алеша ответил:

— Андрей Дмитриевич, вы позволяете себе быть честным, почему вы мне советуете иное?

(Через несколько лет то же самое Люсе и мне по другому поводу сказал Ефрем. В обоих случаях мне было очень стыдно.) В тот же год в комсомол был принят мой сын Дима. При Алешиней прямоте и стойкости единственным выходом было уйти из математической школы. Поэтому кончал Алеша в своей старой, «обычной» школе. Он кончил первым в классе и подал документы на по-

ступление на математический факультет Московского университета (куда подали также многие его бывшие одноклассники из матшколы). Вступительные экзамены начались в июле, одновременно с появлением статьи в «Литературке» обо мне. Несомненно, члены приемной комиссии были осведомлены, кто такой Алеша, и знали о его отношении ко мне. Алеша сразу стал жертвой сознательной дискриминации, что было для него в особенности большим потрясением — на пороге университета, который ощущался как что-то достойное уважения и даже восхищения. Уже на устном экзамене по математике Алешу «поймали». Согласно установленному порядку, абитуриенту после устного экзамена выдается на руки его письменная работа, и он имеет возможность оспорить оценку проверявших ее. Алеша же заметил ошибку у себя, пропущенную при проверке, и указал по свойственной ему прямоте экзаменаторам, не понимая еще их враждебности к нему. Экзаменаторы немедленно ухватились за это и снизили ему отметку по устному экзамену. Несмотря на эти ухищрения, Алеша набирал проходной балл и на предпоследнем экзамене — письменной литературе — ему достаточно было получить оценку 3. Алеше поставили неудовлетворительную оценку. В нарушение обычного порядка его работа проверялась дважды: при первой проверке была выставлена оценка 4, при второй — 2. Обычно вторая проверка делается по просьбе абитуриента, если при первой про-

верке выставлена неудовлетворительная оценка. Впоследствии мы от родителей будущей (первой) жены Алеши узнали — а им сказали по знакомству — что проверяющая получила прямой приказ выставить неудовлетворительную оценку (все равно этот мальчик не будет принят, а вы лишитесь работы). Она не спала ночь, но была вынуждена подчиниться. В работе Алеши вторая проверяющая якобы нашла много ошибок в стилистике — во всех случаях это были придирки; кроме того, при подсчете итогового числа ошибок имел место прямой подлог. Но оспаривать это было невозможно — нам работы на руки не дали!

В том же году Алеша поступил на математический факультет Педагогического института. Уровень преподавания и студентов там был гораздо ниже. Но и этот вуз Алеше закончить не удалось. В университет же поступила его будущая жена. Алешина история поступления в университет не является исключением для этого и большинства других сколько-нибудь престижных и хороших вузов. Много уже писалось о дискриминации по отношению к абитуриентам-евреям — и это действительно чудовищная несправедливость, калечащая жизнь ежегодно тысячам юношей и девушек, часто очень способных. Существуют и другие формы дискриминации — по отношению к детям диссидентов, к верующим; в московских вузах — узаконенная дискриминация по отношению к иногородним

жителям и к абитуриентам из деревни. Как осуществляется такая дискриминация? Есть два простых технических приема:

1) Хотя письменные работы пишутся под условными шифрами, но связь между номером и фамилией фактически известна приемной комиссии. В Московском университете одна из цифр номера определяла, является ли его обладатель «нежелательным».

2) В Московском университете абитуриенты разделялись для экзаменов на группы. Зачисление в одну из них уже заранее предопределяло, что всех ее членов будут «топить» на устных экзаменах.

Когда один молодой человек, еврей, увидел собравшихся перед экзаменом членов своей группы, он воскликнул:

— Это что, нас прямо отсюда в Освенцим повезут?

Так как основной произвол возможен при устных экзаменах, роль письменных экзаменов искусственно преуменьшается (вопреки обещанию Петровского, о котором я рассказал выше, сделать их главными или даже единственными). Один из приемов — давать задачи двух типов: половина задач — чрезвычайно легкие, которые могут решить все абитуриенты, за исключением совершенно неподготовленных, и половина задач — чрезвычайно трудные, которые не может решить никто из абитуриентов, какими бы способными они ни были. Тем самым все абитуриенты, кроме совсем слабых,

решают одно и то же число задач и получают тройку. Что же касается задач, которые должны решить за 15 минут на устных экзаменах «обреченные» абитуриенты, то я на протяжении ряда лет по тому или иному случаю пытался сам решить их. Каждый раз у меня уходило на это около двух часов (это при несравненно большем опыте и знаниях, чем у бывшего десятиклассника), а иногда я вообще не был в состоянии с ними справиться. Одна из Алешиных одноклассниц, увидев всю эту неприглядную картину, воскликнула с непосредственностью молодости:

— Ребята, это невозможно, надо что-то делать. (Сама она русская и как раз поступила.)

Дискриминация евреев при поступлении в вузы несомненно есть часть сознательной политики постепенного вытеснения их из высшей интеллектуальной элиты страны (а не только результат личного антисемитизма кого-то в приемных комиссиях, в отделах кадров, в руководстве институтами и т. п.). Из года в год снижается доля евреев, избираемых в Академию наук. Говорят, президента Академии наук СССР Келдыша спросили в ЦК, когда в Академии не будет евреев, и он ответил, что для решения этой задачи потребуется около 20 лет. Следует заметить, что в руководимых Келдышем институтах он вовсе не стремился уменьшить еврейскую прослойку и вряд ли вообще лично был антисемитом. Я еще раз напоминаю, что дискриминация евреев —

это важная часть широкой и целенаправленной политики, отражающей общий антиинтеллектуализм и кастовую структуру современного советского общества. Честных людей, конечно, вся эта жестокая и пагубная для будущего дискриминационная политика очень волнует. Убедительные разоблачительные материалы о дискриминации евреев при поступлении в МГУ неоднократно появлялись в самиздате. Недавно был арестован один из преподавателей МГУ. Он, по-видимому, обвинен в составлении некоторых из этих материалов.

ГЛАВА 31

Вызов к Малярову. Пресс-конференция
21 августа 1973 года. Газетная кампания.
Выступления Турчина, Шрагина и Литвинова.
Статья Чуковской, статья Солженицына.
Заявление Максимова, Галича и Сахарова
в защиту Пабло Неруды.
Заявления Люси и Барабанова

16 августа я отправился по повестке к Малярову, заместителю Генерального прокурора СССР в Прокуратуру СССР (Пушкинская¹, 15; мне потом придется еще два раза оказаться в этом здании). Я поехал на академической машине; Люся сопровождала меня и, волнуясь, ждала, пока я разговаривал. Когда я вышел, живой и здоровый, не арестованный, она попросила меня ничего ей не говорить, а приехав домой, сразу, по памяти, записать весь разговор. (У Люси уже был такой опыт во время процесса над «самолетчиками».) Это был хороший совет. Моя запись была опубликована в «Нью-Йорк таймс» (с иллюстрацией, изображающей рубку голов) и, по-видимому, в некоторых других зарубежных изданиях². Я решил также сделать в ответ на предъявленные мне обвинения

большую пресс-конференцию; одной из ее целей было показать, что я не собираюсь ничего менять в своих действиях, которые считаю правильными и нужными — в том числе, буду продолжать встречаться с иностранными корреспондентами: Маляров пытался запугать меня, что это может якобы рассматриваться как нарушение принципов сохранения государственной тайны. Я хотел также продолжить ту линию, которую я начал в интервью Стенхольму — освещение общих вопросов и защиту репрессированных. Это была моя первая пресс-конференция — она привлекла большое внимание.

На конференцию в нашу маленькую комнату пришло около 30 человек — корреспонденты всех западных агентств и многих крупных газет, большинство я видел впервые, все с блокнотиками и магнитофонами, многие также с фотоаппаратами. Я начал пресс-конференцию с того, что зачитал заранее подготовленное заявление о вызове к Малярову и моем отношении к этому вызову и раздал корреспондентам это заявление и запись беседы. Потом я отвечал на вопросы. Их было много. Я отвечал на редкость для меня легко и свободно и, как мне кажется, довольно удачно. (Большей частью «устный жанр» очень плохо удается мне.) Главными вопросами были: как я отношусь к разрядке; как я оцениваю перспективы движения инакомыслящих и перспективы демократических

изменений в СССР; как я оцениваю последние репрессии инакомыслящих. Говоря о разрядке, я сказал, что очень высоко ценю разрядку, т. к. она уменьшает опасность военной катастрофы, но, вступая в эти новые и более сложные отношения с СССР, Запад должен проявлять осторожность, единство и твердость. СССР — закрытое, тоталитарное общество, «страна под маской», как я сымпровизировал, и его действия могут быть неожиданными и чрезвычайно опасными. Запад должен избегать действий, которые привели бы к получению СССР военного превосходства. Запад должен также планомерно добиваться уменьшения закрытости советского общества. Только при выполнении этих условий разрядка будет способствовать международной безопасности. Отвечая на другие вопросы, я, насколько помню, подчеркнул антипрагматический характер движения инакомыслящих и большую консервативность, устойчивость советской системы, в которой мало оснований ждать быстрых изменений (во всяком случае, я, в разных вариантах, проводил эти мысли на многих пресс-конференциях в последующие годы). Как только я объявил, что пресс-конференция закончена, корреспонденты, почти не прощаясь, бегом сплошным потоком устремились вниз по лестнице к машинам — они торопились первыми попасть к телетайпам и телефонам. Уже через два часа все западные радиостанции передавали сооб-

щения своих московских корреспондентов о пресс-конференции Сахарова. На другой день более подробные сообщения были в газетах и вновь передавались по радио. Из всех моих пресс-конференций эта, первая, вероятно, получила наибольший отклик.

Сразу после пресс-конференции мы с Люсей и Алешей выехали на девять дней на юг — мы хотели показать Алеше Армению, потом поехать к морю, покупаться и отдохнуть и вернуться к началу занятий в пединституте. Через несколько дней Алеша позвонил из номера гостиницы своей будущей жене Оле Левшиной, и та, волнуясь, рассказала ему, что в газетах опубликовано письмо академиков с осуждением Сахарова. Когда Алеша повесил трубку, родители Оли спросили ее: зачем ты все это ему рассказываешь? какое отношение Алеша имеет к Сахарову?

— Он его приемный сын.

Родители были крайне напуганы и раздосадованы. Но Оля упорная девушка...

Утром Люся достала газету, и мы своими глазами увидели печально знаменитое письмо 40 академиков во главе с президентом Келдышем³. Потом мне рассказывали разные истории, касавшиеся сбора подписей под этим письмом. Некоторые из подписавших объясняли свою подпись тем, что они считали (им «разъяснили»), что подобное письмо — единственный способ спасти меня от ареста. Капица, как я слышал, отказался под-

писать. Зельдовичу не предлагали⁴. Академик Александров (будущий президент) уклонился от подписи. Когда ему позвонили домой с предложением присоединиться к письму, кто-то из домашних сказал:

— Анатолий Петрович не может подойти, у него запой.

Причина вполне в народном духе. Но, может, это байка.

Некоторые из подписавших тяжело переживали свой поступок, у некоторых возник тяжелый конфликт с детьми.

Мы поняли, что дело очень серьезно, но решили не менять своих планов. К слову сказать, у нас не было трудностей с билетами — книжка Героя Социалистического Труда еще вполне действовала вплоть до января 1980 года. То, что пишет об этом Солженицын, неверно фактически и психологически. Из Еревана мы перебрались в Батуми; там на пляже услышали, как соседи обсуждают вслух что-то про отщепенца Сахарова. В последующие дни мы перебрались под Батуми, и там Алеша учил меня плавать.

С письма академиков началась знаменитая «газетная кампания» — оно было для нее пусковым сигналом. В каждом номере каждой центральной газеты появилась специальная полоса, на которой печатались письма трудящихся — коллективные (от научно-исследовательских институтов, союзов писателей, художников

и т. п., от учреждений и предприятий) и индивидуальные (от отдельных представителей интеллигенции — ученых, писателей, врачей, а также от представителей «народа» — ветеранов войны, сталеваров, шахтеров, доярок...). Во многих письмах «осуждался» не только я, но и Солженицын — уже несколько лет он был объектом бешеной ненависти партийной бюрократии и КГБ за его замечательные, необыкновенно важные и правдивые литературные произведения и за острые публицистические выступления. Суть писем: мы (или я один) клеветники, очерняем нашу советскую действительность — право на труд, бесплатную медицину и лучшее в мире образование, а самое главное — мы враги разрядки, а значит, покушаемся на самое важное, завоеванное кровью миллионов погибших — на мир. Именно это тяжелое и коварное обвинение было центральным и во всех последующих кампаниях — оно действительно затрагивает трагически важный вопрос, в котором моя позиция легко могла быть искажена и не понята людьми, верящими в безусловное миролюбие советской внешней политики, бескорыстие братской помощи национально-освободительным движениям, коварство империалистов, окруживших нас со всех сторон своими военными базами. Действительно, если мы — за мир, то чем больше у нас ракет, термоядерных зарядов, снарядов с нервно-паралитическим газом, тем безопасней для нашего народа, а значит — и для всех.

Понять, что это рассуждение так же хорошо действует на противоположной стороне и тем приводится к абсурду, нелегко. Еще труднее человеку, лишенному доступа ко всем источникам информации, кроме советских официозных, понять, что в реальной обстановке непрерывного расширения социалистической зоны влияния (экспансии) ответственность за опасное положение в мире в значительной степени лежит на СССР и его союзниках. Трудно объяснить людям, верящим в безоговорочные преимущества нашего строя, чем опасна закрытость общества, почему нужно добиваться соблюдения гражданских прав, свободы убеждений и информационного обмена, свободы выбора страны проживания... Для того чтобы осознавать недостаточность провозглашаемых нашими руководителями лозунгов мира (даже искренне, как я лично думаю), — нужно иметь некую глобальную и историческую перспективу, которая приобретается людьми лишь постепенно. Мои выступления, как мне кажется, способствуют развитию плюралистического, общемирового подхода в этих кардинальных вопросах и поэтому не мешают, а помогают делу сохранения мира. Хотел бы я на это надеяться!

Я решил, что на газетную кампанию необходимо как-то ответить, и 5 сентября, вскоре после возвращения в Москву, опубликовал письмо (передал его иностранным корреспондентам, и уже на другой день оно

было на радио). 8 и 9 сентября я дал еще две пресс-конференции. На них я передал и разъяснил свое заявление от 5 сентября, мою позицию вообще и много говорил о психиатрических репрессиях, о злоупотреблении галоперидолом и другими нейролептиками (в связи с сообщениями из Ленинградской, Днепропетровской, Казанской, Орловской и других психбольниц). Именно тогда я впервые выдвинул предложение к Международному Красному Кресту — требовать разрешения инспектировать советские лагеря и тюрьмы и, в особенности, специальные психиатрические больницы.

Газетная кампания вызвала очень сильное общественное противодействие — и в СССР, и за рубежом. В первых числах сентября с большим, прекрасно аргументированным, логичным и решительным заявлением в мою поддержку выступил Валентин Турчин. Это выступление дорого ему обошлось: если предыдущие его общественные действия повлекли за собой необходимость перемены места работы — сначала из Обнинска в Отделение прикладной математики, где он с увлечением занимался алгоритмическим языком РЕФАЛ, затем в какую-то исследовательскую группу по проблемам управления, — то на этот раз он полностью и окончательно лишился работы. В последующие годы Турчин жил уроками (и на зарплату жены), принимал активное — хотя и не официальное, не оформленное членством — участие в работе Московской Хельсинкской

группы. Был председателем советской группы Эмнести. После ареста его друга Юрия Орлова в 1977 году и неоднократных угроз ему самому он эмигрировал; на Западе явился одним из инициаторов научного бойкота в защиту Юрия Орлова и других репрессированных.

Что касается самого Орлова, то он тоже выступил в эти дни со статьей, в которой — в форме вопросов — остро ставились важные проблемы нашей жизни: от экономики и научного прогресса до психушек. В статье Орлов энергично выступил также в мою защиту с осуждением газетной кампании. Орлов, как и Турчин, был выгнан с работы. Тогда я впервые познакомился с этим незаурядным — смелым, активным и талантливым — человеком. Орлов происходит из деревенской семьи, рано начал работать (на заводе токарем, потом еще где-то). Но затем ему удалось получить высшее образование и попасть на работу в научно-исследовательский институт. Там, в годы «оттепели» и всеобщего идейного брожения, проявился его общественный темперамент — он выступает на каком-то собрании с речью в духе необходимости восстановления «истинного ленинизма», по существу очень острой. Орлов уволен, вынужден уехать из Москвы в Ереван, где — при поддержке Алиханяна, брата директора того института, откуда его выгнали, — он поступает в Институт физики Армении и в ближайшие годы делает ряд работ по теории ускорителей элементарных частиц, принесших ему заслу-

женную известность в научном мире и звание члена-корреспондента Армянской академии наук. В конце 60-х годов он возвращается в Москву и вновь работает в том же институте, где раньше; именно оттуда его выгнали осенью 1973 года⁵.

В сентябре выступили также Лидия Чуковская, известный писатель и публицист, дочь знаменитого писателя Корнея Чуковского, со статьей «Гнев народа», член Комитета прав человека Игорь Шафаревич с заявлением и Б. Шрагин и П. Литвинов. Александр Исаевич Солженицын в эти дни выступил со своей статьей «Мир и насилие».

Статья Лидии Корнеевны Чуковской представляет собой непосредственную реакцию на газетную кампанию с ее инсценированными выступлениями «людей из народа». Одновременно это изображение моей истинной позиции и характеристика моей личности и роли в обществе — так, как это тогда рисовалось ей. Я бы сказал, что мой образ в этой статье предстает несколько идеализированным и более целеустремленным, единоплавленным, чем это имеет место на самом деле, и в то же время чуть-чуть более наивным и более чистым. Сейчас, когда я сам взялся за перо мемуариста и пытаюсь воспроизвести на бумаге характеристики людей, с которыми меня связала жизнь, я очень остро ощущаю, как трудно найти золотую середину между бездушной, механической сухостью и сентименталь-

ной, слащавой идеализацией. Еще сложнее бывает, когда на эти литературные трудности накладываются некоторые идеологические aberrации. Это тоже, быть может, сказалось в статье Чуковской. (Не случайно одна знающая нас обоих женщина говорит:

— Не понимаю, как Лидия Корнеевна может одновременно любить и тебя, и Александра Исаевича.)

Но эти замечания, которые я тут сделал, не меняют моей самой высокой оценки статьи Лидии Корнеевны Чуковской. Я глубоко благодарен ей. Главная задача, которую Чуковская себе ставила, — противопоставить официальной клевете доброжелательную и по возможности объективную оценку — безусловно выполнена ею. Статья «Гнев народа» — блестящее художественно-публицистическое произведение, стоящее в одном ряду с другими знаменитыми и замечательными выступлениями Л. К. Чуковской, такими как «Не казнь, но мысль. Но слово». Силу и действенность статьи Чуковской по достоинству оценили ее коллеги-писатели (верней, антиколлеги-антиписатели) — она была исключена из Союза писателей (конечно, не только за эту статью, а за всю ее общественно-публицистическую деятельность, за связь с Солженицыным и Сахаровым). Мы с Люсей близко познакомились и подружились с Лидией Корнеевной в эти годы, и, хотя далеко не во всем с ней соглашаемся, а Лидия Корнеевна не все принимает в нашей позиции и действиях, это никак не влияет на то глубокое

взаимное уважение и дружбу, которые нас связывают. В одном из писем ко мне в Горький Лидия Корнеевна привела слова глубоко чтимого ею Герцена: «Труд — наша молитва». Эти слова могли бы служить девизом всей ее подвижнической — во имя человека и культуры — жизни.

Статья Солженицына «Мир и насилие», как А. И. пишет в «Теленке», готовилась еще задолго до событий 1973 года — как дополнение к Нобелевской лекции; главной целью ее было показать Западу глубину и масштабы государственного насилия в СССР. В сентябре 1973 года Солженицын дополнил ее предложением о присуждении мне Нобелевской премии Мира — как борцу против этого насилия. Он ознакомил меня со своей статьей уже после того, как она была передана для публикации. Поэтому я не мог, конечно, просить что-либо менять в ней, да мне было бы и очень трудно это делать — я не люблю стеснять свободу кого-либо, а в данном случае А. И. вряд ли бы прислушался к моим возражениям; к тому же я не мог тогда ясно их сформулировать — это были скорее смутные ощущения како-го-то утрирования, перекоса оценок — при общем восхищении силой мысли и чувства, верности в главном. Статья Солженицына еще подлила масла в огонь, пылавший и до того в полнеба. Необычайно сильна была, начиная с моей пресс-конференции и особенно после письма 40 академиков и газетной кампании, реакция Запада. Я не имею в своем распоряжении газет и запи-

сей радиопередач того времени и не могу поэтому дать документированное описание. Я помню общее впечатление лавины заявлений — канцлера Австрии, шведского министра иностранных дел, бывшего посла Великобритании, писателя Гюнтера Грасса (я вспомнил о них с помощью «Теленка») и многих, многих других. Особенно важным было письмо президента Национальной академии США (за два года до этого я был избран ее иностранным членом) доктора Филиппа Хандлера, адресованное президенту АН СССР Келдышу. В этом письме Хандлер резко осуждает нападки на меня как недостойные и предупреждает, что

«...если преследования Сахарова будут продолжаться, американским ученым будет трудно выполнять обязательства правительству по сотрудничеству с СССР».

В «Известиях» в середине сентября был напечатан ответ Келдыша (о содержании письма Хандлера сообщалось в кратком изложении)⁶. Келдыш повторял инсинуации письма сорока. Одновременно он заверял, что

«...Сахаров никаким притеснениям не подвергался и не подвергается».

Кампания писем в прессе внезапно прекратилась 8 или 9 сентября, но вскоре, уже более вяло, возобнови-

лась с использованием совместного письма Галича, Максимова и моего в защиту чилийского поэта и коммуниста Пабло Неруды, находившегося под домашним арестом после переворота Пиночета, смертельно больного. Письмо имело своей целью как-то смягчить трагическую обстановку в этой стране и отражало наше искреннее уважение к Неруде и беспокойство за его судьбу. Письмо было составлено в обычных вежливых выражениях со ссылкой на «объявленную вами (т. е. новой администрацией Чили) эпоху возрождения и консолидации Чили». По контексту было ясно, что авторы письма приводили заверения новой администрации для формального подкрепления своей просьбы и в качестве формулы вежливости, не присоединяясь к этим заверениям по существу и не давая своей оценки положения в Чили и намерений администрации. Однако в советской и просоветской прессе приведенные слова письма недобросовестно цитировались вне контекста как якобы доказательство того, что я поддерживаю и восхваляю «кровавый режим Пиночета». Это нечестное обвинение широко использовалось в 1973 году и много потом, вплоть до самого последнего времени, — очевидно, по отсутствию аргументов для дискуссии со мной по существу. О Галиче и Максимове в советской прессе вообще не пишут; цель — опорочить меня. Вскоре после появления в советской прессе статей о моей поддержке Пиночета в нашей квартире раздался звонок (телефон тогда еще не был выключен).

— Говорят из Мадрида, по поручению новой администрации Чили. Администрация выражает вам благодарность за поддержку.

Я ответил:

— Спасибо, но я подчеркиваю, что наше письмо носило чисто гуманистический характер и не имело никаких политических целей.

— Да, мы это знаем.

Думаю, что это была какая-то провокация КГБ.

Я передал заявление о Неруде через Кирилла Хенкина, еврея-отказника, умного и много повидавшего на своем веку человека⁷; Кирилл с большим блеском переводил меня на пресс-конференциях и тем много способствовал их успеху; Хенкин, по согласованию со мной, несколько смягчил последнюю, «опасную» формулировку. Но этого оказалось недостаточно (кажется, в это время корреспондентам уже был передан первоначальный текст).

В сентябре Люся сделала письменное заявление (переданное западным корреспондентам), в котором она принимала на себя ответственность за передачу на Запад «Дневника» Эдуарда Кузнецова. Она действительно передала эту рукопись. Кратко расскажу связанную с этим историю, в той мере, в которой это сейчас допустимо.

В конце декабря 1972 года, когда я был один в доме, неожиданно раздался звонок в дверь. Я открыл — на пороге стояла неизвестная мне женщина. Я впустил ее

в квартиру. Она молча прошла в нашу с Люсей комнату и положила на столик небольшой сверток, величиной с палец, тщательно зашитый в материю. Не произнеся ни слова, женщина тут же ушла. В свертке находилась рукопись знаменитого впоследствии «Дневника» Кузнецова и сопроводительное письмо автора, в котором онверял Люсе судьбу своего произведения. Кузнецов писал «Дневник» в лагере, тщательно скрывая его от надзирателей и вообще посторонних глаз, пряча от многочисленных обысков. Написан был «Дневник», как и многие другие выходящие из лагерей материалы, мельчайшим почерком, на тонких листках папиросной бумаги, скрученных в трубочку. Писать и хранить рукопись в лагере было необыкновенно трудно и опасно — это был настоящий подвиг, но и не легче было вынести ее из зоны на волю. Тут участвовало много людей, называть их всех я не могу. Один из них, как стало впоследствии известно КГБ, был заключенный — украинец Петр Рубан. КГБ жестоко отомстил ему — я рассказываю об этом в одной из следующих глав. Мелкие буквы рукописи можно было разобрать лишь в очень сильную лупу, да и то человеку с более здоровыми, чем у нас, глазами. Люся попросила одного из знакомых расшифровать рукопись и вернуть ей, естественно рассчитывая, что круг людей, которым станет об этом известно, будет минимальным; к сожалению, это условие оказалось нарушенным, что повлекло за собой тяжелые последствия.

Получив расшифрованную рукопись, Люся сама передала ее на Запад. Летом 1973 года «Дневник» был опубликован, вначале на итальянском, а потом на русском и многих иностранных языках, и привлек к себе большое внимание содержащейся в нем потрясающей фактической информацией и талантом автора. В качестве приложения к «Дневнику», как я уже писал, приведена запись процесса над ленинградскими «самолетчиками», составленная Люсей в декабре 1970 года. Люся сделала свое заявление, чтобы ослабить таким образом удар по другим людям, в том числе — по арестованным в 1973 году Виктору Хаустову (ранее осужденному вместе с Буковским за демонстрацию в защиту Гинзбурга—Галанскова, до второго ареста — рабочему телевизионного завода) и литературоведу Габриэлю Суперфину, а также по Евгению Барабанову. Барабанов пришел к нам с заявлением, в котором сообщал о том, что он передал рукопись «Дневника» на Запад и принимал на себя ответственность за это действие (по-видимому, он передал другой экземпляр расшифрованной рукописи — мы об этом не знали). До своего заявления Барабанов неоднократно вызывался в КГБ; от него, в частности, требовали показаний на Суперфина. Положение Барабанова было угрожающим. Заявления Люси и Барабанова были одновременно переданы нами в нашей квартире иностранным корреспондентам и вскоре опубликованы. Люсино заявление (но, возможно, и не только оно) по-

влекло за собой вызовы ее на допросы в следственный отдел КГБ (в ноябре 1973 года).

Как пишет в «Теленке» Солженицын, реакция властей на смелый шаг Барабанова в обстановке «встречного боя» — так А. И. называет совокупность событий 1973 года — ограничилась только увольнением Барабанова; однако Александр Исаевич не упоминает о заявлении Люси. (Я считаю, что это умолчание искажает истинный ход событий тех дней.)

ГЛАВА 32

Заявление об Октябрьской войне.
«Черный сентябрь» в нашей квартире.
Заявление о поправке Джексона.
Вызовы Люси на допросы в Лефортово.
Запрос о поездке в Принстон.
Искаженная публикация. Больница АН СССР

В октябре на Ближнем Востоке началась так называемая война «Судного дня» — в день еврейского праздника войска Египта и Сирии внезапно напали на Израиль, пытаясь взять реванш за поражение в 1967 году. Первоначально им удалось потеснить израильскую армию, но израильтянам, ценой существенных потерь, удалось овладеть инициативой, переправиться через канал; в конце октября израильские танковые части неудержимо двигались к Каиру и Дамаску, а Киссинджер начал свою «челночную» дипломатию. Еще в первые дни войны я выступил с заявлением, в котором призывал к мирному решению ближневосточного конфликта. Через несколько дней ко мне пришел некто, назвавшийся корреспондентом беirutской газеты. Он задал мне несколько вопросов по проблемам Ближнего Востока. Я попросил его зайти через несколько

часов. Вечером того же дня я ответил (хотя он не вызвал моего расположения) перед микрофоном на его вопросы, включая несколько новых, неожиданных для меня, добавленных по ходу интервью. (Эти вопросы были в какой-то степени провокационными, во всяком случае более острыми, чем заданные раньше.) Еще через несколько дней, в воскресенье утром 18 октября¹, в квартиру неожиданно позвонили два человека, по виду арабы. Хотя их поведение показалось мне чем-то необычным, я впустил их в квартиру (задвиги или цепочки у нас не было) и провел их в нашу комнату. Туда же прошла из кухни Люся. Кроме нас в квартире был Алеша. Руфь Григорьевна находилась у Тани — она поехала проведать своего первого правнука, которому в то время еще не было даже месяца (он родился 24 сентября, роды были с задержкой и очень тяжелыми, сопровождались большими волнениями). Один из пришедших был без пальто, он сел на кровать рядом с Люсей, я сидел напротив на стуле; второй, низкий и коренастый, в пальто, не снимая его, расположился между нами в кресле, слегка сбоку, напротив телефона. В дальнейшем говорил только высокий (правильно по-русски, но с заметным акцентом), низкий не произнес ни слова. Люся в начале разговора спросила высокого, где он так научился говорить по-русски; он ответил:

— Я учился в Университете имени Лумумбы.

Вероятно, он сказал правду. Высокий сказал:

— Вы опубликовали заявление, наносящее ущерб делу арабов. Мы из организации «Черный сентябрь», известно ли вам это название?

— Да, известно.

— Вы должны сейчас же написать заявление, в котором вы признаете свою некомпетентность в делах Ближнего Востока, дезавуировать свое заявление от 11 октября.

Я минуту помедлил с ответом. В это время Люся потянулась за зажигалкой, лежавшей рядом с телефоном, чтобы закурить. Но она не успела ее взять, как низкий посетитель каким-то мгновенным кошачьим прыжком бросился ей наперерез и преградил путь к телефону. Я сказал:

— Я не буду ничего писать и подписывать в условиях давления.

— Вы раскаетесь в этом.

В какой-то момент, вероятно вначале, до «ультиматума», я сказал:

— Я стремлюсь защищать справедливые, компромиссные решения (подразумевалось — также и в ближневосточном конфликте). Вам должно быть известно, что я защищаю права на возвращение на родину крымских татар, применяющих в своей борьбе легальные, мирные методы.

Высокий возразил:

— Нас не интересуют внутренние дела вашей страны. Поругана наша родина-мать! Вы понимаете меня? Честь матери! (Он сказал это с надрывом в голосе.) Мы боремся за ее честь, и никто не должен становиться у нас поперек дороги!

Люся спросила:

— Что вы можете с нами сделать — убить? Так убить нас и без вас уже многие угрожают.

— Да, убить. Но мы можем не только убить, но и сделать что-то похуже. У вас есть дети, внук.

(Как я уже сказал, внуку было тогда меньше месяца; никакой прессе мы о его рождении не сообщали.) Во время разговора в комнату вошел Алеша и сел рядом с Люсей, с противоположной стороны от высокого. Люся все время удерживала его колено, боясь, чтобы он не полез в драку, защищать нас, по своей горячности и смелости. Позже Алеша сказал, что под пальто низко-рослый что-то прятал, как ему показалось — пистолет. Действительно, он все время закрывал правую руку пол-лой пальто.

В это время кто-то подошел к двери и позвонил (вскоре стало известно, что это были Подъяпольские — Гриша и его жена Маша — и Таня Ходорович). Посетители заволновались, велели нам молчать и на всякий случай перейти в другую, более далекую от двери комнату. Там высокий продолжал свои угрозы:

— «Черный сентябрь» действует без предупреждения. Для вас мы сделали исключение. Но второго предупреждения не будет.

Скомандовав нам:

— Не выходить за нами из комнаты! —

они вдруг мгновенно исчезли из комнаты, бесшумно выскользнув через входную дверь. Мы бросились к телефону, но позвонить оказалось невозможно — уходя, посетители каким-то орудием (кинжалом или ножом) перерезали провод. Минут через десять квартира наполнилась людьми — вернулись Таня Ходорович и Подъяпольские; оказывается, они слышали голоса через дверь и, когда никто не открыл на их звонок, решили, что у нас обыск, и пошли позвонить из автомата Руфи Григорьевне, Тане и Реме и тем из наших друзей, кому смогли дозвониться. Руфь Григорьевна вместе с Ремой и Таней примчались через 20 минут; Таня при этом держала на руках маленького Мотеньку (Матвея). Вскоре приехали и другие (Твердохлебов, услышав, что у нас был «Черный сентябрь», воскликнул:

— А я думал, «Красный октябрь»!).

Было неприятно сидеть с вооруженными террористами и слушать их угрозы. Но самым неприятным в этом визите было упоминание детей и внука. По-видимому, наши посетители действительно были арабы-палестинцы, быть может даже из «Черного сентября». Но, несомненно, все их действия проходили под строжай-

шим контролем и, вероятно, по инициативе КГБ — хотя, возможно, они об этом не знали (они все время чего-то боялись). Я немедленно сообщил об этом визите иностранным корреспондентам и через несколько часов сделал заявление в милицию, не возлагая на него, впрочем, никаких надежд. Через несколько дней нас вызвал следователь районного отделения милиции и попросил опознать наших посетителей среди нескольких десятков фотографий. Мы с Люсей никого не могли указать. Похоже, что все это делалось только «для вида». Через пару месяцев мы получили по почте открытку из Бейрута, на которой по-английски было написано:

«Спасибо, что не забываете дела арабов. Мы, палестинцы, тоже не забываем своих друзей» (читай — врагов).

Открытка, с ее хитроумно трансформированным «обращенным» текстом, была явно угрожающей. Мы ее отдали в милицию по просьбе следователя. Кажется, ее нам вернули (а потом, в 1978 году, украли при негласном обыске).

Угрозы убийства детей и внуков, которые мы впервые услышали от палестинцев (подлинных или нет) в октябре 1973 года, в последующие годы неоднократно повторялись.

В сентябре или в конце августа (не помню точной даты) я написал письмо Конгрессу США в поддержку

поправки Джексона. Это одно из моих немногих обращений к законодательным и правительственным органам иностранных государств. Я уже писал о том принципиальном значении, которое, по моему мнению, имеет свобода выбора страны проживания. Сенатор Джексон, предлагая свою поправку в поддержку права на эмиграцию, назвал это право «первым среди равных» — так как наличие или отсутствие его самым сильным образом влияет на реализацию всех других гражданских и экономических прав граждан. Эта мысль кажется мне верной (повторяю, что необходимо говорить о праве на свободный выбор страны проживания, закрепленном в законодательстве и подтверждаемом практикой). Письмо о поправке Джексона было одним из самых известных и наиболее действенных моих выступлений. Не случайно Киссинджер в своей книге «Четыре года в Белом доме» упоминает мое имя только в связи с этим письмом — по тону довольно неодобрительно; он, видимо, считает, что поправка Джексона повредила разрядке; на самом деле она сделала основы разрядки более здоровыми, хотя и в недостаточной степени! Советская пропаганда без конца упрекает меня за это письмо, как за призыв к иностранному правительству о вмешательстве во внутренние дела нашей страны. По этому поводу необходимо сказать следующее. Во-первых, свобода выбора страны проживания признана СССР во многих его международных обяза-

тельствах, в частности в Пактах о правах ООН, ратифицированных СССР и приобретших силу закона, и в Хельсинкском акте. Таким образом, поправка Джексона касается вопроса выполнения СССР его международных обязательств в вопросе, имеющем первостепенное международное (а не только внутреннее) значение — для открытости общества, для международного доверия. Если СССР выполняет свои международные обязательства — вопрос отпадает сам собой. Какое же это вмешательство во внутренние дела СССР? И, во вторых, речь идет об *американском* законе о торговле. Мне кажется, что это *их* внутреннее дело, с кем торговать, на каких условиях, кому давать кредиты. Так что, во всяком случае, опять же это не вмешательство во внутренние дела СССР. А что я, не будучи гражданином США, писал Конгрессу — это мое право, а право Конгресса — прислушаться или не прислушаться к моим словам. О критике моей позиции Солженицыным я пишу в следующей главе.

* * *

В первых числах ноября на имя Люси пришла повестка на допрос в качестве свидетеля в Лефортово (где расположен следственный отдел КГБ; там же следственная тюрьма — следственный «изолятор» на официальном языке), согласно повестке — к следователю Губинскому. До допроса с ней вел беседу некто Соколов (как

мы теперь думаем — один из начальников в том отделе КГБ, который занимается нами; мы имели потом с ним несколько встреч в Горьком). Допрашивал Люсю не Губинский, а другой следователь — подполковник Сыщиков (надо же иметь при таком деле такую фамилию...), по слухам знаменитый своим умением «раскалывать» самых упорных. Когда Люся спросила:

— А где же Губинский? Я его не вижу.

Сыщиков ответил:

— Как не видите! Это — тот молодой человек, который провожал вас в туалет.

(Может, он и врал: Губинский — известный «дисидентский» следователь.) Допрос шел по делу Хаустова и Суперфина, обвиняемых в связи с «Дневником» Кузнецова (у них были и другие обвинения). Следователь пытался добиться от Люси показаний, как она сразу поняла (знала по опыту других процессов), — любых; что бы она ни сказала, все могло бы быть использовано на суде, поскольку такой суд — просто некий бюрократический, лишенный логики спектакль. Поэтому Люся заранее решила не давать им никаких показаний. Допросы преследовали, конечно, также цель психологического давления на нее и на меня, запугивания угрозой ее ареста (мы не могли знать — реальна она была или нет).

Сыщиков действительно был примечательной фигурой, притом довольно жутковатой. Он все время

«актерствовал», непрерывно говорил, как бы обволакивая звуком своего низкого, проникающего в душу голоса:

— Доверьтесь мне, и я поведу вас, как отец родной. Будьте откровенны со мной, ведь на вас лежит ответственность за судьбу этих молодых людей, только вы можете им помочь.

(Он говорил о Хаустове и Суперфине.)

Но Сыщиков широко использовал также крик, угрозы и был при этом подлинно страшен. Люся решила отвечать только на анкетные вопросы, но на пятом или шестом своем ответе она вдруг почувствовала, что уже вступила в допрос по существу, и после этого на все вопросы, независимо от их содержания, отвечала:

— На заданный вами вопрос я отвечать отказываюсь.

Так что когда Сыщиков в конце первого допроса спросил:

— Правда ли, что ваши друзья называют вас Люся?

— она по уже принятой ею тактике ответила своей стандартной фразой. Это вызвало приступ ярости Сыщикова.

— Я немедленно вызову конвой. Вы издеваетесь надо мной.

В дальнейшем такие приступы ярости повторялись все чаще (один из них, когда Люся спросила: Сыщиков — это ваша фамилия или псевдоним?).

На протяжении двух недель Сыщиков вызывал Люсю почти каждый день. Я сопровождал ее в Лефортово и ждал внизу, в бюро пропусков — внутрь меня не пускали. С каждым разом положение становилось все напряженнее. Начиная с третьего или четвертого допроса Сыщиков стал сажать ее на место (скамью) подследственного, думая, вероятно, оказать этим на нее дополнительное психологическое давление. Люся, с ее плохим зрением, не видела при этом на большом расстоянии лица следователя, странно и жутко растягивающегося при крике — так что ей стало даже несколько легче. Наконец, после шестого или седьмого допроса Люся отказалась взять повестку на следующий допрос, выдержав при этом очередной сеанс крика и угроз — это был своеобразный психологический поединок. После этого повестки стали приносить на дом, но Люся отказывалась их принимать. Наконец, встретив посыльного с разносной книгой на лестнице, я взял у него повестку, сказав, что не передам жене — она больна; беру на себя, что она больше не пойдет, и хотел записать это в книгу. Но посыльный тут же убежал. Люся сердилась на меня. Но поток повесток на этом прекратился. Угроза, нависшая над Люсей, однако, все еще могла быть серьезной. (В эти дни нам, в частности, стало известно, что в распоряжении КГБ имеются показания о роли Люси в передаче за рубеж «Дневника» Кузнецова.)

* * *

На протяжении всей «газетной кампании» иностранные корреспонденты буквально замучили меня вопросами, как я отношусь к мысли об эмиграции и собираюсь ли я принять предложение о поездке в Принстон для чтения лекций. Я понимал, что эти настойчивые вопросы связаны с тем, что многим на Западе было бы «спокойней» видеть меня там. Но я не мог отвечать с полной определенностью. Я не знал, как власти собираются разрешить возникшую острую ситуацию, и не мог полностью исключить, что я смогу поехать с женой и детьми в Принстон, провести там год или полгода, оставив Таню, Ефрема и Алешу в США для ученья, и тем ликвидировать невыносимую ситуацию заложничества. Конечно, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я не хотел отрезать этого (или какого-нибудь аналогичного) шанса. Я думал также, что само обсуждение вопроса о поездке — без разрешения мне — может сдвинуть что-то в недоступных мне сферах с мертвой точки и косвенно способствовать поездке детей. Что меня лишат гражданства — это я, как уже писал, исключал.

Корреспонденты сообщали по этому вопросу кто что хотел, иногда я потом об этом узнавал и хватался за голову. Наконец, в конце ноября я решил выяснить ситуацию и планы властей, предприняв формальные шаги к поездке. Я пошел к директору ФИАНа (фактиче-

ски я говорил с его заместителем, в прошлом сотрудником теоретического отдела объекта, что при благополучной ситуации могло бы иметь значение) и запросил так называемую характеристику; это означало, что приводилась в действие вся бюрократическая машина, вплоть до КГБ. Ответа я не получил, что тоже было формой отказа. О своей попытке я сообщил иностранным корреспондентам; при этом, во избежание лишних кривотолков о том, что я якобы хочу эмигрировать, я отдал им одновременно свое заявление (дополнение 2). Оно ясно показывало, что я в данный момент не хочу эмигрировать и не считаю это для себя допустимым. Заявление вскоре было передано по зарубежному радио, но без заключительного абзаца, ради которого, собственно говоря, оно и было написано. Я до сих пор не знаю, почему так получилось. В дальнейшем я множество раз встречался с очень вредными искажениями и сокращениями передаваемых мною документов, в результате которых часто искажалась важная часть их содержания, а я выглядел дураком. Я не могу этого доказать, но у меня есть непреодолимое ощущение, что лишь часть этих искажений вызвана обычной спешкой в газетных и радиоредакциях, некомпетентностью, безответственностью и т. п. (что тоже все достаточно плохо и позорно), а другая, значительная часть — сознательными действиями советской пятой колонны.

В том, первом случае через несколько недель с помощью В. Е. Максимова мне удалось передать повторно полный текст заявления, и оно было зачитано без искажений. Но в умы людей в основном запали первые передачи...

В декабре мы с Люсей оба легли в больницу. Мне давно советовали обследовать сердце, а Люсе совершенно необходимо было начать лечение тиреотоксикоза. Благодаря моим академическим привилегиям нас поместили вместе в отдельной палате. В общем, это было нечто вроде санатория, очень нам в этот момент нужного. Я работал, Люся правила текст и давала хорошие советы — так родилось хорошее сжатое автобиографическое предисловие «Сахаров о себе» к намеченному в США изданию моих выступлений; мне и сейчас эти несколько страниц кажутся удачными². Бывали у нас и гости. Пришел старый Люсин друг, поэт и переводчик Константин Богатырев, вместе с ним пришел и другой поэт, очень известный, Александр Межиров — с ним у Люси тоже было старинное знакомство. Костя рассказал, как всегда увлекаясь и жестикулируя, какой-то эпизод из своего лагерного прошлого, чем-то ассоциировавшийся с современными событиями (он был узником сталинских лагерей). Я прочитал, не помню в какой связи, нечто вроде лекции по основам квантовой механики; наклонного к хитроумным умственным по-

строениям Межирова эта лекция произвела, кажется, впечатление. Несколько раз забегал Максимов — в клетчатом костюме с иголочки, дружески улыбающийся, с искрящимися синими глазами. Он каждый раз приносил какую-то передачку — один раз диковинную копченую рыбу — и животрепещущие новости. Именно через него, как я писал, я передал в иностранные агентства исправленный текст моего заявления о моем отношении к поездке за границу. Большой радостью было совместное посещение Галича, Некрасова и Копелева — сохранилась групповая фотография, сделанная в вестибюле больницы. Лев Зиновьевич Копелев, германист, писатель, критик и переводчик, человек трудной и противоречивой судьбы, необыкновенно добрый, отзывчивый и терпимый — это его жизненно-философское кредо, шумный, общительный и огромный, с большими наивными глазами — вскоре стал нашим другом. Посетили меня и фиановцы — Е. Л. Фейнберг и В. Л. Гинзбург, начальник Теоретического отдела. Гинзбург сказал, что на все академические институты спущена разверстка сокращения штатов.

— Теоротделу необходимо сократить свой штат на одного человека. Это очень болезненная операция, но избежать ее невозможно. Мы посоветовались и решили, что таким человеком должен быть Юрий Абрамович (Гольфанд). За последние годы он совсем не выдавал никакой научной продукции, по существу — бездельни-

чал. Вместе с тем он — доктор, и ему легче будет устроиться работать на новое место, чем человеку без докторской степени.

Я спросил, нельзя ли как-то «заволынить», и получил сухой отрицательный ответ. Сказать же что-либо персонально в защиту Гольфанда я, к сожалению, не сумел. Я не знал, что за несколько месяцев до этого Гольфанд (совместно с Лихтманом) написал и доложил на семинаре ФИАНа работу, ставшую классической, — в ней впервые была введена суперсимметрия. Работа была сделана не на пустом месте — о суперсимметричных преобразованиях уже писал талантливый московский ученый Феликс Александрович Березин (безвременно погибший в 1980 году). Гольфанд и Лихтман первыми рассмотрели суперсимметрию как принцип построения теории элементарных частиц. Это была великая мысль. В последующие годы идеи суперсимметрии получили развитие в сотнях замечательных работ. Стало ясно, что суперсимметрия является наиболее естественным и реальным путем построения единой теории поля, объединяющей на равных правах бозонные поля (с целым спином) и фермионные поля (с полуцелым спином). Правда, некоторые считают, что в единой теории в качестве первичных полей должны выступать только фермионные поля, но и тут не исключена суперсимметрия элементарных «возбуждений» фермионной «жидкости», которые могут быть и фермионны-

ми, и бозонными. У суперсимметричных теорий есть и другие обнадеживающие особенности. Одна из них — естественная связь с гравитацией. Другая, не менее важная — возможное решение проблемы «ультрафиолетовых» бесконечностей — об этом я уже писал. (Добавление 1987 г. Суперсимметрия входит составной частью в концепцию «струны».)

Через некоторое время выяснилось, что во всех остальных отделах ФИАН сумели избежать сокращения штатов, «заволынив» его (употребляя слово, которое я говорил Гинзбургу). Гольфанду же не удалось нигде устроиться на работу — он хоть и доктор, но зато еврей. Во время его посещения больницы Люся сказала ему: «Увольняют — а вы уезжайте!». Спустя несколько месяцев Гольфанд подал заявление о выезде из СССР в Израиль — но ему было отказано под несостоятельным предлогом, что он 20 лет назад принимал участие в секретных работах группы Тамма; на самом деле Гольфанд делал тогда очень «абстрактные» работы, ничего не зная о реальных изделиях; на объекте же он никогда не был. Справиться с этим пока не удалось. Летом 1980 года он был вновь взят на работу в ФИАН. Восстановление на работе отказника — случай исключительный.

ГЛАВА 33

«Странный шар» (Солженицын о Сахарове)

В книге А. И. Солженицына «Бодался теленок с дубом» много говорится о событиях 1973 года, обо мне и моей позиции, говорится (иногда в косвенной форме) о Люсе, о чем-то умалчивается. Восемь лет я нес в себе груз впечатления от этой книги, сейчас хочу высказаться. Начну с некоторых цитат:

«Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея Дмитриевича Сахарова — в сонмище подкупной, продажной, беспринципной технической интеллигенции...»

«...допущенный в тот узкий круг, где не существует «нельзя» ни для какой потребности, <...> почувствовал, <...> что все изобилие <...> есть прах, а ищет душа правды...»

«Но с какого-то уровня уже слишком явно стало, что это — нападение, а в ходе испытаний — губительство земной среды» (о термоядерном оружии).

Мне кажется совершенно неправильной, неадекватной преувеличенная оценка моей личности. Слишком

восторженно! Я — совсем не ангел, не политический деятель и не пророк. И мои поступки, моя эволюция — не результат чуда, а — влияние жизни, в том числе — влияние людей, бывших рядом со мной, называемых «сонмище продажной интеллигенции», влияние идей, которые я находил в книгах. Может, это особенность моего характера, но я никогда не жил в изобилии, не знаю, что это такое. И — ох, как много нельзя было на объекте! Из трех приведенных тезисов Солженицына самый важный — последний. Но я воздерживаюсь от такой категоричности. Жизнь — штука сложная, я не устаю это повторять. В эту большую бочку меда моей характеристики потом вливается немало дегтя. По существу, Солженицын, формально отдавая должное защите прав человека, на деле изображает ее как что-то второстепенное, мешающее главному (чему именно — мне не совсем понятно). Мне была важна высокая оценка «Памятной записки» и «Послесловия». Но Солженицын прибавляет, что этот документ

«...прошел незаслуженно ниже своего истинного значения, вероятно из-за частоты растроченной подписи автора».

Он косвенно намекает, в частности, на мое вмешательство в дело одного еврея-отказника (успешное, к тому же). Из предыдущего ясно, что для меня защита от-

дельных, конкретных людей имеет принципиальное значение; это бесспорное, стабильное ядро моей позиции. Что же касается «программных» документов, то я рассматриваю их как дискуссионные — кому надо, прочтет и задумается, я и сам иногда кое-что в них пересматриваю и уточняю. Выше-ниже своего значения — вопрос второстепенный. Настойчиво подчеркивает Солженицын мою наивность, непрактичность, неумение понимать ситуацию и — подверженность пагубным влияниям. Я не могу достать билеты и мечусь по Батуми; отдаю рукопись печатать по кускам разным машинисткам, не понимая, что они тут же сложат ее на столе «кума» и т. д.

Среди тех, кто оказывал на меня пагубное влияние, «прицепившись к странному... шару, без мотора и бензина летящему в высоту», явно Солженицын называет Роя Медведева и Валерия Чалидзе. Я уже писал о своих отношениях с этими очень разными людьми и не буду к этому возвращаться. Но главное, хотя и скрытое острие направлено против моей жены. Тут я должен четко объясниться. Опять цитата:

«Хотя мы продолжали встречаться с Сахаровым <...>, но не возникли между нами совместные проекты или действия. Во многом это было из-за того, что теперь не оставлено было нам ни одной беседы наедине, и я опасался, что сведения будут растекаться в разломаченном клубке вокруг “демократического движения”».

Тут ясно, что «не оставлено» Люсей, ставшей моей женой. Но все неправда. Я говорил в этот период с Александром Исаевичем наедине. Около часа однажды мы гуляли по лесу недалеко от Жуковки (где дачи Ростроповича и моя), и он предлагал мне примкнуть к сборнику «Из-под глыб», но я не решился на это по смутным тогда соображениям независимости. Никаких совместных проектов у нас не возникало и раньше — ни при первой нашей встрече в 1968 году, ни при второй — в 1970-м. К «разлохмаченному же клубку» ни я, ни моя жена никогда не имели никакого отношения (и к «диссидентским салонам» — выражение А. И. в другом месте). Мы оба на самом деле никогда не стремились к большому и шумному обществу, к визитам и постоянному общению с малознакомыми людьми; выпивки, составляющие так часто основу подобного общения, и для Люси, и для меня были всегда совершенно исключенными, не интересовали нас. Влияние моей жены Солженицын видит в том, что она якобы толкает меня на эмиграцию, на уход от общественного долга и прививает мне повышенное внимание к проблеме эмиграции вообще в ущерб другим, более важным проблемам. Солженицын называет совокупность событий 1973 года «встречным боем». Он упрекает меня, что «встречный бой» не дал тех результатов, которые почти были в руках, из-за того, что я «заигрывал» с темой эмиграции — и для себя лично, и в общем плане — под пагубным вли-

янием Люси. Я не считаю удачным сам термин «встречный бой», он кажется мне неадекватным. И каких кардинальных, прагматических результатов можно было ожидать тогда (и много после) от наших выступлений? Солженицын ничего не пишет об этом, кроме вопроса о поправке Милза (об этом ниже). Я думаю, что таких результатов и не могло быть. Прошу извинить меня за нижеследующие длинные цитаты (все выделено мной):

«В августовских боевых его интервью не замолкает разрушительный мотив отъезда. Мы слышим, что «было бы приятно съездить в Принстон».<...>

Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои. За эту слабость нельзя упрекать никого, тем более не возьмусь и я, в предыдущей главе описав и свои колебания. Но бывают лица частные — и частны все их решения. Бывают лица, занявшие слишком явную и значительную общественную позицию, — у этих лиц решения могут быть частными лишь в «тихие» периоды, в период же напряженного общественного внимания *они таких прав лишены. Этот закон и нарушил Андрей Дмитриевич, со сбоем то выполнял его, то нарушал, и обидней всего, что нарушал не по убеждениям своим (уйти от ответственности, пренебречь русской судьбой — такого движения не было в нем ни минуты!) — нарушал, уступая воле близких, уступая чужим замыслам.*

Давние, многомесячные усилия Сахарова в поддержку эмиграции из СССР, именно эмиграции, едва ль не предпочтительнее перед всеми остальными проблемами, были навязаны в значительной мере *тою же волей и тем же замыслом*. (Это уже что-то демоническое, почти протоколы сионских мудрецов! — А. С.) И такой же вывих, мало замеченный наблюдателями боя, а по сути — сломивший наш бой, *лишивший нас главного успеха*, А. Д. допустил в середине сентября — через день-два после снятия глушения, когда мы почти по инерции катились вперед. Группа около 90 евреев написала письмо американскому конгрессу с просьбой, как всегда, о своем: чтоб конгресс не давал торгового благоприятствования СССР, пока не разрешат еврейской эмиграции. *Чужие этой стране* (кого мне напоминает эта терминология? — А. С.) и желающие только вырваться, эти девяносто могли и не думать об остальном ходе дел. Но для придания веса своему посланию они пришли к Сахарову и просили его от своего имени подписать такой же текст отдельно <...> по традиции и по наклону к этой проблеме, Сахаров подписал им — через 2—3 дня после поправки Вильбора Милза! — не подумав, что он ломает фронт, сдает уже взятые позиции, сужает поправку Милза до поправки Джексона, всеобщие права человека меняет на свободу одной лишь эмиграции. <...> И конгресс *возвратился* к поправке Джексона... Если мы просим только об эми-

грации — почему же американскому сенату надо заботиться о большем?.. <...> меня — обожгло. 16.9 из заговора я написал А. Д. об этом письмо...»

В любом случае никогда поправка Милза не обсуждалась столь серьезно, не имела таких шансов на успех, как поправка Джексона, гораздо лучше аргументированная юридически, более бесспорная политически. Писать в этих условиях о поправке Милза — значило бы загубить и поправку Милза, и поправку Джексона. А я, в отличие от Солженицына, считаю поправку Джексона принципиально важной! (Почему мы все время обсуждаем, что я чего-то не сделал; а А. И.? — выступил ли он в защиту поправки Милза, если он придает ей такое значение?) Так что никакого фронта я не ломал. (Добавление 1989 г. По-видимому, вообще не существовало никакой поправки Милза, отдельной от поправки Джексона. Поправка Милза—Ваника — это другое название поправки Джексона¹.)

А. И. дает, как мне кажется, одностороннее освещение событий осени 1973 года. Я уже писал о том, что он не сообщил о заявлении Люси о передаче «Дневников» Кузнецова. Не упоминает он и о моем интервью Стенхольму, которое положило начало всей цепи событий. О Принстоне я подробно писал выше. О том, что мое заявление было опубликовано в урезанном виде, Александр Исаевич знал, но ничего не пишет. В целом Прин-

стонская история, даже при накладке с заявлением, — мелкий эпизод. Зря А. И. поднимает ее до такой принципиальной высоты. После моего заявления о поправке Джексона Солженицын прислал, как он пишет, записку. В ней он писал о поправке Милза (примерно то же, что в «Теленке») и просил зайти к его жене Наталье Светловой (к Але, как он ее называет). Мы с Люсей выполнили его просьбу. Разговор проходил без Александра Исаевича. Аля сказала: как я могу поддерживать поправку Джексона и вообще придавать большое значение проблеме эмиграции, когда эмиграция — это бегство из страны, уход от ответственности, а в стране так много гораздо более важных, гораздо более массовых проблем? Она говорила, в частности, о том, что миллионы колхозников по существу являются крепостными, лишены права выйти из колхоза и уехать жить и работать в другое место. По поводу нашей озабоченности Аля сказала, что миллионы родителей в русском народе лишены возможности дать своим детям вообще какое-либо образование. Возмущенная дидактическим тоном обращенной ко мне «нотации» Натальи Светловой, Люся воскликнула:

— На...ть мне на русский народ! Вы ведь тоже манную кашу своим детям варите, а не всему русскому народу.

Люсины слова о русском народе в этом доме, быть может, звучали «кощунственно». Но по существу и эмо-

ционально она имела на них право. Всей своей жизнью Люся сама — «русский народ», и как-нибудь она с ним разберется.

В 1973 году мы еще раз были в доме Солженицыных — это была наша последняя встреча с Александром Исаевичем перед его высылкой. Продолжаю цитаты:

«1 декабря Сахаровы пришли к нам, как всегда вдвоем. Жена — больна (у Люси действительно был тогда пульс 120 из-за тиреотоксикоза. — А. С.), измучена допросами и *общей нервностью*: «Меня через две недели посадят, сын — кандидат в Потьму, зятя через месяц вышлют как тунеядца, дочь без работы». — «Но все-таки мы подумаем?» — возражает осторожно Сахаров. — «Нет, это думай ты». <...> «Да я сразу бы и вернулся, мне б только их (детей жены) отвезти... Я и не собираюсь уезжать...» — «Но вас не пустят назад, Андрей Дмитриевич!» — «Как же могут меня не пустить, если я приеду прямо на границу?...» (Искренне не понимает — как.)»²

В этом отрывке Люся — истерическая дамочка, у которой «нервы». Сильно на нее не похоже. Я же — дрожащий перед ней «подкаблучник» и к тому же абсолютный дурак. На самом деле ни она, ни я не говорили тех слов, которые нам тут приписываются. Таня не была без работы (у нее за два месяца до этого родился сын,

и она была в декретном отпуске), зять тоже тогда работал (его выгнали после суда над Сергеем Ковалевым в декабре 1975 года) и, следовательно, не был «тунеядцем», а я не был столь наивен. Что касается того, что Алеша — «кандидат в Потьму», то, очевидно, это искаженное преломление Люсиного рассказа при этой или предыдущих встречах об Алешиной реакции на нашу просьбу согласиться на поездку за рубеж — как я уже писал, Алеша тогда ответил, что он психологически больше готов к Мордовии. Мне кажется, что Александр Исаевич не мог не запомнить этого рассказа, но, к сожалению, он написал нечто совсем иное. А как проходил разговор на самом деле в целом? Действительно, во время этой встречи Александр Исаевич и Аля упрекали нас во вредных разговорах об отъезде, говорили о реакции некоторых людей на мое заявление якобы об эмиграции. Я же как раз тогда рассказал, что заявление было искажено, и объяснил свою истинную позицию в этом вопросе. Я, в частности, сказал, что поездка в Принстон была бы хорошим выходом из ситуации с детьми и что я считаю очень маловероятным, что мне дадут разрешение на подобную поездку, но совершенно исключенным — что лишат гражданства (почему я так считаю — я не обсуждал). Мне обидно, что Александр Исаевич, гонимый своей целью, своей сверхзадачей, так многого не понял, или верней — не захотел понять, во мне и моей позиции в целом, не только в вопросе об

отъезде, но и в проблеме прав человека, и в Люсе, в ее истинном образе и ее роли в моей жизни. В конце 1974 года один немецкий корреспондент (к сожалению, я не помню его фамилии) передал мне по поручению Александра Исаевича в подарок экземпляр «Теленка» с теплой и очень лестной дарственной надписью. Еще до этого мне удалось прочесть книгу, взяв у одного из друзей. Принимая подарок и прочитав при корреспонденте дарственную надпись, я не удержался и сказал:

— В этой книге Александр Исаевич сильно меня обидел.

Корреспондент усмехнулся и ответил:

— Да, конечно. Но он этого не понимает.

ГЛАВА 34

Люсина операция. «Архипелаг ГУЛАГ». Высылка Солженицына. Моя статья о «Письме вождям» Александра Солженицына

Люсина болезнь — тиреотоксикоз — была одной из причин, почему мы легли в декабре 1973 года в больницу. Состояние ее вызывало большое беспокойство, ей было очень трудно, пульс достигал 120. К сожалению, академическая медицина не уделила ей должного внимания, не слишком боролась и разбиралась с ее болезнью. Нам пришлось сразу по выходе из больницы поехать в Ленинград на консультацию к старому Люсиному знакомому — профессору эндокринологии Александру Раскину. Раскин после нескольких дней больничного обследования направил Люсю на операцию, но он не учел, по-видимому, возможных — и очень опасных в Люсином случае — последствий для глаукомы. Высказанные Люсей сомнения врач-окулист тоже оставил без внимания. Мы тут же договорились, что оперировать ее будет хороший знакомый Наташи Гессе (незадолго перед этим сделавший такую же операцию и ей) доктор Б-о. Мы вернулись в Москву, Люся нача-

ла предоперационный курс лечения. Я получил в медсанотделе Академии направление на операцию и пошел к министру здравоохранения Петровскому, чтобы он подтвердил это направление (без этого Люсю не могли бы госпитализировать в Ленинграде). Петровский обещал. (Это была наша вторая и последняя встреча.) Но, когда мы приехали в Ленинград, нас ждал неприятный сюрприз. Доктор Б-о просил Наташу передать нам, что он не может оперировать Люсю. Ему предстоит защита докторской диссертации, и, если он будет оперировать жену Сахарова, ему не утвердят диссертацию. Он просит также не ходить к нему и вообще не иметь с ним никаких отношений. Мы были поставлены в очень трудное положение. Отменить или даже отложить операцию было невозможно — Люся уже закончила предоперационную медикаментозную подготовку. Пришлось срочно искать другого хирурга. Люся, к счастью, нашла своего бывшего профессора по институту доктора Г. Стучинского. Она когда-то присутствовала и даже ассистировала ему в точности при такой же операции, как предстоявшая ей. Профессор согласился. 27 февраля он оперировал, а через две недели мы вернулись в Москву.

Уже перед самой выпиской у Люси очень сильно поднялось внутриглазное давление — потребовались экстренные меры. Это было только начало большой беды, обрушившейся на нее.

В марте — сначала в Ленинграде, а потом в Москве — я работал над статьей «О письме Александра Солженицына “Вождям Советского Союза”».

Но я должен вернуться назад. В начале января к нам неожиданно пришел приемный сын Александра Исаевича, тринадцатилетний Митя — сын Н. Светловой от первого брака. Было время утреннего завтрака, и Люся предложила ему выпить стакан чаю. Но он отказался. С первого взгляда меня поразила какая-то особенная торжественность в его облике и глаза — отчаянно сверкающие, серьезные, счастливые и гордые. Мальчик прошел в ванную и извлек прикрепленную на спине книгу, вручив ее нам. Это был первый том «Архипелага ГУЛАГ». Уже через 10 минут мы оба — Люся и я — читали эту великую книгу (о которой уже более недели озлобленно и подло писала советская пресса и ежедневно сообщало западное радио). В отличие от большинства людей на Западе и многих в нашей стране мы хорошо знали бесчисленные факты массовой жестокости и беззакония в мире ГУЛага, представляли себе масштабы этих преступлений. И все же и для нас книга Солженицына была потрясением. Уже с первых страниц в гневном, скорбном, иронически-саркастическом повествовании вставал мрачный мир серых лагерей, окруженных колючей проволокой, залитых беспощадным электрическим светом следовательских кабинетов и камер пыток, столыпинских вагонов, ледяных смертных

забоев Колымы и Норильска — судьба многих миллионов наших сограждан, обратная сторона того бодрого единодушия и трудового подъема, о котором пелись песни и твердили газеты.

Через несколько дней я примкнул к коллективному письму, требовавшему оградить Солженицына от нападок и преследований, отдававшему должное «Архипелагу» и трагической судьбе его героев-заключенных. Вместе с Максимовым и Галичем я был одним из авторов этого письма. В следующие дни я дал несколько (более десяти) интервью об «Архипелаге» и Солженицыне, в том числе — по международному телефону швейцарской газете и немецкому журналу. Много спустя я узнал, что эти интервью были напечатаны (во всяком случае, большая часть из них).

12 февраля около 7 вечера в нашей квартире раздался звонок: Солженицына насильно увезли из дома. Мы с Люсей выскочили на улицу, схватили какую-то машину («левака») и через 15 минут уже входили в квартиру Солженицыных в Козицком переулке. Квартира полна людей, некоторых я не знаю. Наташа — бледная, озабоченная — рассказывает каждому вновь прибывшему подробности бандитского нападения, потом обрывает себя, бросается что-то делать — разбирать бумаги, что-то сжигать. На кухне стоят два чайника, многие нервно пьют чай. Скоро становится ясно, что Солженицына нет в прокуратуре, куда его вызвали, — он аресто-

ван. Время от времени звонит телефон, некоторые звонки из-за границы. Я отвечаю на один-два таких звонка; кажется, нервное потрясение и сознание значительности, трагичности происходящего нарушили мою обычную сухую косноязычность, и я говорю простыми и сильными словами.

На другой день, собравшись у нас на кухне на Чкалова, мы составили и подписали «Московское обращение», требующее освобождения Солженицына и создания Международного трибунала для расследования фактов, разоблачению которых посвящена его книга «Архипелаг ГУЛАГ». Уже после того, как «Обращение» было передано иностранным корреспондентам, мы узнали, что Солженицын выслан, только что самолет приземлился в ФРГ. Мы позвонили с этим известием Наташе — она очень взволнована, уже слышала от кого-то еще, но поверит только услышав голос А. И. Через час позвонила она — только что говорила с мужем. «Московское обращение» получило большое распространение. В ФРГ, например, под ним было собрано несколько десятков тысяч подписей.

Незадолго до отъезда Наташи с Екатериной Фердинандовной (ее мамой) и детьми к мужу у нее на квартире был прощальный вечер. Мы были там с Люсей, много было хороших людей, пели хорошие русские песни.

До этой встречи я был у Наташи один, без Люси (она лежала в больнице в Ленинграде). Наташа дала

мне экземпляр солженицынского «Письма вождям». Когда я прочитал его, у меня возникло ощущение, что мне необходимо ответить (открыто, конечно). Со слишком многим — и не только с написанным там, но и с логически следующим из написанного — я был не согласен.

Я понимаю, что А. И. был очень расстроен и раздражен моим письмом — это видно и из его ответной статьи в сборнике «Из-под глыб» — но я не мог поступить иначе. В последующие годы я больше не выступал публично по поводу наших расхождений с Александром Исаевичем. Здесь я все же попытаюсь в сжатой форме еще раз остановиться на этих расхождениях, имея в виду не только «Письмо вождям», но и другие выступления Солженицына, в особенности получившую широкую известность Гарвардскую речь. Прежде всего, я должен сказать о своем глубоком уважении к А. И. Солженицыну, к его художественному таланту и великим, поистине историческим заслугам в раскрытии преступлений строя, к его подвижническому, многолетнему труду. Я с восхищением вижу в нем страстную непримиримость ко злу, остроту и четкость мысли. Читая его публицистику, я не могу не солидаризоваться мысленно с очень многим из того, что он пишет и говорит. Однако, когда я соглашаюсь с основной мыслью Солженицына, часто меня не удовлетворяет безапелляционность суждений, отсутствие нюансов, недостаток терпимости

к мнениям других. Я понимаю при этом, что эти недостатки тесно связаны с теми достоинствами, о которых я только что писал, — со страстностью и целеустремленностью Солженицына. Принимая Солженицына таким, как он есть, восхищаясь им, я одновременно думаю, что нельзя замалчивать недостатки его выступлений, как они мне видятся, нельзя уходить от открытой дискуссии.

Ее необходимость усиливается тем, что, по-моему, спорными являются и некоторые принципиальные основы позиции А. И. Солженицына. Мне кажется, что в позиции Солженицына есть недооценка важности и необходимости общемирового, общечеловеческого подхода к основным кардинальным проблемам современности и определенное «антизападничество». С этим связан «принципиальный изоляционизм», недостаточное внимание к проблемам и судьбам других — кроме русского и украинского — народов нашей и зарубежных стран, иногда — элементы русского национализма, идеализации русского национального характера, религии и уклада, от которой близко до пренебрежения и недоброжелательности к другим народам. Я пишу в своей статье, что приходящие за идеологами практические политики обычно оказываются более жесткими и догматичными. По Солженицыну, Запад (скажем, США, Европа, Япония) уже проигрывает свою битву с повсеместно наступающим тоталитариз-

мом, непоследователен, расслаблен и разобщен в момент исторического противостояния силам зла, запутался в соблазнах потребительского общества, во вседозволенности, безрелигиозности и бездуховности, бездумно уничтожает себя в дыму и гари городов, в грохоте истерической музыки. В том, что пишет А. И., действительно очень много горькой правды. Мне тоже приходится писать о разобщенности Запада, об опасных иллюзиях, о политиканстве, близорукости, эгоизме и трусости некоторых политиков, об уязвимости ко всевозможным подрывным действиям. Я пишу об этом с большой тревогой, но и с надеждой, так как считаю сложившееся на Западе общество в своей основе все же здоровым и динамичным, способным к преодолению тех трудностей, которые непрерывно несет жизнь.

Разобщенность — это для меня обратная сторона плюрализма, свободы и уважения к индивидууму — этих важнейших источников силы и гибкости общества. В целом, и особенно в час испытаний, как я убежден, гораздо важнее сохранить верность этим принципам, чем иметь механическое, казарменное единство, пригодное, конечно, для экспансии, но исторически бесплодное. В конечном счете побеждает живое. Недоверие к Западу, к прогрессу вообще, к науке, к демократии толкает, по моему мнению, Солженицына на путь русского изоляционизма, романтизации патриархального уклада, даже, кажется, ручного труда, к идеализа-

ции православия и т. п. Он называет нетронутый Северо-Восток страны «отстойником русской нации», где она сможет оправиться от морального и физического ущерба, нанесенного ей террором и безумными экспериментами дьявольских сил пришедшего с Запада коммунизма. Солженицын при этом явно предполагает, что уже сейчас есть явственные признаки национально-религиозного возрождения народа, что русский народ исконно враждебен социалистическому строю и даже якобы занимал пораженческую позицию в годы войны.

Все эти концепции, которые, может быть, я изложил несколько упрощенно, представляются мне неверными, мифотворческими. Если бы они овладели народом и его «вождями» (к слову сказать, кто может поручиться за резистентность именно «вождей» к таким идеям в каких-то условиях? за народ я более спокоен) — они могли бы привести к трагическим авантюрам.

Некрасов писал о русских косточках при строительстве железной дороги; освоение Северо-Востока без современной техники не меньше рассеет их по тамошним полям. Я увидел в произведениях Солженицына другой взгляд, чем у меня, на демократию и плюрализм, на роль религии в обществе (я считаю религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же как и атеизм), другое отношение к перспективам сближения — конвергенции — социалистиче-

ской и западной систем, в которых в обеих я вижу, в отличие от Солженицына, наряду с изъянами, и здоровое начало, а самое главное — в конвергенции я вижу шанс спасения человечества от конфронтации, угрожающей ему гибелью!!!

Я увидел также у Солженицына другое, чем у меня, отношение к прогрессу. Я вполне понимаю огромные экологические и социальные опасности, которые несет в себе прогресс. Но прогресс, в первую очередь, все же приводит к улучшению условий жизни всех людей на Земле, снимает, если говорить в целом, трагическую остроту социальных, расовых и географических противоречий, уменьшает неравенство в самом необходимом, приводит к уменьшению все еще очень распространенных страданий миллионов людей от голода, нищеты, болезней. И если человечество в целом — здоровый организм, а я верю в это, то именно прогресс, наука, умное и доброе внимание людей к возникающим проблемам помогут справиться с опасностями.

Вступив на путь прогресса несколько тысячелетий назад, человечество уже не может остановиться на этом пути и не должно, по моему убеждению.

Особенно существенное отличие моей системы ценностей и позиции от системы ценностей и позиции Солженицына — различная оценка роли защиты гражданских прав человека: свободы убеждений и информа-

ционного обмена, свободы выбора страны проживания, открытости общества. Я считаю эти права основой здоровой жизни человечества, основой международной безопасности и доверия. Защита конкретных людей — это то, в пользу чего я не сомневаюсь! Солженицын не отрицает, конечно, значения защиты прав человека, но фактически, по-видимому, считает ее относительно второстепенным делом, иногда даже отвлекающим от более важного. Я уже писал об этом в предыдущей главе. Я начал свои общественные выступления с обсуждения опасности гибели человечества в термоядерной войне. Именно эту проблему я считаю имеющей приоритет перед всеми остальными, стоящими перед человечеством. (Добавление 1988 г. Конечно, я не противопоставляю ее другим глобальным проблемам — защите прав человека, преодолению экономического и социального отставания, болезней и голода для большей части человечества, защите среды обитания; многоликая экологическая опасность должна рассматриваться, особенно в перспективе, как самая грозная. Эти уточнения представляются мне сейчас необходимыми.) Солженицын не высказал своего отношения к этому тезису.

Я отношусь к взглядам и позиции Солженицына с глубоким уважением, хотя в чем-то они кажутся мне неправильными. Осознав — особенно после ознакомления с «Письмом вождям» — отличие их от моих

взглядов и позиции, я счел совершенно необходимым четко сформулировать, в чем заключаются наши расхождения, и опубликовать свои мысли по их поводу. Такова была цель моей статьи. Мне до сих пор кажется, что она имела определенное общественное значение¹.

ГЛАВА 35

Отдых в Сухуми. «Мир через полвека».
Люсины глаза. Первая голодовка.
Сильва Залмансон и Симас Кудирка

В начале апреля 1974 года мы с Люсей выбрались на несколько недель отдохнуть на юг. Сначала мы прилетели в Сухуми, где удалось устроиться в гостиницу. Мы бродили по окрестностям города, просто отдыхали. В памяти — поездка в Амхельское ущелье: прозрачный горный ветер, четкие контуры далеких гор, шум пенящейся мутно-голубой воды на дне ущелья. Это были прекрасные, свободные дни. В конце пребывания в Сухуми мое инкогнито было раскрыто, стали приходиться посетители. Мы решили перебраться в Сочи, рассчитывая, что там будет спокойней — что оправдалось.

За время нашего пребывания на юге я написал статью по заказу американского журнала «Сатердей ревью» под названием «Мир через полвека». Редакция заказала для юбилейного номера подобные статьи многим известным авторам, которые должны были рассказать кое-что о том, как им рисуется будущее в 2024 году. Я дал волю своей фантазии, так что у меня (не знаю, как у других) полувековая отметка носит условный ха-

ракти. В статью я перенес кое-что из сборника под редакцией Кириллина и из «Размышлений», но, в основном, писал заново. Люся, как обычно, перепечатывала мои листки и делала некоторые замечания. Очень мне интересно, как моя футурологическая картина будет смотреться через 50 или 100 лет. Пока что она мне скорей нравится, чем наоборот¹.

Труда на эту статью ушло очень много, гонорар в 500 долларов никак нельзя считать слишком большим. Тогда еще можно было получать деньги из-за рубежа в виде сертификатов «Березки» (валютный магазин, в основном для советских чиновников, работающих за границей). Эти первые мои валютные поступления были очень кстати. На эти деньги мы покупали в продуктовой «Березке» мясные консервы и другие продукты для посылок в лагерь, для свиданий и передач — целыми ящиками! Работники «Березки» знали, между прочим, кто я и зачем делаю такие покупки. Как-то раз Таня, стоявшей в стороне, продавщица сказала, указывая на меня:

— Это академик Сахаров, посмотри на него.

(Что Таня пришла со мной, она, видимо, не заметила.) В конце апреля в Сочи прилетела Таня с Мотей, которому тогда исполнилось 7 месяцев. Мы пережили несколько тревожных часов, так как самолет из-за погодных условий приземлился в Минводах, а Аэрофлот, как обычно, не сообщал, где самолет и что с ним.

Две-три недели мы жили вместе. Я привязался к Моте, который тоже начал выказывать мне доверие.

В середине мая я должен был улетать в Москву, а Люся с Таней еще на две недели остались в Сочи — у Тани была курсовка, она лечилась. За это время у Люси произошло резкое ухудшение зрения. Это было обострение глаукомы, вызванное тиреозктомией, начавшееся, как я уже писал, еще в больнице в Ленинграде. Кризы повышения внутреннего давления стали гораздо более тяжелыми и частыми, почти без светлых промежутков. Обычное лекарство — пилокарпин — уже не помогало, плохо помогали и более «острые» лекарства. На аэродроме в Москве, где я их встречал, Таня отвела меня в сторону и сказала:

— Мать совсем ослепла.

В течение июня Люся, состояние которой продолжало ухудшаться, обращалась к нескольким глазным врачам. В Московской глазной больнице работала ее подруга по мединституту Зоя Разживина, специализировавшаяся в офтальмологии. Еще в студенческие годы Зоя Разживина много раз смотрела Люсины глаза и, как Люся говорила, изучала на ней всю глазную патологию. Люся пришла к ней в больницу, когда Зоя вела прием больных. Зоя стояла в глубине кабинета. Люся на таком расстоянии уже была не в состоянии отличить одного человека от другого и не узнала ее. Потом Зоя посмотрела Люсины глаза и заплакала. Через два дня Люся легла

в Глазную больницу с твердым намерением оперироваться. Однако получилось так, что, пролежав там месяц, она выписалась в том же состоянии, что и до больницы. С самого начала врачи, в том числе и подруга (работавшая в другом отделении), были явно так запуганы, что им уже некогда было думать о лечении. Дальше — больше. В больнице объявили карантин, хотя видимых причин к этому не было. Заведующая отделением, хорошо относившаяся к Люсе, почему-то перестала быть ее лечащим врачом; им стала заместитель главного врача. Наконец, Люсе передали конфиденциально:

— Мы не знаем, что с вами хотят сделать. Но вам необходимо срочно выписаться, как сумеете, под каким угодно предлогом!

В следующее воскресенье, когда никого из начальства не было, Люся выписалась.

Через несколько месяцев, после новых разочарований, мы были вынуждены принять решение добиваться выезда Люси для лечения глаз за границу.

В дни Люсиного пребывания в больнице я держал свою первую голодовку. Цель ее — привлечь внимание к судьбе политзаключенных, в их числе Владимира Буковского, о тяжелом положении которого мне сообщила незадолго до этого его мать, Валентина Мороза, Игоря Огурцова, немцев, осужденных за участие в демонстрации за право на эмиграцию, узников психиатрических больниц, в том числе Леонида Плюща. Голо-

довка была приурочена к пребыванию в Москве президента США Р. Никсона — это дало ей такую гласность, которой иначе быть не могло. Приехавшие с Никсоном корреспонденты и телевизионщики два или три раза приезжали на нашу квартиру, и я давал им телеинтервью (Таня переводила). Одно из таких телеинтервью (в соответствии с договоренностью по случаю приезда Никсона) телекорреспонденты пытались передать непосредственно из Останкино — там расположен телецентр. Но передача была вырублена нашим «выпускающим» (цензором), и несколько минут половина мира вместо Сахарова видела пустые экраны. Мне передавали, что впечатление было сильным.

Через 6 дней после начала голодовки мое состояние ухудшилось. Я решил, что цели достигнуты, и прекратил голодовку. Голодовка, при такой относительно малой длительности, была трудной для меня, в частности, потому, что я все время работал, давал интервью, в том числе требовавшие большого напряжения телеинтервью. В эти дни умерла моя тетьа Женя (Евгения Александровна, жена папиного брата Ивана, очень мною любимая). Мне удалось навестить ее в больнице, а потом, тоже в состоянии голодовки, я ездил на ее похороны.

Люся очень волновалась за меня во время голодовки. Почти каждый день ей удавалось, несмотря на «карантин», за рубль сторожу выскользнуть в халате из больницы и на такси доехать до нашего дома.

Забавно, что, когда она курила на лестнице с другими больными, те беседовали между собой, что Сахаров голодает, но, конечно, не совсем, что-нибудь он, конечно, ест. Другая обычная тема: что Сахаров — еврей. Люсе трудно было убедить своих соседей по больнице, что и то, и другое — неверно. Что она — жена Сахарова, другие больные не знали, хотя и видели меня часто у окон больницы.

Люся была также на Чкалова — в качестве хозяйки — когда ко мне приехали в гости два американских физика; они были в Москве на какой-то международной конференции. Один из них — Виктор Вейскопф, я рассказывал о своей первой встрече с ним. Я познакомился с ним у Игоря Евгеньевича осенью 1970 года. Другой — Сидней Дрелл, молодой, но тоже уже очень известный физик. На этой же конференции я познакомился с Шелдоном Глешоу.

Во время голодовки за состоянием моего здоровья наблюдала доктор Вера Федоровна Ливчак — ее нашла тогда Маша Подъяпольская, жена Гриши. Впоследствии мы очень сблизились с Верой Федоровной, вся наша семья.

Ее судьба — предмет особого рассказа, я сделаю это в одной из следующих глав.

Осенью 1974 года неожиданно были освобождены из заключения Сильва Залмансон, одна из участниц ленинградского «самолетного» дела (жена Э. Кузнецо-

ва — я писал о ней; ее заключительное слово сильно прозвучало на суде), и моряк-литовец Симас Кудирка. Оба они были осуждены на 10 лет заключения, срок каждого кончался в 1980 году. Вероятно, их освобождение было результатом какой-то тайной дипломатии.

Сильву еле удалось поймать по дороге в ОВИР; она верила ГБ, что если уедет немедленно, то будет отпущен ее муж, и уже начала оформлять документы на выезд. Мы уговорили ее написать заявление (вернее, подписать составленное нами), что она не уедет, пока ей не будет предоставлено свидание с мужем. Власти, получив заявление, немедленно уступили. Кузнецова привезли в Москву пассажирским поездом. По перрону его провели скованным наручниками с охранником (обычный способ обезопаситься от побега) к большому испугу случайных зрителей. Свидание Эдуарду и Сильве было срочно в тот же день устроено в кабинете начальника тюрьмы! Я считал, что Сильва должна также добиваться свидания со своими двумя братьями, тоже осужденными по тому же делу. Но тут все мои попытки убедить Сильву оказались безрезультатными. Она буквально принимала слова гебистов и наотрез отказалась подавать новое заявление, а ранее написанное на эту тему — аннулировала. Мы всерьез поссорились — она ушла, хлопнув дверью.

Через год, когда стало ясно, что меня не пускают на Нобелевскую церемонию, меня несколько удивил ноч-

ной звонок из США (в 4 часа утра). Представитель одного из американских еврейских комитетов уговаривал меня предоставить С. Залмансон в качестве советской диссидентки представлять меня на церемонии. Я сказал, что я поручил это моей жене.

История Кудирки такова. Он был моряком (на торговом или рыболовном судне, не помню). В 1970 году он во время заграничного плавания бежал с судна, перепрыгнув во время стоянки на палубу американского корабля береговой охраны, но был выдан. Капитан советского судна обманул американского командира, сказав, что Кудирка что-то украл. Кудирку тут же на глазах американцев избили, потом судили. Ложь советских представителей за рубежом — обычная вещь, но западные люди то и дело попадают на эту удочку. Прямая и наглая ложь не укладывается в их сознании.

Когда Кудирку неожиданно позвали к начальнику тюрьмы и освободили, он очень боялся, что это какой-то трюк, что его убьют по дороге. Ни с кем не повидавшись в Москве, он прямо приехал к матери в литовскую деревню. Но вскоре и мать, и он сам уехали за рубеж, в США. Большая заслуга в этом и в самом освобождении Кудирки принадлежит Сергею Ковалеву. Удалось доказать, что Симас Кудирка имеет право на американское гражданство, так как мать Симаса родилась в США.

Сереее пришлое в этом деле приложить немало усилий — несколько раз он был в американском консульстве, а ведь у нас каждое такое посещение рядовым гражданином рассматривается чуть ли не как измена родине и чревато серьезными последствиями. Дважды после посещения консульства Ковалев был задержан и обыскан.

ГЛАВА 36

Премия Чино Дель Дука.
Фонд помощи детям политзаключенных.
Мои выступления 1974–1975 годов:
Винс, Давидович, «О праве жить дома»,
немецкая эмиграция, письмо Сухарто,
в защиту курдов, встреча с Генрихом Бёллем
и совместное обращение.
День политзаключенного.
Угрозы детям и внукам.
Сергей Ковалев

В 1974 году мне была присуждена премия Чино Дель Дука. Это — одна из существующих во Франции премий за заслуги в гуманистической области. Ее присуждение явилось большой честью для меня. Премия эта — денежная, и это дало возможность моей жене осуществить ее мечту о фонде помощи детям политзаключенных. Я перевел часть премии на ее имя — эти деньги легли в основу объявленного ею фонда. Как я уже писал, в это время еще можно было переводить деньги из-за рубежа так, чтобы получатель получал сертификаты «Березки». По договоренности с банком деньги переводились по переданному туда списку непосредственно

женам политзаключенных, имевших детей. Эта форма помощи была очень целесообразной. К началу 1976 года такие переводы стали невозможными, но и фонд был к тому времени, несмотря на некоторые новые поступления, в значительной степени исчерпан. В дальнейшем некоторая сумма была переведена в Чехословакию для помощи детям политзаключенных, главным образом осужденных за участие в Хартии-77.

В 1974—1975 годах мне, как и до и после этого, пришлось выступать по большому числу общественных дел, в защиту людей, ставших жертвой несправедливости. В 1974 году я выступал по делу баптистского пастора Георгия Винса, одного из лидеров нонконформистского крыла баптистской церкви. Преследованиям подверглись три поколения семьи Винсов. Отец Георгия Винса, приехавший в СССР с проповеднической миссией, провел в заключении большую часть жизни, так же как и сам Георгий и его жена; впоследствии в заключении находился сын Георгия Петр.

Другое дело — нескольких офицеров-евреев из Минска, ветеранов войны, добивавшихся разрешения на выезд из СССР в Израиль. Все они многократно получали отказы и подвергались дискриминации и преследованиям. Среди них — полковник Ефим Давидович. В 1976 году, незадолго до его смерти, я познакомился с этим замечательным человеком; я рассказываю об этом в одной из следующих глав.

Группа литовцев — бывших политзаключенных — рассказала мне о том трагическом положении, в котором находятся бывшие политзаключенные, лишенные возможности после освобождения вернуться на родную землю. Эта проблема — общая и очень трагическая для всех политзаключенных, часть общего вопроса о свободе выбора места проживания; я уже писал об этом раньше. В 1974 году я написал обращение «О праве жить дома».

Несколько моих обращений и писем тех лет посвящены эмиграции немцев. В начале 70-х годов немцы стали составлять списки желающих эмигрировать. Были проведены также небольшие мирные демонстрации в поддержку права на эмиграцию. Власти ответили на эти вполне законные действия суровыми репрессиями. В 1974—1975 годах и после я выступал в защиту репрессированных.

Мне стали известны сведения, распространявшиеся Международной лигой прав человека, присылавшей мне свои материалы, и Эмнести Интернейшнл о тяжелом положении множества политзаключенных в Индонезии. В основном это были люди китайской национальности. После неудачной попытки коммунистического переворота в 1965 году сотни тысяч людей — опять же в основном китайцев — были убиты, а значительная часть оставшихся в живых согнана в концентрационные лагеря, часто без суда и следствия, просто по национальному

признаку (я пишу об этом на основании тех своих источников, о которых я упоминал выше). Спустя десять лет, в 1975 году, они все еще были там. Я обратился с письмом об амнистии к президенту Индонезии Сухарто. Ответа я не имел. В 1977 году в Индонезии под влиянием непрерывной и очень мощной международной кампании, в которой Эмнести Интернейшнл и Лига прав играли выдающуюся роль, была проведена частичная амнистия.

Другое трагическое международное дело, в которое я сделал попытку вмешаться, была судьба курдов. Как известно, курды, составляющие значительную, причем весьма активную, трудовую и часто наиболее образованную прослойку во многих странах Ближнего Востока и Азии, на протяжении многих лет вели активную борьбу за свои национальные права, за самоопределение, за автономию. Эта борьба продолжается и до сих пор.

Сейчас в особенности трагично положение в Иране, где Хомейни и его фанатичные сторонники осуществляют жестокие карательные экспедиции, проводят массовые расстрелы курдов.

В 1974—1975 годах особенную тревогу вызывали акции правительства Ирака, в ряде случаев чрезвычайно жестокие, граничащие с геноцидом. Я дважды выступал с открытыми обращениями в защиту иракских курдов — осенью 1974 года и весной 1975 года. В связи с этими выступлениями я получил письмо с благодарно-

стью от Мустафы Барзани, знаменитого лидера курдов, вскоре умершего в эмиграции.

В декабре 1974 года — обращение к Конгрессу США по поводу поправки Джексона—Ваника. Это одно из моих важнейших выступлений, адресованных законодательным органам. Мою принципиальную позицию по этому вопросу я освещаю в других главах.

В феврале 1975 года я впервые встретился с Генрихом Бёллем. Произведения Бёлля начали печататься в СССР с середины 50-х годов и, наряду с книгами Ремарка, Фаллады и других немецких писателей, были очень важны для людей моего поколения своей глубокой и очень «современной» человечностью, своим противостоянием фашизму во всех его проявлениях. Мы не могли не чувствовать, что сталинизм, формировавший во многом атмосферу, окружавшую нас в юности, это тоже «причастие буйвола».

Бёлль приехал к нам на дачу с женой Аннемарией, поэтом-переводчиком Костей Богатыревым и художником Борисом Биргером — друзьями Бёлля, исполнившими роль высококвалифицированных переводчиков. Мы с Люсей с волнением ждали этой встречи. Люся сделала парадный обед, учтя при этом, что у Бёлля диабет, и соответственно приготовив ему то, что можно. Я не имел еще случая похвастаться Люсиными кулинарными способностями. Сама она гордится ими, вероятно, больше, чем многим иным. Готовит она быст-

ро, с удовольствием и с кажущейся легкостью, но на самом деле — «выкладываясь».

У нас во время визита Бёлля была в гостях Томар Фейгин, мама Ефрема и бабушка Моти. Конечно, и сам Мотя сидел за столом, держался он вполне солидно.

Разговор с Бёллем был не простым — и не пустым. При общих, как мне кажется, исходных внутренних предпосылках, при взаимной, как мне чувствуется, симпатии, при свойственной Бёллю терпимости оказалось, что во многом наши оценки, опасения, иерархия целей различны. Это, конечно, не удивительно, если учесть, сколь различны сейчас миры, в которых мы живем: плюралистический, изменчивый, индивидуалистический Запад, сжатый — если говорить о Европе — на маленьком клочке Земли, дорожащий своим материальным благополучием и духовными ценностями (часто больше первым в ущерб вторым) и чувствующий их зыбкость, с широкой традиционной демократией, со свободной, играющей огромную положительную роль в жизни общества, но иногда беспринципной прессой — и наша страна с ее партийно-государственной монополией во всех областях жизни, с закрытостью, с полным трагическим отсутствием информационной свободы, скрытым лицемерием и жестокостью, внутренней усталостью, повальным пьянством, ведущим к деградации народа, коррупцией и безответственностью и одновременно — с огромными просторами и ре-

зервами, гигантским населением, разнообразием природы и людей, с унаследованными от прошлого гуманистическими традициями интеллигенции — правда, изрядно растерянными, но в чем-то и вышедшими за ее круг, страна, где все бывает и, по выражению Салтыкова-Щедрина, «не соскучишься», страна, ставшая средоточием мировых проблем, их узлом — так же, как на другом полюсе — США!

В ту, первую встречу мы горячо обсуждали вопрос об эмиграции немцев. Я упрекал их соотечественников из ФРГ: правительство, прессу, граждан — в недостатке внимания к этой проблеме, говорил о том, как трагична судьба немцев в СССР, сколь незаконны получаемые ими отказы и преследования желающих репатриироваться. Бёльль же говорил о трудностях ассимиляции приехавших из СССР, привыкших к совсем другим нормам поведения, труда, быта, о том, что многие из них чувствуют себя лишними людьми. Но в конце разговора он сказал:

— Жизнь на Западе трудна, а у вас — невозможна! Во время второй нашей встречи, о которой я пишу ниже (она произошла через несколько лет), мы говорили о ядерной энергетике, о культе автомобиля¹... В обоих случаях частные темы были, быть может, «надводным» представителем более общей, до формулировки которой мы не успели дойти. Как мне кажется, это было бы выяснение глубинных основ наших позиций.

Одним из результатов нашей встречи в 1975 году было совместное обращение в защиту Владимира Буковского, всех политзаключенных и узников психбольниц, в особенности больных и женщин, отражавшее наше беспокойство, наше желание прекратить несправедливость.

Внутренним результатом встречи с Бёллем для меня стало укрепление чувства глубокой симпатии к этому замечательному человеку.

30 октября 1974 года по инициативе многих политзаключенных впервые состоялся «День политзаключенного», ставший в последующие годы традиционным².

В этот день политзаключенные лагерей и тюрем СССР проводят однодневную голодовку, требуя осуществления своих прав, а правозащитники в Москве устраивают пресс-конференцию, на которой сообщают иностранным корреспондентам факты нарушения прав заключенных, сообщают о репрессиях, голодовках и требованиях политзаключенных. В 1974 году и всегда потом, может за одним исключением, эта пресс-конференция проходила на нашей квартире (*написано в 1983 году*). Пресс-конференция 1974 года была организована Сергеем Ковалевым, Таней Ходорович, Таней Великановой, Мальвой Ланда, Сашей Лавутом — все они, кроме эмигрировавшей Ходорович, теперь (т. е. в 1983 году) сами политзаключенные.

Я сделал на конференции вступительное заявление, а также зачитал свое обращение. Затем с сообщениями и документами (многие из них были тайно, с большими трудностями и опасностями переправлены из тюрем и лагерей) выступили Сергей Ковалев и другие инициаторы конференции.

Официально, согласно Исправительно-трудовому кодексу, в СССР нет политзаключенных. Все они считаются осужденными за уголовные преступления (к такому относится такое, как «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»; фактически это преследования за убеждения, но именно этого власти не хотят признать). Если кто-то из политзаключенных в жалобе начальству или даже в личном письме называет себя политзаключенным или просто употребляет этот термин, то это, в свою очередь, считается клеветническим высказыванием и влечет за собой самые суровые репрессии.

Политзаключенные делят со всеми заключенными СССР тяжесть их положения, не соответствующую требованиям гуманности и современным, принятым в большинстве демократических стран нормам. Основным документом, определяющим положение заключенных, является Исправительно-трудовой кодекс (ИТК). Уже его изучение указывает на такие черты положения заключенных, как обязательный, т. е. принудительный,

труд³, жесткая регламентация числа и продолжительности свиданий, ограничения переписки⁴ и продовольственных посылок, применение в качестве наказания карцеров. Тяжесть положения заключенных усугубляется многочисленными секретными инструкциями, а практика еще более жестока и неприглядна.

Обязательный труд заключенных обычно бывает очень тяжелым и часто вредным, без соблюдения необходимых мер производственной гигиены. Не только отказ от работы, но и невыполнение норм выработки (часто непосильных) влечет за собой репрессии: лишение свиданий и права переписки⁵, лишение денег на ларек, т. е. ухудшение и без того очень скудного питания, заключение в карцер.

Свидания возможны только с родственниками, их число и максимальная длительность жестко регламентированы⁶. Каждое свидание, особенно «длительное» («личное»), становится событием, которого приходится ждать месяцами (это в лучшем случае, если свидания происходят в положенное время), а начальство пользуется правом отменять свидания при малейшем недовольстве поведением заключенного, часто абсолютно произвольно. Иногда свидания отменяются, если в зоне произошло что-либо, о чем не хотят просачивания сведений на волю, например голодовка заключенных. В результате нередко случаи, когда у заключенных нет никаких свиданий годами! Обычным является произвольное

уменьшение длительности свидания; это всегда большая беда и психологическая травма для заключенного и его родных — жены, матери, — приехавших за сотни километров. «Длительное» свидание иногда вместо положенных трех суток администрация прекращает по истечении всего суток — даже покормить заключенного за это время не успеть, а «краткое» свидание иногда длится менее часа!

Переписка тоже жестко регламентирована и ограничена и подвергается цензуре, причем часты произвольные конфискации писем. У многих известных мне политзаключенных многие месяцы подряд конфисковывались все письма, и они вели трудную борьбу за право переписки (среди них были Кронид Любарский, Сергей Ковалев).

Применение в качестве меры наказания ПКТ, ШИЗО и БУРов («помещение камерного типа», «штрафной изолятор», «блок усиленного режима» — все это разновидности карцеров) по существу является узаконенной пыткой голодом и холодом⁷.

К этому надо добавить, что даже в «норме» питание заключенных только поддерживает жизнь; оно крайне бедно витаминами и белками, не питательно и не вкусно. Продуктовые посылки в лагерь (возможные только в строго регламентированном объеме со второй половины срока) не могут содержать витамины и многое другое, самое необходимое.

Положение политзаключенных в особенности отличается от положения обычных заключенных тем, что они осуждены фактически за убеждения и поэтому обычная формула «не встал на путь исправления» со всеми вытекающими отсюда последствиями для них означает — остался *верен* своим убеждениям. В результате лагерь и тюрьма под видом «перевоспитания» *ломают* политзаключенных, ломают жестоко и систематически. Отсюда — бесчисленные трагедии. Отсюда же требования политзаключенных установления для них отдельно от уголовных заключенных «статуса политзаключенных», главная идея которого: уважайте наши убеждения — достаточно того, что мы за них в заключении.

Ужасный бич советских лагерей и тюрем — повторные осуждения лагерным или тюремным судом на новые сроки (для политзаключенных большей частью за так называемые клеветнические измышления по показаниям других заключенных, добровольных или, чаще, вынужденных доносчиков и лжесвидетелей). Вместе с повторными приговорами «на воле» эти осуждения превращают людей в вечных узников.

В места заключения СССР — лагеря, тюрьмы, специальные психиатрические больницы — никогда не допускались представители беспристрастных международных организаций, таких как Красный Крест и Всемирная организация здравоохранения и другие. А ведь большинство стран, подвергающихся самой ост-

рой критике в советской печати за нарушения прав человека, многократно допускали комиссии беспристрастных международных организаций для посещения мест заключения. Сам факт недопущения постороннего глаза свидетельствует, что есть что скрывать! Никакие голословные опровержения советских официальных лиц не могут убедить в обратном.

Вместе с тем я должен отметить, что современные советские лагеря, в отличие от сталинских и гитлеровских, все же не являются лагерями уничтожения. Известные нам случаи гибели политзаключенных (Дандарон, Галансков, Кукк, Шелков и некоторые другие) — каждый является огромной трагедией, часто это преступление властей, но все же они — исключение. (Добавление 1987 г. Хочу добавить следующие имена: Тихий, Стус, Валерий Марченко, Литвин, Анатолий Марченко.)

Я еще буду возвращаться в этой книге к положению заключенных, в особенности в связи с личными впечатлениями во время поездки в Мордовию.

На пресс-конференцию 30 октября пришло много иностранных корреспондентов (большинство с магнитофонами и фотоаппаратами). Мы с трудом поместили их в маленькой комнате Руфи Григорьевны — большей из наших двух, из которой была вынесена мебель: шкаф и кровати — и заменена стульями. Часть из наших стояли в дверях и в коридорчике. Пресс-конференция вызвала заметный отклик в прессе. Что касается КГБ, то

он тоже оценил ее по достоинству: организация и участие в этой и других пресс-конференциях Дня политзаключенного неизменно инкриминировались в обвинительных заключениях и приговорах.

В 1974—1975 годах в связи с моей общественной деятельностью вновь имели место угрозы моим родным — детям, зятю, внукам. В конце 1974 года в Конгрессе США происходило обсуждение поправки Джексона—Ваника. Примерно 20 декабря в нашем почтовом ящике мы обнаружили письмо. В конверт была вложена вырезка из газеты «Известия» с сообщением об обсуждении поправки в Конгрессе США и следующий напечатанный на машинке текст:

«Эти обсуждения связаны с Вашей деятельностью. Если Вы ее не прекратите, мы примем свои меры. Начнем мы, как Вы понимаете, с Янкелевичей — старшего и младшего.

ЦК Русской Христианской партии».

Младшему Янкелевичу, моему внуку Матвею, было в это время немногим больше года (15 месяцев)! Не было никакого сомнения, что эта бандитская угроза исходит от КГБ. Мы не могли относиться к ней иначе как с самой большой серьезностью.

В конце 1974 года Ефрем («старший Янкелевич») взял отпуск и выехал на две недели к матери Томар

Фейгин, которая жила и работала в подмосковном поселке Петрово-Дальнее. Таня приезжала к нему по воскресеньям. Однажды, когда Ефрем выносил помойное ведро, к нему подошли двое, перегородив дорогу. Один из них сказал:

— Имей в виду: если твой тесть не прекратит свою так называемую деятельность, ты и твой сын будете валяться где-нибудь на помойке!

Об этих угрозах моему зятю я сделал заявление в следственный отдел МВД. Через некоторое время меня вызвали к следователю Левченко (вместе со мной пошла Люся). Он был любезен и уклончив и высказал «предположение», что, быть может, мой зять «сам связан с уголовными элементами, которые его шантажируют». Это предположение на самом деле тоже было угрозой, которая вскоре стала реализовываться.

Вскоре произошли и другие тревожные случаи с Ремой и Алешей. Я расскажу об одном из них, произошедшем с Алешей. Он возвращался из института. На станции метро к нему обратился слепой (или изображавший из себя слепого) с просьбой проводить его в Сокольники. Это Алеше было совсем не по пути, но имея мать — глазную больную — и вообще по свойствам характера он в таких случаях не мог отказать. На это-то, вероятно, и был расчет. Слепой завел его в глухой переулок и исчез. После этого на Алешу набросилась группа молодых мужчин. Произошла драка — Алеше разбили очки,

но он сумел убежать. Несколько часов после этого на него устраивались облавы — ему пришлось прятаться в канавах и кустах. Все это время мы сходили с ума от беспокойства, куда он пропал; в отделениях милиции нам говорили: «Вероятно, зашел выпить к приятелям». Никто нам не верил, что этого не может быть: Алеша с 9 лет дал зарок абсолютного воздержания от спиртного и никогда его не нарушал.

27 декабря был арестован Сергей Ковалев, наш друг, замечательный человек, сыгравший очень большую роль в защите прав человека в СССР.

Я встретился с Ковалевым в 1970 году; как я уже писал, он пришел подписать обращение в защиту Жореса Медведева. Люся знала его несколько раньше. В это время он уже был сложившимся ученым-биологом, выполнившим много интересных работ по нервным сетям и смежным биологическим проблемам, стоящим на стыке биологии и кибернетики. Еще больше у него было научных планов. Общее число его опубликованных работ более 60. Но уже тогда по его научной карьере был нанесен удар. Ему пришлось уйти из университета и биолого-математической группы в связи с подписанием письма в защиту Есенина-Вольпина. В 1969 году Ковалев — в числе членов Инициативной группы. Вместе с другими он стоит у истоков правозащитного движения в его современной форме, участвует в выработке его принципов:

принципиального отрицания насилия, использования гласности как единственного оружия, законности, стремления к абсолютной точности, полноте, достоверности информации. Мы встречались с Сережей не каждый день, лишь несколько раз были у него дома. С кем-либо другим при этом могли бы возникнуть поверхностные отношения или никакие. Но тут все было иначе. Мы узнали в его лице верного друга — и в общественных, и в личных делах, включая медицинские: тут у него было много дружеских связей. Узнали в нем человека, близкого по духу, по убеждениям.

Сережа был почти всегда загорелым (загар не сходил даже зимой), с голубыми ясными и решительными глазами, слегка курчавыми светлыми волосами; на его лице, обычно озабоченном и «деловом», иногда при разговоре появлялась добрая, какая-то мальчишеская улыбка. Отличительная его черта — исключительная внутренняя добросовестность, «дотошность», перенесенная из научных занятий во все, что он делает. В этом — его сила. Однако отсюда же медлительность, повергавшая его в хронический цейтнот, из которого он выходил не жалея своего времени, отдыха, самого себя. (Потом, в лагере, эта медлительность и добросовестность не облегчали ему жизни — там лучше подхалтурить.)

В мае 1974 года Ковалев вместе с другими объявил, что он принимает на себя ответственность за издание

«Хроники»⁸. Власти не простили ему этого смелого шага — судьба его, видимо, была решена еще тогда. Но за оставшиеся ему семь месяцев он успел сделать очень многое, в том числе в деле Кудирки, в организации Дня политзаключенного, в других делах.

После увольнения из университета Ковалев устроился работать на Опытную рыборазводную станцию⁹, где начальником одной из групп был муж моей двоюродной сестры Виталий Рекубратский. Они были друзьями еще по университету. На станции Ковалев занимался вопросами генетики рыб, пытался продолжать что-то из своих прежних работ. У него появились научные идеи и в некоторых других областях.

Последние годы на той же станции работал мой зять Ефрем Янкелевич. Ковалев имел большое влияние на него, стал для него образцом (и не зря).

Летом один из сослуживцев Ковалева взял у него книгу «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, чтобы снять с нее фотокопию в лаборатории, где работал его знакомый. При усиленной активности начальника лаборатории Сережина книга была конфискована, а замешанные в «дело» вызывались на допросы, им угрожали. Одного из них — Маресина — за отказ от дачи показаний присудили к принудительным работам. Нескольких (как потом и Ефрема) уволили. С одним из них мы были очень дружны всей семьей. Во время допросов следователь говорил:

— У вас там целая антисоветская организация, мы это прекрасно знаем. Но Янкелевича мы вызывать не будем: очень нам надо, чтобы о зяте Сахарова кричал весь мир.

Это, вероятно, была игра с целью выудить новые показания о Ефреме и Сереже; никаких иллюзий относительно неприкосновенности Ефрема мы, конечно, себе не строили.

Осенью 1974 года Сергей Ковалев написал председателю КГБ Андропову письмо, в котором он защищал свое право давать принадлежащую ему книгу, кому он считает нужным, и требовал возвращения своей собственности. Через несколько дней он нашел это письмо подброшенным на задней лестнице в самом неприглядном виде: конверт разорван, письмо измято и испачкано. Так КГБ давал знать, что Ковалев — уже не пользующийся всеми правами гражданин, он — вне закона. КГБ любит подобный язык жестов¹⁰.

В конце декабря Сергей был вызван на очередной допрос, проходивший в острых, угрожающих тонах. После допроса следователь не вернул ему паспорт, сказав, что Ковалев должен зайти за ним через два дня, утром 27 декабря. Это, по-видимому, означало арест (так и получилось).

Вечер 26 декабря Сережа провел у нас, на улице Чкалова. До него пришли Саша Лавут, Таня Великанова,

Рема. Сережа подошел, когда все уже кончили пить чай, голодный. Он попросил Люсю:

— Дай напоследок щец похлебать.

(Случайно вырвавшееся слово «напоследок» оказалось очень многозначительным.)

Люся дала ему щей, еще чего-то, что он любит.

Сидели на кухне: Сережа — на своем обычном месте, спиной к балконной двери, остальные — кто на диванчике, кто на стульях вокруг стола. Говорили о разном, иногда полушутливо, иногда вдруг всплывали жизненно важные, принципиальные, даже философские темы. Все чувствовали, что, возможно, этот разговор — последний перед очень долгой разлукой. Часов в 12 Сережа попросил принести бумагу. Его очень волновало полученное нами за несколько дней до этого письмо, о котором я писал выше, — с угрозами «старшему и младшему Янкелевичам» от ЦК Русской Христианской партии (от КГБ!). Как всегда, он больше думал о других, чем о себе. Сережа написал проект Обращения по поводу письма; он не очень ему нравился, время шло. Наконец, уже в третьем часу ночи, Сережа сказал:

— Ну, ладно. Я пойду. Надо же и домой попасть.

(Подразумевалось — до завтрашнего ареста.)

Все вышли проводить его в прихожую, поцеловались. Он ушел. На другой день С. Ковалев был арестован.

Конец 1974 года ознаменовался для нас не только арестами и угрозами, но и переживаниями совсем другого рода.

В декабре 1974 года Борис Биргер нарисовал наш с Люсей двойной портрет. Эта картина не всем нравится, но мне кажется, что портрет удался, отражает что-то глубинное и важное. Мы с Люсей — вместе, с нашей общей судьбой, общим счастьем и общей заботой. Я — в раздумье, может в сомнении, в мысли. Люся — на минуту замерла с папирсой, но она вся — готовность к действию, помощи (романтическое начало, как сказал Биргер). Глядя на портрет, теперь — на репродукцию, я испытываю странное, волнующее чувство уже ушедшего в прошлое физического, материального бытия того конкретного времени, которое будет уходить все дальше и дальше и после нашей смерти, и одновременно чего-то вечного, остановившегося во времени, внутреннего.

Я надеюсь, в этой книге будет репродукция с картины¹¹. К сожалению, репродукции (черно-белые и даже цветные) плохо передают цветовую организацию картин Биргера, переливающуюся и искрящуюся фактуру его письма. Биргер не принадлежит к числу модернистских художников; он пишет в почти традиционной манере, быть может чем-то — из старых великих мастеров — отдаленно напоминая Рембрандта с его светописьью и психологизмом, вряд ли кого-либо еще.

Сеансы продолжались почти весь декабрь — каждый из них был неким праздником. Биргер усаживал нас, потом начиналась его работа. При этом он обычно что-то рассказывал — о своей жизни, о чем-либо еще. Жизнь его действительно примечательна. Во время войны — в разведке. Потом преуспевающий, уже пользующийся известностью и признанием художник, но уже столкновение с Хрущевым на выставке в Манеже не предвещало ничего хорошего. Потом — исключение из Союза за подпись по делу Гинзбурга (кажется) и нежелание покаяться. Начинаются большие материальные трудности. Все же ему оставили мастерскую, и он работает, как никогда до этого, с каждой картиной поднимаясь на новый уровень (конечно, в искусстве нет одномерности, и кому-то ранние вещи могут нравиться больше поздних — но важно движение, отсутствие застоя и самоповторения).

После сеанса или в перерыве — чай, вскипяченный на плитке, разлитый вместе с густой заваркой в стаканы из толстого стекла, заранее приготовленная Люсей, принесенная из дома ее коронная ватрушка с изюмом — она очень нравится и Боре, и нам обоим.

Наши отношения с Биргером, начавшиеся тогда, продолжались и потом. Раз в год, вплоть до 1980 года, он приглашал нас на «вернисаж», показывал свои работы за год, выставляя, конечно, и более старые, в том числе наш двойной портрет¹².

ГЛАВА 37

1975 год. Борьба за Люсину поездку.
«О стране и мире». Болезнь Моти.
Люся в Италии. Нобелевская премия.
Суд в Вильнюсе

Болезнь Люсиных глаз — следствие контузии в октябре 1941 года, сопровождавшейся кровоизлиянием в области глазного дна, временной слепотой и глухотой. Во время войны у нее были еще ранения, но именно контузия послужила началом многолетних разрушительных процессов. В 1945 году Люся была демобилизована по инвалидности. В 1966 году оперирована на правом глазу с удалением хрусталика по поводу его дрожания (тремуляции). За это же время к хроническому увеиту, от которого она безуспешно лечилась в послевоенные годы, прибавилась глаукома (повышение внутриглазного давления, сопровождающееся отмиранием сетчатки). После операции удаления щитовидной железы глаукома не поддавалась лекарственной коррекции, стала необходимой операция. Многолетний увеит привел также к разрушению структуры стекловидного тела. Уже до 1974 года Люся видела очень плохо, и только ее исключительная приспособляемость давала ей

возможность вести нормальный образ жизни. Люся, как я уже писал, инвалид Великой Отечественной войны II группы.

После выписки Люси из Глазной больницы мы сделали еще несколько стоивших нам огромных усилий безрезультатных попыток ее лечения. В августе 1974 года мы решили, что ей необходимо добиваться разрешения на поездку за рубеж для лечения и операции. Это решение не было проявлением нашего недоверия к советским врачам, к советской офтальмологической школе. Но в нашем исключительном положении (как это проявилось в Глазной больнице, до нее — в Ленинграде и после в Москве) лечение за рубежом было единственно возможным. Принимая это решение, мы понимали его ответственность. Отступить, отменить его мы уже не могли. Между тем каждый месяц промедления — а их потом было очень много, почти год! — означал новые подъемы внутриглазного давления с отмиранием сетчатки и необратимым уменьшением поля зрения. Погибшие светочувствительные клетки уже не восстанавливаются. Конечным итогом неоперированной и нелечимой глаукомы является слепота. Мы вступили в борьбу, ставкой в которой было Люсино зрение!

В августе Люся позвонила своей итальянской подруге Нине Харкевич с просьбой прислать ей вызов для лечения и операции в Италии (тогда еще, до декабря 1974 года, для нас была возможна международная телефон-

ная связь). Нина и другая Люси́на подруга в Италии Мария Михаеллес действовали очень оперативно, и в конце сентября Люся, получив вызов, уже начала оформлять выездные документы.

Люся познакомилась с Марией Васильевной Михаеллес (Олсуфьевой) в первой половине 60-х годов, а через нее, несколько позже, с Ниной Адриановной Харкевич. Поводом для знакомства с Марией Васильевной послужила книжка Всеволода Багрицкого «Дневники, письма, стихи», составителями которой были мама Севы Багрицкого Лидия Густавовна и Люся. Книга вышла в 1964 году. Мария Васильевна увидела ее на ночном столике рядом с молитвенником у одной старой русской дамы, эмигрировавшей из России и жившей в Париже. Мария Васильевна, спросила:

— Что это за красная книжка у вас лежит?

Старая женщина ответила ей:

— Эта маленькая книжечка помогла мне понять, чем русские мальчики, убивавшие немецких во время второй мировой войны, отличались от немецких мальчиков, убивавших русских.

Мария Васильевна заинтересовалась (до этого она не знала не только имени Всеволода, но и Эдуарда Багрицкого), тут же прочла и решила перевести отрывки из книжки для какого-то итальянского журнала. А через несколько месяцев она была в СССР и упомянула о книге Всеволода Багрицкого и всей этой истории

в доме Виктора Шкловского, известного писателя. Виктор Борисович сказал:

— Я могу познакомить вас с Люсей Боннэр, одной из составителей книги, если вы хотите.

Мария Васильевна выразила желание, и вскоре Люся познакомилась с ней.

Еще несколько слов о книге Всеволода Багрицкого. Книга сделана в сугубо документальном стиле и, как мне кажется, умело, с любовью и талантливо. Может, это одно из главных дел Люсиной жизни. В книге удивительно рельефно отразился душевный мир того предвоенного человеческого «слоя», к которому принадлежали Сева и сама Люся. На всех тех, кто ее читал, она производит большое впечатление — читать без глубокого волнения ее, по-моему, невозможно. Тираж был совсем небольшим — 30 000 экземпляров. Книга получила премию Ленинского комсомола и по положению должна была выйти вторым изданием массовым тиражом. Но максимум «оттепели» был уже пройден — второе издание не состоялось. Некоторые факты из книги (о женитьбе Севы) послужили исходным материалом для клеветнических кампаний против Люси, о которых я пишу в следующих главах («желтые пакеты» от имени мифического Семена Злотника, книга Яковлева «ЦРУ против СССР» и его же статьи в журналах «Смена» и «Человек и закон», фельетон в итальянской газете «Сетте джорни»).

Мария Васильевна родилась в России, в очень известной в русской истории семье графов Олсуфьевых, вместе с родителями попала за рубеж. Жизнь ее, как и Нины Харкевич, была непростой и очень трудовой. Мария Васильевна — одна из самых активных переводчиков с русского на итальянский, переводила многих известных современных писателей (также некоторые их произведения, не издававшиеся в СССР). За переводы ей была присуждена премия Этна-Таормина. (В 1988 году Мария Васильевна Михаеллес умерла.) Нина Адриановна Харкевич родилась в Италии. Она внучка священника, посланного в конце XIX века во Флоренцию, чтобы возглавить там православный приход. Нина — доктор медицины, и, хотя ей уже за 70, она до сих пор работает. Когда-то она преподавала анатомию в Академии художеств (она и сама занимается живописью, пишет стихи).

У Люси возникла большая дружба с этими двумя замечательными женщинами. В 1971—1972 годах она познакомилась с ними и меня.

Получив вызов, Люся стала собирать необходимые справки. Оформление зарубежной поездки — весьма сложное дело. В конце сентября Люся принесла в районный ОВИР свое заявление, вызов от Нины (переведенный в специальной официальной конторе за две недели с итальянского на русский), заполненные анкеты с десятками вопросов на 4 листах в двух экземплярах,

справку от мужа (т. е. от меня), что он не возражает (эта справка не без труда была заверена на работе), 6 фотокарточек. Так как Люся была уже на пенсии, с нее не требовалась справка с места работы. Принимая документы, сотрудник районного ОВИРа обратил внимание на то, что не указано точное место работы бывшего мужа. Пришлось срочно ехать домой — довольно далеко — и впечатывать недостающее (от руки не разрешается). Но затем сотрудник заметил, что не указано место смерти отца. За два дня Люся сняла в нотариальной конторе заверенную копию со свидетельства о смерти Геворка Алиханова, выданного Руфи Григорьевне при реабилитации ее мужа. Эта справка является очень странным документом. Написано: дата смерти — 1939 год, выдано ЗАГСом такого-то района города Москвы в 1954 году, т. е. через 15 лет после смерти, если дата смерти правильна¹. Не указано место смерти — вместо этого прочерк (я уже писал об этом). У молодого сотрудника ОВИРа глаза полезли на лоб при виде такого документа. Пришлось объяснять ему, что так выглядят свидетельства, выданные при *посмертной реабилитации* — он лишь краем уха слышал о таком.

Началось многомесячное ожидание, а потом — активная борьба за разрешение. Все это время Люсино зрение непрерывно ухудшалось. В апреле 1975 года Люсю вызвали в городской ОВИР. Я поехал вместе с ней. Заместитель начальника Золотухин сообщил ей

об отказе. Основание — что она может лечить свои глаза в СССР, ей предоставлены все возможности. Мы прямо в зале ОБИРа сказали об этом иностранным корреспондентам, приехавшим вместе с нами (к величайшему испугу советских чиновников, ожидавших виз на какие-то заграничные поездки). В ближайшие дни я поехал к президенту Академии наук СССР М. В. Келдышу, предварительно подав ему письменное заявление, но он отказался помочь мне — с той же ссылкой на советскую медицину. Оставался единственный путь — обращение к мировой общественности. 3 мая мы опять собрали пресс-конференцию, на которой раздали корреспондентам заранее составленные обращения (Люсины и мои) к мировой общественности, к участникам второй мировой войны (так как Люсино зрение пострадало на войне). Последнее было подписано Люсей — лейтенант запаса, инвалид Отечественной войны II группы. Было также обращение к государственным деятелям Запада. Мы рассказали медицинскую историю Люси и что лечение в СССР оказалось практически невозможным из-за специфичности нашего положения. На пресс-конференции мы объявили, что в дни 30-летия Победы — 8, 9 и 10 мая — проведем оба голодовку с целью привлечения внимания к возникшему трагическому положению. За несколько часов до начала пресс-конференции неожиданно явился курьер из Министерства здравоохранения. Он при-

нес официальное письмо, не помню за чьей подписью, в котором сообщалось, что гражданке Боннэр Е. Г. может быть предоставлена медицинская помощь в отношении ее глаз в любом специализированном учреждении министерства. В письме было также упоминание о возможности привлечения для лечения Люси специалистов из-за рубежа с оплатой за счет государства. Это письмо вместе со многими другими документами того времени было похищено при негласном обыске в 1978 году.

Мы в Министерство здравоохранения не обращались. Это явно был очередной шаг КГБ. КГБистским лечением мы уже были сыты по горло. На пресс-конференции мы рассказали и об этом письме. Я до сих пор уверен, что ничего хорошего для Люсиных глаз, если бы мы клюнули на эту удочку, не было бы. Им было важно сбить нас с выбранного пути и ничего более.

На наш призыв откликнулись очень многие. Я не все знаю и не все помню (к сожалению, я пишу по памяти). Очень важными, во всяком случае, были вмешательства Федерации Американских ученых (ФАС), указавшей в письме к Брежневу, что антигуманное отношение к просьбе Сахарова затруднит научные контакты, королевы Нидерландов и канцлера Вилли Брандта при их визитах в СССР, Организаций инвалидов войны многих стран, многих частных лиц, писавших письма советским руководителям.

В течение лета 1975 года периодические проверки Люсиных глаз показывали, что поле зрения уменьшается с каждым месяцем и мертвая зона на сетчатке приближается к желтому пятну — наиболее важной для зрения области с наибольшей частотой рецепторных клеток и, следовательно, с наибольшей разрешающей способностью.

В конце июля раздался неожиданный звонок (на даче, где мы все это время жили). Сотрудница ОВИРа позвала к телефону Люсю. Она сказала, что Люсе окончательно отказано в поездке в Италию, но ей будут предоставлены все возможности для лечения в СССР (как известно, вопросы лечения в компетенцию ОВИРа никак не входят). Люся отвечала в резкой форме (я тут смягчаю ее формулировки):

— Я ослепну по вашей вине, но ни к каким здешним врачам не пойду.

На этом разговор закончился. Руфь Григорьевна упрекнула Люсю за резкость. Через сутки, уже в конце рабочего дня, та же сотрудница позвонила вновь и сказала, что Люся должна немедленно приехать за разрешением на поездку. Предыдущий разговор, видимо, был последней попыткой КГБ сломить Люсю и настоять на своем. Разрешение, наверное, уже было готово, но ведь ничего не стоило его порвать. Люся сказала:

— Ведь уже поздно, я не успею до конца рабочего дня.

— Ничего, вас будут ждать.

Когда Люся подъехала, сотрудница ОБВИРа встретила ее в вестибюле и под руку провела на второй этаж. В кабинете начальника ее действительно ждало несколько человек, в том числе начальник Московского ОБВИРа Фадеев. Он повторил, что Люсе дано разрешение на поездку в Италию для лечения глаз и что визу она может получить через два дня. В кратком последовавшем затем разговоре некто, сидевший рядом с начальником, вдруг сказал:

— Но вы должны знать, что ваш муж никогда не сможет выехать к вам за границу.

Какова была цель этой явно не случайной фразы, я не знаю. Возможно, цель фразы была просто проверить Люсину реакцию. Люся ответила:

— Да, я это знаю. В прошлом у меня было много возможностей остаться, но я не ваша советская чиновница. Я еду, чтобы лечиться.

Люся позвонила мне о полученном ею разрешении, как только приехала на улицу Чкалова. Но еще до этого мне на дачу позвонили из агентства Рейтер. Им только что звонил кто-то и сообщил, что Елене Боннэр предоставлено разрешение. Сотрудник агентства справлялся, правильно ли это сообщение. Без сомнения, в Рейтер звонили из КГБ.

Всю первую половину 1975 года я работал над брошюрой, названной мною «О стране и мире». История

возникновения этой книги такова. В конце 1974 года меня посетил американский сенатор Джеймс Бакли. Это был один из первых крупных политических деятелей, решившихся прийти ко мне. Советская пресса иногда пишет о нем как о человеке крайне правых, реакционных взглядов. На меня он произвел впечатление человека думающего, озабоченного основными проблемами современности и свободного от обычной слабости многих на Западе во что бы то ни стало казаться прогрессивным (может, это и есть «реакционность»?). Вместе с тем я вовсе не думаю, что по всем вопросам наши точки зрения совпадают. Беседа у нас получилась обстоятельной, были затронуты многие принципиальные вопросы — о разоружении и стратегическом равновесии, о проблемах борьбы за открытость общества, в особенности — свободы выбора страны проживания, и о поправке Джексона—Ваника. Во время встречи Люся напомнила мне о переданных мне Руппелем и его друзьями списках немцев, желающих эмигрировать (более 6000 человек). Я передал их Бакли. Он взял списки и через некоторое время передал их правительству ФРГ — вероятно, не трудное для сенатора дело, но многие ли берут на себя подобный труд?..

После ухода Бакли я продолжал думать об этом разговоре, о том, что было сказано, и наоборот, что я не сумел выразить с достаточной четкостью.

В эти же месяцы у меня произошла встреча с членами делегации американских ученых во главе с профессором Пановским, приехавшими в СССР для обсуждения проблем разоружения. Во время этой очень теплой встречи у нас на Чкаловской квартире обсуждались те же волновавшие нас вопросы. Потом мы с Люсей пошли провожать наших гостей до гостиницы, в которой они жили. Мы шли пешком по пустынной по причине ночного времени Москве и продолжали наши обсуждения. Особенно близка оказалась для меня точка зрения руководителя делегации Пановского. Конечно, и после этой встречи осталось много недоговоренного и очень важного.

Люся предложила мне написать большое открытое письмо к Бакли, в котором я мог бы подробно обсудить вопросы, о которых шла речь при обеих встречах. Сначала я сомневался по поводу ее предложения, но она сумела меня убедить в отношении выступления по основным проблемам. Я начал работать. В ходе работы я решил писать не письмо, а брошюру. Так возникла книга «О стране и мире»². Я работал над ней с января по июль, примерно 7 месяцев. Процесс писания для меня всегда бывает трудным и мучительным (но ни одна работа не была такой трудной, как эти «Воспоминания»). Кончал я книгу, лежа в постели. В июне у меня случился сердечный приступ. Врачи, напуганные кардиограммами и анализами, уложили меня со строгим

постельным режимом. К середине июля я более или менее оправился, но прежнее состояние моего сердца уже не вернулось — мне стало, например, очень трудно подниматься по лестницам.

Книга «О стране и мире» во многом примыкает к «Размышлениям о прогрессе...», написанным семью годами ранее, развивает их идеи, в особенности о необходимости конвергенции, разоружения, демократизации, открытости общества, плюралистических реформ. Но в ней сильнее представлены тема стратегического равновесия (высказаны критические замечания об ОСВ-1 при общей положительной оценке самого факта переговоров, подчеркнута возможная, в определенных условиях, дестабилизирующая роль противоракетной обороны, дестабилизирующая роль разделяющихся боеголовок) и тема прав человека и открытости общества, в частности обсуждается поправка Джексона—Ваника, обсуждаются позиция и способ действий леволиберальной интеллигенции Запада (в книге она названа просто «либеральной», но «леволиберальной» — будет точнее) — эта глава кажется мне одной из удачных в книге. В вопросе о реформах книга ближе всего примыкает к «Памятной записке». Позволю себе привести длинную цитату:

«Какие же внутренние реформы в СССР представляются мне необходимыми <...>?»

- 1) Углубление экономической реформы 1965 года <...> — полная экономическая, производственная, кадровая и социальная самостоятельность предприятий.
- 2) Частичная денационализация всех видов экономической и социальной деятельности, вероятно, за исключением тяжелой промышленности, тяжелого транспорта и связи. <...>
- 3) Полная амнистия всех политзаключенных <...>.
- 4) Закон о свободе забастовок.
- 5) Серия законодательных актов, обеспечивающих реальную свободу убеждений, свободу совести, свободу распространения информации. <...>
- 6) Законодательное обеспечение гласности и общественного контроля над принятием важнейших решений <...>.
- 7) Закон о свободе выбора места проживания и работы в пределах страны.
- 8) Законодательное обеспечение свободы выезда из страны <...> и возвращения в нее.
- 9) Запрещение всех форм партийных и служебных привилегий, не обусловленных непосредственно необходимостью выполнения служебных обязанностей. Равноправие всех граждан как основной государственный принцип.
- 10) Законодательное подтверждение права на отделение союзных республик, права на обсуждение вопроса об отделении.

11) Многопартийная система.

12) Валютная реформа — свободный обмен рубля на иностранную валюту. <...>»

(Добавление 1988 г. Очень интересно читать эти пункты через 13 лет, в 4-й год «перестройки». Некоторые из них вошли в число официальных лозунгов перестройки. О включении большинства других мы можем только мечтать. В дополнение, или вместо, пункта 10 я бы включил идею «союзного договора», выдвинутую Народными Фронтами Прибалтийских республик.)

В заключение я писал:

«Я считаю необходимым специально подчеркнуть, что являюсь убежденным эволюционистом, реформистом и принципиальным противником насильственных революционных изменений социального строя, всегда приводящих к разрушению экономической и правовой системы, к массовым страданиям, беззакониям и ужасам».

Книга «О стране и мире» привлекла к себе заметное внимание на Западе (отчасти потому, что во многих странах она вышла в свет уже после присуждения мне Нобелевской премии или непосредственно перед этим). О книге говорила Люся на пресс-конференции 2 октября в Италии; это тоже способствовало вниманию к ней.

Советская пресса ответила нападка. В них особенно часто упоминается моя фраза о Гессе. Поэтому я тут скажу немного об этом. Фраза возникла более или менее случайно. Я писал в книге об осужденных на 25 лет политзаключенных СССР и подумал о Рудольфе Гессе, судьба которого привлекает гораздо больше внимания; я знаю о кампаниях в его защиту. Я назвал его несчастным, и это, конечно, верно. После, когда рукопись уже была за рубежом, Вольпин и Чалидзе передали мне свое мнение, что Гесс и наши политзаключенные не должны стоять рядом. Но я уже не хотел выкидывать написанное и только сделал добавление (что я знаю о его роли в формировании преступного нацизма).

Вместе с фразой о «режиме консолидации» в Чили в письме трех авторов о Неруде упоминание о Гессе стало дежурным блюдом во всех «антисахаровских» кампаниях. Не густо!

Люся, по состоянию ее глаз, опасалась лететь прямо в Италию самолетом. Она оформила транзитную визу во французском консульстве (с помощью корреспондентки Франс-Пресс Анны Ваал; тогда в консульстве еще не знали, кто такие Елена Боннэр и, кажется, Андрей Сахаров). Люся купила железнодорожный билет до Парижа на 9 августа.

Поезд отходил вечером, и мы решили с утра перебраться с дачи, где мы жили все вместе: Руфь Григорьевна, Лю-

ся и я, Таня с мужем Ефремом и нашим внуком Мотей. (Алеша в ноябре 1974 года женился на своей однокласснице Оле Левшиной и жил отдельно от нас.) Утром Таня обнаружила, что Мотя заболел. Это была, как она сказала, обычная детская болезнь — повышенная температура и плохое самочувствие, плаксивость. Но были еще какие-то странные подергивания рук и ног, вроде судорог, очень беспокоившие Люсю. 9 августа 1975 года — суббота, нерабочий день, и я не мог вызвать «Волгу» из гаража Академии. Поэтому Люся позвонила Алеше и попросила его приехать, а по дороге поймать на шоссе какую-нибудь машину, чтобы доехать до города. Через полтора часа Алеша приехал на огромной «Чайке» — водитель какого-то большого начальства согласился заехать и подработать. В эту машину мы поместились все (если бы пришла «Волга», Таня с Ефремом поехали бы поездом; как видно из дальнейшего, это могло бы иметь трагические последствия). Дома Люся попросила приехать врача Веру Федоровну Ливчак (я уже писал, что познакомились мы в связи с голодовкой). Они вместе посмотрели Мотю и вышли посоветоваться в другую комнату. Таня оставалась одна с ребенком. Вдруг мы услышали ее крик. Когда мы вбежали, то увидели страшную картину: Мотя лежал без сознания, вытянувшись, как струна, и как бы окаменевший в жесточайшей судороге; из плотно сжатого рта выступала пена, глаза закатились. Люся схватила его на руки и поднесла к открытому окну.

Вере Федоровне (сохранившей, к счастью, самообладание) удалось ложкой раскрыть Моте рот и прижать язык, избежав тем самым его западания. Таня вызвала детскую «скорую», приехавшую почти сразу; мы с Ефремом встретили ее на улице. Врач детской «скорой» оказалась очень умелой и решительной, быстро стала делать все необходимое. Противосудорожные инъекции помогли, однако, лишь частично (но без них Мотя, по всей вероятности, погиб бы). Через полчаса после безуспешных попыток снять общую судорогу врач детской «скорой» повезла Мотю, все еще без сознания, в детскую больницу. Машина с включенной сиреной развернулась через сплошную линию и уехала. Таня и Ефрем сопровождали Мотю до больницы. Они слышали, как врач детской «скорой» сказала в приемном отделении:

— Позаботьтесь об этом малыше, он этого стоит!

Моте в это время был один год и 11 месяцев. Люсин отъезд, конечно, был отложен — мы с Верой Федоровной съездили на вокзал и вернули билеты. Мы все пережили очень тревожные сутки. Хотя этого и не говорили друг другу, но каждый про себя без слов думал, что, возможно, Мотя погибает.

На другой день, в воскресенье, дежурный врач сказал, что ребенок Янкелевич пришел в себя и опасность для жизни миновала. Люся, веря и не веря услышанному, каким-то изменившимся голосом спросила его:

— Доктор, вы это точно говорите?

— Да, конечно.

Днем нам разрешили сделать Моте маленькую передачку, в том числе заграничную соску, к которой Мотя привык (советские соски другие по форме). Нянечка, вернувшись, сказала, что Мотя, увидев соску, прошептал:

— Мама.

Люся с облегчением воскликнула:

— Это именно то, что я хотела услышать.

(Это слово показывало, что у ребенка сохранились ассоциации, т. е. его мозг не поврежден, как этого можно было опасаться.)

Что же было у Моти? Известно, что у маленьких детей, ослабленных родовой травмой (а у Моти была асфиксия), при повышенной температуре иногда возникают судорожные явления, похожие на те, которые наблюдались у Моти. Все то, что я рассказывал до сих пор, вполне согласуется с этим объяснением. Но есть и другие обстоятельства, о которых я теперь расскажу дополнительно и которые наводят на совсем иные мысли.

Мы сразу вспомнили, когда увезли Мотю, о странном случае, произошедшем за два дня перед этим, утром 7 августа. Взрослые были на кухне и собирались пить чай, а Мотя играл в прихожей, имеющей прямой выход во двор. Нам Мотю не было видно. Вдруг он неожиданно вскрикнул и с плачем вбежал на кухню. На вопрос, что с тобой, он пальчиком показывал на рот.

Мы подумали, что его укусила оса, но никаких следов укуса или опухлости мы не обнаружили. Возможно, мальчик просто чего-то сильно испугался. Но, быть может, человек, проникший в прихожую, насильно ввел в рот ему некое вещество, вызвавшее судороги. Зачем? Чтобы сорвать отъезд Люси, вероятно без цели убить. Как я уже писал, отъезд Люси действительно был отложен. А относительно «убить»? Вера Федоровна, используя свои связи с больницей имени Русакова, куда привезли Мотю, дозвонилась в реанимационное отделение. Но дежурный врач с раздражением сказал:

— Пожалуйста, не звоните больше в реанимационное отделение. Только что кто-то звонил, тоже назвался врачом и интересовался состоянием Янкелевича.

Так как никто из нас, кроме Веры Федоровны, не звонил, то это, конечно, наводило справки ГБ. О чем? Может, проверяли, не перестарались ли? Тогда хлопот не оберешься. Еще один факт, показывающий, что болезнь Моти по своим симптомам была не совсем обычной. В 12 часов ночи нам неожиданно позвонил врач из реанимационного отделения и спросил, не имел ли Мотя доступа к лекарствам, которые могли бы вызвать судороги (или — к обладающим судорожным действием). Люся сказала, что нет. Но вопрос произвел на нас самое тяжелое впечатление. Вспомнили мы также и об угрозах «ЦК Русской Христианской партии» за восемь месяцев перед этим. Косвенным подтверждением того, что это

была попытка ГБ сорвать Люсину поездку, является то, что через неделю, когда Люся все же решилась ехать, вновь имели место уже, несомненно, гебистские попытки запугивания. Вторично отъезд был назначен на 16 августа. А 15-го утром по почте пришло якобы из Норвегии письмо, в которое были вложены устрашающие фотографии (похоже — вырезанные из реклам фильмов-ужасов). Фотографии все были очень специфические — имели прямое или косвенное отношение к глазам: выкалывание глаз кинжалом, череп с ножом, просунутым через глазницы, глаз, на фоне зрачка которого — череп. На конверте письма был обратный адрес. С помощью знакомых корреспондентов в Норвегии нам удалось проверить, кто послал письмо. Это оказался человек из Литвы, у которого там осталась жена. Он обращался с просьбой о воссоединении к Брежневу и послал копию своего обращения мне. Очевидно, ГБ вынуло его письмо и положило в конверт свои ужасы.

С подобной подменой (наглядно демонстрирующей нарушение КГБ тайны переписки) мы потом встречались много раз. В конверты от рождественских поздравлений были вложены фотографии автомобильных катастроф, операций на мозге, обезьян с вживленными в мозг электродами — таких писем за один-два дня пришло много десятков. В научном журнале я обнаружил между страниц статью некоего Тетенова. Тетенов за несколько лет до этого долго и безуспешно добивался раз-

решения на выезд из СССР, неоднократно обращался за помощью ко мне и к другим диссидентам; наконец, ему удалось уехать с семьей, по израильскому вызову конечно. Полученная сейчас мною его статья «Слепой поводырь» начинается словами:

«Мировая еврейская пресса подняла истошный вой по поводу высылки академика Сахарова».

Даже сегодня (май 1981 года) я получил такое подметное письмо — вместо поздравления к моему 60-летию — оттиск статьи из иностранного журнала, который, по мнению КГБ, должен быть мне неприятен.

Одной из особенностей дела Моти является юридическая недоказуемость преступления, если оно имело место (в чем мы тоже не можем быть уверены). С такой ситуацией мы еще не раз будем встречаться — это одно из преимуществ «государственной организации» (конечно, до поры до времени, до «Нюрнбергского процесса»).

Во время событий с Мотей Таня была беременна на последнем месяце. 1 сентября она родила второго ребенка — дочь, названную Анной (Аня). А 6 октября родилась дочь Оли и Алеши Катя. Люся увидела своих внучек лишь в конце декабря.

В первых числах сентября профессор Фреззотти в Сиенской клинике в Италии оперировал Люсю. Разрушительное наступление глаукомы на этот глаз было

остановлено, но, конечно, ничего из того, что было потеряно, не восстановилось. Через два дня после операции мне было передано ложное сообщение, якобы переданное из Сиены через Париж, что операция прошла неудачно. Несомненно, это были «шуточки» КГБ.

В сентябре я сделал ряд новых заявлений по разным текущим делам: в защиту Леонида Плюща и Семена Глузмана в связи с предстоящим митингом в Париже, в защиту Владимира Осипова, в защиту священника Василия Романюка, находившегося тогда в Мордовских лагерях, — Люся познакомилась с его женой в Потьме.

2 октября Люся, вышедшая к тому времени из больницы, провела во Флоренции (в доме Маши — Марии Васильевны Михаеллес-Олсуфьевой) важную пресс-конференцию с разъяснением моей позиции в связи с выходом книги «О стране и мире». Эта пресс-конференция много способствовала моей популярности на Западе.

9 октября я в Москве, Люся в Италии одновременно узнали о присуждении мне Нобелевской премии Мира. Я вместе с Руфью Григорьевной находился в это время в гостях у нашего друга Юры Тувина (вскоре эмигрировавшего в США). Иностранцы корреспонденты сумели проследить мой путь и вместе со Львом Зиновьевичем Копелевым нагрянули к Тувину. Они заставили меня сказать несколько слов перед микрофоном; это выступление было также заснято на видеоманитофон,

пленки немедленно доставлены на улетающий на Запад самолет и уже в тот же день демонстрировались по европейскому телевидению вместе с видеофильмом, в котором я был заснят с Таней во время голодовки за полтора года до этого. Я сказал в своем импровизированном выступлении:

«Это большая честь не только для меня, но и для всего правозащитного движения. Я считаю, что разделяю эту честь с узниками совести, которые принесли делу защиты других людей гласными, ненасильственными методами в жертву самое ценное — свободу. Я надеюсь на облегчение участи политзаключенных в СССР, надеюсь на всемирную политическую амнистию!»

Люся в этот день примеряла контактные линзы. Когда ей сообщили о премии, она, как потом мне рассказывали, сказала почти то же самое, что и я, почти теми же самыми словами. Вскоре она уже видела меня по телевидению и принимала поздравления со всего света — как и я в Москве. Эти события прервали ее по существу почти чисто медицинское пребывание в Италии; на нее обрушилось множество дел — и, наконец, после многих событий, участие от моего имени в Нобелевской церемонии.

Когда мы приехали с Руфью Григорьевной домой, звонки телефона были нам слышны еще с лестницы —

это были поздравления от знакомых и незнакомых, из Москвы и других городов СССР, очень много поздравительных звонков из-за рубежа (после Люсиного отъезда телефонная связь с границей временно была восстановлена), много звонков иностранных корреспондентов, которым я с ходу делал заявления, повторяющие в основном мое первое заявление. Около 3 или 4 часов ночи я вдруг услышал голос Саши Галича. Он сказал, что все они испытывают сейчас самую большую радость, счастье. Рядом — Володя (Максимов), он тоже меня поздравляет, тоже безмерно счастлив. Он только что звонил Люсе, поздравил ее, она тоже счастлива и поздравляет меня, у нее все хорошо. Это наша победа, наша общая радость и победа, все будет теперь лучше. Тут все пьют за твоё здоровье!!!

Я был очень счастлив этим разговором с Александром Аркадьевичем. После его отъезда летом 1974 года я не слышал его голоса. Я, конечно, не мог знать, что больше уже не услышу его, что это — в последний раз!..

На другой день непрерывно продолжались звонки и визиты с раннего утра до поздней ночи. Пришло много поздравительных телеграмм, в том числе телеграмма от Люси, посланная ею сразу после получения известия о премии (я, к своему стыду, ее тогда куда-то затерял — недавно Люся ее нашла; в ней даже в телеграфном стиле чувствуется присущее Люсе живое чувство). С этой

телеграммой вышла еще одна глупость (моя). Когда Люся, приехав, спросила, пришла ли ее телеграмма с поздравлением, я почему-то сказал: нет. Она огорчилась. После этого я не нашел в себе смелости сказать, что я просто запутался.

Утром пришли с поздравлением представители норвежского посольства с первым секретарем во главе — они принесли поздравительное письмо посла и чудесные розы в красивой вазе.

Еще через сутки «безумной жизни» Руфь Григорьевна сказала, что так жить невозможно, и потребовала, чтобы мы все (она, Таня и Рема с детьми и обязательно я) переехали немедленно на дачу. Я не смог противостоять, хотя, конечно, делать этого не следовало — на дачу нельзя было дозвониться из-за рубежа, в том числе Люсе; и вообще мне надо было самому нести груз премии, а не переваливать его на других. Впрочем, два-три раза в день корреспонденты все же приезжали на дачу, в том числе фотокорреспондентка, сделавшая снимок для французского иллюстрированного журнала. Через две недели Люся впервые увидела, как выглядит ее новорожденная внучка. С одним из приехавших на дачу иностранных гостей мне удалось переправить за рубеж важное письмо священника Г. Якунина и Регельсона о положении религии в СССР. Оно было адресовано международному религиозному съезду в Найроби и имело большой резонанс. Письмо принес мне мой

друг, случайно за несколько часов до того, как гость уезжал из СССР.

Среди десятков поздравительных писем было одно от Роя Медведева, очень любезное. Получив это письмо, я, грешным делом, не мог не вспомнить о выступлениях его брата Жореса Медведева, развивавшего за год до этого ту мысль, что Сахарову никак нельзя давать Нобелевскую премию Мира, так как он делал водородную бомбу. Сам Жорес незадолго до этого выехал на Запад и был вскоре лишен советского гражданства. А сейчас я вспомнил еще, что во время своего пребывания в Италии Люся узнала об очень странных письмах, которые рассылал разным людям Жорес. В одном письме, полученном Машей Олсуфьевой в конце августа, Жорес сообщал, что Люся, по-видимому, боится ехать и в качестве предлога задержки гипертрофирует болезнь внука. И вообще ей ехать незачем — с глазами у нее не так плохо, она бывала с мужем в театре (откуда эти сведения у Жореса в Англии — от брата Роя или от ГБ?). И еще — она и ее муж прикреплены к Кремлевской больнице. На самом деле меня открепили от Кремлевской больницы в 1970 году, после моих действий в защиту Жореса! Во втором письме Жорес предупреждал о дурном характере Люси и что она будет изображать из себя «бедную», но давать ей деньги не следует — на самом деле у Сахарова десятки тысяч долларов от издания книг (похоже, что Жорес при этом

не знал, что Люся была знакома с Машей задолго до меня, — он, видимо, думал, что Маша принимает ее как жену Сахарова). Третье письмо на имя известного общественного деятеля и публициста Николаса Бетелла о том, что Люся на пресс-конференции 2 октября все время врала и лучше было бы обращаться за точной информацией к нему, Жоресу.

Официальная реакция в СССР на присуждение мне Нобелевской премии Мира была очень раздраженной, нервной. К сожалению, у меня нет подборки откликов прессы, собранных Региной, — все это пропало при кражах КГБ.

Опять, как это было в 1973 году, появилось много статей, в которых «развенчивалась» моя деятельность, окаррикатуривались и высмеивались мои статьи, а решение Нобелевского комитета характеризовалось как враждебный, провокационный акт. В «Известиях» было опубликовано новое коллективное письмо за подписью академиков, членов-корреспондентов и директоров научно-исследовательских институтов АН, аналогичное письму 40 академиков за два года до этого. В конце октября в газете «Труд» (газете с большим тиражом, издаваемой формально Советом профсоюзов СССР, но фактически, конечно же, столь же контролируемой, как и все остальные наши газеты) появился злобный и развязный фельетон, посвященный моей жене и мне. Подписанный еврейской фамилией «Азбель» (неслучайный псевдоним

какого-нибудь гебиста), фельетон назывался «Хроника великосветской жизни». Вот несколько цитат из него:

«Нам сообщили, что <...> в Италии была проведена успешная операция на правом (на самом деле, на левом. — А. С.) глазе супруги академика Сахарова Боннэр. Мы рады за г-жу Боннэр, которая наконец нашла глазных хирургов, подходящих ей по социальному статусу. <...> Приятно и другое — г-жа Боннэр избрала очень уместный момент, чтобы взглянуть на мир просветленным взором, — нынешней осенью на Западе высоко взметнулась волна известности супруга». (Момент «избрало» ГБ — теперь кусает локти. — А. С.)

«Сахаров решил возместить прогрессировавшую научную импотентность лихим ударом в другой области. <...> В первых же строках Сахаров согнулся в поклоне перед Бакли, да так, что нос интеллектуала достиг пола перед самодовольным коммерсантом».

Далее следуют искусно подобранные цитаты из «О стране и мире», занимающие около половины фельетона. Цель — показать, что я «забегаю впереди самых реакционных политиков».

«Он настаивает, что Запад в обмен на разрядку должен потребовать от Советского Союза всего-навсего: частичной денационализации всех видов экономиче-

ской и социальной деятельности, частичной деколлективизации, немедленного отделения союзных республик».

Тут фельетонист умышленно смешал вместе разнородные вещи: вопрос о реформах в экономической и социальной областях, которые я (и не только я) считаю необходимыми для нашей страны, но сугубо внутренним делом СССР и ни в коем случае не предметом давления, вопрос о правах человека, необходимость международной защиты которых признана СССР, в частности в Хельсинкском акте, и вопрос об отделении союзных республик — я нигде не писал, что я считаю необходимым или целесообразным, справедливым отделение, но я, в соответствии с Конституцией СССР, считаю, что граждане этих республик имеют право решать и обсуждать вопрос об их пребывании в составе СССР, а арестовывать и осуждать людей, считающих, что отделение необходимо, — противозаконно, антиконституционно.

Кончается фельетон так:

«...подачку провели по графе Нобелевской премии Мира. Сахарову обещано более ста тыс. долларов. Трудно сказать, в какой мере это соответствует по курсу 30 сребреникам древней Иудеи. Квалифицированный ответ на этот вопрос может, вероятнее всего, дать г-жа Боннэр, весьма сведущая в этих вопросах».

Эта традиционная антисемитская концовка, рассчитанная на возбуждение самых низких чувств — зависти, злобы, инстинктов погромщиков, не случайно связывает 30 сребреников с именем моей жены, с ее нерусской фамилией.

Прекрасный контрфельетон на статью в «Труде» написала Раиса Борисовна Лерт.

Начиная с этого момента Люся, и раньше, с первых дней нашей совместной жизни, вызывавшая ненависть КГБ, становится главным объектом его атак. Давление на нее, клевета и провокации в дальнейшем все усиливаются, достигнув сейчас, осенью 1983 года, когда я пишу эти строки, апогея.

Вскоре после присуждения премии мне позвонил Яков Борисович Зельдович. Он сказал, что я должен отказаться от премии. На мой ответ, что я не собираюсь этого делать, он раздраженно заявил:

— Я вам напишу.

Зельдович, конечно, понимал, что мои телефонные разговоры прослушиваются. Но тем более он должен был быть уверен, что просматривается и почта. На меня телефонный звонок и, тем более, письмо произвели тягостное впечатление нарочитой демонстрации верно-подданнических чувств. Я уже рассказывал об этом эпизоде.

Возможно (тут я ничего не могу утверждать с определенностью), крайней формой давления на меня в эти

дни стало дело Брунова, о котором я рассказываю в следующей главе.

В ноябре произошло большое несчастье: у моей дочери Любы при родах в результате асфиксии погиб ребенок. Как всегда в таких трагедиях, мучает мысль: можно ли было избежать этого исхода?

Я решил подать документы с просьбой разрешить мне поездку в Норвегию на Нобелевскую церемонию. Конечно, отказ был наиболее вероятным результатом, но отказ после того, как я подал заявление, давал возможность проведения Нобелевской церемонии, а если бы я вообще никак не действовал, Нобелевский комитет был бы поставлен в очень трудное положение. А что меня не пустят обратно, я считал исключенным. Я послал заявление в ОВИР 20 октября и стал спокойно ждать результата.

Между тем в Италии разворачивались драматические события, которые, возможно, отражали растерянность властей, что всегда опасно. В первых числах ноября к Н. А. Харкевич, у которой жила Люся, в Люсино отсутствие неожиданно пришел консул СССР в Италии Пахомов. Он специально приехал во Флоренцию из Рима! Пахомов попросил дать ему Люсин заграничный паспорт. Нина Адриановна, хотя и никогда не жила в СССР и не была приучена к коварству советских должностных лиц в таких случаях, тут почувствовала недоброе и паспорт не отдала.

После этого Люсю вызвали в консульство и тоже потребовали заграничный паспорт, но Люся не отдала и написала заявление о продлении пребывания в Италии по медицинским причинам; через две недели (примерно — точно я не помню) она получила разрешение.

Очевидно, за это время было принято решение пустить Люсю в Норвегию и тем снять накал ситуации настолько, насколько это возможно, а меня, вероятно, еще раньше было решено не пускать. Но какое-то время была опасность, что сторяча власти лишат Люсю советского гражданства, а потом у них не было бы обратного хода. Люся и Нина хорошо вышли из этого положения. Что же касается меня, то я чуть было не испортил все дело. Об этом несколько позже.

14 ноября я был вызван в Московский ОВИР. В кабинете на первом этаже, где обычно сидит заместитель начальника, имеющий функцию объявлять об отказах, на этот раз находился сам начальник Фадеев. Мне показалось, что он очень волнуется. Он объявил, что мне отказано в поездке в Норвегию, так как я являюсь «лицом, обладающим знанием государственной тайны». Я сказал, что буду оспаривать это решение.

Интересно, что за неделю до этого в английской газете «Ивнинг ньюс» появилась статья Виктора Луи, в которой сообщалось, что мне будет отказано с этой именно аргументацией, со ссылкой на каких-то анонимных ответственных лиц. Очевидно, это была про-

верка силы реакции общественного мнения. Виктор Луи — гражданин СССР и корреспондент английской газеты (беспрецедентное сочетание), активный и многолетний агент КГБ, выполняющий самые деликатные и провокационные поручения. Говорят, сотрудничать с КГБ он стал в лагере, куда попал много лет назад. КГБ платит ему очень своеобразно — разрешая различные спекулятивные операции с картинами, иконами и валютой, за которые другой давно бы уже жестоко поплатился.

Я еще буду иметь случай писать о нем. До этого, 7 ноября, по итальянскому телевидению было передано сообщение, неизвестно откуда возникшее, что мне разрешено поехать на церемонию. Люся заказала мне фрак. Но этот заказ пришлось отменить.

Выйдя от Фадеева, я тут же сообщил об отказе ожидавшим меня на улице около ОВИРа иностранным корреспондентам.

Как я уже писал, после Люсиного отъезда временно стала опять возможной телефонная связь с границей, отсутствовавшая с декабря 1974 года. Очевидно, власти не хотели дополнительного скандала; правда, дозвониться Люсе — в Москву и мне — к ней во Флоренцию или в Рим часто было нелегко.

Для меня было естественно, что представлять меня на Нобелевской церемонии должна теперь Люся — самый близкий мне человек. В день получения отказа

(или на следующий) Люся позвонила мне из Рима, и я сообщил ей об этом поручении. Но через несколько дней чуть не сделал большой ошибки, взяв при следующем телефонном разговоре поручение обратно. Я поддался опасениям, что ее не пустят назад в СССР или что она станет объектом мести КГБ. Очень большое давление на меня в эти дни оказывала Руфь Григорьевна. Она также написала очень резкое письмо Люсе. И все же Руфь Григорьевна была не права, а мне не следовало с ней соглашаться. Вероятность того, что Люсю не пустят обратно, конечно, была, но вряд ли власти захотели бы в эти дни еще один общемировой скандал.

Во время злосчастного телефонного разговора в Москве на Чкалова были двое — я и Рема. Руфь Григорьевна с Таней, Мотей и Аней находились на даче. Люся дозвонилась из Флоренции. Я сказал Люсе, что она не должна ехать на церемонию, — я поручу это кому-либо другому (я назвал Галича). Я при этом отменял данное ранее Люсе поручение и ломал, фактически, всю церемонию, «смазывал ее значение», т. е. делал нечто ужасное. Люся упавшим голосом сказала:

— Я тебя поняла. Но ты поступаешь неправильно.

Телефонный аппарат стоял на кухне. Рема рядом мыл посуду и слышал весь разговор. Когда я повесил трубку, он сказал:

— Мне кажется, Андрей Дмитриевич, что вы не правы...

Рема тихим голосом, как всегда чрезвычайно корректно, но очень четко и недвусмысленно объяснил мне, почему, по его мнению, я не должен поручать представлять меня кому-либо, кроме Люси. Через полчаса я полностью признал его правоту и свою ошибку и схватился за голову. Мне, к счастью, удалось еще через два часа дозвониться до Флоренции (Люся испугалась моего ночного звонка). Страшно подумать, сколь многое я бы погубил, если бы не Рема.

В течение ноября я дал множество интервью. Среди них — интервью японской газете (к сожалению, в последний момент, делая мои ответы формально более соответствующими вопросам, я несколько испортил заранее подготовленный текст — он стал как бы более хвастливым). В этом интервью я употребил формулу: *мир, прогресс, права человека*, ставшую вскоре заглавной для Нобелевской лекции. Мне кажется, что эти слова действительно хорошо формулируют мою позицию.

Нобелевскую лекцию я писал легко, с подъемом. В ней отражены не только мои общественные взгляды по вопросам сохранения мира, необходимости сближения социалистической и капиталистической систем, разоружения и стратегического равновесия, прогресса, открытости общества и прав человека, но и в какой-то мере — мой внутренний эмоциональный мир.

Рема несколько раз перепечатывал текст лекции. Таким образом он явился ее первым (и требовательным) читателем. В целом, в последних вариантах, она ему нравилась. Другим ранним читателем был Петр Кунин, мой товарищ по университету и аспирантуре, тоже одоббивший лекцию. Понравилась лекция и Люсе, когда она ее получила — уже в Осло. Сейчас, перечитывая лекцию, я, в основном, считаю ее удачной². Хуже получилось с текстом выступления на Нобелевской церемонии — просто мне на него «не хватило пороха». Получив текст выступления за несколько часов до вылета из Италии в Норвегию, Люся отредактировала его. Это почти единственный случай, когда она изменила что-то в моих документах без согласования со мной — тут выхода не было. Выступление стало гораздо ярче, логичней, эмоциональней. Но одно мое существенное упущение Люся не решилась исправить без меня (хотя ей и очень хотелось). Говоря о моих предшественниках — лауреатах Нобелевской премии Мира, я назвал лишь одно имя — Альберта Швейцера. Я действительно очень высоко ставлю Швейцера, его жизненный подвиг и ту философию благоговения перед жизнью, которую он развивает в своих книгах. Его мысли о недопустимости отравления человечества ядерными испытаниями послужили одним из толчков к моей общественной деятельности в 50-х годах. Но мне, безусловно, следовало также отдать дань моего

уважения и другим очень достойным людям. Называя только одно имя, я как бы косвенно бросал тень на остальных, чего я ни в коем случае не хотел. В особенности мне нужно было назвать имена Карла Осецкого и Мартина Лютера Кинга, вспомнить их трагическую гибель во имя высоких идеалов. Пусть же хоть это мое запоздалое признание как-то восполнит то, что не прозвучало с Нобелевской трибуны.

Люся вылетела в Осло утром 9 декабря, чтобы участвовать в церемонии 10 декабря. В качестве приглашенных мною гостей в Осло также выехали Александр Галич, Владимир Максимов, Нина Харкевич, Мария Олсуфьева, Виктор Некрасов, профессор Ренато Фреззотти с женой, Боб Бернштейн и Эд Клайн, оба с женами. Кроме того, я «символически» пригласил находившихся в заключении Сергея Ковалева и Андрея Твердохлебова, а также Валентина Турчина и Юрия Орлова, не рассчитывая, конечно, что они смогут приехать.

Несколькими часами раньше Ефрем и я выехали поездом в Вильнюс, где на следующий день в здании Верховного суда Литовской республики начинался суд над Сергеем Адамовичем Ковалевым. Вероятно, это было не случайное совпадение — власти преследовали какие-то цели. Для нас же это совпадение суда и торжественной общемировой церемонии носило волнующий, символический характер.

В поезде вместе с нами ехало еще несколько направляющихся на суд, но кое-кто из тех, кто должен был ехать, отсутствовал. Как выяснилось, их задержали в Москве, заблокировав в квартирах. Во дворе дома, где жила Таня Великанова, стоял автобус с гебистами, и при каждой ее попытке выйти дюжина молодцов перегораживала ей дорогу. Примерно таким же образом не пустили Мальву Ланда и, кажется, еще кого-то. Мы всегда удивляемся, как много свободных сотрудников у ГБ для столь маловажного дела. Неужели не все равно, где будет не присутствовать на суде своего ближайшего друга Таня Великанова — в Москве или в Вильнюсе около суда. Но, оказывается, для КГБ не все равно. Похоже, что КГБ выше оценивает действия правозащитников, их позицию, психологические последствия их деятельности, чем, скажем, некоторые иностранные корреспонденты и органы печати.

На вокзале нас с Ефремом никто не встретил (как потом выяснилось, встречавших нас литовцев задержали и продержали несколько часов в милиции). Мы прошли на квартиру нашего друга Эйтана Финкельштейна (мы познакомились с ним через Веру Федоровну). Это — один из самых старых отказников-евреев; его задерживают вот уже 13 лет по поводу секретности (по-видимому, сильно преувеличенной). К сожалению, на Западе фамилию Финкельштейна знают мало, быть может потому, что он не москвич. *(Добавление 1987 г.*

Несколько лет назад Э. Финкельштейн наконец смог выехать из СССР в Израиль.) Мы оставили там чемоданы и пошли в суд. Конечно, пройти в зал никому из приехавших, кроме родных Сережи, было невозможно. В зале уже находилось множество гебистов и тщательно отобранных представителей учреждений Вильнюса. «Застава» из гебистов и «шныряющая» публика были такими многочисленными, как я никогда не видел до этого. Я все же, больше для формы, сделал попытку получить разрешение пройти в зал от судьи, а потом от прокурора республики. К обоим я прорывался, минуя секретарш, и требовал выполнения закона. Часть этих диалогов, в которых судья и прокурор проявили некоторую растерянность, выявлявшую слабость их позиции, удалось (с помощью Ремы) записать на магнитофон. Весь этот день, первую половину следующего и весь третий день суда мы провели в вестибюле здания Верховного суда Литовской ССР. Кроме приехавших из Москвы друзей Сережи, там было очень много литовцев не только из Вильнюса, но и из других мест республики. Они подходили к нам, знакомились; мы видели, как глубоко они сочувствуют Ковалеву, возмущены судом над ним в их любимом городе. Время от времени в разговор вмешивались гебисты, и с ними происходили короткие перепалки. Особенно они пытались задевать Рему; мы в эти дни не расставались. Таня пришила ему рукавицы к рукавам, чтобы они не потерялись. Гебисты

показывали на них пальцами с деланным изумлением и глумливо кричали: «Отправляйся в Израиль трясти своими перчаточками!..» Это, конечно, была не случайная выходка.

К вечеру от жены и сына Ковалева мы узнали о ходе процесса. Ковалев сам вел свою защиту, так как ни один из адвокатов, которых хотели он и его родные (в том числе, Софья Каллистратова), допущен не был. Ему ставилось в вину редактирование, изготовление и размножение номеров «Хроники текущих событий», вышедших с мая по декабрь 1974 года, якобы содержащих клеветнические измышления³. Лишь очень немногие утверждения из примерно 600, содержащихся в этих номерах (по оценке Ковалева), были выбраны обвинением, чтобы продемонстрировать клеветнический характер «Хроники». Впоследствии Ковалев сообщил, что он, читая материалы следствия, нашел небольшие фактические неточности, не имеющие, в основном, принципиального значения, в 7 утверждениях (1%, что поразительно мало вообще и особенно, если учесть условия работы редакторов «Хроники»). Обвинение нашло еще меньше:

1) В перепечатанном из «Хроники Литовской католической церкви» материале сообщалось об обыске, изъятии молитвенника и избиении одного рабочего-верующего. Но он показал на суде, что избиения не было. Эта единственная доказанная на суде (если рабочий не

лжесвидетельствовал, поддавшись давлению) ошибка «Хроники» не может считаться доказательством ее злонамеренности. Вся первичная информация ведь шла от того же рабочего.

2) «Хроника» несколько раз писала о тяжелых условиях в Днепропетровской специализированной психиатрической больнице. На суде в качестве свидетеля выступала врач этой больницы д-р Любарская. Однако ее опровержения были не очень убедительными, относились лишь к частностям и в основном оставляли неизменной общую страшную картину. Впоследствии Леонид Плющ, проведший в Днепропетровской спецпсихбольнице несколько лет, расскажет многое, подтверждающее и дополняющее описание «Хроники». Тем не менее Любарская еще не раз будет выступать в будущем свидетелем на многих процессах инакомыслящих.

3) Утверждения обвинения, что якобы «Хроника» клеветнически объявляет тяжелыми условия содержания в местах заключения, также остались недоказанными.

Днем я ездил в троллейбусе и мог убедиться, как относятся литовцы к русским (но, конечно, не к таким, как Ковалев). Как только я садился на сиденье рядом с литовцем или литовкой, они демонстративно отворачивались или пересаживались на другое место. Несомненно, они имеют на это право. Статистика репрессий 40-х годов в Литве ужасающая. Там еще помнят слова

Суслова, сказанные на закрытом совещании, кажется, в 1949 году:

«Нам нужна Литва, хотя бы и без литовцев».

Мне не удалось ни в этот, ни в следующие дни дозвониться в Осло: то «линия неисправна», то еще какие-то отговорки. Наша связь с Люсей была через сообщения иностранного радио — и духовная, основанная на внутреннем подъеме, порожденная ощущением исключительности того, что происходит.

10 декабря 1975 года, в день вручения Нобелевской премии Мира и второй день суда над Сережей Ковалевым, мы с Ремой после перерыва не пошли в суд. Нас пригласили к себе литовцы. В доме одного из них, Виктораса Пяткуса, знакомого Сережи, собрались друзья, чтобы вместе прослушать передачу из Осло и отметить вручение премии. Хозяин — Пяткус — ранее провел в заключении 14 лет за написанные им стихи, признанные националистическими. Викторас — филолог и большой знаток Вильнюса, его истории и замечательных людей. В 1977 году он был вновь арестован и осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки.

Транзисторы включены. Мы слышим звук фанфар. Госпожу Боннэр-Сахарову, представляющую на церемонии своего мужа, просят пройти на место для участия в церемонии вручения Нобелевской премии Мира.

Говорит председатель Нобелевского комитета Аасе Лионас. Она оглашает решение Нобелевского комитета о присуждении Премии Мира 1975 года Андрею Сахарову. Я слышу звук Люсиных шагов — она поднимается по ступенькам. И вот она начинает говорить. Смысл слов я понимаю уже задним числом, через несколько минут. Сначала же я воспринимаю только тембр ее голоса, такого близкого и родного и одновременно как бы вознесенного в какой-то иной, торжественный и сияющий мир. Низкий, глубокий голос, какое-то мгновение звенящий от волнения!

По окончании передачи мы все прошли в другую комнату, где был накрыт праздничный стол. Собралось человек 15, это были литовцы, я уже всех их видел накануне у дверей суда. Были произнесены слова приветствия и тосты в мой адрес, в адрес Люси, тосты за Сережу и всех, кто не с нами... Мы отдали должное литовской кухне, в особенности удивительному, какому-то фантастическому литовскому торту.

Вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Мы вышли в прихожую. Оказалось, это пришла Люся Бойцова, жена Сережи, с ней еще несколько человек — прямо из Верховного суда. Люся была страшно взволнована, вся дрожала от возбуждения. Еще от дверей она крикнула:

— Сережу вывели из зала — он назвал суд сборищем свиней!

Постепенно выяснилось, что же произошло.

В начале заседания Ковалев обратился к суду с требованием допустить в зал суда его друзей, специально приехавших для присутствия на суде. Он сказал:

— Я требую допустить Андрея Дмитриевича Сахарова, Татьяну Михайловну Великанову, Александра Павловича Лавута (он назвал еще 5—6 фамилий).

Раньше, чем судья ответил на это требование, в зале начались смешки, выкрики, что-то вроде хрюканья. Судья сказал как бы в шутку:

— Ну вот, сами видите: я не могу удовлетворить вашу просьбу...

Ковалев вспыхнул и закричал:

— Я не буду говорить перед стадом свиней! Я требую вывести меня из зала суда!

Большинство людей, имевших дело с Ковалевым, считают его очень выдержанным, безупречно корректным и вежливым. Так оно и есть. Но Сережа принадлежит к числу тех обычно мягких и вежливых людей, которых очень трудно, но все же можно вывести из себя, если хамство затрагивает что-то принципиальное.

Председатель суда закричал:

— Подсудимый! Вы оскорбили суд! Конвой, вывести подсудимого из зала!

К Сереже подскочили конвойные и стали выводить его из зала, выполняя то ли его требование, то ли приказ судьи. Сережа успел крикнуть:

— Моя благодарность и любовь всем друзьям! Мои поздравления и любовь Андрею Дмитриевичу Сахарову!

Зал опять начал неистовствовать — хохотать, пищать, выкрикивать что-то оскорбительное и претендующее на иронию.

После вывода Ковалева заседание продолжалось еще с полчаса. Затем председатель объявил десятиминутный перерыв и добавил:

— Свидетели могут быть свободны.

В зале остались только свидетели из «наших»: М. М. Литвинов, Ю. Ф. Орлов, В. Ф. Турчин и другие — остальные давно ушли без «разрешения». Опасаясь (и не без оснований), что после перерыва их не пустят обратно в зал, «наши» решили не выходить на перерыв. Но через несколько минут в зал ворвались «дружинники» (гебисты) и милиционеры и с криками «Освободить помещение!» стали выталкивать и вытаскивать людей в вестибюль. Низкорослого Орлова подхватили под мышки и так вынесли из зала. На нескольких — Орлова, Литвинова, Турчина — составили протокол о нарушении общественного порядка, продержали в милиции несколько часов.

Вечером я сумел дозвониться Тане в Москву и рассказал о событиях дня, а через полчаса ей же дозвонилась Люся из Осло. Первые слова, которые она услышала от Тани, были:

— Мамочка, записывай...

Не было даже времени расспросить о детях — двух новорожденных и одном тоже маленьком. Это потрясло присутствовавших при разговоре норвежцев.

Так закончился день 10 декабря 1975 года, день Сергея Ковалева, Елены Боннэр и Андрея Сахарова.

В следующие дни Сережу не привозили в зал заседания, все дальнейшее происходило без него и без адвоката, которого не было, как я рассказывал, с самого начала. Таким образом, суд шел вообще без защиты, что было, конечно, полным беззаконием. Ковалева даже не привезли на чтение приговора, «забыли» — это особенно серьезное нарушение закона, дающее формальное основание к отмене приговора⁴.

Сергей Ковалев очень сожалел, что не выдержал, «сорвался» и, как ему казалось, дал повод отстранить его от участия в заседании. Он целый год готовился к суду и хотел аргументированно выступить, разоблачить несостоятельность следствия и приговора, защищая не только себя, но и правозащитное движение. На самом деле и без инцидента 10 декабря суд и стоящий за его спиной КГБ нашли бы, конечно, повод и способ не дать осуществиться этим планам. И, пожалуй, не менее разоблачительным, чем несостоявшиеся выступления, было само проведение суда без обвиняемого и без защиты.

В день приговора 12 декабря в вестибюле суда собрались все приехавшие из Москвы друзья Сережи, при-

шло очень много литовцев, сочувствующих подсудимому; одновременно в вестибюль набилось несколько десятков гебистов, занявших позиции около дверей зала заседания, куда нас, конечно, не пустили, и вдоль стен. Как всегда в напряженные моменты перед приговором, гебисты бросали провоцирующие реплики, насмешки. Мы сдерживались, молчали, иногда отвечали одной-двумя фразами.

За дверью раздались аплодисменты. Очевидно, кончилось чтение приговора, «публика» приветствовала его. Двери распахнулись, и заполнявшие зал стали поспешно выходить, не глядя на нас и не отвечая на наши вопросы о приговоре. Наконец, вышли родные Сережи, и кто-то, кажется Ваня (сын), сказал:

— Семь плюс три⁵.

Рядом со мной стоял Рема. Я видел сбоку его лицо, какое-то окаменевшее, серое, с глубокими тенями под глазами. С другой стороны от меня стоял один из знакомых литовцев — Антанас Терляцкас. До моего сознания дошел голос гебиста, по-видимому главного, командовавшего всей «операцией». Обращаясь ко мне, он говорил:

— Ну что, теперь вы видели, как литовцы, литовский народ одобряют приговор?

Я закричал:

— Неправда, литовский народ — не в зале!

При этом я повернулся к Антанасу и, обняв его одной рукой за шею (он выше меня), вместе с ним и с Ре-

мой стал пробираться к выходу. Гебисты со всех сторон обступили нас, начали кричать, паясничать, некоторые приседали перед нами на корточки и прыгали, как обезьяны, гримасничали; другие пищали. Это было отвратительно и страшно. Так мы дошли до гардероба. Вдруг стоявшая за загородкой гардеробщица-литовка поклонилась нам и громко сказала, так что это было слышно всем, находившимся в вестибюле — и нашим друзьям, и гебистам:

— Пусть Бог поможет доктору Ковалеву и его друзьям!

Слезы потекли у меня из глаз, я дотронулся рукой до ее рук, лежавших на загородке, и поспешно вышел. Это была уже немолодая женщина с правильными чертами худого лица. Я не знаю ее имени, не знаю, что повлек для нее ее поступок. Но и сейчас, когда я вспоминаю ее слова, я не могу думать о них без волнения.

Материалы суда над Сергеем Ковалевым опубликованы весьма полно. Иван Ковалев, сын Сергея, в качестве родственника был допущен в зал заседания и потом, по памяти, восстановил ход суда. Сейчас сам Ваня в заключении за участие в правозащитной деятельности, за членство в Московской Хельсинкской группе, так же как и его жена Таня Осипова. Так в одной семье оказалось сразу трое заключенных. Особая заслуга в систематизации и публикации материалов суда принадлежит Реме. Он (вместе с другими) за несколько

недель тут сделал действительно колоссальную работу! Сам Ефрем сразу после возвращения из Вильнюса в Москву был уволен и вплоть до своего вынужденного выезда из СССР был безработным. Не поехать на суд он, конечно, не мог: слишком много значил для него Сергей Ковалев — друг, ставший для него одним из учителей жизни... Судьба Сергея Ковалева, жестокий и несправедливый приговор ему вызвали сильную реакцию мирового общественного мнения. В качестве попытки как-то приглушить возмущение в журнале «Новое время» было опубликовано интервью с министром юстиции СССР Теребиловым, но, конечно, он был бес силен привести какие-либо реальные аргументы. Сейчас Сережа уже отбыл свой срок заключения (в лагере и почти половину срока — в тюрьме, в порядке дополнительных репрессий). По рассказам очень многих, он все эти годы вел себя с большим достоинством, по-товарищески, с умом и твердостью. Он пользовался огромным уважением товарищей. В заключении Ковалев подвергался мелочным придиркам и крупным репрессиям со стороны начальства. Трудность этих лет усугублялась плохим здоровьем — он потерял все зубы, в 1977 году перенес операцию, проведения которой в сносных условиях пришлось добиваться с большим трудом, усугублялась уже немолодым возрастом и теми его характерологическими особенностями, которые еще больше затрудняли лагерный быт (медлительность,

психологическая необходимость, как у многих, быть иногда наедине с самим собой). В конце 1981 года по истечении 7 лет заключения он этапом был отправлен в ссылку в Магаданскую область. Возможно, три года ссылки для него еще тяжелей — без товарищей рядом, в рабочем общежитии «химиков», где всегда шум, пьянка, облака табачного дыма и нет возможности ни минуты побыть одному, тяжелая неквалифицированная обязательная работа, тяжелый вредный климат. Перенесет ли он, уже с подорванным здоровьем, эту ссылку?

Пока в Вильнюсе продолжался суд, чрезвычайно напряженное и незабываемое время переживала Люся в Осло, переживала как бы за двоих, за нас обоих вместе!

11 декабря Люся провела Нобелевскую пресс-конференцию. Это были 3 часа вопросов и ответов экспромтом, без предварительной подготовки. Пресс-конференция непосредственно транслировалась в эфир и передавалась радиостанциями и телевидением многих стран. Люсина необыкновенная способность от мобилизоваться в трудной ситуации помогла ей справиться с этим испытанием не хуже многих предшественников, представляющих в отличие от нее самих себя. Один из вопросов был о позициях Сахарова и Солженицына, в чем их отличие. Люся ответила параллелью с западниками и славянофилами в России XIX века, т. е. вполне точно и корректно, как мне кажется, по отношению к обоим.

В тот же день Люся зачитала Нобелевскую лекцию. Кажется, она тоже передавалась по радио, может потом.

Кроме того, были приемы-банкеты; тут уж я точно не был бы на высоте. Выступая на одном из банкетов, Люся сказала свою фразу о бабах, на которых в России и пашут, и жнут, и хлеб молотят, а вот теперь они и премии принимают. Мария Васильевна Олсуфьева, переводившая Люсю, была в большом затруднении, как перевести эту фразу. Действительно, как по-английски «бабы»?..

Очень сильным переживанием для Люси стало ночное факельное шествие, которое, как ей объяснили, является «стихийным» и происходит далеко не всегда, а только тогда, когда народ одобряет присуждение премии. Люся заплакала, когда ей перевели, что на многих плакатах написано:

«Сахаров — хороший человек».

Много потом, узнав об этом, я тоже был глубоко тронут.

12 декабря Люся простилась с приглашенными гостями церемонии. Прощались в кафе. Саша Галич стал снимать с себя разные части одежды, чтобы Люся передала эти подарки оставшимся в СССР:

— Это — маме, а это (кофта) — Андрею, это — Реме.

Люся немного боялась в шутку, как бы Саша не разделся при этом чересчур. «Галичевская» кофта до сих пор служит мне, а самого Саши уже нет в живых...

Люся еще несколько дней провела в Норвегии, общалась со многими замечательными людьми, в их числе — с председателем Нобелевского комитета г-жой Аасе Лионас и секретарем г-ном Тимом Греве, с семьей Фритьофа Нансена, с семьей Виктора Спарре. Потом она выехала в Париж. Позвонила мне оттуда совсем потерявшая голос, видимо это была реакция на сверхнапряжение последних дней, а 20 декабря самолетом вылетела в Москву.

На аэродроме ее встречали вместе со мной Таня, Ефрем и Алеша, даже Мотя (он кричал через ограду: «Баба Леля! Баба Леля!») и множество друзей. У моряков есть шуточная песенка, перефразировка патриотической сентиментальной из какого-то кинофильма:

С чего начинается Родина?

С досмотра в твоём рундуке!

Для советских граждан, возвращающихся из-за рубежа, этот досмотр — не совсем шутка (в нашем случае была, конечно, дополнительная «специфика»). Нам пришлось с Люсей приехать еще раз — тут нам не пропустили купленные Люсей в Италии дубленки (сверх двух — мы не знали этого официально объявленного

ограничения) и пытались отобрать первое напечатанное в Италии издание книги «О стране и мире»⁶. Люся вырвала книгу у таможенника. Несколько часов нас не выпускали из таможни (мы в это время рассматривали «музей» таможни — выставку отобранных вывозимых незаконно предметов: золото в куске мыла и т. п.; под каждым предметом была фамилия обнаружившего его таможенника; несколько раз нам встречалась фамилия того таможенника, который выступал когда-то на процессе Буковского с памятным «Стену лбом не прошибешь...»).

Эта «война нервов» кончилась в нашу пользу — мы уехали с итальянским журналом и поставили его на полку. Несколько книг и пленок у нас все же отобрали, некоторые из этих пленок потом фигурировали на Люсином суде.

Наконец мы были опять вместе. 1975 год, с его большими тревогами и незабываемыми событиями, кончился. Наступающий 1976 год был не проще. Он принес многое тяжелое, принес утраты близких. Но прежде чем говорить об этом, я расскажу о двух трагических делах, которые я, чтобы не прерывать изложения, выделяю в отдельную главу.

ГЛАВА 38

Евгений Брунов и Яковлев

5 ноября 1975 года, в самые острые дни, когда решался вопрос о поездке в Осло, ко мне пришел посетитель, назвавшийся Евгением Бруновым. Это был крупный молодой мужчина с почти детским выражением лица. В прошлом он учился и работал юрисконсультom в Ленинграде; у него начались конфликты с властями (все эти и дальнейшие конкретные сведения — со слов Брунова или его матери), кажется они были связаны с его религиозными убеждениями, и он с матерью и тетей решили уехать из Ленинграда; они поселились в Клину (недалеко от Москвы), где конфликты продолжались и усиливались. Его несколько раз насильно помещали в психиатрическую больницу, избивали в темных закоулках (потом его мать рассказала, что однажды на ходу его сбросили с поезда и он сломал ногу). Он просил меня познакомить его с иностранными корреспондентами — он хотел, чтобы они написали о его страданиях и чинимых с ним беззакониях, — у него много интересных для них записей (потом его мать рассказала, что во время беседы в КГБ он якобы сделал компрометирующую КГБ запись на магнитофоне и намекнул гебистам,

что они «в его руках»). Я отказался устраивать ему встречи с иностранными корреспондентами. Я этого вообще никогда, за исключением абсолютно ясных и необходимых случаев, не делаю, а в данном случае у меня были очень серьезные сомнения. Я поехал на дачу (где все еще жила Руфь Григорьевна с детьми). Брунов вызвался проводить меня, помогал нести сумку с продуктами. В метро он продолжал уговаривать меня познакомиться его с инкорами, в голосе его появились умоляющие интонации. Разговаривая с ним, я проехал нужную мне станцию «Белорусская» и собирался выйти на следующей остановке. Еще до этого я заметил, что к нашему разговору прислушиваются стоящие рядом мужчины средних лет, явные гебисты (их было, кажется, четверо). Один из них обратился ко мне: «Отец, что ты с ним разговариваешь? Это же — конченный человек». Я ответил: «Не вмешивайтесь в разговор — мы сами разберемся». Выйдя из вагона, я оглянулся и через стеклянную дверь увидел огромные, слегка навывкате, голубые и наивные, почти детские глаза Брунова, с тоской и ужасом смотревшие мне вслед.

Через месяц, в первых числах декабря, к нам в дом пришла женщина, сказавшая, что она мать Евгения Брунова и что ее сын погиб в тот же день, когда он был у меня, — его сбросили с электрички. В ее рассказе были некоторые неправдоподобные моменты и несообразности, но я приведу его полностью:

«Я знала, что Женя пошел к вам, и ждала его всю ночь, ходила встречать к поезду. Но он не приехал. Я услышала разговор двух мужчин, которые шли с поезда. Один из них говорил: «Зачем они позвали его в тамбур? Он ведь никому не мешал, спокойно сидел. А потом раздался страшный крик. Я бросился в тамбур, но мне преградили дорогу — там тебе нечего делать». Я не поняла, что это речь о моем сыне, но запомнила разговор. Утром в почтовом ящике я нашла записку на клочке бумаги, без подписи: «Зайдите в линейное отделение милиции, узнаете о своем сыне». Но там ничего не знали. Лишь в середине дня мне сообщили, что труп моего сына нашли около железнодорожных путей, тело его мне не показали. 11 ноября нам выдали гроб для похорон, лицо сына забинтовано и залито гипсом, так что лба, носа, глаз, щек не было видно, и запретили разбинтовывать. Но мой брат видел в морге, только его пустили, что у Жени выколоты или выдавлены глаза».

Она отказалась сообщить адрес или имя брата, сказала, что она с ним в смертельной ссоре, он сотрудник МВД и ни с кем из нас не станет разговаривать. Т. М. Литвинова поехала проводить мать Брунова, была у них в доме. Страшная бедность — в доме ни корочки хлеба, ничего вообще нет. Татьяне Максимовне показали уголок в чулане, где Женя и его мать слушали иностранное радио, — они очень боялись, как бы их не застали за этим занятием. Над кроватью Жени — ико-

на, портреты Сахарова, Солженицына и Хайле Селасие. В милиции матери Брунова передали сильно смятую фотографию, найденную у него в кармане. На ней — сцена проводов Люси на Белорусском вокзале 16 августа при отъезде в Италию, хорошо видно нас обоих. Эта карточка стояла у нас за стеклом, еще несколько отпечатков лежало на секретере. Брунов, кажется, просил эту фотокарточку у меня на память, я, насколько помню, ему отказал, но задним числом уже не уверен. В январе я обратился с заявлением в следственный отдел милиции города Клин, где написал, что я последний, кто видел Брунова, прошу привлечь меня к следствию о его гибели и прошу сообщить мне о результатах следствия. Через месяц я получил ответ, что, поскольку несчастный случай с Е. В. Бруновым произошел на железной дороге, мне следует обращаться в линейное отделение МВД Октябрьской железной дороги. А там со мной отказались разговаривать.

Что же произошло с Евгением Бруновым? Несчастный случай с душевнобольным (имеющим также душевнобольную мать), под влиянием мании преследования вышедшим на промежуточной станции и попавшим под поезд? Или это самоубийство на той же почве? Или же это убийство уголовниками-хулиганами? Или это убийство, совершенное агентами КГБ, которым надоело возиться со своим подопечным (в пользу этой версии говорит то, что они якобы уже раз сбрасывали его с поезда;

эта, 4-я версия может сочетаться с последней, 5-й версией)? Или же это убийство, имеющее непосредственное отношение ко мне, с целью «испортить мне жизнь», показать, что моя общественная деятельность приводит к трагическим последствиям? В пользу этой, последней версии говорит момент события — сразу после присуждения Нобелевской премии, разговор в вагоне метро с гебистом и, наконец, повторение — в несколько ином варианте — исчезновения или гибели пришедшего ко мне «с улицы» человека.

Хотя другой эпизод произошел много позднее, я расскажу его здесь. Весной 1977 года ко мне на улицу Чкалова пришел ранее мне неизвестный посетитель. Дело его было очень обычным. Он работал водителем на какой-то автобазе в Свердловске. У него, по его словам, возник конфликт с администрацией базы — первоначально из-за того, что он отказался ремонтировать в служебное время машину директора, потом выступил на собрании, указав на какие-то другие, тоже очень обычные нарушения. В результате его сняли с машины и перевели на менее выгодную работу. Он уволился и приехал в Москву добиваться своих прав в ВЦСПС, еще где-то — все безрезультатно. Он спрашивал совета, продолжать ли ему борьбу, может быть обратиться к инкорам или в прокуратуру или же махнуть на все рукой и уехать в Харьков, где живет его мать и он рассчи-

тывает легко поступить на работу. При разговоре присутствовала Люся. Конечно, мы посоветовали ему не посвящать свою жизнь бесполезной борьбе и прямо ехать в Харьков. Он ушел. А через несколько часов пришла женщина, назвавшаяся его матерью. Она, оказывается, ждала все это время сына на Курском вокзале (10 минут хода от нас) — он сказал ей, что пошел к нам, и на всякий случай оставил ей наш адрес. Сын не пришел к ней, и она не знает, где и как его искать. Мы объяснили ей, куда надо звонить. На другой день она пришла еще раз в совершенном отчаянии. Мы снабдили ее деньгами — у нее их не было, и сами пытались обзвонить отделения милиции и морги — все безрезультатно. Через несколько дней к нам на дачу позвонила женщина. Она сказала, что это говорит Яковлева. Она нашла своего сына в морге в Балашихе — ей сказали, что он был сбит машиной и привезен туда. Ей выдали гроб с телом сына, и сегодня она увозит его, чтобы похоронить в Харькове.

Мы с Люсей решили проверить некоторые пункты этого рассказа. Я спросил в нашем отделении милиции, были ли в соответствующий день у них какие-либо несчастные случаи. Они сказали, что ничего не было. Они сказали также, что все трупы жертв несчастных случаев на улице Чкалова попадают в другой морг, а в Балашиху привозят только трупы жертв катастроф на железной дороге и из Подмосковья. Мы опросили также

чистильщиков сапог и газетчиц на пути от дома до Курского вокзала. Никто ничего не видел. Через несколько дней мы поехали на академической машине в Балашиху; дав «на чай» работавшей там уборщице, узнали, когда будет патологоанатом, и позвонили ему по телефону. Однако он сказал нам, что Яковлева в морге не было и вообще не было ничего похожего. Через полгода кружным путем мне передали записку, в которой было написано, что на самом деле труп Яковлева был в Балашихе, но патологоанатом был вынужден обмануть нас. Через несколько дней мне позвонила какая-то женщина, сказала, что она из морга Балашихи и ее фамилия Иванова, и повторила то, что было написано в записке.

Мать Брунова была у нас в доме еще раз через год или два после гибели сына. Мать Яковлева больше о себе никогда не давала знать. Адреса ее в Харькове я не знаю.

Что можно сказать об этом деле? Возможно, Яковлев действительно был схвачен гебистами при выходе из нашей квартиры, убит (или случайно погиб от побоев или при попытке оказать сопротивление), доставлен в отдаленный морг, первоначально ГБ хотело скрыть этот инцидент, но затем изменило свое решение. Но также вполне возможно, что все это — инсценировка, что Яковлев не убит и приходившая женщина — не его мать, и что цель этой инсценировки — создать для меня трудный психологический климат.

ГЛАВА 39

1976 год. Ефим Давидович. Петр Кунин.
Григорий Подъяпольский.
Константин Богатырев. Игорь Алиханов

Последние дни 1975 года и первые два месяца 1976 года мы жили с Люсей в Новогирееве, на той кооперативной квартире, которую Люся построила для Тани и Ремы.

Там я написал краткую автобиографию для Нобелевского сборника. Туда же к нам пришли в гости и по делам мой старый друг по университету Петя Кунин и минский полковник-отказник Ефим Давидович. Встречи эти были последними — вскоре Кунин и Давидович скоропостижно умерли.

Во время своего визита Давидович подробнее, чем мы знали раньше, рассказал о себе, о своей жизни.

Все родные Давидовича погибли во время массовых убийств евреев в Минске в 1941—1942 годах. Он в это время находился в армии и, как я уверен, был умелым и смелым командиром. Войну закончил в звании полковника. В начале 70-х годов Давидович, так же как и некоторые другие минские евреи-офицеры, принял решение эмигрировать в Израиль. Он получил отказ,

и одновременно на него (как и на его товарищей, принявших то же решение) посыпались репрессии. Давидович продолжал настаивать и одновременно начал то, что по существу является общественной деятельностью — боролся за сохранение памяти жертв фашистского геноцида (а официальная линия тут сводится к тому, что чем меньше разговоров о еврейских жертвах, тем лучше), боролся и против проявлений антисемитизма сегодня. Одно из потрясающих дел, которое он старался обнародовать, — убийство Гриши Туманского в Минске. Группа подростков хотела «проучить» (а быть может, даже и убить) какого-то мальчика-еврея, чем-то вызывавшего их ненависть. Они устроили засаду, но этот мальчик не появлялся. Вместо него они увидели, как едет на лыжах Гриша (ему было 14 лет, он попросил у родителей разрешения покататься на лыжах). Подростки сказали: *«Давай убьем его — ведь он тоже еврей»*. Набросились на него, стали избивать и забили до смерти. Гриша был единственный и поздний сын у своих родителей. Отец и мать уже зрелыми людьми участвовали в партизанской борьбе в Белоруссии, у обоих до этого были семьи, целиком уничтоженные гитлеровцами. В партизанском отряде они познакомились и после войны поженились. В этой ужасной истории, пожалуй, самое потрясающее, с какой нечеловеческой легкостью один мальчик-еврей был заменен другим.

Давидович пришел к нам с решением в знак протеста против поднимающегося антисемитизма, против незаконного отказа в выезде ему и другим ветеранам войны демонстративно вернуть полученные им боевые ордена. Мы обсуждали с ним, как это сделать так, чтобы трудный шаг его не прошел незамеченным в мире. На другой день Давидович продолжил эти обсуждения со своими московскими друзьями. А еще через день появилось «Заявление ТАСС» (переданное только на Запад по телетайпам ТАСС для зарубежных агентств и не опубликованное в СССР; мы часто встречаемся с такой саморазоблачительной формой распространения пропагандистских сообщений; в частности, многие «антисахаровские» материалы идут так). Заявление называлось «Новый антисоветский спектакль госпожи Боннэр». Речь шла об обсуждавшейся нами пресс-конференции Давидовича. Заявление это откровенным образом основывалось на подслушивании (или у нас, или у друзей Давидовича) и носило грубый, площадной характер. Особенно в нем бросалась в глаза персональная ненависть КГБ к моей жене: они не могли простить Люсе той роли, которую она играла во всей моей жизни, не могли забыть ей и ее триумфа в Осло. Но была в этих нападках на Люсю и другая цель, более «прагматическая» и зловещая, которую мы осознали полностью лишь много позднее, — сделать Люсю в глазах мира главной виновницей моего «падения». Я пишу об этом в последующих главах.

Пресс-конференция Давидовича не состоялась. Он умер, так и не получив разрешения на выезд в Израиль. Это разрешение было дано жене и дочери; они выехали туда через несколько месяцев после его смерти и увезли с собой прах Ефима Давидовича. Он был похоронен на земле Израиля с воинскими почестями. Через два года жена Давидовича (русская по происхождению) приняла решение вернуться в СССР.

25 февраля умер Петр Ефимович Кунин. Возможно, он тоже собирался уехать из страны, где ему становилось все трудней жить и работать и где все меньше оставалось друзей (за два года до этого уехал его ближайший друг Шура Таксар, тоже мой товарищ по аспирантуре). Но Петя не успел об этом сказать...

Я знал Петю около 38 лет, но лишь в последние полгода нашего общения смог полностью оценить его; видимо, я сам под влиянием Люси стал в каком-то смысле более контактным и человечным. Одна из его характерных черт — он постоянно был занят сложными и хлопотными делами своих многочисленных друзей мужского и женского пола настолько, что на свои собственные ему уже часто не хватало времени. Поворотным моментом в моей жизни был переезд в Москву и поступление в аспирантуру в 1945 году. Сейчас уже трудно что-либо выяснить, но, кажется, Петя приложил тут руку; во всяком случае — советом.

С теплым чувством я вспоминаю нашу дружную и голодную жизнь с ним в военном Ашхабаде. Трудности устройства на работу, особенно для еврея, в конце 40-х годов вынудили Петю вместе с его другом Шурой Таксаром перебраться в Ригу, где у последнего были какие-то возможности. Около 20 лет Кунин вел там преподавательскую работу, по-видимому успешно. В эти же годы Кунин определил себе поле научной деятельности — применение методов точных наук и кибернетики в медицинской диагностике. Тут он добился успехов и признания и перешел на работу в один из московских институтов.

Умер он скоропостижно, во время дружеского разговора с Д. Чернавским, сотрудником Теоротдела ФИАНа, тоже занимающимся применением физико-математических методов к биологии. Приближался 50-летний юбилей Чернавского. Петя сочинял приветственные стихи (это у него всегда получалось) и позвонил Диме, чтобы выведать у него какие-то подробности. Вдруг Чернавский услышал, что на противоположном конце провода наступило молчание. Петю нашли лежащим на полу около своего телефона, мертвым.

8 марта умер другой мой друг — Григорий Сергеевич Подъяпольский. Наши жизненные пути пересеклись впервые в 1970 году, сначала заочно — его и моя подписи оказались рядом под надзорной жалобой по делу Григоренко, составленной Валерием Чалидзе. Я тогда толь-

ко начинал свою правозащитную деятельность. Григорий Подъяпольский уже имел в ней важные заслуги — он был участником и одним из зачинателей Инициативной группы по защите прав человека. Демократический, честный и открытый дух этой правозащитной ассоциации несет на себе печать убеждений, ума и светлой личности Гриши (и его друзей — Т. Великановой, С. Ковалева, А. Лавута и других).

В 1972 году, после выхода Чалидзе из Комитета прав человека, Подъяпольский вошел в него. Нам удалось сделать кое-что полезное как в рамках Комитета, так и — особенно — вне их, в более гибких формах обычной «правозащитной гласности». Гриша был при этом инициатором некоторых документов. В эти годы мы (я говорю о членах нашей семьи) очень подружились с Гришей и его женой Машей. Это была прекрасная дружная пара, их взаимное уважение и любовь радовали душу.

Гриша обладал очень нетривиальным умом, рождавшим часто неожиданные идеи. Для него характерны непримиримость к любым нарушениям прав человека и одновременно исключительная терпимость к людям, к их убеждениям и даже слабостям. Последнее качество иногда заводило его куда не следует, но как-то так всегда получалось, что он выходил незапятнанным, с честью... Гриша, мягкий и добрый человек, при защите своих убеждений был твердым, не поддающимся никакому давлению. Многочисленные допросы и другие по-

пытки сломить, запугать или запутать, обмануть его всегда оставались безрезультатными.

По профессии он был физик, специалист по применению физико-математических методов к геофизическим проблемам. Его исследования в области физики подземных взрывов, сейсмологии и цунами были весьма важными и результативными. Конечно, формальная его научная карьера совсем не соответствовала значимости полученных им результатов. Среди специалистов он при этом пользовался авторитетом. Гриша писал стихи. Не могу сказать, чтобы они мне нравились, — это дело вкуса, но стихи были самобытными.

На Западе посмертно опубликована книга его воспоминаний. Хотя он и не успел их дописать, но и то, что есть, — очень интересно и талантливо.

Умер Гриша от кровоизлияния в мозг в возрасте 49 лет в командировке, куда его срочно направили перед съездом КПСС, очищая Москву от нежелательных элементов (соображения дела, службы при таких командировках просто отсутствуют; Западу это, вероятно, покажется странным). Похороны Г. С. Подъяпольского состоялись в Москве.

Опасаясь, что КГБ не даст мне говорить в зале крематория, я произнес свои прощальные слова в тот момент, когда траурная процессия остановилась перед залом. Я держался при этом рукой за крышку гроба; это было как бы последней связью, соединявшей меня

с Гришей. В зале тепло выступили сослуживцы и жена П. Г. Григоренко Зинаида Михайловна, назвавшаяся родственницей покойного, — иначе ее не допустили бы выступить. Ясно, что и мне бы не удалось.

После смерти Гриши Маша остается нашим большим и верным другом.

Через полтора месяца произошло еще одно несчастье. В конце апреля в первый день Пасхи у дверей квартиры на темной лестничной площадке неизвестные преступники ударили по голове поэта и переводчика Константина Богатырева; через два месяца он умер в больнице от последствий этого нападения. Я несколько раз встречался с Константином Богатыревым. Один раз он вместе с Межировым пришел к нам с Люсей в больницу; в другие — он заходил на Чкалова, обычно серьезный, иногда немного экзальтированный, с образной, яркой речью, отражающей напряженную и свободную внутреннюю жизнь. Он приносил нам свои новые переводы из Рильке — это была его главная работа многих последних лет. Люся знала Богатырева очень хорошо и давно. Сын его, тоже Костя, жил со своей мамой (бывшей женой Богатырева) рядом с Люсей на даче в Переделкино; Алеша и маленький Костя дружили — это были почти что отношения старшего (Алеша) и младшего (Костя) братьев, отношения взаимной заботы и преданности. В ранней молодости, в сталинское время, Костя-старший был арестован, много лет провел

в лагерях, потом — реабилитирован. Похороны Богатырева состоялись тоже в Переделкине в воскресенье 20 июня. Очень много народа, друзей покойного, поэтов и писателей. Была какая-то пронзительная торжественность в этих похоронах в солнечный ясный день. Гроб несли на руках по тропинке среди высокой травы, кругом тоже так много свежей, освещенной солнцем, густо пахнущей летом зелени и полевых цветов. И где-то недалеко — могила Пастернака!

С самого момента ранения Богатырева очень многими стало овладевать глубокое убеждение, что Костю убил КГБ. Не случайные собутыльники (были у него и такие при его свободной и «легкой» жизни), а подосланные убийцы, по решению, сознательно и заранее принятому в кабинетах Лубянки. Какие доказательства? Зачем? Надо прямо сказать, что на оба эти вопроса нет сколько-нибудь исчерпывающих ответов. И поэтому на главный вопрос «Кто убийца?» тоже разные — хорошие и честные — люди отвечают по-разному. Даже мы с Люсей стоим тут несколько на разных позициях. Она, при отсутствии прямых доказательств вины КГБ, склонна подозревать случайную ссору с пьяными друзьями-врагами. Я же, интуитивно и собирая в уме все факты, считаю *почти* достоверным участие КГБ. А совсем достоверно я знаю следующее: объяснить случайными хулиганскими или преступными действиями «людей с улицы» все известные нам случаи убийств, из-

биений, увечий людей из нашего окружения *невозможно* — иначе пришлось бы признать, что преступность в СССР во много раз превышает уровень Далласа и трущоб Гонконга! Что же заставляет меня думать, что именно Константин Богатырев — одна из жертв КГБ? Он жил в писательском доме. В момент убийства постоянно дежурящая в подъезде привратница почему-то отсутствовала, а свет — был выключен. Удар по голове, явившийся причиной смерти, был нанесен, по данным экспертизы, тяжелым предметом, завернутым в материя. Это заранее подготовленное убийство, совершенное профессионалом, — опять же в полном противоречии с версией о пьяной ссоре или «мести» собутельников.

Расследование преступления было начато с большим опозданием, только когда стало неприличным его не вести, и проводилось формально, поверхностно. Не было видно никакого желания найти нить, ведущую к преступникам. Естественно, что преступники или, возможно, связанные с ними лица не были найдены. Возникает мысль, что их и не искали.

О возможных мотивах убийства Богатырева КГБ. Богатырев был очень заметный член писательского мира, являющегося предметом особой заботы КГБ в нашем идеологизированном государстве, — недаром Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ». Вел он себя недопустимо для этого мира свободно; осо-

бенно, несомненно, раздражало КГБ постоянное открытое и вызывающее, с их точки зрения, общение Богатырева с иностранцами в Москве. Почти каждый день он встречался с немецкими корреспондентами, они говорили о чем угодно — о жизни, поэзии, любви, выпивали, конечно. Для поэта-германиста, говорящего по-немецки так же хорошо, как по-русски, и чуждого предрассудкам советского гражданина о недопустимости общения с иностранцами, — это было естественно. Для КГБ — опасно, заразно, необходимо так пресечь, чтобы другим было неповадно. Очень существенно, что Богатырев — бывший политзэк, пусть реабилитированный; для ГБ этих реабилитаций не существует, все равно он «не наш человек», т. е. не человек вообще, и убить его — даже не проступок. Еще важно, что Богатырев — не диссидент, хотя и общается немного с Сахаровым. Поэтому его гибель будет правильно понята — не за диссидентство даже, а за неприемлемое для советского писателя поведение. И, чтобы это стало окончательно ясно, через несколько дней после ранения Богатырева «неизвестные лица» бросают увесистый камень в квартиру другого писателя-германиста, Льва Копелева, который тоже много и свободно общался с немецкими корреспондентами в Москве, в основном с теми же, что и Богатырев. Копелев и Богатырев — друзья. К слову, камень, разбивший окно у Копелевых, при «удаче» мог бы разбить и чью-нибудь голову. Конечно, всего, что

я написал, недостаточно для обвинения КГБ на суде. Но во всех делах, где можно предполагать участие КГБ, остается такая неопределенность.

Еще одно огромное несчастье принес нам этот год, чисто личное. За день до похорон Богатырева скоропостижно умер младший брат Люси Игорь Алиханов. Ему еще не исполнилось 49 лет. Игорь был моряк, штурман дальнего плавания. Умер он в плавании, в Бомбее, от сердечного приступа, и лишь через несколько дней гроб с его телом смог быть привезен в Москву.

После ареста родителей в 1937 году на Люсю легла ответственность за судьбу десятилетнего брата. Игорь рос трудно, внутренне травмированный трагедией семьи. В 1942 году из блокадного Ленинграда со школьным интернатом Игорь попал в Омск, был мобилизован для работы на заводе, умирал с голоду в буквальном смысле слова. Люся нашла его там, сумела забрать и устроить санитаром на тот же поезд, на котором она была старшей медсестрой. Игорь ухаживал за ранеными, тяжело контуженные успокаивались при этом худеньком черноглазым мальчике.

Дальнейшая судьба Игоря тоже была не простой и не легкой. Но все же ему удалось осуществить мечту своей жизни — стать моряком, побывать почти во всех портах мира. Игорь женился, его жену зовут Вера, у них дочка, которая сама сейчас (в 1987 году) стала мамой.

По настоянию Руфи Григорьевны я не должен был встречаться с Игорем, и сам он никогда не приходил к нам на Чкалова, после того как я там поселился. Она — и не без основания — опасалась, что его могут лишить «загранки» — разрешения на заграничные плавания, того, что составляло его работу и смысл жизни. Руфь Григорьевна сама ездила к Игорю, жила там по несколько дней. Каждая такая поездка была событием, а Люся встречалась с Игорем тайно от мамы. Однажды мы с Люсей решили нарушить запрет Руфи Григорьевны, конечно тоже тайно от нее. Предлог был — завезти какие-то вещи или продукты жене Игоря Вере. На академической машине мы подъехали к их дому. Нам открыл дверь коренастый мужчина с твердым и решительным лицом восточно-армянского типа, удивительно похожим на Люсино (хотя у Люси чуть заметней еврейские черты). «Это Андрей», — сказала Люся. Игорь немигающими глазами смотрел на меня с любопытством и, как мне показалось, с симпатией. Он крепко пожал мою руку.

ГЛАВА 40

1976 год (продолжение).

Эмнести Интернейшнл.

Суд в Омске над Мустафой Джемилевым.

Андрей Твердохлебов. Якутия. Тбилиси.

Хельсинкская группа.

Желтые пакеты. «Русский голос».

Дело Зосимова, Эль-Заатар, интервью Кримскому.

Обмен Буковского. Пожар у Мальвы Ланда

В 1974 году Твердохлебов и Турчин организовали Советскую секцию Эмнести Интернейшнл.

Я уже писал об этой очень важной международной организации. Главная цель Эмнести Интернейшнл — освобождение узников совести во всем мире. Само понятие «узник совести» выработала Эмнести Интернейшнл — оно очень важно принципиально. Узник совести, по терминологии Эмнести, — человек, находящийся в заключении за убеждения, за неконформизм, за ненасильственные действия в соответствии с убеждениями, не применявший насилия и не призывавший к нему. Таким образом, это понятие значительно уже понятия «политзаключенный». Эмнести Интернейшнл стремится к политической беспристрастности, она вы-

ступает за узников совести во всем мире, в странах с самой различной политической и идеологической структурой, добиваясь их освобождения, оказывая им и их семьям всяческую помощь. Под защитой Эмнести находятся свыше 5000 узников совести во всем мире, из них в СССР и во всех социалистических странах — около 10—20%. Большая часть узников совести — в развивающихся странах, в странах Латинской Америки, в ЮАР. Так что говорить о специально антисоциалистической или антисоветской ориентации Эмнести Интернейшнл просто бессмысленно. Но именно это утверждает советская пропаганда, «прикрывая» таким образом нарушения прав человека в СССР. Параллельно с этим советская пропаганда вполне одобряет деятельность Эмнести, направленную на защиту прав человека вне социалистического лагеря. Валерий Чалидзе часто говорил, что советскому читателю преподносятся две различные организации: хорошая «Международная амнистия» и плохая «Эмнести Интернейшнл».

Эмнести, в основном, ограничивает свою защиту именно узниками совести, не поддерживая ни тех, кто готовит вооруженные перевороты или ведет вооруженную антиправительственную борьбу, ни террористов — вне зависимости от их целей. Конечно, такое ограничение имеет очень глубокое значение и, на мой взгляд, в значительной степени способствует высокому моральному авторитету Эмнести. Оно находится в пол-

ном соответствии с моей позицией стремления к эволюционному, мирному развитию, к мирному социальному и научно-техническому прогрессу, находится в соответствии с позицией подавляющего большинства (если не всех) инакомыслящих в СССР.

Важное место в программе и деятельности Эмнести Интернейшнл занимает ее принципиальная борьба против смертной казни и против пыток. Все это мне очень близко.

Турчин и Твердохлебов установили связь с центральными организациями Эмнести (находящимися в Лондоне), привлекли ряд людей. Около года в работе Секции принимала участие Люся.

Большая часть национальных организаций Эмнести организована в западных странах. В каждой из таких организаций создаются ячейки, принимающие шефство над конкретными узниками совести в какой-либо стране, обязательно в другой, чем та, в которой находятся лица, принявшие шефство. По замыслу руководства Эмнести это также должно отражать политическую беспристрастность и способствовать ей. Перенесение всех этих принципов в нашу действительность оказалось очень трудным и противоречивым, быть может даже не вполне осмысленным. Уже поддержание связи с центральными организациями в наших условиях было трудным, ненадежным, опасным. Материальные возможности помощи узникам в других странах у членов

Советской секции Эмнести практически равны нулю. Люся и другие ее товарищи по Советской секции Эмнести Интернейшнл, в основном, писали открытки иранским, пакистанским и другим узникам совести, писали письма в их защиту.

Я вовсе не хочу сказать, что деятельность Советской секции не имеет смысла. Выход наших правозащитников на международную арену важен. Но, к сожалению, в силу особенностей нашего государства он все же, в основном, носит символический характер.

После ареста Твердохлебова по инициативе Турчина руководство Советской секцией Эмнести принял на себя Георгий Владимов, известный писатель (сам Турчин в 1977 году эмигрировал).

Владимов, по-моему, один из лучших современных советских писателей. Я очень люблю его роман «Три минуты молчания», опубликованный в СССР в конце 60-х годов. А его повесть «Верный Руслан», вышедшая на Западе, — образец литературы неподцензурной¹. К моему шестидесятилетию Владимов посвятил мне свою пьесу «Шестой солдат», вышедшую на Западе.

Власти все время были очень обеспокоены существованием Советской секции Эмнести, ее члены и руководитель находились под большой и постоянной угрозой. В 1983 году Владимов с женой уехал за рубеж и был лишен гражданства.

Твердохлебов был арестован в марте 1975 года², вскоре после обыска в его холостяцкой квартире в Лялином переулке, недалеко от нас; Андрей занимал две комнаты в большой коммунальной квартире. Узнав об обыске, я побежал туда, послав перед собой «на разведку» Таню. В этот раз меня и других друзей Твердохлебова пустили внутрь квартиры, и мы могли на протяжении нескольких часов наблюдать всю удручающую процедуру.

В эти же дни произошел также обыск у Валентина Турчина. Я тоже был у него во время обыска. Турчин пытался спасти рукопись нового варианта своей известной самиздатской книги «Инерция страха» (может, в этом варианте название было изменено). Его сын незаметно выбросил портфель с рукописью в окно во двор, но и там стояли гебисты — они сразу портфель подобрали.

На 6 апреля 1976 года были назначены сразу два суда — над Андреем Твердохлебовым в Москве и над Муштафой Джемилевым в Омске. Несомненно, это не было случайное совпадение: КГБ хотел лишить кого бы то ни было, в том числе и меня, возможности присутствовать на обоих судах. Я решил, что важнее поехать в Омск. В Москве в это время еще было много людей, которые придут к зданию суда над одним из известных диссидентов, в Москве есть иностранные корреспонденты. В Омске ничего этого нет. Можно было опасаться, что

почти никакая информация о процессе в Омске не станет вообще доступной общественности или станет известна очень нескоро. Я сделал о своем решении заявление, и мы с Люсей вылетели в Омск (3 часа полета, билеты не без труда купили с помощью моей «геройской» книжки).

Мустафа Джемилев, суд над которым предстоял в Омске, — один из активистов движения крымских татар за возвращение в Крым. Он родился во время войны. В двухлетнем возрасте вместе со всеми крымскими татарами (женщинами, стариками и детьми — большинство мужчин на фронте) вывезен из Крыма. Конечно, он не помнит ужасов эвакуации и первых лет жизни в Узбекистане. Но рассказы об этом и о далекой и прекрасной земле Крыма — та духовная атмосфера, в которой растут он и его сверстники.

Мустафа с головой окунается в борьбу за права своего народа. И в ответ — безжалостные репрессии. В 1976 году кончился очередной срок заключения, который он отбывал в лагере недалеко от Омска. За полгода до окончания срока против него было возбуждено очередное дело о «заведомой клевете на советский государственный и общественный строй»: якобы он говорил, что «крымские татары насильно вывезены из Крыма, и им не разрешают вернуться». Само по себе это так и есть, и Мустафа много раз писал об этом в подписанных им документах и мог, конечно, говорить, но

следствию был нужен свидетель. Приехавшие в Омск следователи КГБ концентрируют свои усилия на заключенном того же лагеря Иване Дворянском, отбывающем 10-летний срок заключения за непреднамеренное (в аффекте) убийство человека, оскорбившего, по его мнению, его сестру. Сначала Дворянский противится усилиям следователей и передает «на волю» записку о том давлении, которому он подвергается, — угрозам и обещаниям. За несколько месяцев до суда Дворянского изолируют от остальных заключенных, помещают в карцер. Мы не знаем, что там с ним делают. Через месяц он дает необходимые показания, которые и ложатся в основу нового дела Мустафы Джемилева. С момента возбуждения дела Мустафа держал голодовку, и это нас очень волновало. На суд приехал адвокат Швейский из Москвы, родные Мустафы (мать, брат, сестры) и крымские татары из Ташкента. Швейский раньше защищал В. Буковского и А. Амальрика, и мы знали, что он умел находить необходимую линию между требованиями адвокатской этики и профессии (а он прекрасный адвокат) и реальными условиями работы советского адвоката на процессе инакомыслящего. Конечно, не все в этой линии нас устраивало, но все же это было кое-что. В первый наш приезд суд был отменен под каким-то нелепым предлогом (кажется, авария водопровода в следственной тюрьме). Очевидно, власти хотели, чтобы мы уехали и не приезжали (это их жела-

ние только подтверждало правильность сделанного мною выбора). Отсрочка в особенности волновала нас потому, что мы не знали, в каком состоянии находится голодающий Мустафа. Хотя было утомительно и накладно совершать неблизкий путь вторично (не только нам с Люсей, а и всем приехавшим на суд), мы твердо решили не отступать, и 18 апреля (если я не ошибаюсь в датах) опять вылетели в Омск.

При устройстве в гостиницу произошел забавный эпизод. Женщина-администратор, увидев в паспорте мою фамилию, нервным движением отбросила его и воскликнула:

— Такому мерзавцу, как вы, я куска хлеба не подам, не только что номер предоставить.

В холле сзади нас молча стояли крымские татары — у них-то уже были койки. Они привыкли игнорировать подобные оскорбления в свой адрес и теперь смотрели, что будет со мной. Вдруг администраторша засуетилась:

— Ах, ах, я так переволновалась, у меня заболело сердце. Нет ли тут у кого-нибудь валидола?

Татары продолжали молча стоять. Я сказал:

— Валидола нет, но, Люсенька, у нас должен быть нитроглицерин.

— Нет, глицерина я боюсь.

Мы пошли вместе с татарами в их номер — у нас было о чем поговорить. Через полчаса явилась та же администраторша:

— Товарищ Сахаров, вот ваши ключи от номера. Когда вы освободитесь, спуститесь, пожалуйста, вниз, заполните карточку.

Несомненно, номер мне дали по указанию ГБ, не хотели скандала, а предыдущий эпизод был — личная инициатива «истинно советского человека».

В конце дня из Москвы приехал Саша Лавут. На другой день начался суд. В зал, кроме подобранной публики и гебистов, пустили первоначально всех родных Мустафы: мать, брата Асана, сестер. Обстановка в зале суда, а вследствие этого и вовне, сразу же начала стремительно накаляться. Мустафа, который продолжал голодовку, еле стоял на ногах. Судья перебивал его на каждом слове, практически не давал ничего сказать. Но особенно судья пришел в неистовство, когда Дворянский отказался от своих ранее данных, с таким трудом выбитых у него показаний. Рушилось все обвинение! Придравшись к какой-то реплике Асана, судья удалил его из зала. Затем была удалена Васфие (сестра Мустафы), пытавшаяся дать понять ему, что в Омске — Сахаров (она употребила для этого татарское слово, обозначающее сахар). И, наконец, во второй день суда удалили мать Мустафы. Когда выведенную мать не пустили после перерыва в зал, она заплакала, закрыв лицо руками. Я закричал:

— Пустите мать, ведь суд — над ее сыном!

Стоявшие у дверей гебисты ответили насмешками и стали отталкивать нас от дверей зала. В этот момент

Люся сильно ударила по лицу штатского здорового верзилу, распорядившегося парадом, а я — его помощника: оба, несомненно, были гебистами. На нас сразу накинулись милиционеры и дружинники, татары закричали, бросились на вырубку — возникла общая свалка. Меня и нескольких татар вытащили на улицу, бросили в стоящие наготове «воронки». Я оказался рядом с девушкой-татаркой и одним из тащивших меня милиционеров. Он оказался по национальности казанским татаринном, и девушка стала его тут же громко укорять. Милиционер смущенно вытирал потное после схватки лицо. Люсю в этот момент затолкали в какую-то комнатуху. Тащили ее очень грубо, толкали, все руки у нее оказались в кровоподтеках и синяках. Меня привезли в отделение милиции, пытались допрашивать; я отказывался, требуя, чтобы мне дали возможность увидеть жену. Через час-полтора меня отпустили, а Люсю в это время привезли в то же отделение, где перед этим находился я. Тут уж Люся стала требовать, чтобы ей предъявили меня, и за мной послали машину (я уже успел дойти до здания суда). Наконец мы увидели друг друга. Люся стала требовать, чтобы ей прислали врача, освидетельствовать нанесенные ей побои. Привели каких-то двух работников из поликлиники, но те заявили (очевидно, наученные), что могут оказать медицинскую помощь, но не выдавать какие-то справки. Нас с Люсей отпустили, заявив, что против нас может быть возбуждено дело, уже тогда, ко-

гда Мустафе Джемилеву был вынесен приговор — 2,5 года заключения. При этом суд постановил, что именно первоначальные — против Джемилева — показания Дворянского истинные, а отказ от этих показаний в суде — результат психологического давления, которое оказывал на него подсудимый. Мы не знаем, какие последствия для Дворянского имел его геройский поступок.

В тот же день появилось сообщение ТАСС на границу (переданное по телетайпам), в котором красочно описывалась драка, учиненная в зале Омского суда (где мы никогда не были и куда не пускали даже мать подсудимого) академиком Сахаровым и его супругой. Сообщение это, а также отсутствие известий от нас вызвали очень большое волнение во всем мире. Известия отсутствовали потому, что на время суда междугородная телефонная связь Омска, в частности с Москвой, была выключена. У нас есть выражение: «Фирма не считается с затратами», но в данном случае это, пожалуй, даже слабо сказано. В общем, как мне кажется, наша задача — привлечь внимание мировой общественности к процессу Джемилева — была выполнена.

Из рассказов родных Джемилева о суде. Судья заявил: — Вот Джемилев утверждает, что крымских татар не прописывают в Крыму. Ну и что? Меня вот не пропишут в Москве — и я не жалею на это.

Такова логика противоправного государства, где представитель закона одно незаконие оправдывает

другим. Я говорил с судьей во время первого приезда в Омск, пытаясь (безрезультатно) выяснить, почему откладывается суд. Судья выглядел как вполне «обыкновенный» человек, с достоинствами и недостатками, в прошлом участник войны, боевой офицер, отец семейства, я уверен, считающий, что делает в жизни нужное и трудное дело. Но какова его роль в деле Джемилева, а возможно, и в некоторых «обычных» уголовных делах? Я как-то не подберу слов...

На другой день после приговора родные Джемилева решили добиваться свидания с ним. Я написал письмо Мустафе, в котором уговаривал его прекратить голодовку, длившуюся уже 9 месяцев (с насильственным кормлением)³. Быть может, именно это письмо, о существовании которого было известно начальству, объясняет, почему родным дали свидание. Голодовку Мустафа решил прекратить. Я был этому очень рад.

Из окна нашей гостиницы мы дважды наблюдали жестокие драки между группами каких-то людей; при таких драках убить человека недолго. Но никакой милиции поблизости видно не было. Зато около суда два дня стояла целая толпа милиционеров.

Мы походили по омским магазинам. Люся увидела на полке нечто похожее на масло и спросила:

— У вас есть масло?

На нее посмотрели как на ненормальную (это был комбижир). Так же посмотрели на нас в ресторане, ко-

гда мы попросили рыбы — это в Омске, расположенном на берегу Иртыша! Впрочем, мяса в ресторане тоже не было.

На другой день мы вернулись в Москву. Суд над Твердохлебовым тоже окончился. Андрея приговорили к 5 годам ссылки. Рема провел много вечеров с сестрой Андрея Юлой, записывая подробности суда. Возвращался он уже после полуночи; мы шутили, что у него роман с Юлой.

В июле или начале августа от родителей Андрея, с которыми у нас были прекрасные отношения, мы узнали место ссылки — в Якутии, деревня Нюрбачан. Они показали нам несколько присланных Андреем фотографий. На одной из них устроенная на дворе печь из автомобильного колеса, на другой — сам Андрей. Когда Люся посмотрела на эту фотографию, что-то не понравилось ей в выражении лица Андрея, какая-то жесткая, трагическая складка, еще что-то трудно выразимое словами. Люся сказала мне:

— Поедем к нему, это нужно.

(Вернее, она написала эти слова на бумажке: мы опасались, что КГБ, узнав о наших планах поездки, помешает; а что все наши разговоры прослушиваются, мы никогда не сомневались и не сомневаемся.)

Собравшись, без всяких обсуждений вслух, мы поехали на аэродром прямо с дачи (сначала в полупустой вечерней электричке, потом на такси от вокзала, не за-

езжая домой; наша поездка выглядела как поездка с дачи в гости — если только за нами не велась постоянная слежка и при всех передвижениях, и в московской квартире!).

По дороге на аэродром произошел случайный, по видимому, эпизод — наше такси сильно стукнула сзади какая-то машина с дипломатическим номером; у нас сильно болели от толчка шеи и головы, но мы без задержки пересели на другое такси и вскоре, не без труда, с помощью моей «геройской» книжки купили билеты до Мирного — города в Якутии, откуда должны были лететь на поршневом самолете Ил-14 до поселка Нюрбы (600 км) и потом добираться автобусом до Нюрбачана (25 километров). В Мирном вышла первая задержка — около суток не было самолета до Нюрбы. Несомненно, уже в Мирном, а может и еще раньше, нас «засек» КГБ. Мирный — новый город, центр алмазодобывающей промышленности, возникшей в СССР после открытия в Якутии крупных месторождений алмазов.

Во время вынужденного ожидания мы гуляли около аэродрома. Вдали были видны отвалы голубоватой породы — целая гирлянда холмов. Как нам объяснили, это более бедная алмазами порода, чем та, которая сейчас идет на обогатительные фабрики. Ее сняли, чтобы обнажить более богатые слои. Отвалы, однако, тоже содержат алмазы — их охраняют, никого к ним не подпуская; может, со временем дойдет дело и до них. На

прогулке мы повстречали одного из представителей «бичей» (так называют в Сибири «вольных» людей, живущих случайной работой, большей частью тяжелой и неквалифицированной; большинство из них не имеют постоянного места жительства, семьи, часто — документов; некоторые не в ладах с законом; они живут, не думая слишком глубоко о завтрашнем дне, по принципу «то густо — то пусто»). Существование «бичей», почти свободных от всех форм зависимости от государства, является, конечно, парадоксальным в нашем строго регламентированном и жестко устроенном обществе, но до поры до времени, в условиях острой нехватки рабочей силы в восточных районах страны, власти мирятся с этим.

Ночь мы провели на скамьях зала ожидания, а на следующий день все же вылетели в Нюрбу, где нас ждал новый сюрприз — рейс автобуса в Нюрбачан отменен (это уже явно из-за нас). Мы пытались поймать попутную машину сначала в самой Нюрбе, потом за ее пределами, но безуспешно. Один из местных водителей объяснил нам, что за несколько сот метров от нас все машины останавливает милиция и запрещает нас подвозить. Наконец нас взял в свою машину майор милиции, но неожиданно резко развернулся и привез к зданию милиции, мимо которого мы проходили пару часов назад (якобы чтобы что-то взять, но он тут же исчез). В милиции мы разговаривали с дежурным, быть может

просто с гебистом, который был издевательски вежлив, называл нас «Андрей Дмитриевич», «Елена Георгиевна». На мои просьбы дать машину он отвечал, что машин у них вообще нет.

— В таком случае отвезите на мотоцикле (с коляской) — вон у вас их сколько стоит...

— Но, Андрей Дмитриевич, вы можете простудиться...

Мы решили идти пешком.

Из впечатлений, которые мы вынесли во время нескольких часов пребывания в Нюрбе, — колоссальное количество милиции в этом сравнительно небольшом якутском поселке. Вообще в провинции, особенно в национальной, районная милиция — главная власть.

Когда мы вышли из Нюрбы, стало темнеть. Но нас это не пугало. Большую часть пути мы шли ночью (к счастью, при луне) по совершенно безлюдной лесной дороге, вдыхая влажный свежий воздух, от которого уже успели отвыкнуть в городе. Иногда мы устраивали короткие привалы, закусывали хлебом с сыром, запивая кофе из термоса. Через плечо я нес сумку с тем, что мы везли Андрею. От этого ночного перехода осталось острое ощущение счастья: мы были вместе, одни в лесу, делали хорошее, как нам казалось, общее дело! К 5 утра мы подошли к Нюрбачану. В каком-то из дворов люди уже не спали. Но они не захотели нам объяснить, где живет ссыльный, — видимо, смертельно испугались.

Люся нашла дом, где был поселен Твердохлебов, по печи из автомобильного колеса во дворе, которую мы видели на фотографии. Разбуженный стуком в дверь Андрей был радостно удивлен нашим приездом и только и мог повторять:

— Ну и ну!

Весь следующий день (15 августа) мы провели с ним, разговаривали о волновавших нас новостях. Андрей сообщил о некоторых деталях суда над ним, о которых мы не знали.

Я должен, однако, рассказать тут, что за исключением некоторых более «теплых» моментов при этом общении мы, к своему огорчению, почувствовали какое-то непонятное внутреннее отдаление. Потом, после возвращения Андрея из ссылки, оно все больше и больше увеличивалось и углублялось, в конце концов приведя к полной потере контакта. Причины мне не ясны до сих пор. Возвращаясь мысленно к периоду нашей дружбы в 1970—1975 годах, я теперь вижу и в том времени некоторые симптомы последующего. Тем не менее все это, во всяком случае, крайне грустно.

В середине дня Андрей принес нам прекрасного пенистого молока. Мы узнали во время нашей поездки, что важное место в питании якутов занимает конина. Табуны лошадей пасутся круглый год совершенно свободно, без пастухов — умные животные сами находят себе корм.

Еще накануне ночью я слегка подвернул правую ногу. Во время прогулки по берегу озера я провалился в глубокую яму от столба, прикрытую травой, упал и подвернул левую ногу — на этот раз очень сильно. Люся вправила мне образовавшийся желвак. Андрей сходил домой за эластичным бинтом и срезал палку-костыль, на котором я кое-как доковылял до дома. Каждый шаг был мучением. На другой день механик, с которым жил Андрей, на машине отвез нас в Нюрбу (видимо, начальство не хотело, чтобы мы застряли в поселке). На аэродроме я с внезапной болью в сердце прилег на скамейке. Люся сбегала за горячей водой и тут же поставила мне горчичник.

Из Нюрбы мы, на этот раз без задержки, вылетели в Мирный. Под крылом самолета опять проплывала бескрайняя и безлюдная заболоченная тайга, поросшая низкорослым лесом и перемежающаяся пятнами покрытых зеленью озерков. Подумалось: «А ведь это тот самый Северо-Восток, который Солженицын рассматривает как неиспользованный резерв развития русского народа, «отстойник русской нации»... Еще очень далеко до того времени, когда можно будет поднять эти места к интенсивной производительной жизни, если, конечно, не положить тут в болотистую землю миллионы подневольных жертв, подобно тому, как это делал когда-то Сталин».

Подлетая к Мирному, мы увидели под собой алмазный карьер — то, ради чего существует город Мирный

с его десятками тысяч жителей. Это было фантастическое, незабываемое зрелище — великолепное творение человеческого труда (мое восхищение не противоречит убежденности в нецелесообразности и невозможности сейчас сплошного освоения Северо-Востока; добыча алмазов, в которую можно вкладывать гигантские средства, — случай исключительный).

Карьер представляет собой уходящую глубоко в землю выемку конической формы с обнаженной серосиней поверхностью (знаменитая кимберлийская алмазная глина); с самолета она красиво выделяется на фоне зеленой тайги. Ширина конуса составляет около полутора километров, а глубина — несколько сот метров (так нам показалось с самолета — точных цифр мы не знаем). По краям воронки расположены спиральные уступы шириной и высотой метров в 30, по ним вверх и вниз двигались большегрузные самосвалы, похожие сверху на больших жуков. Самосвалы, поднимающиеся вверх, нагружены синей кимберлийской глиной, из нее же состоят спиральные уступы. На фабриках, как мы могли прочитать, породу дробят, размягчают водой. На последнем этапе выделения алмазов размягченная порода медленно движется на трясущихся лентах под мощными рентгеновскими (или ультрафиолетовыми? не помню) лампами; все это происходит в полной темноте, и алмазы, в большинстве мелкие, обнаруживаются как флюоресцирующие искорки. Конечно, все это

предприятие стоит огромных денег, но затраты окупаются, вероятно, лучше, чем в каком-либо другом производстве. И все же, несомненно, со временем все большую роль в промышленности будут играть искусственные алмазы — природных уже сейчас не хватает. Освоенный метод производства искусственных алмазов — из графита в стационарных прессах при очень больших давлениях и температурах. Очень давно также многих волнует возможность получения алмазов при взрывах. Так как для образования достаточно крупных кристаллов нужна сравнительно большая длительность состояния высокого давления и температуры, представляется, что перспективным тут является использование соответственным образом организованных подземных ядерных взрывов большой мощности. Пока, впрочем, это из области фантазий.

Нам не удалось улететь из Мирного самолетом, летящим прямо в Москву, — пришлось лететь до Иркутска.

На аэродроме в Иркутске мы провели несколько часов и просидели бы много больше, если бы Люся, очень волновавшаяся из-за моей ноги, не устроила большой скандал. Несколько рейсов по какой-то причине было отменено, на аэродроме скопилось множество людей. Но на неотмененный рейс (он шел на Ленинград, но нас и это устраивало) никого не сажали, так как самолет летел с иностранными туристами (занимавшими меньше половины мест). Это обычная практика изоляции ино-

странцев от советских граждан и предоставления иностранцам привилегированного положения. Во всех курортных местах лучшие гостиницы выделены иностранцам и советских к ним даже не подпускают; то же — с ресторанами; или есть специальные часы, когда кормят только иностранцев. По существу, все это крайне оскорбительно и для советских, и для иностранцев, но и те, и другие переносят это как должное (а что было бы, если бы подобные ограничения были установлены, скажем, в Риме или Париже — вероятно, немало витрин было бы разбито!). Люся стала требовать посадки в самолет для нас и всех ожидающих. В выражениях она при этом не стеснялась (много потом в какой-то статье — очередном пасквиле АПН — ей припомнили «скандал в Иркутске» — ГБ всегда все слушает и ничего не забывает). Нас и еще человек 30 посадили на рейс с иностранцами — очевидно, начальство испугалось возможности расширения скандала. Прислушивались уже многие. Потом к Люсе подходили, говорили, что без нее бы не улетели, и удивлялись ее смелости:

— Мы бы так не решились...

Мы прилетели в Ленинград, переночевали и отдохнули на Пушкинской у Зои Моисеевны, Наташи и Регины. Зочка сделала мне ножную ванну — сразу полегчало.

В Москве в академической поликлинике ногу положили в гипс, поставили диагноз: разрыв связок (что Люся считала с самого начала).

Запомнившееся событие 1976 года — поездка в Тбилиси на международную конференцию по физике элементарных частиц (она была в конце июля, т. е. до поездки в Якутию). Я, конечно, поехал вместе с Люсей. Нас поселили в той же гостинице «Сакартвело», в которой я жил в 1968 году (чуть ли не в ту же комнату). На конференции было много интересных докладов. Незадолго до этого физики открыли частицы, содержащие «шарм»-кварки. Это кварки нового тогда (четвертого) типа, теоретически предсказанные Глешоу, Илиопулусом и Майани, исходя из исследованного Иоффе и Шабалиным факта аномально малой разности масс нейтральных ка-мезонов «лонг» и «шот». Это одно из самых удачных предсказаний последних лет!

В Тбилиси сообщалось о новых частицах с «шарм»-кварками. Еще интересней были некоторые теоретические работы. Как я уже писал, в Тбилиси я «уверовал» в квантовую хромодинамику и GUT — Теорию Великого Объединения по-русски (до этого я в частной беседе с одним иностранным участником конференции не очень удачно высказался о собственной работе, использовавшей идею дробно-заряженных кварков). Там же я впервые познакомился с работами, использующими «решетки» для численных расчетов по квантовой теории поля, в частности по проблеме «удержания» кварков (т. е. для объяснения, почему кварки не наблюдаются в свободном состоянии). Очень важными

и приятными для нас обоих были личные контакты со многими учеными США, Европы и Израиля. Среди них были и уже ранее знакомые Вейскопф и Дрелл, и многие новые, в их числе Френсис Лоу с женой и другие. Наши западные друзья навещали нас в гостинице. Люся из купленных ею овощей, фруктов и сладостей, приложив руки, устраивала нехитрое угощение, заваривала хороший кофе. Все это пользовалось большим успехом после ресторанной еды. Во время визита гостей из Израиля (я, к сожалению, не записал их фамилий, понадеявшись на память, а она подвела) Люся узнала, что они работают рядом с Юрой Меклером, нашим другом, уехавшим в Израиль в 1972 году. В прошлом Меклер был арестован и отсидел пять лет за хранение книги Пастернака «Доктор Живаго». Во время ленинградского «самолетного» дела тучи вновь сгустились над ним. Я помню, как навзрыд плакал Юра на нашей кухне, прощаясь с нами и со страной, в которой прошла вся его жизнь. Потом Люся, встречавшаяся с ним в Италии, передавала мне его слова:

— Что я потерял, оставил в России? Несколько друзей — человек пять-шесть, возможность повседневно общаться с ними. Одинокие ночные прогулки по берегу Невы. Русский язык, звучащий вокруг. Что я получил? Свободу, чувство безопасности, возможность при желании поехать в Италию или куда захочу. Интересную работу (жаль только, что так поздно — в 40 лет).

Люся тут же собрала импровизированную посылочку для Юры Меклера и его мамы и отдала ее нашим гостям (начатую коробку конфет, бутылку грузинского вина).

В последний день конференции для ее участников был устроен правительственный прием. Позорно, что на прием не были приглашены члены делегации Израиля. Никто из приглашенных иностранных и советских участников не протестовал (к сожалению, не протестовал и я; правда, я узнал об этом лишь во время приема, но надо было предложить тост за отсутствующих товарищей по общечеловеческой науке — типичные «треппен-вортен»; немецкое выражение: слова, приходящие в голову на лестнице).

Незадолго до закрытия конференции к нам пришли Вейскопф и Дрелл. Они, смущаясь, рассказали, что им передали каждому пакет, в котором были деньги (сумму я не помню). Они не объяснили, под каким благовидным предлогом были вручены эти деньги, но фактически это был *скрытый подкуп*. Вейскопф и Дрелл пришли с этими деньгами к нам и попросили передать их преследуемым ученым и их семьям (что мы и выполнили). А сколько людей — ученых, просто туристов, «нужных» людей за рубежом: журналистов и писателей, борцов за мир, бизнесменов, политических деятелей, спортсменов и музыкантов — получают такие «подарки» (быть может, в другой форме), не знают, кому об этом рассказать,

и стесняются, и незаметно для себя становятся управляемыми? Масштаб этой деятельности известен только КГБ, но я подозреваю, что он очень велик.

Весной (в мае) 1976 года в Москве по инициативе Юрия Федоровича Орлова была организована Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Хельсинкская группа, вероятно, самое известное порождение его беспокойного, активного ума (большую роль тут также, по-видимому, сыграл Андрей Амальрик; см. его воспоминания, посмертно опубликованные на Западе⁴). С первой идеей создания Группы (тогда он называл ее Комитетом) и с предложением быть соорганизатором Юра пришел двумя месяцами раньше, примерно в марте. Ни тогда, ни в мае я не согласился войти в Группу. Я считал, что форма индивидуальных выступлений, в которых я полностью свободен и в содержании, и в способе выражения, наиболее подходящая для меня при моем сильно выделенном положении. Я был также тогда очень рад, что на мне «не висит» больше Комитет прав человека, и не хотел вновь связывать себя какими-либо аналогичными обязательствами.

Я, конечно, оставлял за собой право присоединяться к некоторым документам Группы, наиболее важным и нравящимся мне; в дальнейшем я часто это делал.

Вслед за Московской группой возникли группы в союзных республиках (на Украине, в Прибалтике, в Ар-

мении и Грузии), а также за рубежом (с несколько другими условиями и задачами). Есть определенная внутренняя аналогия с чехословацкой Хартией-77.

По существу Московская Хельсинкская группа, как и аналогичные группы в республиках, делала то же самое дело, что и Инициативная группа, «Хроника текущих событий» и отдельно выступающие правозащитники, — собирала и предавала гласности факты нарушения прав человека, чтобы привлечь к ним внимание общественности — советской и мировой. Но подчеркнутая Орловым связь с Хельсинкским Актом, выраженная в названии Группы, придавала этой деятельности дополнительное значение, больший вес.

Сама по себе идея создания Хельсинкской группы была хорошей. Удачно использовались то большое значение, которое имеет Хельсинкский Акт для СССР, точней для его руководства, и провозглашение Актом связи международной безопасности и прав человека. Признание существования этой связи в международном соглашении действительно имеет принципиальное значение. Именно в силу этих причин выступление правозащитников, использующих в качестве опоры Хельсинкский Акт, чувствительно для властей. Это не значит, что они делают из этого положительные выводы. Наоборот! Членство в Группе, особенно в республиканских, ставило людей под особенно сильный удар. В этом я вижу отрицательную, трагическую сторону создания Групп!

После того, как я отказался вступить в Группу, Юра обратился с предложением вступить в Группу к Люсе, считая, что ее членство в Группе в какой-то мере компенсирует мое отсутствие. Люся сильно колебалась, но в конце концов согласилась. Ей казалось, что ее участие может быть какой-то защитой для тех членов Группы, которые находятся под ударом, — она, в частности, имела в виду Алика Гинзбурга и самого Юру Орлова. При этом Люся оговорила за собой право чисто формального участия, без конкретной работы. В следующих главах я расскажу о репрессиях, обрушившихся на Хельсинкские группы (конечно, ни Люся, ни кто бы то ни было не смог бы их предупредить), и о работе Московской Хельсинкской группы. Вопреки Люсиным первоначальным предположениям ей пришлось взять на себя значительную долю работы, особенно после ареста Ю. Орлова.

* * *

В 1976—1977 годах КГБ проявил особенную активность с целью опорочить Люсю. Я уже писал о заявлении ТАСС по поводу пресс-конференции Давидовича. Расскажу еще о двух попытках. В начале 1976 года, если мне не изменяет память, Люся получила письмо, подписанное «Семен Злотник». Автор утверждал, что он является племянником Моисея Злотника и что дядя перед смертью много рассказывал ему о Люсе, об ее от-

звывчивости и советовал обращаться к ней за помощью, если он попадет в трудное положение. Племянник просил Люсю перевести на его имя 6 тысяч рублей и глухо намекал, что в случае отказа он сможет о чем-то рассказать. Это был явный шантаж. На письмо Люся не ответила. Люся знала Моисея Злотника и, независимо, его будущую жену. Злотник был двоюродным братом Регины Этингер, ближайшей ее подруги. А в школе (еще в Москве) она училась с его будущей женой Еленой Доленко. Во время войны Моисей Злотник был арестован и осужден за убийство жены. Люсю вызывал для допроса следователь, но на суд ее не вызывали, т. к. было ясно, что она не имеет к делу никакого отношения. Причина убийства осталась невыясненной; возможно, она была как-то связана с крупными групповыми хищениями, в которых был замешан М. Злотник. Через два месяца после письма Семена Злотника, отправленного якобы из Калинина, пришло новое, на этот раз якобы из Бреста (пограничная станция). Автор сообщал, что добрые люди помогли ему и он уезжает в Израиль. Но он потрясен Люсиной черствостью и намерен посвятить себя сбору материалов о ней, ее грязном прошлом (употреблялось выражение «дама полусвета»).

А еще через пару месяцев многие люди в Москве, имеющие какое-либо отношение к нам или не имеющие никакого, — мои коллеги по науке, иностранные корреспонденты, наши друзья и знакомые, многие писате-

ли и артисты и т. д. — стали получать по почте большие конверты, в которые были вложены новое письмо Злотника с выражением обиды на Люсю и обещанием разоблачений и фотокопия рассказа Льва Шейнина (в прошлом следователя по особо важным делам и писателя). В рассказе Шейнина описывается дело об убийстве Моисеем Злотником его жены; Злотник назван Глотником. Рассказ не следует точно обстоятельствам дела Злотника — многие детали и мотивы поступков изменены. В рассказе упоминается молодая женщина Люся Б. То, что написано о Люсе Б., не соответствует действительным обстоятельствам. Существенно, однако, что ничего криминального о Люсе Б. не сообщается. Обратный адрес на конверте стоял — некто Сандлер, Вена. Конверты были из желтой плотной бумаги — поэтому всю операцию мы между собой называли «желтые пакеты». Получили их также некоторые наши знакомые в Ленинграде и за рубежом. Общее число пакетов — несколько сот или тысяча.

Некоторые приносили нам полученные пакеты, некоторые стеснялись. Некоторые из получателей не были с нами знакомы, и мы узнавали о них через третьих лиц. Почти все известные нам пакеты были идентичны, но в одном (полученном Б. Г. Заксом) Люся обвинялась в том, что она якобы была виновницей смерти еще одной женщины — жены Всеволода Багрицкого. На самом деле брак Всеволода был очень недолгим, он

почти сразу развелся, Люся никогда не видела его жены и о браке узнала только тогда, когда он распался. Никаких контактов с женой Всеволода у нее никогда не было.

Ясно, что изготовление 1000 копий и отсылка 1000 больших конвертов по международной почте не под силу бедному эмигранту, как бы он ни был обуреваем чувством обиды. Удалось выяснить, что никакой Сандлер по указанному на конверте адресу не проживает. Далее еще интересней: в семье Злотников не было никакого Семена. У нас есть записка, написанная рукой Регины Этингер, с подробным перечислением всех реальных членов семьи. С очевидностью стало ясно, что Семен Злотник — это просто псевдоним какого-то из сочинителей в КГБ (есть даже косвенные указания — кого именно). Но мы еще раз встретились с этим мифическим персонажем в 1980 году и еще раз — в 1983-м.

Вся история с письмами, очевидно, была затеяна, чтобы как-то скомпрометировать Люсю, связав ее имя с темной и мрачной историей, посеять сомнения у тех, кто ее плохо или совсем не знает, а если повезет, то и у тех, кто знает хорошо.

На меня операция «желтые пакеты» производит странное впечатление явным несоответствием между огромными затраченными усилиями и средствами и практически нулевыми результатами, но, вероятно, у КГБ другие мерки и другие представления о результа-

тах. А средства у них бездонные, без счета, государственные (т. е. народные).

Примерно одновременно с желтыми пакетами (годом раньше или годом позже — не помню) некоторым из наших знакомых рассылались (якобы пришедшие из-за границы) конверты с экземпляром зарубежной газеты на русском языке «Русский голос». Мы тоже получили один экземпляр (так же как и желтый пакет). Статья в газете называлась «Мадам Боннэр — злой гений Сахарова?»⁵. Вопросительный знак в заголовке, очевидно, был нужен, чтобы формально защититься от возможной ответственности за клевету, ибо вся статья густо нашпигована ею. Тут и утверждения о корыстолюбии моей жены, присваивающей предназначенные мне пожертвования (?!), — никаких пожертвований, конечно, не было, и о том, как она визгливым голосом кричит с балкона в Осло, прижимая к себе сумочку, содержимое которой интересует ее больше, чем оставленный в СССР муж, и прозрачные намеки, что Гинзбург и другие молодые диссиденты — ее любовники, и многое другое — я уже забыл подробности. Не останавливаясь на всем этом, замечу, что назвать голос моей жены визгливым трудно при самом пылком воображении.

Эту статейку мы не показали Руфи Григорьевне, чтобы ее не расстраивать. Однажды она ночевала одна в своей квартире на Чкалова. Среди ночи ее разбудил

звонок. Она подошла к двери, но не открыла ее. Некто загробным голосом прокричал через дверь:

— Статью про дочку в «Русском голосе» читали?

(Руфи Григорьевне показалось — в «Русском колосе».)

Руфь Григорьевна не спала остаток ночи, что, вероятно, и было целью.

На полученном нами номере газеты было обозначено, что она издается в Нью-Йорке. Никто из американских корреспондентов не знал о существовании газеты с таким названием, но потом удалось докопаться, что она все же действительно существует и даже имеет, по-видимому, свой небольшой контингент читателей, но, конечно, издается не без поддержки из-за океана (т. е. из СССР). Я одно время собирался подать на редакцию в суд за клевету, но меня отговорили — и зря!

* * *

Я не помню всех своих выступлений 1976 года, за исключением трех: дело Зосимова, в защиту осажденных в палестинском лагере Эль-Заатар и интервью Кримскому.

Осенью 1976 года в Японии приземлился советский самолет МиГ-25 с летчиком-перебежчиком Беленко на борту. Беленко попросил политического убежища, однако не в Японии, а в США, и оно было ему немедленно предоставлено. Новейший советский сверхзвуковой са-

молет стал предметом изучения американских специалистов. Но в Москве в эти дни поползли настойчивые слухи, что Беленко на самом деле заслан с целью проникновения в тайны американской авиации и для дезинформации: его самолет якобы представляет собой «липу», умышленно ухудшенный вариант для усыпления бдительности. Очень возможно, что как раз эти слухи распространялись службой дезинформации КГБ, чтобы хоть как-то запутать американскую разведку. Через две или три недели после Беленко произошел еще один перелет, менее эффектный и кончившийся совсем печально. Летчик Зосимов перелетел советско-иранскую границу на легком военно-почтовом самолете и сдался иранским властям. В отличие от МиГ-25, на котором летел Беленко, самолет Зосимова не являлся ни в коем случае чудом военной техники и не представлял ни для кого интереса. Зосимов тоже попросил политического убежища, но оно ему предоставлено не было. Желая предотвратить выдачу Зосимова советским властям, П. Г. Григоренко и я обратились к просьбой об этом в международные организации по делам беженцев, к шаху Ирана и, кажется, к Генеральному секретарю ООН (психологически было правдоподобно, что Зосимову придется ответить сразу за двоих — и за себя, и за Беленко). Непосредственного результата эта просьба не имела — правительство Ирана передало СССР как самого Зосимова, так и тот советский само-

лет, на котором он совершил побег. После этого Люся и я обратились к шаху Ирана с письмом, в котором просили его ходатайствовать перед советским правительством о снисхождении к Зосимову, о неприменении к нему смертной казни. Не ограничившись обычным способом передачи этого письма иностранным корреспондентам, мы с Люсей попросили принять нас в посольстве Ирана (точней, конечно, в консульстве — в силу дипломатических условностей советские граждане не должны проходить на территорию посольства). Эта встреча состоялась — с нами беседовали консул, один из секретарей посольства и переводчик. Мы сидели в комнате, на стене которой висел большой портрет шаха Реза Пехлеви в полной парадной форме, с огромным количеством каких-то орденов, звезд и лент, сверкавших бриллиантами и золотом. Такие же портреты мы видели и в соседних комнатах. Сам разговор произвел на нас тягостное впечатление какой-то высокопарной уклончивостью. На наш вопрос, на каких формальных основаниях была произведена выдача Зосимова, последовал ответ: на основании конвенции о мерах борьбы с угоном гражданских самолетов, подписанной СССР и Ираном. Это, конечно, было большой натяжкой: ведь самолет Зосимова не был гражданским, а сам он был не воздушным пиратом, а перебежчиком. Нам было обещано передать наше письмо соответствующим властям. Это был период, когда СССР «заигрывал»

с шахом (может быть, конец периода). В журнале «За рубежом» можно было прочесть очень сочувственную статью о «белой революции» — то есть о попытках модернизировать Иран, его экономику, культуру и социальные структуры с использованием доходов от продажи нефти. Усиленно развивались экономические связи. В конце 1974 — начале 1975 года, когда в связи с поправкой Джексона СССР лишился американских кредитов, именно Иран предоставил СССР очень крупный кредит. С другой стороны, ходили настойчивые слухи, что СССР выдает Ирану перебежчиков-мятежников (азербайджанцев, курдов, арабов — прямо в руки САВАК; вряд ли Зосимов знал обо всех этих явных и тайных делах, иначе он не решился бы бежать именно в Иран, а других возможностей его самолетик ему, вероятно, и не давал). Все же я надеюсь, что наше вмешательство в дело Зосимова, быть может, помогло ему избежать смертной казни. Зосимов был осужден на 10 лет заключения. Значение нашего выступления подтверждается той беспрецедентной почтой с «гневным осуждением» защиты изменника, которую я получал в течение двух месяцев, часто по несколько (до 10) писем в день. Вероятно, хотя бы частично это были реальные, а не сфабрикованные письма, но, поскольку вся почта ко мне проходила через фильтр КГБ, я могу рассматривать ее и как выражение позиции и беспокойства этой организации.

К тому же времени относится наше с Люсей выступление в защиту осажденных в палестинском лагере Эль-Заатар (дополнение 4). Это была одна из самых жестоких страниц в ужасной истории многолетних ближневосточных бедствий. Осада лагеря продолжалась несколько месяцев, осажденные палестинцы оборонялись отчаянно, героически. Среди них было много женщин, престарелых и детей. Трудность положения в особенности усугублялась недостатком в лагере воды — люди стали умирать от жажды. Все попытки доставки воды пресекались окружавшими лагерь отрядами их противников, которые надеялись сломить таким образом упорство осажденных. В этой трагедии наши симпатии были на стороне страдающих. Тут совершенно не играло роли, как мы относимся к политической позиции палестинцев, руководства ООП. Я живо помню Люсину озабоченность в те дни. Наше письмо с призывом к гуманности, в особенности по отношению к детям и женщинам осажденного лагеря, было опубликовано и неоднократно зачитывалось по радио. Я не знаю, успело ли оно оказать хоть какое-нибудь реальное воздействие в той конкретной ситуации. При том ожесточении, которое владело обеими сторонами, трудно было на это рассчитывать. Но все же я считаю это письмо очень важным в принципиальном плане. *(Написано в 1981 году.)*

Одной из забот последних месяцев 1976 года были трудности, связанные с Александром Гинзбургом. За год перед этим, когда Люся была в Италии, Валентин Турчин уговорил меня (а в еще большей степени — Руфь Григорьевну), чтобы как-то защитить Гинзбурга от угрожающих ему бед, взять его к себе в «секретари» (формально, конечно; реальная секретарская работа, в особенности в моем случае, требовала таких качеств и близости к моей позиции, каких у Александра Гинзбурга не было). Но беды не кончились. Например, когда Алик приезжал без меня на дачу, его систематически задерживали, и мне приходилось спешить в ближайшее отделение милиции и выручать его. Плохо было также и то, что Алик был занят делами, к которым я не имел никакого отношения. Все чаще к нам на квартиру стали звонить, а иногда и пытаться придти люди, с которыми нам вовсе не хотелось иметь дела. Все это, конечно, не отменяет того, что Алик был близок к нам, нашим детям и, особенно, нашим внукам в человеческом плане; он — то, что называется «легкий человек», мы просто привязались к нему, а он к нам. Личное общение с ним никогда не было обременительным.

В конце 1976 года я дал большое интервью корреспонденту американского агентства АП Джорджу Кримскому. Джордж был одним из тех немногих корреспондентов, с которыми у нас возникла личная близость (так же, как и у Ефрема и Тани). Вероятно, имен-

но поэтому на него начались нападки в советской прессе и всяческие придирки. Несколько раз ему, как и некоторым другим иностранным корреспондентам, портили машину, прокалывали шины. Осенью Джордж с женой и маленьким ребенком приехал в гости к Тане и Ефрему на дачу. Немедленно в дом вломилась милиция, и Джорджа, жену и ребенка насильно выволокли из дома и увезли в отделение милиции, где составили протокол. Им не дали даже покормить ребенка и позвонить в консульство. Предлог акции — якобы моя дача находится в запретной для иностранцев зоне; но ранее и ко мне, и к соседям они неоднократно приезжали. В начале 1977 года Джордж Кримский по указанию МИД СССР был вынужден уехать из СССР.

Мне бы хотелось, чтобы начальство аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов понимало, что такие высылки не только не есть свидетельство профессиональной несостоятельности, а наоборот, показывают, что корреспондент вел себя незаурядным и достойным образом.

В интервью Кримскому я говорил о задачах и положении правозащитного движения в СССР, особо подчеркнув роль Хельсинкских групп, о необходимости Западу в своих взаимоотношениях с СССР исходить из неконъюнктурных целей, среди которых особое место занимают проблемы прав человека и открытости общества, о необходимости единства Запады, о совет-

ско-китайских отношениях. В целом, это одно из моих интервью, имеющих, как мне кажется, общее значение.

* * *

В середине декабря 1976 года произошли одновременно два события, одно из которых как бы подытоживало некий предыдущий этап защиты прав человека в СССР, в том числе и моих действий, а другое, наоборот, явилось предвестником новых бед, репрессий, противостояния...

Не случайным было, как я думаю, и совпадение этих событий во времени⁶. Одно из них — обмен Владимира Буковского на чилийского коммуниста Луиса Корвалана. Другое — пожар в комнате Мальвы Ланда.

Обмен Буковского стал возможен в результате многолетней международной кампании в его защиту, очень большого и заслуженного его морального авторитета как одного из стойких представителей правозащитного ненасильственного движения. С другой стороны, была широкая международная кампания, в том числе в советской печати, за освобождение секретаря компартии Чили Луиса Корвалана, арестованного Пиночетом в 1973 году. Когда эти две проблемы «столкнулись» в результате инициативы каких-то деятелей Запада, кажется в их числе из Комитета Сахаровских слушаний в Дании, советские власти пошли на обмен. В создавшейся ситуации они не могли оставить Корвалана в за-

ключении (хотя вообще пропагандистски он им там был, возможно, и выгодней).

Вокруг этого обмена, как и вообще вокруг принципа обмена, происходили потом горячие дискуссии. В частности, руководство Эмнести Интернейшнл из принципиальных соображений высказалось против обменов, считая, что они противоречат принципу всеобщей амнистии узников совести, как бы ложно снимают категорическую моральную необходимость амнистии всех.

Что касается меня, то моя позиция в этом вопросе вполне определенная и иная. Я глубоко и без всяких колебаний рад каждому случаю освобождения людей, страдающих за убеждения! Рад освобождению даже одного человека, одного узника совести, в данном случае Владимира Буковского, и абсолютно не вижу, чем оно повредило судьбе других узников совести. Амнистия узников совести в СССР (и в большинстве других стран, в которых есть узники совести) станет возможной лишь в результате очень глубоких изменений, мощных причин, которым никак не повредят обмены. И освобождению Луиса Корвалана я по-человечески рад! Позиция глубоко уважаемой мной Эмнести Интернейшнл в данном вопросе мне кажется слишком абстрактной, схоластической.

Об обмене и предстоящем вывозе из СССР Буковского мы узнали заранее, за несколько дней (через его мать). Несколько десятков московских инакомыслящих

приехали в международный аэропорт Шереметьево, надеясь хотя бы издали увидеть Володю, поприветствовать его. Приехало много иностранных корреспондентов, как всегда — не меньше гебистов. П. Г. Григоренко и я дали инкорам, окружившим нас кольцом, импровизированные интервью, выразили надежду, что гуманный акт обмена не будет единичным, что последуют освобождения других узников совести и что рано или поздно будет осуществлена всеобщая амнистия. Мы оба сказали, что особо срочным является освобождение политзаключенных-женщин, а также больных, назвали много имен. (Во время интервью гебисты стояли чуть поодаль, образуя второе, внешнее кольцо вокруг корреспондентов и диссидентов.)

Мы пробыли в Шереметьеве несколько часов и разъехались ни с чем. Буковский был вывезен из СССР на военно-транспортном самолете с какого-то другого аэродрома. Туда же доставили его мать, сестру и больного племянника на носилках. Кажется, до границы Буковского везли в самолете в наручниках, впрочем я не уверен, не путаю ли я тут чего-либо.

В советской печати еще с 1971 года появлялись статьи, в которых Буковского называли «хулиганом». После обмена широкое распространение получил стишок:

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.

Где б найти такую б...дь,
Чтоб на Брежнева сменять?..

Мальва Ланда была с нами в Шереметьеве, потом она вернулась к себе домой, и там через несколько часов произошел пожар.

Ланда по профессии геолог. В это время она была уже на пенсии, жила одна в комнате коммунальной квартиры в подмосковном городе-спутнике Красногорске. Я считаю Мальву одним из лучших представителей правозащитного мира, безраздельно преданной идее справедливости и гуманности, полной сочувствия к тем, кто страдает, и бескомпромиссного осуждения беззакония и несправедливости. Мало кто, как она, знает так хорошо судебные дела, семейные обстоятельства, трудности, характеры, болезни сотен политзаключенных и вновь арестованных, еще находящихся под следствием. К каждому у нее — живое человеческое сочувствие, понимание...

В мае 1977 года я присутствовал на суде над Мальвой, обвиненной в том, что она по небрежности допустила возникновение пожара, причинившего большой ущерб личному имуществу ее соседей и государственному имуществу. У меня сложилось убеждение (верней, я склонялся к этому и раньше), что это был не пожар по неосторожности, а умышленный поджог. Пожар возник, когда Мальва вышла на минуту в общую кухню

поставить чайник, оставив дверь в свою комнату открытой. Когда она пришла, в комнате полыхал огонь, горели разложенные на столе и на полу бумаги, которые она разбирала. Она бросилась в кухню за водой, а когда прибежала, ей преградил дорогу неизвестный ей человек. Несколько минут продолжалась борьба между ними — ей не удалось войти в комнату. Никто из соседей и сама Мальва не знали этого человека. Суд и следствие не сделали никакой попытки его найти. Я уверен, что это был гебист, верней всего — он же и поджигатель. Следствие не выяснило, были ли следы применения зажигающих веществ, хотя картина пожара очень на это похожа. Суд завысил ущерб, причиненный пожаром. На самом деле, главным пострадавшим была сама Мальва, у которой сгорело все ее имущество (никаких накоплений у Мальвы, конечно, не было; она жила, как большинство пенсионеров в СССР — от пенсии до пенсии). Еще подробности. Хотя пожарные были вызваны своевременно, кто-то направил машины по ложному адресу, и они приехали очень поздно. Еще кто-то препятствовал выключению электричества. Все эти детали суд игнорировал. У Мальвы Ланда был хороший адвокат, но, как всегда в процессах диссидентов, он ничего не смог сделать для изменения приговора. Мальва была приговорена к выплате компенсации и к 2 годам ссылки. В конце 1977 года или в начале 1978-го она была освобождена по амнистии⁷, но потеряла право жительст-

ва в Красногорске (тем более не могла жить в Москве). Ей пришлось купить полдома за пределами 100-километровой зоны. При кратковременных приездах в Москву ее неоднократно задерживали.

Весной 1980 года Мальву Ланда вновь арестовали, на этот раз по открыто политическому обвинению (ст. 190¹). Она вновь приговорена к ссылке, на этот раз на 5 лет.

ГЛАВА 41

1977 год. Обращение к избранному президенту США о Петре Рубане.
Обыски в Москве. Взрыв в московском метро.
Письмо Картеру о 16 заключенных.
Инаугурационная речь Картера.
Вызов к Гусеву. Письмо Картера.
Аресты Гинзбурга и Орлова.
«Лаборантка-призрак».
Дело об обмене квартиры.
Арест Щаранского. Аресты на Украине,
в Прибалтике, Грузии и Армении.
Руденко. Тихий. Вэнс и Громыко

В конце 1976 или в начале 1977 года стало известно о приговоре Петру Рубану. Рубан был одним из тех, кто участвовал в выносе из лагеря «Дневника» Эдуарда Кузнецова. Очевидно, КГБ узнал о его роли. Новое дело Рубана было мезьтью ему за этот смелый поступок. Дело заключалось в следующем. Рубан — художник. После освобождения он работал в мастерской, где от каких-то поделок оставалось много обрезков дерева. Обычно их выбрасывали. Но Рубан собрал их и сделал из них произведение искусства: сувенир в виде книж-

ки-бювара с различными картинками, набранными из кусков дерева. На обложке была изображена Статуя Свободы. Рубан хотел послать этот бювар в США, в дар американскому народу ко Дню 200-летия независимости. Его арестовали и осудили на 8 лет заключения и 5 ссылки по нелепому обвинению в хищении государственной собственности (потом, при кассации, приговор был снижен до 6 лет заключения и 3 ссылки). Я решил обратиться к вновь избранному президенту США с просьбой о вмешательстве в это дело. Я писал, что Петр Рубан пострадал за действия, совершенные ради дружбы и взаимопонимания народов СССР и США, и что защита его — дело чести народа США. Мне неизвестно, предпринимал ли Картер какие-либо действия в связи с этим делом. Через полмесяца я вновь обратился к Картеру, но до этого произошло еще много событий.

В первых числах января прошли обыски у Юрия Орлова и у других членов Московской Хельсинкской группы. Это было очень тревожно, предвещало еще более серьезные репрессии против всех Хельсинкских групп. Сами обыски были весьма опустошительными (кроме документов, во всех обысках конфисковывались деньги и вещи Фонда помощи политзаключенным и их семьям¹, личные вещи и деньги, конечно — пишущие машинки, магнитофоны, приемники), сопровождалось различными нарушениями вплоть до (возможно) под-

брасывания компрометирующих предметов. Я написал и опубликовал в связи с этими обысками Обращение к главам государств, подписавших Хельсинкский Акт. Если бы эти государства в какой-то, хотя бы самой мягкой, форме прореагировали тогда на возникшую угрозу Хельсинкским группам, возможно советские власти воздержались бы от той волны репрессий, которая вскоре последовала, или эти репрессии были бы более ограниченными. Но обыски (и мое обращение) прошли за рубежом почти незамеченными.

9 января мы узнали о произошедшем накануне, 8 января, трагическом событии — взрыве в вагоне московского метро, сопровождавшемся человеческими жертвами. Зарубежное радио сообщало противоречивые подробности, советская печать в первые дни вообще ничего не публиковала. 11 января мы узнали из передачи западного радио, что московский корреспондент английской газеты «Ивнинг ньюс» Виктор Луи — тот же, который писал о невозможности моей поездки в Осло в 1975 году, — опубликовал статью, в которой приводит мнение советских официальных лиц об ответственности за это преступление диссидентов. Корреспонденция Виктора Луи явно была пробным шаром, прощупыванием реакции. За ней, при отсутствии отпора, мог последовать удар по диссидентам. Силу его заранее предугадать было нельзя. Кроме того, нельзя было исключать, что сам взрыв был провокацией, быть может

имеющей, а быть может и не имеющей прямого отношения к инакомыслящим. Я решил, что необходимо выступить. 11–12 января я написал «Обращение к мировой общественности», где сообщал все, что мне было известно об обстоятельствах взрыва и о статье Виктора Луи, напоминая о незаконных действиях властей и строго лояльных, основанных на гласности и отвержении насилия действиях защитников прав человека в СССР. В числе преступлений, в которых, возможно, замешан КГБ, я упомянул гибель Брунова, Яковлева и Богатырева, о которых я писал выше, и ряд других ужасных преступлений, жертвой которых стали инакомыслящие. В конце «Обращения» я писал:

«Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в московском метро и трагическая гибель людей — это новая и самая опасная за последние годы провокация репрессивных органов. Именно это ощущение и связанные с ним опасения, что эта провокация может привести к изменению всего внутреннего климата страны, явились побудительной причиной для написания этой статьи. Я был бы очень рад, если бы мои мысли оказались неверными. Во всяком случае, я хотел бы надеяться, что уголовные преступления репрессивных органов — это не государственная, санкционированная свыше новая политика подавления и дискредитации инакомыслящих, создания против них «атмосферы народного гне-

ва», а пока только преступная авантюра определенных кругов репрессивных органов, не способных к честной борьбе идей и рвущихся к власти и влиянию. Я призываю мировую общественность потребовать гласного расследования причин взрыва в московском метро 8 января с привлечением к участию в следствии иностранных экспертов и юристов...».

Работая над «Обращением», я сознавал, и Люся тоже, что оно неизбежно вызовет ответную реакцию КГБ и что жертвой ее можем стать не только мы двое, но и другие члены нашей семьи, в особенности — дети. Но я считал, что в создавшейся ситуации у меня нет выбора, что я обязан, в силу своего положения, сделать попытку противостоять нависшей опасности. Люся понимала мою точку зрения. Аналогичный документ, но в более мягкой форме, независимо от меня подготовила Хельсинкская группа. Оба документа были одновременно переданы западным корреспондентам. Особое внимание привлекло мое «Обращение».

Приблизительно 16 января утром, когда мы завтракали, пришел неожиданный посетитель. Он отрекомендовался американским адвокатом (фамилию я забыл) и передал мне просьбу (не было ясно, от кого она исходит, возможно от него самого, но тогда я понял его в том смысле, что от новой администрации) написать для Картера список примерно десяти политзаключен-

ных, на борьбе за освобождение которых следует сосредоточить усилия. Гостя внизу ждала машина — он через два часа вылетал в США. Пока Люся делала ему яичницу (гость был голоден и не отказался), я на листке бумаги набросал письмо Картеру, в котором просил об освобождении 16 человек (10 у меня никак не получалось!), а также обращал внимание новоизбранного президента на то, что взрыв в московском метро, возможно, преследует провокационные цели или будет использован в таких целях. При этом я добавил, что хотел бы, чтобы эти опасения оказались необоснованными. Времени было очень мало; я быстро переписал один из двух листков, Люся — второй, мы отдали их нашему гостю, он тут же распрощался и уехал, пробыв у нас менее получаса. По всему контексту разговора я был уверен, что мое письмо предназначено только адресату и не будет публиковаться, и соответственно его и писал. (Публичные заявления я мог делать и без таких посредников.) Но, видимо, тут произошло недоразумение. Мое письмо было опубликовано в «Нью-Йорк таймс». У меня нет никаких данных, что оно было направлено или передано Картеру и, тем более, что оно хоть в какой-то мере было использовано в явной или тайной дипломатии (хотя я не исключаю и этого). Каких-либо отрицательных последствий публикация, вероятно, не имела и, быть может, лишний раз привлекла внимание к судьбе наших узников совести.

20 января состоялось официальное вступление в должность нового президента США (инаугурация). Картер произнес традиционную инаугурационную речь, в которой провозгласил моральной основой политики США международную защиту прав человека. Конечно, на этом заявлении лежит определенная печать риторики, свойственной политическим деятелям не только в США. Но все же в основе оно, несомненно, искреннее и серьезное, отражающее внутренние убеждения Картера и, что еще важнее, — новый морально-политический климат в мире, в котором все большее число людей самых различных политических позиций осознают важность и правомерность международной защиты прав человека. В практическом проведении администрацией линии на защиту прав человека проявилась, однако, некоторая слабость и непоследовательность. Это имело серьезные негативные последствия, в частности для инакомыслящих в СССР. Заслуживает сожаления заявление Картера, сделанное через несколько месяцев после инаугурации, что, продолжая защиту прав человека, США не будут вмешиваться в конкретные дела. И тем не менее, оценивая инаугурационное заявление Картера сегодня, мы не можем не видеть его глубокого и непреходящего значения. Впервые глава одной из крупнейших и могущественных стран мира поддержал и подтвердил столь недвусмысленно принцип международной защиты прав человека.

24 января я получил вызов к заместителю Генерального прокурора СССР Гусеву в Прокуратуру СССР (Пушкинская, 15, т. е. туда же, где за три с половиной года до этого я встречался с другим заместителем — Маляровым). Цель этого вызова — предъявление мне официального предупреждения об уголовной ответственности в связи с моим заявлением о взрыве в московском метро и вообще в связи с моей общественной деятельностью. Я отказался подписать предупреждение. Гусев заявил: «Ваш отказ не имеет значения. Все равно предупреждение останется в анналах прокуратуры»(??).

Я понимал, что предстоит усиление преследований; в особенности я опасался, что их мишенью станут мои близкие. В этот же день на пресс-конференции я сообщил о вызове в Прокуратуру иностранным корреспондентам и передал им запись беседы; сообщения об этом были опубликованы во многих газетах и передавались по радио. Через несколько дней появилось сообщение ТАСС (для заграницы, т. е. по телетайпам), в котором я обвинялся в заведомой клевете и делалась попытка в ложном свете представить мою позицию. Автором сообщения был все тот же Ю. Корнилов (один из «зачинщиков» антисахаровской кампании 1973 года). 28 января (дата по памяти) было опубликовано официальное заявление Госдепартамента США, в котором выражалось беспокойство по поводу угроз академику Сахарову.

На другой день, когда Картер улетал по какому-то срочному делу из Вашингтона, его «поймали» журналисты и задали вопрос, как он относится к этому заявлению Госдепартамента. Стоя уже одной ногой на ступеньке готового взлететь вертолета (так это интервью описывалось в какой-то корреспонденции), Картер ответил (текст также по памяти):

«Я озабочен преследованиями академика Сахарова. Но считаю, что Госдепартамент не должен делать подобных заявлений без согласования их с канцелярией президента».

Это брошенное почти вскользь замечание президента имело большие последствия. И в СССР, и даже в западных странах в нем увидели дезавуирование заявления Госдепартамента. Одна из английских газет опубликовала сообщение под набранным крупным шрифтом заголовком: «Картер накормил Сахарова земляными орешками». Форма этого заголовка — намек на то, что Картер — хозяин фермы по выращиванию арахиса.

Возможно, Картер не имел в виду ничего другого, кроме формальной необходимости согласования заявлений Госдепартамента с президентом, но напрасно он «выяснял отношения» публично.

(Отвлекаясь на минуту в сторону, позволю себе сделать такое замечание. Слушая по радио, как западные

политические деятели «подковыривают» друг друга, выносят, говоря словами поговорки, «сор из избы» или — еще хуже — избирают свою позицию по вопросам, имеющим международное значение, в угоду соображениям внутривластной борьбы, иногда внутрипартийной (для нас это все равно), мы часто приходим в ужас, в лучшем случае испытываем недоумение: неужели они не понимают, что каждое такое проявление разногласий, непоследовательности, наивности или цинизма не проходит незамеченным по другую сторону разделяющей мир линии, тщательно анализируется и используется? Ситуация в мире очень сложна, и Запад, его политики не могут позволить себе роскошь действовать так, будто бы ничего, кроме Запада, на планете и не существует. Быть может, эти мои замечания выходят несколько за рамки вызвавшего их конкретного повода, но я считаю необходимым — тут или в другом месте — их сделать.)

Советские власти четко реагируют на любую «слабину». Можно предполагать, что и в данном случае они ее заметили. Непоследовательностью Картера, как я думаю, в глазах советских властей объяснялся и такой факт: во время предвыборной кампании после обыска у Владимира Слепака, активиста еврейского движения за эмиграцию и члена Московской Хельсинкской группы, Картер послал ему телеграмму с выражением солидарности, но после того как он стал президен-

том, а у Слепака вновь был обыск, сопровождавшийся допросом и угрозами, никакой реакции на новое нарушение не было. Вероятно, решения об арестах Гинзбурга и Орлова были приняты много раньше реплики Картера, так же как и решения о тех акциях против моей семьи, о которых я рассказываю ниже. Но какая-то связь с их осуществлением именно в начале февраля (после реплики Картера) не исключена. (Что касается акций против меня, то несомненна связь между моим заявлением о взрыве в метро и вызовом к Гусеву.) Возможно, советники Картера обратили его внимание на возникшую накладку или он ее сам заметил. Во всяком случае, мне кажется неслучайным, что именно в эти дни Картер обратился ко мне с личным письмом. Это совершенно беспрецедентное и очень важное действие, которое могло бы иметь еще большее значение, если бы было дополнено рядом других шагов и при большей общей последовательности правозащитной политики. Текст письма президента США (переданный мне в консульстве США по его поручению) приведен в дополнении 3². Мои вышеприведенные комментарии могут показаться недостаточно позитивными. Но в действительности, как я уже сказал, я испытываю симпатию к Джимми Картеру и его политике прав человека. Иногда, может слишком часто, его преследовали неудачи — что ж, это судьба. Но, каковы будут отдаленные последствия его деятельности, мы не знаем и, вероятно,

при нашем неполном понимании исторических закономерностей не узнаем. Кое-что, в том числе принципы защиты прав человека, останется. Что касается отношения Картера лично ко мне, то, мне кажется, оно искреннее, а не просто политическое.

Среди дел, о которых я писал Картеру, был вопрос о направлении Сергея Ковалева из лагеря в ленинградскую больницу имени доктора Гааза для операции³. Я уже давно предпринимал большие усилия в этом деле, дважды (летом 1976 года) писал Щелокову (министру ВД). В феврале, наконец, Ковалева отправили в Ленинград и сделали ему операцию. Может, мое обращение к Картеру сыграло тут какую-то роль?..

Письмо Картера ко мне было отправлено 5 февраля. 3 февраля произошло событие, ознаменовавшее собой начало волны арестов членов Хельсинкской группы, — арест Александра Гинзбурга. Гинзбург был арестован на улице, когда он вышел позвонить из телефона-автомата (домашний телефон был отключен). Возможно, он был бы арестован почти на месяц раньше, но он жил в это время у нас на улице Чкалова, а потом Люсе удалось устроить его в больницу на обследование. Таким образом, арест был отсрочен. Мы надеялись, что, может, на этот раз «пронесет», как это иногда бывает. Гинзбург был «повторник»: предыдущий арест 1967 года вместе с Галансковым, Лашковой и Добровольским послужил причиной знаменитой подписантской кампа-

нии. Сейчас ему грозил лагерь «особого режима» — так оно и получилось. Судьба Гинзбурга вызвала у нас большое беспокойство. На другой день после ареста, 4 февраля, мы с Люсей поехали к Шафаревичу — я хотел вместе с ним выступить с обращением в защиту Гинзбурга. Составление совместного документа всегда очень трудное, мучительное дело. Несколько часов мы работали вместе. Уже поздно вечером, совершенно обессиленные, мы с Люсей вышли от Игоря Ростиславовича, наспех выпили кофе в близлежащей булочной и, приехав домой, к трем часам ночи составили окончательный вариант обращения. На другой день Шафаревич после некоторых колебаний подписал его.

Через неделю после Гинзбурга был арестован Юрий Федорович Орлов. Орлов — член-корреспондент Армянской Академии наук, ученый с большим именем. Была какая-то надежда, что известность защитит его. Но, решившись на арест, власти в дальнейшем действовали в отношении Орлова особенно жестоко.

В первых числах февраля опасность, неожиданная для нас с Люсей, нависла над Таней. Еще осенью 1974 года Танина свекровь Томар Фейгин, мать Ефрема, попросила Таню помочь ей в ее служебных затруднениях. Томар была начальником цеха, в котором производились препараты медицинской диагностики, чрезвычайно нужные, остродефицитные и уникальные. Томар

очень гордилась своей работой и старалась вовсю ради важного для людей дела. У нее некому было мыть цеховую посуду, под угрозой был выпуск препаратов. Девушки-лаборантки соглашались мыть посуду за дополнительную плату, но она, при жестких финансовых ограничениях и отсутствии финансовой самостоятельности в советских учреждениях, не могла этого им устроить. Все руководители поступают в таких ситуациях одинаково: они берут фиктивных работников. Конечно, за это может иногда последовать ответственность, но все так делают, и обычно на это смотрят сквозь пальцы. (Добавление 1987 г. Я надеюсь, что в результате «перестройки» подобные проблемы будут решаться более прямым способом — без несуществующих работников и формальных нарушений. Финансовая самостоятельность предприятий — важная составная часть программы Горбачева.) Томар попросила Таню согласиться на фиктивное поступление к ней на работу. Таня согласилась; ни она, ни ее муж не сумели противостоять просьбе свекрови и матери, хотя и понимали, что делать этого не следует. Ни Люся, ни я ничего об этой договоренности не знали, пока не «грянул гром». Таня вообще не ходила в цех, причитающуюся ей зарплату получала по доверенности одна из девушек, Томар раздавала деньги девушкам, девушки мыли посуду, и интересы дела торжествовали. Так длилось около года или чуть больше. Однако, как потом выяснилось, КГБ

с самого начала взял это дело на заметку и в нужный для него момент дал ему ход. В декабре 1976 года против Томар Фейгин были выдвинуты обвинения в нарушении финансовой дисциплины, и ее уволили с работы.

29 января 1977 года (через пять дней после моего вызова к Гусеву!) в московской областной газете «Ленинское знамя» появилась заметка под заголовком «Лаборантка-призрак» о Тане и Томар Фейгин. Весь характер этой очень язвительной заметки свидетельствовал, что она основана на материалах, сообщенных автору КГБ (или написана там). Реальное содержание — то, что я рассказал выше, но, кроме того, много подробностей и сведений, которые могли быть известны только КГБ (сообщалось, когда Таня лежала в больнице, что у нее с Ремой есть машина — такое сообщение всегда вызывает много зависти в СССР — и даже что Таня и Ефрем однажды ехали в электричке без билетов — они не успели купить их перед отходом поезда). А еще через несколько дней против Томар было возбуждено уголовное дело; Таню много раз вызывали в качестве свидетельницы, а затем — в качестве подозреваемой, и ей, как и Томар, угрожало уголовное преследование, тюрьма до 7 лет. Все это поначалу пустяковое дело было представлено как хищение государственных средств в особо крупных масштабах. О дальнейшем развитии я расскажу в следующей главе.

3 февраля, в тот же день, когда был арестован Гинзбург, мы узнали, что нам отказано в обмене квартиры.

Дело это было для нас очень важным, и я здесь о нем расскажу подробнее, тем более что в советской практике квартирного обмена есть много своеобразных деталей, выявляющих истинную степень защиты законных интересов рядового гражданина.

Фактически в это время все мы (7 человек, считая Мотю и Аню) жили в двухкомнатной квартире Руфи Григорьевны, а летом — на даче. Квартиру, которую Люся построила для Тани и Ефрема, мы не могли использовать. Квартира была «на отшибе», и оставлять там Таню и Рему с маленькими детьми, об угрозе которым мы не забывали ни на минуту, было слишком страшно. (На самом деле — даже одну Таню: Рема работал за городом и возвращался домой очень поздно.) Жить там постоянно нам с Люсей тоже было очень неудобно — слишком далеко от всех, от иностранных корреспондентов в том числе. Нам было крайне тесно на 35 квадратных метрах: это очень тесно даже по советским нормам, а по западным просто непредставимо. Мы решили обменять две квартиры на одну четырехкомнатную.

Около года или даже более того мы, в особенности Люся, подбирали варианты обмена (пользуясь еженедельным бюллетенем обменных объявлений, где было и наше объявление), смотрели квартиры, в свою очередь к нам приходили смотреть две наши. Наконец, был найден вариант многоступенчатого обмена, удовлетво-

ряющий всем формальным требованиям и интересам всех участвующих в обмене (всего 17 семей). Наши заявления в сопровождении большого числа документов были затем представлены жилищной комиссии при райисполкоме, которая вынесла положительное решение. Обычно такого решения бывает достаточно. В нашем случае оказалось не так. 3 февраля нам было сообщено, что райисполком не утвердил решения жилищной комиссии. Формальная причина — одна из участников обмена, одинокая женщина, проживавшая вместе с тремя другими семьями в 4-комнатной квартире в комнате площадью 16 квадратных метров и, согласно варианту обмена, получающая однокомнатную малогабаритную квартиру в кооперативном доме, не имеет якобы права на расширение жилплощади, т. к. 16 кв. метров превосходят норму жилплощади в Москве, равную 9 кв. метрам. Женщина эта — дочь погибшего на фронте; жилищный кооператив, которому принадлежала квартира, утвердил ее вступление в кооператив. Соответствующая справка была приложена к заявлению. Однако райисполком отменил решение жилищного кооператива как якобы незаконное. Поясню, что жилищный кооператив распоряжается жилплощадью, построенной целиком на деньги вкладчиков. Казалось бы, райисполком вообще не должен иметь отношения к его решениям, но у нас это не так! Все участники обмена были совершенно убиты неудачей, некоторые — еще более, чем

мы. Среди них — молодой отец, недавно овдовевший, с маленькими детьми на руках: при обмене он оказывался рядом со своими родителями. Мы решили подавать в суд. Наняли адвоката, который немедленно нашел, что решение райисполкома противоречит закону и разъяснениям Верховного суда СССР по аналогичным казусам. Адвокат написал заявление в суд, опротестовывающее решение жилищной комиссии (подразумевалось — райисполкома, но подавать в суд на орган власти формально невозможно!). Районный суд отказался принять дело к рассмотрению, никак не аргументируя. Мы подали иск⁴ против решения районного суда в Московский областной суд. В конце февраля все участники обмена пришли на суд. Адвокат чрезвычайно убедительно изложил дело. Но Мособлсуд в своем решении отклонил иск. Когда, уже после суда, одна из женщин, надежды которой избавиться от «коммуналки» рухнули, в отчаянье спросила судью:

— Почему же суд не защищает законные интересы граждан? — судья с достоинством ответила:

— Это в Америке задача суда защищать интересы граждан, а у советского суда другие задачи!

В тот же день появилось заявление ТАСС «О новой провокации академика Сахарова» (только на заграницу). В заявлении в патетических тонах расписывается, как академик Сахаров, вольготно проживая на площади 35 квадратных метров, решил многократно расши-

рить ее и устроил вокруг этой затеи судебную провокацию. Если это еще нуждается в доказательствах, из заявления ясно, что наша жилищная неудача — тоже дело рук КГБ.

Примерно через месяц после ареста Орлова, 15 марта 1977 года, был арестован еще один член Московской Хельсинкской группы Анатолий Щаранский, активист еврейского движения за эмиграцию. Его арест, как это было ясно с самого начала, преследовал цель нанести удар по еврейскому движению и по его связям с общим правозащитным движением. Мы хорошо знали Толю еще до его вхождения в Хельсинкскую группу — он бывал у нас по разным общественным делам. После отъезда в Израиль А. Гольдфарба (более года) он был переводчиком на моих пресс-конференциях. Мы уважали и любили его за ум и внутреннюю честность, активный и дружелюбный характер. Могли ли мы предугадать предстоящую ему судьбу?.. Толя был отказником по «студенческой» секретности (автоматически дававшейся некоторым группам в институте, где он учился). О его судебном деле я рассказываю ниже. За несколько недель до ареста Щаранского в газете «Известия» появилась провокационная статья, вызвавшая очень большой ужас и негодование у многих из нас⁵. Автором ее был некто Липавский, молодой человек, несколько лет назад подавший заявление на выезд в Израиль, полу-

чивший отказ и находившийся с тех пор в тесных отношениях с евреями-отказниками, в том числе со Щаранским, с которым он снимал вместе комнату. Липавский писал, что он отказался от своего прежнего желания эмигрировать. О других же евреях-отказниках — профессоре Лернере, Щаранском и других — он писал в стиле провокации или доноса, основанного на самой наглой лжи, обвиняя их в шпионаже!.. Липавский, конечно, был самый заурядный провокатор. Но над всеми, упомянутыми им, нависла непосредственная угроза ареста. Таня уговаривала Толю Щаранского временно поехать к нам на дачу, отсидеться. Толя согласился, но сначала хотел закончить неотложные общественные дела в Москве. Одно из них было связано с освобождением Штерна (врача-еврея, желавшего эмигрировать и осужденного двумя годами раньше; в свое время, после ареста Штерна, я в числе других выступил в его защиту).

В марте 1977 года под влиянием мировой общественности и протестов в СССР Штерн был освобожден. Толя организовывал пресс-конференцию по этому поводу. 15 марта, когда он вышел из дома позвонить корреспондентам, его арестовали у будки телефона-автомата.

Мы, конечно, не знаем, можно ли было спасти Толю, если бы он сразу принял Танино предложение. Верней всего, это была бы лишь небольшая отсрочка.

Волна арестов членов Хельсинкских групп быстро распространилась на Украину, Грузию, Армению, Прибалтику. Как всегда, очень тяжелы были репрессии на Украине (но и в других республиках немногим лучше) — были арестованы председатель Украинской Хельсинкской группы писатель Микола Руденко, затем члены: Олекса Тихий, Мирослав Маринович, Микола Матусевич. Впоследствии были арестованы многие другие члены Украинской группы; многих, как, например, Лукьяненко и Стуса, арестовали почти сразу после вступления в Группу⁶. Приговоры на Украине и в Прибалтике — всегда по максимуму. Это значит, ранее не судимым — 7 лет заключения и 5 лет ссылки, а «повторникам» — 10 лет заключения и 5 лет ссылки (среди них Тихий, Лукьяненко, Стус, Кандыба, Пяткус, Никлус). Арестованы в последующие годы также Оксана Мешко, жены Руденко и Матусевича. Среди арестованных на Украине и в Прибалтике я лично знал Руденко (Украина), Кандыбу (Украина, беглое знакомство), Пяткуса (Литва), Марта Никлуса (Эстония) — ученого-орнитолога; он не член Хельсинкской группы.

Расскажу кратко о Миколе Руденко. С Руденко я познакомился еще до организации Хельсинкской группы. Он принес мне для ознакомления рукопись своей брошюры-памфлета «Прощай, Маркс» и рассказал кое-что о своей жизни. Незадолго перед войной Руденко был призван в армию и направлен служить в полк личной

охраны Сталина. Когда началась война, он подал заявление с просьбой направить его на фронт. На это посмотрели косо, но просьбу удовлетворили. На фронте Руденко вступил в партию. Он вернулся с войны с тяжелым повреждением позвоночника, инвалидом 2-й группы. Болезнь позвоночника приносит ему непрерывные мучения и заставляла его (до ареста) вести специальный, приспособленный к ней образ жизни (что он переносит в зоне — страшно подумать!). Руденко стал писателем, был принят в Союз писателей Украины, написал несколько книг. За два или три года до нашей встречи он опубликовал научно-фантастическую повесть, где рассказывает о посещении Земли (несколько тысяч лет назад) инопланетянами, которые оставили землянам под видом религиозных заповедей и мифов некие «зашифрованные» принципы, следование которым должно сохранить человечество и его культуру, почву и вообще жизнь на Земле. В том сочинении, которое он принес мне, содержатся те же мысли, но уже не как фантастика, а в широком контексте общественно-политических и философских рассуждений. Руденко критикует марксизм с позиций физиократов. Первый его памфлет называется «Прощай, Маркс», а продолжение, которого я не смог прочитать, — «Здравствуй, Кене». Главное для Руденко — проповедуемая им идеология единства земных и космических процессов. С этой точки зрения он интерпретирует политэконо-

мию, философию, историю, религию, проблемы сохранения среды обитания и в особенности — плодородия почвы, воды, лесов. Я далеко не во всем с ним согласен (скорей — наоборот), но читать его интересно, и, уж конечно, это не антисоветская клеветническая литература, как его обвиняют. КГБ приложил много усилий, чтобы в лагере сломить и запугать Руденко. Одним из методов было «подбрасывание» ему ложных сведений о том, что якобы жена ему изменяет. Теперь сама Рая Руденко в лагере, так что, вероятно, применяются какие-то другие методы. (Добавление 1988 г. В 1987 или в 1988 году — не помню — Микола и Рая Руденко освободились и выехали за рубеж.)

Алексей (Олекса) Тихий, арестованный почти одновременно с Руденко, в прошлом учитель физики⁷. Его первое дело — один из многих примеров использования органами власти таких провокационных методов, как вскрытие личных писем и подслушивание. (Я читал, что в США обнаружение таких нарушений иногда приводит к оправданию обвиняемого.) На почте якобы случайно прочли письмо Тихого, в котором он неодобрительно отзывался о Н. С. Хрущеве (тогда его действия не нравились многим). Тихого осудили на 7 лет заключения. При новом аресте (после вступления в Хельсинкскую группу) Тихий был уже «рецидивист», по второй части статьи 70 (кажется, 62-я на Украине) осужден на 10 лет заключения в лагере особого

(!) режима и 5 лет ссылки. Никакого значения не имело, что Хрущев давно уже разжалован из непогрешимых вождей и имя его — вместе со всем значительным и хорошим, что он сделал, и вместе с его так называемыми волонтаристскими ошибками (действительно, лучше бы их не было) — предано официальному забвению, а народ его поругивает, когда хочет отвести душу самым безопасным способом⁸. Репрессивная машина работает автоматически: рецидивистам — на всю катушку. Недавно председатель Верховного суда А. Орлов⁹, отвечая в газете на письма граждан, вновь подтвердил этот принцип и даже охарактеризовал его как «справедливый», потому что люди, совершающие преступление повторно, особенно опасны для общества. Я пишу в главе «Письма и посетители», к каким ужасным последствиям приводит иногда механическое применение этой идеи государственной справедливости в обычных уголовных делах. Но что же сказать о политических делах, о репрессиях против узников совести, преследуемых за убеждения и действия, не связанные с насилием? Здесь *всегда* совершается несправедливость, и при этом очень жестокая. Общеизвестен юридический принцип, что за одно действие нельзя наказывать дважды. А за одно убеждение, которому человек не изменил потому, что иначе он перестал бы уважать себя? Судить за убеждения вообще противоправно (и даже судьи, выносящие такие приговоры,

придумывают себе оправдание, что судят якобы за действия — «распространение клеветнических измышлений» или еще что-либо в этом духе; невысказанное убеждение не есть уже убеждение, и в глубине души все это понимают). Вдвойне, нет — стократно, противоправны те жесточайшие приговоры, которые выносятся «рецидивистам» — узникам совести. Тихий умер в лагере.

Инаугурационное заявление Картера о защите прав человека во всем мире вызвало большое раздражение в высших кругах власти в СССР. Однако непоследовательность дальнейших действий и заявлений президента дала им надежду (вероятно, ложную), что Картером можно в какой-то мере «управлять». При такой позиции сторон весной 1977 года в Москву приехал государственный секретарь Вэнс с разнообразными и далеко идущими предложениями США по вопросам разоружения. Естественно, переговоры кончились ничем. Вэнсу попросту указали на дверь. Вскоре по советскому телевидению выступил министр иностранных дел СССР А. Громыко. Основная идея его выступления была в том, что СССР сам давно сделал все возможные предложения по вопросам разоружения, а теперь дело за западными державами — они должны откликнуться на наши предложения, а не выдвигать контрпредложений с целью достичь одностороннего военного превосходства (обычный аргумент советской пропаганды).

Моральная победа в этом инциденте Вэнс — Громыко была на стороне США, но жаль, что конкретных результатов в отношении разоружения не было достигнуто. Быть может, сыграли свою роль и колебания Картера в вопросе прав человека. Эти неудачи наложили печать на многие последующие события.

ГЛАВА 42

1977 год (продолжение). Мотя и Аня.
Вторая поездка Люси. Отъезд детей и внуков.
Сахаровские слушания.
Против смертной казни. Ядерная энергетика.
Амнистия в Индонезии и Югославии.
Приглашение АФТ—КПП. Алеша и его дела.
Поездка в Мордовию

Осенью 1976 года Люся отпустила Таню и Рему с Мотей на несколько недель отдохнуть на юг. Аня осталась с нами на даче, на наше попечение. Ей в это время как раз исполнился год. Часто, когда я работал за столиком под деревьями в саду, коляска со спящей Аней стояла рядом, а если она шевелилась, я слегка покачивал коляску и Аня вновь успокаивалась. Мы очень друг к другу привязались. За тот год, который нам оставалось жить рядом, наша дружба все усиливалась. Анечка относилась ко мне с трогательным доверием, чуть ли не с большим, чем к родителям. Я полушутя говорил, что Аня — главная женщина в моей жизни.

Однажды Таня с Ремой и Аней провожали нас с Люсей на электричку. Анечка была в сумке-каталке, прочно запакованная, чтобы ненароком не выпала. Таня

и Рема поставили эту сумку немного в сторону и стали прощаться с нами. Через минуту электропоезд отходил. Вдруг раздался жалобный, исполненный непередаваемого ужаса голос Ани:

— Анечку мазмите (возьмите)!

Очевидно, она решила, что сейчас все уедут, а ее забыли. Действительно, было тут отчего испугаться!

В конце апреля 1977 года мы с Люсей, в свою очередь, поехали на юг, взяв с собой Мотю. Три с половиной недели мы прожили в Сочи, в той же самой гостинице «Приморская», где за три года до этого жили вместе с Таней.

По утрам Мотя залезал ко мне в кровать, и мы беседовали и играли — часто, по Мотиной просьбе, в инсценировку сказок Киплинга: в кошку, которая гуляет сама по себе, в любопытного слоненка, в Рикки-Тикки-Тави. Моте много лучше, чем мне, удавались перевоплощения, например в свертывающегося броненосца...

Люся с Мотей после завтрака спускались к морю. Люся купалась и загорала, Мотя играл с камешками. Я оставался в номере, работал (мне был труден обратный подъем). Вечером мы шли в парк, где для Моти было множество соблазнительных аттракционов, или в кино на открытом воздухе. Мотя во время сеанса или спал у нас на руках, или принимался бродить между рядами — его приходилось ловить. В эти дни мы с Люсей посмотрели (без Моти, по очереди) фильм Михаила Ром-

ма «Обыкновенный фашизм». В Москве он уже давно не демонстрируется, а в Сочи несколько дней шел в одном из кинотеатров. Люся видела фильм и раньше, я же — в первый раз. Впечатление было сильнейшее. Отвратительные, жалкие и страшные фигуры Гитлера и его «партайгеноссен», ядовитая человеконенавистническая демагогия, которая так непостижимо легко отравила миллионы немцев. Горы трупов — война, атаки, бомбардировки, Освенцим, Бабий Яр, портреты погибших в лагерях, которые один за другим появляются на экране, с внезапно умолкнувшей музыкой (были случаи, когда сидящие в зале узнавали своих мужей и жен, детей или родителей). Фиглярство Гитлера в Компьенском лесу. Парад гитлерюгенд: глаза мальчиков, влюбленно устремленные на фюрера — уже живого мертвеца, — многие из них тоже умрут через несколько дней или часов. Имперская канцелярия, обожженные трупы. Все эти кадры стоят перед глазами, создавая давящее ощущение жестокого кошмара, безумия. И одновременно встают в воображении другие картины — Колымы, Воркуты, Норильска. Заключенные эшелоны с умирающими от голода и жажды депортированными... Уже в Горьком я прочитал интересную советскую книгу о Гитлере «Преступник номер 1», вновь поразившую ничтожеством и чудовищной опасностью фашизма и множеством параллелей с тем, что происходило у нас¹. В Горьком же мне удалось также прочитать записки Евгения Алексан-

дровича Гнедина о предыстории советско-германского пакта. Гнедин, приводя многие опубликованные на Западе документы и дополняя их своими воспоминаниями, убедительно показывает, что советско-германский пакт 1939 года, его секретные статьи, сближение вплоть до переговоров о присоединении к оси — все это не просто необходимый маневр, единственный выход из положения, сложившегося для СССР в результате Мюнхенского «умиротворения» агрессора, а поворот, давно желаемый Сталиным — Молотовым, соответствующий их глубинной ориентации и подготовленный множеством их многолетних действий, в том числе тайными дипломатическими акциями в обход Министерства иностранных дел. Сталинский террор — это одна из очень важных составляющих того комплекса причин, который привел к советско-германскому сближению, а более широко — ко второй мировой войне. Обо всем этом очень стоит еще раз задуматься и сегодня, спустя несколько десятилетий, задуматься и в СССР, где еще жива тень Сталина, и на Западе.

Но продолжаю о жизни в Сочи. Как-то по телевизору мы при Моте слушали, как Межиров читает свои знаменитые стихи о коммунистах:

Полк
Шинели
На проволоку побросал...

С поразительной детской чуткостью Мотя, видимо, уловил что-то не совсем обычное в нашей реакции. Через день или два мы услышали, как он выжидающе, незаметно посматривая на нас, прыгает по тротуару и декламирует:

Коммунисты, вперед!
Коммунисты, вперед!

как бы призывая нас устремиться вслед за ним. Были и разные другие интересные истории в общении с трехполовинойлетним человеком, были и недоразумения. В целом за время жизни втроем наша дружба с Мотей сильно окрепла. Из Сочи я пытался по телефону передать иностранным корреспондентам обращение в защиту Мальвы, которой вскоре предстоял суд; кажется, из этого мало что получилось.

21 мая мы торжественно отметили мой день рождения. Пообедали в ресторане на пристани, чокнулись пепси-колой (Моте очень нравился этот шипучий напиток, нам тоже; его только что начали производить в южных городах в качестве одного из результатов разрядки).

Вернувшись в номер, мы легли отдохнуть. Нас разбудил телефонный звонок. Звонили Вера Федоровна Ливчак (доктор, друг нашей семьи, о ней я уже писал) и Сара Юльевна Твердохлебова (мать Андрея). Танино

судебное дело за время нашего отсутствия получило новое развитие. Ее из свидетелей перевели в обвиняемые. Следователь должен был в ближайшие дни описать ее машину (единственное имеющееся у нее имущество). Мы тут же поехали на аэродром, обменяли на ближайший рейс купленный заранее, на следующую неделю, билет и к 9 часам вечера уже были на Чкалова.

Через несколько дней я с Таней и Ремой на академической машине поехал на дачу, где стояла Танина машина. Туда же из Красногорска приехал следователь. Скучная, формальная процедура описи, сличения номеров почему-то затянулась. Я, не дождавись ее конца, ушел. Люся потом сильно на меня за это обиделась; она, конечно, была права — мне не следовало оставлять ребят в этой ситуации противостояния.

* * *

Еще ранней весной 1977 года стало ясно, что Люсе вновь необходима глазная операция, на этот раз на правом глазу. В апреле она вновь подала заявление на поездку в Италию. Получила же она разрешение на поездку в августе, одновременно с Таней и Ефремом, независимо... Ефрем и Таня подали свое заявление в июле. Они решились на этот шаг под давлением многих причин, нараставших все последние годы, и понимания, что КГБ будет применять все новые и новые формы давления на них как заложников моей общест-

венной деятельности. В 1977 году к прежним прибавилась новая, прямая угроза уголовного преследования Тани и Томар (и то, и другое было непереносимо для Ремы). Самому Реме угрожал арест по политическим статьям (его вызывали в прокуратуру с самыми определенными угрозами). Одновременно вокруг него стали плестись туманные, но опасные обвинения уголовного характера: какая-то якобы скрытая им автомобильная авария, спекуляция книгами — все, конечно, на пустом месте. И ни ребята, ни мы ни на минуту не могли забыть об угрозах внукам, о загадочной и ужасной Мотенькиной болезни в 1975 году. Безвыходность положения была, по-видимому, в глубине сознания ясна нам и тогда. Я вновь вспоминаю о своем разговоре об этом с Ефремом во дворе Русаковской больницы, когда мы узнали, что непосредственная опасность миновала. Но трудное, трагическое решение все откладывалось. Одной из причин было чувство Ремы, что здесь, помогая Ковалеву и его друзьям, его делу, он нужней и полезней. И, конечно, очень трудно было решиться на это по личным, человеческим причинам — ведь такой отъезд означал разлуку, разрыв семьи по самому живому месту. Вдобавок мы понимали, как трудно будет со связью. Сейчас, когда с отъезда детей прошло уже почти четыре года (я пишу это в июне 1981 года), я чувствую, что мы все же, может быть, не до конца понимали — как будет трудно им и нам. Я дальше расскажу о жизни детей

в США — трудной, напряженной, временами — непереносимо беспокойной и мучительной. Насколько трагической эта разлука окажется для Люси — этого не могли предугадать ни я, ни даже она.

Дело Томар и Тани явилось последним толчком, но несомненно, что, если бы его не было, ГБ придумало бы что-нибудь иное. С другой стороны, было ясно, что ГБ очень хочет отъезда Тани, Ефрема, Томар, потом Алеши. (В чем была тут главная цель КГБ — полностью непонятно мне до сих пор.) Ефрем заявил в ОВИРе, что не поедет без матери и пока теща не получит разрешения. Ему сказали — пусть мать приезжает, подает заявление. Он съездил за ней. Анкеты Томар заполнила тут же в ОВИРе, на краю стола, и через очень короткое время она, вместе с дедушкой Шмуулом и бабушкой Розой, получила разрешение. Брат Ремы Борис с женой еще до этого получили разрешение независимо, тоже очень быстро. Все они, включая Таню и Рему, выезжали по вызову из Израиля. Таня и Рема при этом поехали через Италию в США, в Бостон, где, как мы предполагали, им была обеспечена работа и учеба (это оказалось не совсем так). Вызовы были вполне реальные, от подлинных родственников — у Ремы было много родственников в Израиле. Дед Ефрема, Шмуул Фейгин, был в 20-е годы одним из пионеров движения за выезд в Палестину. В 30-е годы был арестован, отсидел. В том, что

последние годы жизни он провел в Израиле, есть своя справедливость. Умер он в 1981 году.

Люся, Таня и Рема с Мотей и Аней улетели вместе 5 сентября самолетом «Ал-Италия», прямо без пересадки доставившим их в Рим. Томар с бабушкой и дедушкой в тот же день утром вылетели в Вену, а оттуда в Израиль. До этого на даче были проводы, 1 сентября, в день рождения Ани; приехало больше 100 человек (говорят, в кустах пряталось много гебистов; мы их не видели — не до этого было). Много провожающих было также на аэродроме в Шереметьеве. Одним из них был Виталий Рекубратский, муж моей двоюродной сестры Маши. Это он помог устроиться на работу на Опытную рыбозаводскую станцию Сереже и Реме. Виталий принес на аэродром и отдал мне и Руфи Григорьевне письмо Короленко моему деду, найденное в бумагах тети Тани после ее смерти. Мы не знали, что это был прощальный подарок. Через две недели Виталий покончил жизнь самоубийством. 19 сентября, за несколько часов до гибели, я видел его последний раз на дне рождения Софьи Васильевны Каллистратовой; я пишу о ней в следующих главах. После Виталия остались два сына, Ваня и Сережа, мои племянники. Ваня назван, конечно, в честь деда Ивана Сахарова, а младший Сережа — в честь Сергея Ковалева, он родился через месяц после суда в Вильнюсе.

В Италии профессор Фреззотти сделал Люсе операцию. Она прошла не так удачно, как произведенная им

же за два года перед этим, сопровождалась кровоизлиянием (по-видимому, так как глаз был в худшем состоянии). Люся вернулась в Москву 20 ноября, а Таня и Рема вылетели в США 8 декабря. В Италии они жили большую часть времени во Флоренции, в православной церкви. Мотя и Аня успели выучить несколько итальянских слов — потом они их, вероятно, так же легко забыли. Мотя с интересом наблюдал за крещением и другими церковными службами. Священники приезжали откуда-то издалека. Мотя как-то узнал об их приезде первым и прибежал с криком:

— Святые отцы приехали!

Рема в Италии занимался окончательной подготовкой к печати книги «Год общественной деятельности Андрея Сахарова». Он работал над ней около года еще до отъезда. На обложке книги изображены я с Анечкой на руках — она вполне уверенно и доверчиво прижалась ко мне (Рема сделал этот прекрасный снимок незадолго до отъезда), и составитель Рема вместе с его другом Володей Рубцовым, которому тогда сильно угрожали. В сборнике много очень квалифицированных, необходимых комментариев, составленных Ремой. Книга привлекла определенное внимание, издана на нескольких языках². Комментатор «Голоса Америки» Зора Сафир сказала, что полные тексты документов Сахарова гораздо более содержательны и производят большее впечатление, чем те краткие их

изложения, которые обычно попадают на Запад через инкоров.

Было у Ремы и еще одно очень важное и трудоемкое дело — участие в подготовке вторых Сахаровских слушаний, которые состоялись в Риме в конце ноября, уже после отъезда Люси.

Первые Сахаровские слушания состоялись в Копенгагене еще в 1975 году, вскоре после того, как было объявлено о присуждении мне Нобелевской премии Мира. Их организовал специально для этого созданный Комитет; цель Слушаний состоит в том, чтобы заслушать сообщения о положении с правами человека в СССР (на следующих Слушаниях — и в других странах Восточной Европы) и принять обоснованное резюме для информирования широкой общественности, привлечения общественного внимания во всем мире. Организаторы Слушаний обратились ко мне с просьбой разрешить использовать мое имя; я согласился, считая, что это начинание может быть важным и полезным. Конечно, проведение Слушаний требует огромной подготовительной работы, с тем чтобы представленные сообщения были важными и точными, с исключением всего непроверенного, недостоверного, ложносенсационного. Четкий ум, широкая информированность и органическая, абсолютная добросовестность Ремы незаменимы для такого дела. И действительно, в том, как прошли Слушания в Риме (а потом — в Вашингтоне), большая его заслуга.

В сентябре или октябре в Москву приехал один из сотрудников Комитета Слушаний Сережа Рапетти. Он пришел ко мне и передал просьбу записать на пленку мое вступительное выступление на Слушаниях. К счастью, я уже имел подготовленный текст. Рапетти увез запись с собой. На аэродроме его подвергли обыску (несомненно, это результат прослушивания в нашей квартире), однако ничего не нашли.

Сережа очень хорошо знает русский язык, его мать — русская, и гебистам это, конечно, известно. Когда он шел к самолету, шедший рядом гебист произнес:

— Следующий раз приедешь — уьем.

Осенью 1977 года, во время пребывания Люси в Италии, у меня было несколько общественных выступлений. Одно из них — обращение к Белградской конференции по проверке выполнений Хельсинкских соглашений. (Хельсинкская группа в сентябре, уже после отъезда Люси, выступила с обращением к Белградской конференции, но оно мне чем-то не понравилось, и я написал отдельное письмо.) В этом документе я подчеркнул принципиальное значение официального признания в Хельсинкском Акте связи международной безопасности и гражданских прав человека и охарактеризовал те нарушения этих прав, которые имеют место в СССР вопреки Хельсинкским соглашениям. В числе других я назвал нарушения свободы обмена информацией, в частности между гражданами различ-

ных государств, и нарушения свободы выбора страны проживания. В особенности я подчеркнул недопустимость репрессий против членов Хельсинкских групп, назвав их вызовом, брошенным другим странам — участникам Хельсинкского Акта. Я перечислил поименно всех арестованных участников Хельсинкских групп и призвал правительства западных стран — участников Акта и их представителей на Белградской конференции *потребовать немедленного освобождения арестованных участников Хельсинкских групп в качестве предварительного условия переговоров в Белграде по всем остальным вопросам.*

Свое обращение я передал, как всегда, иностранным корреспондентам для опубликования, но еще до этого, учитывая важность документа, в течение трех дней посетил консульства ряда западных стран (кажется, 12 стран) и вручил тексты обращения консулам для передачи правительствам их стран и представителям на конференции. Я договаривался о встречах по телефону; каждый раз просил, чтобы меня встретил на улице сотрудник консульства (иначе меня, конечно бы, не пропустили). Объезжал я консульства на академической машине. КГБ никак не препятствовал мне физически. Раза три гебисты демонстративно фотографировали меня около посольства. В эти же дни была повреждена наша личная машина «Жигули». Ночью машина стояла около дома одного нашего друга. Утром

он обнаружил, что в замки двери и багажника залита эпоксидная смола; она еще не успела загустеть, и ему удалось открыть дверь и доехать до нас. Пока он рассказывал Руфи Григорьевне и мне о происшествии, была произведена еще одна поломка — каким-то острым предметом в нескольких местах был через переднюю решетку проколот радиатор, и вся охлаждающая жидкость вылилась на землю. Нам пришлось менять радиатор и замки (в которых, кроме полностью застывшей эпоксидной смолы, оказались еще куски проволоки). Несомненно, эти поломки — способ КГБ выразить свое недовольство моим Обращением и посещениями консульств. Западные правительства, к сожалению, не решились последовать моему призыву и потребовать освобождения Орлова и его товарищей в качестве условия открытия Конференции.

Два других моих документа, написанные и опубликованные тогда же, касались проблемы смертной казни и проблемы ядерной энергетики.

Письмо о смертной казни я написал, получив от Эмнести Интернейшнл предложение выступить на симпозиуме по этой проблеме, который предполагался в Стокгольме; оно было адресовано Организационному комитету симпозиума. Я уже писал, что еще в отрочестве я с волнением читал материалы сборника «Против смертной казни», в составлении которого принимал участие мой дед Иван Николаевич Сахаров.

В 1962 году я написал письмо в редакцию газеты «Неделя», поводом к которому послужило сообщение о смертном приговоре старику-фальшивомонетчику, по-видимому душевнобольному. В 1972 году я был автором и (вместе с Люсей) участником сбора подписей под Обращением об отмене смертной казни, адресованным правительству СССР в связи с 50-летием СССР. Я полностью разделяю принципиальную позицию Эмнести Интернейшнл, выступающей за отмену смертной казни и запрещение пыток во всем мире. В своем письме Организационному комитету симпозиума я выразил свою точку зрения так, как она сложилась у меня к этому времени³. В 1979 году я обратился к Брежневу с просьбой приостановить исполнение смертного приговора трем армянам, осужденным по обвинению в совершении взрыва в московском метро, так как их вина, по моему мнению и по имеющейся у меня информации, не была доказана в открытом судебном разбирательстве, в условиях, исключающих судебную ошибку, фальсификацию и судебный произвол. (Подробнее я об этом рассказываю в одной из последующих глав.)

В современном мире огромное значение имеет проблема ядерной энергетики. Свою статью на эту тему я написал по просьбе Франтишека Яноуха, чешского физика, живущего и работающего в Швеции. В пользу быстрого развития ядерной энергетики (конечно, при

должном внимании к радиационной безопасности) — экономические и технические соображения, относительная экологическая безвредность (например, при сравнении с углем) и политические соображения — необходимость странам Запада иметь экономическую независимость от стран — производителей нефти и газа, в том числе от СССР. Статья была напечатана в нескольких странах⁴. Отчасти продолжением этой же дискуссии явился обмен письмами с Генрихом Бёллем во время его приезда в СССР в 1979 году⁵. Я получил через Льва Копелева письмо Бёлля и ответил ему в письменной форме (так у меня лучше получается). Предполагалось, что Бёлль с Аннемарией приедут к нам, но в последний момент его планы изменились, и мы встречались на квартире у Копелевых, срочно выехав туда на такси. Люся прихватила с собой заготовленную ею еду. У Копелевых был также в гостях Фазиль Искандер, рассказавший за столом несколько забавных эпизодов из своего детства, которые вполне могли бы украсить книгу о Сандро из Чегема. Наш разговор с Бёллем, полуписьменный, полуустный, был продолжением той откровенной и содержательной беседы, которая состоялась у нас за четыре года до этого и, я надеюсь, еще получит свое дальнейшее развитие (*написано еще при жизни Бёлля*).

Среди других общественных дел этих дней — письмо директору Федерации американских ученых (ФАС)

Джереми Стоуну с просьбой организовать кампанию в защиту отказников д-ров Меймана и Гольфанда. Мне были хорошо знакомы работы, которые в первой половине 50-х годов выполнили Мейман и Гольфанд, и степень их допуска к секретной информации. Ни один из них не был знаком с реальными конструкциями — они проводили расчеты в идеализированных, модельных предположениях методами, которые сейчас уже не представляют практического интереса. Оба никогда не были на объекте. Поэтому я с полным основанием мог утверждать в своем письме, что в настоящее время не может быть никаких причин для отказа им в выезде из СССР. Я хорошо знал адресата письма — д-ра Дж. Стоуна. В 1975 году он вместе с женой посетил меня на даче. Люся была тогда в Италии. Мы имели содержательный, запомнившийся разговор. И я, и присутствовавшие при этой встрече Руфь Григорьевна, Таня и Ефрем вынесли из нее чувство симпатии к нашим гостям.

Незадолго до отъезда в Москву Люся дала американским корреспондентам важное интервью — о защите прав человека, ее значении и перспективах. Она рассказала о трудностях борьбы за права человека в нашей стране, об огромных жертвах. Люся подчеркнула при этом, что принципиальное, непреходящее значение имеет самый факт того, что нарушения прав человека в нашей стране стали известны людям во всем мире и что этого уже не в состоянии изменить никакие аресты, ни-

какие репрессии. Арифметика тут ни при чем — больше или меньше сейчас правозащитников. В этом же интервью Люся впервые употребила выражение «международная идеология защиты прав человека» — единственная, способная объединить людей разных политических взглядов, национальностей, религиозных убеждений, образования, социального положения. Это емкое выражение и другие мысли Люсиного интервью получили потом отражение во многих моих выступлениях.

Сообщение о Люсином интервью мы слушали с ней вместе уже в Москве. Изложение было достаточно точным и подробным. Но диктор неожиданно для нас закончил такой фразой:

«Присутствовавший при интервью Елены Боннэр корреспондент (кто — неизвестно; во время интервью он не назвал себя) вынес впечатление, что она хочет уехать из СССР».

Эта сентенция никак не вязалась с общим содержанием и духом интервью. Обвинить кого-либо (неизвестно кого) в намеренном искажении трудно: каждый волен иметь любое впечатление. Но психологически заключительная фраза, несомненно, принижала Люсино интервью. Каким образом эта фраза попала на радио, выяснить в этом случае (как и во многих аналогичных) не удалось.

Как я уже писал, Люся приехала 20 ноября. Через несколько дней мы, прильнув к приемнику, слушали передачи, оценивали результаты Слушаний и в том числе Реминой работы, оставшись ими в общем довольными.

В 1977 году в ряде стран прошла политическая амнистия. В СССР тоже имела место амнистия к 60-летию Октябрьской революции, но, как всегда, из нее были исключены все политические статьи (в том числе ст. 70, 190¹, 142, 227 УК РСФСР; по двум последним статьям преследуются многие верующие и религиозные деятели). По-видимому, исключение политических статей из амнистии носит принципиальный, идеологический характер: формально признавая принципы Всеобщей декларации прав человека, утверждающие свободу убеждений и информационного обмена, государство, защищая партийно-государственную монополию во всех областях жизни, включая идеологию, не допускает свободы информационного обмена. В конечном итоге это — угроза международной безопасности. Кроме исключения политических статей, в Указе об амнистии к 60-летию Октября содержалось много других оговорок и исключений, еще больше сужавших его значение. Важнейшая из этих оговорок давала администрации мест заключения право по ее усмотрению не применять амнистию к любому заключенному, формально подпадающему под нее, если администрация недовольна его поведением. Ясно, что это условие откры-

вает огромные возможности для несправедливости, сведения счетов, мести за отказ доносить и т. п.

Указанные особенности свойственны также Указам об амнистии в 1967, 1972 и 1982 годов, вероятно и другим.

Огорчаясь отсутствием политической амнистии в СССР, где в заключении остались *сотни узников совести*, мы вместе с тем горячо радовались амнистии в других странах, рассматривая ее как результат международной борьбы за права человека, нашей — в том числе. В частности, амнистия прошла в Индонезии (было освобождено очень много людей, но, к сожалению, также много осталось в заключении), в Югославии и, если мне не изменяет память, в Польше. Мы с Люсей решили написать открытую телеграмму президенту Югославии Иосипу Броз Тито, выразить свою радость по поводу амнистии. Люся лично знала Тито в детстве — он жил в том же «коминтерновском» доме на улице Горького⁶, что и она с родителями, и имел очень тесные отношения по Коминтерну с ее отцом Геворком Алихановым. Люся подписала наше письмо двойной фамилией Боннэр-Алиханова (тут была мысль, что фамилию Боннэр Тито, возможно, забыл или даже не знал). Мы отдали письмо для опубликования иностранным корреспондентам, в том числе корреспонденту югославской правительственной газеты «Борба». Никаких дальнейших сведений о судьбе нашего письма у нас нет.

В конце ноября 1977 года из СССР в США выехал для операции и лечения Петр Григорьевич Григоренко, человек удивительной судьбы, сделавший чрезвычайно много для защиты прав человека в СССР и много пострадавший от репрессий властей. За рубежом в это время уже жил сын Петра Григорьевича Андрей. Поездка была разрешена также жене Григоренко Зинаиде Михайловне, матери Андрея, и другому (больному) сыну. Конечно, при этом возникали сильные опасения, что власти не пустят семью Григоренко обратно (я сказал П. Г., что надо либо считаться с этой реальностью, либо ехать ему одному; он ответил, что мать не может отказаться от того, чтобы увидеть сына; это, конечно, было правильно). Григоренки все же надеялись вернуться, но эти надежды не оправдались: в начале 1978 года Петр Григорьевич был лишен гражданства СССР. Я выступил с заявлением, осуждающим это жестокое действие властей.

Незадолго до отъезда Григоренко у меня возник с ним спор. В 1977 году была принята новая Конституция СССР; в связи с этим отпал смысл проводившейся с 1966 года ежегодной «демонстрации молчания» у памятника Пушкину в день принятия Конституции 5 декабря.

Мне казалось, что эта форма общественной активности слишком напоминает партийные демонстрации революционеров. Кроме того, она и меня ставила

в ложное положение чего-то вроде «вождя оппозиции», на что я ни в какой мере не претендовал. В 1976 году гебисты устроили на площади Пушкина свалку, мне на голову высыпали снег с грязью. В дальнейшем можно было опасаться более острых провокаций, все это мне тоже не нравилось. В силу всех этих причин я не видел оснований огорчаться естественному прекращению демонстраций у памятника Пушкину. Но Петр Григорьевич хотел, наоборот, поддержать традицию. Он составил соответствующее обращение; его подписало довольно много его единомышленников. Предлагалось проведение демонстрации 10 декабря, в День прав человека, в годовщину принятия ООН Всеобщей декларации прав человека.

Я не подписал обращения и больше ни разу не ходил на демонстрации, проходившие в 1977, 1978 и 1979 годах без моего участия.

В декабре 1977 года в США проходил ежегодный съезд крупнейшей американской профсоюзной организации АФТ—КПП. Ее тогдашний председатель Джордж Мини послал, в числе прочих, приглашение на съезд нескольким советским инакомыслящим. Одно из приглашений с предложением выступить на съезде было послано мне, но я получил только конверт с символом АФТ—КПП, в который был вложен листок с изображением бронтозавра или какого-то еще вымершего чудовища — я не вполне уверен в своей палеонтологической

квалификации. Это был не первый и не последний случай, когда КГБ подменял содержимое моей корреспонденции; в данном случае это, видимо, был намек на допотопные взгляды американских «реакционеров». Но, как я написал в тексте выступления, посланного мной съезду АФТ—КПП, допотопным чудовищем является советская практика пресечения информационного обмена.

Текст выступления был зачитан на съезде Джорджем Мини. Я сделал также формальную попытку выехать по приглашению. Я послал анкеты в ОВИР и обратился в ФИАН за характеристикой. Через несколько часов мне позвонил начальник отдела ФИАН и сказал, что Президиум АН СССР рассмотрел мою просьбу. Характеристика не может быть выдана, так как я обладаю знанием государственной тайны.

В 1977 году, после отъезда Тани и Ремы, роль заложника, по-видимому, перешла на Алешу (а после его отъезда она перешла на его невесту, а потом жену — Лизу Алексееву). Я уже рассказывал, что после того, как в 1973 году Алешу (с помощью некоей махинации) не приняли в МГУ, он поступил в Педагогический институт. Там он учился легко, был одним из лучших, но полностью его способностям этот институт не соответствовал. Я обратился к ректору МГУ академику Р. В. Хохлову с просьбой содействовать переводу Алешки в МГУ. (До этого Рем Хохлов, сменивший на посту

ректора Ивана Георгиевича Петровского, восстановил Таню на факультете журналистики.) Но тут ничего не получилось. Хохлов сказал мне, что он навел справки: Алеша действительно учится хорошо и, в виде исключения, его можно было бы перевести в МГУ, но препятствие в том, что он не является комсомольцем, и это может рассматриваться как проявление моего влияния (я выше рассказывал историю с «ленинским уроком», так что мое влияние тут ни при чем). Я очень благодарен Хохлову — ныне уже покойному — за откровенное объяснение, избавившее всех нас от бесполезных попыток. Алеша продолжал учиться в Педагогическом институте. Однако окончить его ему не удалось. Осенью 1977 года ему была поставлена неудовлетворительная отметка по военному делу, и он был исключен из института, в нарушение установленного порядка, согласно которому студент, не сдавший военного дела и не получивший зачета по военному сбору, должен либо пересдать через год, либо не получить при окончании института звания лейтенанта и идти в армию рядовым. К окончанию института военное дело не имеет прямого отношения — оно не включено в программу института. Но Алешу именно исключили, и ему предстоял немедленный призыв в армию. Мы решили, что в нашем особом, чрезвычайном случае Алеша ни в коем случае не должен идти в армию, где возможны любые эксцессы и за любые несчастия с солдатом, если это организовано КГБ, никто

не будет отвечать. Достаточно много ужасных историй произошло с баптистами и другими верующими. В смысле безопасности даже лагерь гораздо лучше (хотя и там бывают организованные избиения и т. п.). Мы приняли решение (возможно, предварительное), что Алеша должен отказываться от призыва в армию и идти под суд (практически это означает лагерь на три года). Одновременно мы предприняли усилия для получения вызова из Израиля, с тем чтобы Алеша вместе с женой Олей Левшиной и дочерью Катей (которой, как и Ане, как раз исполнилось два года) мог подать заявление на выезд из СССР. Мы, конечно, не знали, дадут ли им разрешение. Попытка была необходима, иначе — лагерь как альтернатива армии. Вызовы пришли в начале декабря. Но в те же дни разразилась еще одна драма, назревавшая уже давно, но мы ничего об этом не подозревали. Вероятно, 10 декабря, точной даты я не помню, Алеша сказал Люсе, что не любит свою жену Олю и расходится с ней. В тот же день он сказал то же Оле. Возможно, если бы не было проблемы отъезда, Алеша еще держал бы некоторое время в себе свою тайну, но тут все обострилось до крайности, и молчать он уже не мог и не считал себя вправе. Все же заявление об отъезде Алеша и Оля подали вместе. Потом Оля раздумала ехать — Алеша уехал один. При этом Оля просила его не подавать на развод в течение года, и Алеша на это согласился. Это все произошло после того, как появилось но-

вое действующее лицо — Лиза Алексеева, однокурсница Алеши по Педагогическому институту, дружба с которой перешла в любовь. Лиза фактически стала женой Алеши, но она не могла уехать вместе с ним: юридически ведь он был мужем Оли Левшиной, однако все последующие годы Лиза и Алеша стремились к объединению своей семьи. Через некоторое время мы почувствовали, что эта драма используется КГБ — заложником стала Лиза!

15 декабря Люся поехала в Мордовию на очередное свидание с Эдуардом Кузнецовым. Незадолго перед этим она получила от него письмо. У Кузнецова была надежда, что свидание, после долгого перерыва, будет дано. Люся взяла с собой меня. Она рассчитывала, что при моем приезде ей с большей вероятностью дадут свидание. На этот случай она взяла кое-какие продукты. С нами также поехал Алеша в качестве носильщика.

Для Люси это была далеко не первая поездка в Мордовские лагеря: с 1971 года она ездила к Эдику 2—3 раза в год, правда часто безрезультатно. А вообще ее «знакомство» с лагерем восходит еще к 1945 году, когда она ездила к Руфи Григорьевне. Я же раньше наблюдал лагерную жизнь лишь с некоторой дистанции (на объекте), Алеша вообще попал в лагерный мир впервые. Мордовские лагеря (Дубровлаг) — может быть, не лучший, но, несомненно, не худший его представитель: в местах с более тяжелым, холодным и сырым климатом

гораздо хуже, а таких в ГУЛаге большинство. Как уже неоднократно описывалось, все — и зеки, и родные заключенных, приехавшие на свидание, и «начальство» — попадают в Дубровлаг через станцию Потьма. Выйдя из скорого поезда Москва — Ташкент, вы пересаживаетесь в расшатанный и грязноватый вагончик узкоколейной дороги Потьма — Барашево (конечная точка лагерной страны, там расположена лагерная больница).

Очень скоро вы начинаете ощущать, что что-то в вашем мироощущении непонятным образом изменилось. Краски окружающего мира поблекли, вместо ярких тонов в них стали преобладать мутно-серые и коричневые; звуки голосов людей кажутся вам более резкими, злыми — а может, так оно и есть. По обе стороны дороги то и дело — лагеря (лагпункты, или «зоны» на лагерном жаргоне). Они очень похожи на немецкие лагеря времен войны, известные нам по фотографиям тех лет и по кинофильмам: мне вспомнился сейчас жестокий и страстный фильм Вайды «Пейзаж после битвы». Каждый лагпункт — это большой прямоугольник земли, отгороженный высоким сплошным серым забором с колючей проволокой на нависающих внутрь деревянных кронштейнах. По углам — сторожевые вышки, на которых видны фигуры охранников с автоматами. Внутри забора — «запретка» — полоса вспаханной земли и еще один ряд колючей проволоки, и по центру несколько рядов барачков, длинных и приземистых, опять

же серых одноэтажных зданий, обшитых тесом, с подслеповатыми черными окнами. Все освещено ярким безжизненным светом мощных ламп, укрепленных на высоких столбах. Людей почти не видно и не слышно ни ночью, ни даже днем, хотя их присутствие угадывается за стенами бараков. Время от времени слышен хриплый лай собак-овчарок. Тут понимаешь, что ходячая фраза «собака — друг человека» не всегда справедлива; в особенности, если речь идет о человеке в сером ватнике или полосатой одежде заключенного особого режима.

Лагпункт Эдика — «особый режим» — был расположен в поселке Сосновка, примерно в центре Дубровлага. Там же был еще один очень большой чисто уголовный лагпункт и несколько десятков домов, в которых жили работники охраны, начальство и обслуживающий персонал с семьями. Мы остановились в гостинице для приезжающих (вряд ли по западным нормам можно тут употребить это слово). Одновременно это было общежитие для офицеров-надзирателей, в основном бессемейных, живших по нескольку человек в одной комнате постоянно.

Кое-как мы разместились в холодной комнате с неоткрывающимися окнами и сырыми постелями, рядом с общей умывалкой-уборной (ничего похожего на душ, конечно, и в помине не было; правда, был титан с горячей водой для чая). С утра мы с Люсей пошли к начальнику

лагпункта просить о свидании. Но тут нас ждало разочарование. Начальник категорически отказал. Аргумент — мы не являемся лицами, которые могут благоприятно повлиять на заключенного. Одной Люсе свидания тоже не давали. Мы послали телеграмму начальнику Дубровлага в Явас (административный центр лагеря) и начальнику ГУИТУ (Главное управление исправительно-трудовых учреждений — так в наше цивилизованное время называется ГУЛаг), обоим с одной просьбой о предоставлении свидания, а сами стали ждать. Мы надеялись, что начальству наше сидение, о котором, конечно, кругами во все стороны пошли слухи и разговоры, будет неприятно. Так оно и было, но свидания нам не дали. Через 10 дней мы вызвали старого друга Эдика Бэлу Коваль, надеясь, что хоть ей дадут свидание. В то же время сам Кузнецов, узнав о нашем приезде, со своей стороны, требуя свидания, объявил голодовку. Все было безрезультатно. В конце декабря мы, желая как-то разрядить обстановку, уехали в Москву. А через некоторое время и Кузнецов голодовку прекратил.

Во время нашего двухнедельного сидения я и Алеша впервые могли вблизи наблюдать лагерную жизнь. Впечатления были сильными. Самая быстро сменяющаяся часть обитателей нашей гостиницы — родственники заключенных, приехавшие на свидание. Они производили впечатление до предела напуганных людей, смотрящих как на высокое начальство даже на уборщицу, не

говоря уж о тех, кто их направляет на свидание, обыскивает до и после него, может лишить свидания по малейшей прихоти.

Другая часть обитателей, задерживающихся иногда на несколько недель, — командированные, прибывшие большей частью по производственным и хозяйственным вопросам. Лагерь — это поставщик формально дешевой рабочей силы. Заключение работают как на различных предприятиях (в цехах) внутри зоны, так и на других работах, обычно тяжелых, вне лагпункта. Труд их обязательный, т. е. принудительный; невыполнение нормы жестоко карается; условия труда — тяжелые, а часто — очень вредные (в Мордовии такими работами являлись огранка стекла без защиты от осколков и стеклянной пыли, окраска лаками без вентиляции и т. п.). Из разговоров командированных-производственников было ясно, что на самом деле экономическая целесообразность лагерного труда очень сомнительна при всей его бесчеловечности. Квалификация заключенных самая низкая, инициатива в работе практически отсутствует, реальная производительность труда очень низкая. Один командированный, приехавший из Горького, рассказывал, что производительность труда в артели слепых инвалидов (1) в Горьком в несколько раз выше, чем на той же операции в лагере, где 600 заключенных делают ту же работу, что 50—60 инвалидов, причем качество ра-

боты у инвалидов гораздо выше. Старая проблема с рабским трудом!

Алеша добыл у надзирателей несколько хрустальных подвесок для люстр, которые делали в лагере особого режима. Не знаю, сохранились ли они.

Несмотря на все вышесказанное, принудительный труд заключенных — это реальность, которая не уходит из нашей жизни, хотя и не занимает в ней такого места, как во времена рабовладельческой империи ГУЛага. В Явасе мы с Люсей увидели плакат с социалистическим (!) обязательством: в следующей пятилетке увеличить производство товарной продукции на 100%! Так как такого увеличения производительности труда не может быть, ясно, что речь идет просто о запланированном увеличении числа заключенных. Это, на мой взгляд, бесстыдно. Но в Явасе все «свои».

Наконец, постоянно живущая часть обитателей гостиницы — это, как я уже писал, надзиратели, начальники колонн и т. п. (Начальство более крупное живет отдельно.) Мы постоянно встречались с ними в клубной комнате, в умывалке, у титана. Однажды двое из них подошли к нам познакомиться, поговорить (очевидно, из любопытства). Оба они после армии пошли в школу МВД. Теперешняя их работа привлекла их более высокой оплатой, более продолжительным отпуском; легче получить путевку в санаторий МВД и т. п. Оба были «начальниками колонн». И очень разными. Один (назо-

вем его Колей) — более щуплый, нервный. В его рассказах о работе невольно для него проскальзывало некое упоение властью над людьми, почти садизм, во всяком случае злорадие и презрение к находящимся в его подчинении. Он рассказывал, как какой-то старик, по его словам прикидывающийся больным, был послан на самую тяжелую работу — на разгрузку угля на морозе. Он плакал, умолял освободить от работы, упал, заболел; за уклонение от работы посажен в карцер. Второй надзиратель в этом месте заметил:

— Зря ты его все-таки наказал.

Коля, ничего не ответив, перешел к какому-то другому эпизоду.

Рассказы другого надзирателя (его назовем Ваней) были иными. Один из них о женщине, видимо деревенской, которая пыталась пронести мужу 10 рублей. Очевидно, их нашли у нее при личном обыске. Женщине грозило лишение свидания в этот раз, а может и в следующий. Как сказал Ваня, она упала перед ним на колени, плакала.

— Я ей сказал: «На этот раз прощаю. Вот тебе твои деньги, но в следующий раз так не делай — второй раз простить не смогу».

Разные люди, разное поведение даже на такой «крайней» должности, разное отношение к чужой беде.

В клубной («ленинской») комнате мы по вечерам смотрели кино, в том числе очень смешную комедию

Рязанова «С легким паром». Надзиратели приносили из своих комнат стулья и тоже смотрели фильм, изредка с интересом посматривая на нас: все же приезд Сахарова был событием в этом уголке страны. Впрочем, лица некоторых уже были красными: видимо, они успели «принять свою порцию». Поздней мы из своей комнаты слышали крики, брань, звуки драки, кого-то за ноги выволакивали на мороз — алкоголь делал свое ежедневное дело.

В один из последних дней перед отъездом мы с Люсей включили телевизор днем. Выступал Давид Самойлов. Дезик читал с подъемом, одно стихотворение за другим, в том числе стихи о Пушкине. В одном из них есть строки:

Благодаренье Богу — ты свободен —
В России, в Болдине, в карантине...

Я иногда думаю, что эти стихи могли бы быть внутренним — для самого себя — эпиграфом к моим «Воспоминаниям».

Рядом сидел Ваня — у него был свободный от дежурства день. Из наших реплик он понял, что мы лично знаем поэта, читающего свои стихи по телевизору. Это было для него глубочайшим потрясением. Мир, где пишут и читают стихи, и мир, где унижают друг друга, пьют водку, матерятся, дерутся, гнут спину днем и за-

бываются тяжелым сном ночью, мир пустых магазинных полок, кино с рвущимися лентами — эти два мира были в его сознании бесконечно далеки друг от друга — и вдруг они в нашем лице как бы сблизились. Может, это покажется кому-то наивным и поверхностным, но, когда я думаю о выражении лица Вани в тот день и когда я вспоминаю некоторых других людей, с которыми меня столкнула жизнь, мне начинает казаться, что этот несчастный, замордованный, развращенный и спившийся народ, который сейчас даже и не народ в прямом смысле этого слова, все же еще не совсем пропал, не совсем погиб. Не величие исторического пути нации, не православное религиозное возрождение, не сопричастность к революционному интернационализму — все это не то, все это иллюзии, когда говорят о народе. Но простое человеческое чувство, сопереживание чужой жизни, жажда чего-то более высокого, чего-то для души. Эти искорки еще есть, они не погасли окончательно. Что-то с ними будет? Как в общенациональном плане — не знаю, да и важно ли именно это?.. Но в личном, общечеловеческом плане я уверен, что искры будут гореть, пока существуют люди.

Вернувшись в Москву, мы сделали заявление о деле Кузнецова, встречались с корреспондентами, рассказывали им о наших впечатлениях, в частности о встречах с двумя надзирателями. В некоторых западных газетах появились статьи, где говорилось:

«...посетив Мордовию, Сахаровы обнаружили, что жизнь надзирателей столь же тяжела, как и жизнь заключенных...».

Это, конечно, не то, что мы говорили и пытались передать инкорам. Говорить о тождественности жизни заключенных и их надзирателей — кощунственно. Жизнь заключенных подневольна и бесконечно тяжела. Надзиратели же обладают властью над ними и часто пользуются ею очень жестоко. Но что мы имели в виду — что жизнь надзирателей тоже беспросветна, сера, убога и это плохо само по себе и косвенно отражается на общих лагерных стандартах жизни и морали. Как-то зашел разговор об очень простой вещи — о низком качестве хлеба, который выдают заключенным. Один из надзирателей сказал:

— А вы посмотрите, какой хлеб продают в магазине в Сосновке.

ГЛАВА 43

1978 год. Отъезд Алеши.
Суды над Орловым, Гинзбургом, Щаранским.
Отдых в Сухуми. Негласный обыск

Алеша и Оля получили разрешение на выезд на третий день после подачи документов. Как я уже писал, Оля осталась в Москве с Катей. Она дала Алеше требуемую в ОБИРе справку об отсутствии у нее к нему материальных претензий (мы перевели ей оговоренную сумму). Вопрос о разводе, по ее просьбе и договоренности с Алешей, должен был решаться через год. До моей высылки в Горький мы с Люсей несколько раз, каждый раз с разрешения Оли, были у нее в оставшейся за Олей квартире, проводили по несколько часов с нашей внучкой Катей. Ко мне Катя относилась сердечно, доверчиво, к Люсе — более настороженно. Очевидно, это было следствие каких-то разговоров, которые она слышала.

Алеша уезжал 1 марта 1978 года. Накануне, вернее уже в ночь на 1 марта, он простился по очереди с каждым, кто оставался, — с Руфью Григорьевной, с мамой, со мной, с Лизой. По дороге на аэродром Алеша попросил остановиться у памятника Пушкину. Он один вышел из машины и положил цветы к подножию памятни-

ка. Это было его прощание со страной, из которой он — не по своей воле — уезжал. Прощание с тем, что он в ней любит.

Алеша улетел уже утром самолетом, летевшим прямо на Италию. При отъезде произошел некий почти фарсовый (а может и нет) эпизод.

Алеша вез с собой несколько фотографий тех дорогих ему людей, которые оставались здесь, и уже умерших — бабушки и дедушки с отцовской стороны. Все эти фотографии ему не разрешили взять с собой (чистый произвол, мелкая месть КГБ). Люся и я стали громко протестовать, и гебисты-таможенники вроде уступили, но повели Алешу на личный досмотр. Он стал раздеваться и в этот момент увидел, как таможенники опять отложили в сторону фотографии — они хотели его обмануть. Он бросился на них, кого-то ударил, выхватил фотографии, заодно вовсе ему ненужную бутылку водки, которую тоже не хотели пропускать, и, прижимая все эти трофеи к себе, полураздетый выскочил к самолету. Через три часа он был в Италии. А в мае Алеша прибыл в США.

Весной 1978 года у нас произошло радостное событие. Моя дочь Люба, вышедшая замуж в 1973 году, родила мальчика — еще одного моего внука. Его назвали Гриша, Григорий. К сожалению, жизнь складывается так, что с самого его рождения и до сих пор я не мог принимать непосредственного участия в его воспита-

нии, видел его не очень часто (а с момента высылки и вовсе ни разу). Сейчас ему пошел четвертый год!

В те же дни в Москве начался суд над основателем Московской Хельсинкской группы, членом-корреспондентом Армянской Академии наук Юрием Федоровичем Орловым. Одновременно в Тбилиси начался суд над членами Грузинской группы Гамсахурдиа и Костава.

Я сначала предполагал проводить часть времени в Москве, а часть — в Тбилиси. Мы с Люсей даже поехали в конце первого дня на аэродром, но, узнав, что один из обвиняемых в Тбилиси (Гамсахурдиа) на суде осуждает свою правозащитную деятельность, я отменил поездку туда. Видимо, агенты КГБ остались недовольны этим решением. В последующие дни то и дело звонили какие-то люди, якобы грузины (может быть, это и были грузины, но, несомненно, гебисты), и упрекали меня за то, что, когда можно было поесть хороших грузинских шашлыков, я был тут как тут, а когда в беде хорошие грузинские парни, меня нет. Насчет шашлыков у них вышла осечка: я в Грузии их ни разу не ел, не очень люблю. Относительно же Гамсахурдиа и его позиции на суде, а потом выступления по телевидению, где он также признавал ошибочность своих публичных выступлений и контактов с иностранными дипломатами, следует сказать следующее.

Я уже не раз писал, что не считаю правильным осуждать кого-либо за подобные отступления. Силы чело-

веческие ограниченны, и часто многие переоценивают свои возможности, да и обстоятельства бывают иногда непредвиденные. Тяжелей всего в таких случаях судят себя сами эти люди. Но тем выше мы должны ценить стойкость и мужество тех, кто выстоял. О многих из них речь в этой книге. Мераб Костава, подельник З. Гамсахурдиа, — один из них. Он оказался, после отступления Гамсахурдиа, один. И не отступил. Мужественно и достойно Мераб вел себя и в лагере, и в ссылке, в холодном, непригодном для южанина климате. Срок ссылки кончался в начале 1982 года. Но КГБ организовал новую провокацию против него — об этом и дальнейшей судьбе Мераба я расскажу потом.

Как я уже писал, многие — и я в том числе — думали, что власти (КГБ) не решатся арестовать члена-корреспондента Академии Юрия Орлова, а когда арестовали — что его не приговорят к лагерю, в худшем случае — к ссылке. Мы ошиблись. Орлов был осужден к максимальному сроку, допускаемому 70-й статьей (ее первой частью) — к 7 годам лагеря и 5 годам ссылки и потом, в заключении, непрерывно подвергался самым изощренным притеснениям, создающим угрозу его здоровью и самой жизни. Недавно Президиум Академии наук Армении исключил его на *тайном* заседании из состава Академии с вопиющим нарушением устава. Суд над Орловым проходил все в том же Люблине. На него приехало очень много друзей обвиняемого, много

иностранных корреспондентов и представители некоторых иностранных посольств. Но на этот раз нас не пустили даже к зданию суда — специальные ограждения и наряды милиции не подпускали ближе 15—20 метров. Во время процесса жену и сыновей Орлова дважды обыскивали с применением грубой физической силы, срывали одежду — искали магнитофон с записью этого формально открытого суда. Даже адвоката, однажды, разошедшиеся гебисты подвергли насилию — заперли во время процесса в комнате рядом с залом.

В последний день суда, перед вынесением приговора, когда я стал громко настаивать, чтобы присутствующих друзей подсудимого пустили на суд, и стал протискиваться сквозь толпу, возникла потасовка, подобная той, которая происходила в Омске. Меня, а потом и других поволокли в стоящие рядом милицейские машины; я ударил кого-то из гебистов, один из гебистов очень сильно и профессионально ударил Люсю по шее, она ему ответила. При заталкивании в машину Люся уже по инерции нечаянно ударила начальника местного отделения милиции. Нас с Люсей вскоре отпустили, а потом вызвали повесткой в суд. Обвинение — хулиганские выкрики во время суда; штрафы: мне — 50, Люсе — 40 рублей. Во время суда Люся сказала:

— Сотрудника ГБ я ударила правильно и не раскаиваюсь. Начальника отделения (фамилия) я ударила зря, прошу его извинить меня.



А. Д. Сахаров с женой Еленой Георгиевной Боннэр и ее сыном Алешей Семеновым в день регистрации брака. 7 января 1972 года



В первом ряду — Ефрем Янкелевич. Второй ряд: Руфь Григорьевна Боннэр, Татьяна Янкелевич, Е. Г. Боннэр и А. Д. Сахаров. В третьем ряду — Алеша Семенов. 31 декабря 1972 года



На Пушкинской. З. М. Задунайская (Зочка)



На Пушкинской. А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр в гостях. 1972 год



Вверху:
Регина Этингер (Инка)
Справа:
Н. В. Гессе (Наташа)





Л. З. Копелев (стоит справа) и В. П. Некрасов у А. Д. Сахарова
и Е. Г. Боннэр в больнице АН СССР. Декабрь 1973 года



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр напротив своего дома на улице Чкалова.
Сентябрь 1973 года



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр. 1973 год



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр. 16 марта 1974 года



**А. Д. Сахаров провожает Е. Г. Боннэр в Италию.
Белорусский вокзал. 16 августа 1975 года**



А. Д. Сахаров узнал о присуждении ему Нобелевской премии Мира.
Квартира Юрия Тувина (слева). 9 октября 1975 года



**А. Д. Сахаров отвечает на вопросы корреспондентов.
Квартира Юрия Тувина. 9 октября 1975 года**



А. Д. Сахаров на демонстрации в День Конституции у памятника
А. С. Пушкину. 5 декабря 1975 года



Е. Г. Боннэр на Нобелевской церемонии. Справа — председатель Нобелевского комитета Норвежского стортинга Аасе Лионас. Осло. 10 декабря 1975 года



Е. Г. Боннэр на Нобелевской пресс-конференции. Слева — директор Нобелевского института в Осло Тим Греве. 11 декабря 1975 года



В дни суда над Сергеем Ковалевым. Справа: второй — Эйтан Финкельштейн, третий — Ефрем Янкелевич, пятый — А. Д. Сахаров, шестой — Март Никлус; слева: третий — Юрий Гольфанд, четвертый — Юрий Орлов. Вильнюс. Декабрь 1975 года





У здания, в котором проходил суд над Юрием Орловым.
Май 1978 года





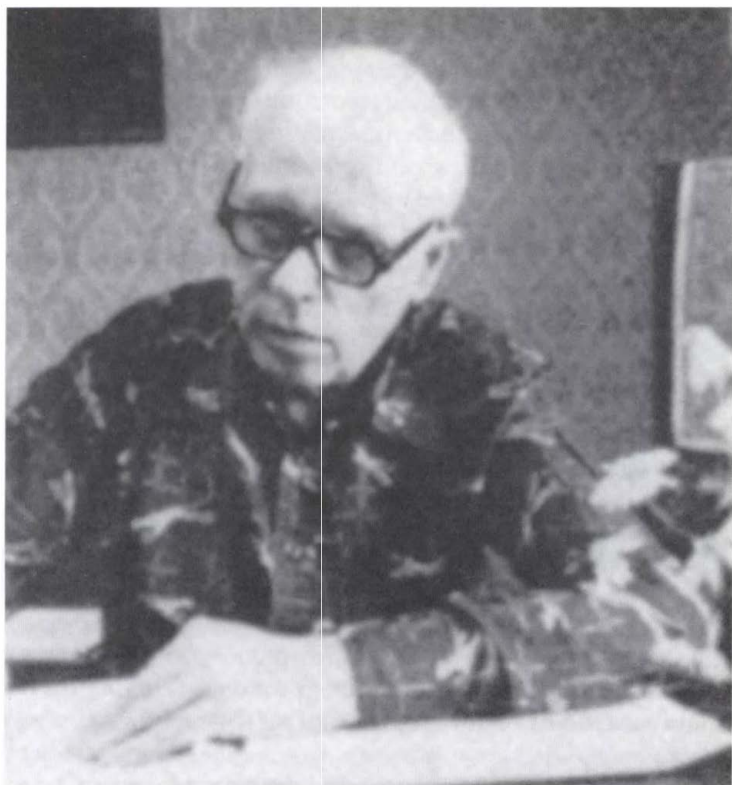
**А. Д. Сахаров, Е. Г. Боннэр и активист движения евреев за выезд
Владимир Слепак. 1978 год**



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр. Горький. Январь 1980 года



А. Д. Сахаров с Лизой Алексеевой. Горький. 1980 год



А. Д. Сахаров работает над воспоминаниями. Горький. 1982 год



Вид из окон квартиры в Горьком

Ее слова были полностью проигнорированы — за рукоприкладство нас судить тогда не собирались. В зале присутствовало много милиции: вероятно, они были довольны Люсиными словами. Двоих из задержанных одновременно с нами осудили на «15 суток». Я чувствовал себя немного виноватым перед ними.

Через полтора месяца состоялись еще два суда и опять одновременно и в разных местах (видимо, ГБ понравилась эта система «разделения» наших и без того малых сил). Это были процессы Александра Гинзбурга в Калуге и Анатолия Щаранского в Москве. Мы с Люсей то вместе, то по отдельности (я в Калуге, Люся в Москве) пытались быть на обоих судах (на улице, конечно). Суд над Аликом характеризовался широким использованием показаний полуполитических, полуголовных пользователей Фонда (много таких пытались к нему присосаться) и большой активностью нагнанной публики у здания суда (Люся думает, что это были рядовые советские граждане; я думаю, тут она ошибается). Много было провокационных разговоров, выкриков, скоморошества. Гинзбург был осужден на 8 лет лагерей особого режима. Два раза я ездил в Калугу с Владимовыми на их машине. Мне все больше нравилась эта семья.

Суд над Анатолием Щаранским привлек еще больше внимания. Толя Щаранский был обвинен в шпионаже¹ — то был советский вариант дела Дрейфуса. Обвинение это

уже фигурировало в провокационной статье Липавского, о которой я упоминал. Суть же дела сводилась к следующему. Щаранский и другие активисты еврейского движения за выезд в Израиль опрашивали некоторых евреев, которым было отказано в выезде под предлогом секретности, в то время как их учреждения не числились секретными. Эти данные были сообщены одному американскому корреспонденту, который и опубликовал их в своей газете. Ясно, что действия Щаранского не носили противозаконного характера. Показательно, что ни один из опрошенных Щаранским людей не был привлечен к ответственности за разглашение секретной информации. Вот вам и весь шпионаж (к слову, президент США официально заявил, что Щаранский не имеет никакого отношения к американской разведке).

Цель КГБ в этом процессе была крупная: запугать евреев, желающих эмигрировать, вбить клин между евреями и инакомыслящими. С Толей они, однако, просчитались. Он выдержал сильнейшее психологическое давление пятнадцати месяцев следствия (в полной изоляции, с многократными угрозами расстрела и обещаниями освобождения, если он покается), очень мужественно держал себя на суде, куда не пустили даже его мать (под предлогом, что она должна была выступать свидетелем, но отказалась).

Во время суда над Щаранским я дал интервью иностранным журналистам, стоявшим вместе с нами на

улице. Радиостанция «Голос Америки» передала его с возмутительным добавлением:

«Сахаров выразил надежду, что Щаранский вскоре будет обменен».

Ничего подобного я не говорил!.. К сожалению, в те напряженные дни я не смог предпринять шаги для выяснения, как могло возникнуть это добавление, снижавшее трагическую сторону ситуации, как бы спускавшее ее на тормозах. Щаранский был приговорен к 13 годам заключения, из них 3 — в тюрьме. На приговор его мать опять не пустили. При этом гебисты, стоявшие у решетки, построенной при входе в переулочек, где был суд, всячески обманывали ее, обещали пустить, даже когда приговор уже читали. После приговора вышел брат Толи Леня. Ему удалось запомнить и записать по памяти последнее слово подсудимого. Он громко зачитал нам этот удивительный документ, проникнутый огромной эмоциональной силой. А потом все присутствовавшие, обнажив головы, запели израильский гимн. Пошел дождь. Люди продолжали петь и плакали, и слезы смешивались со стекающими по лицам каплями дождя. Я тоже пел и плакал вместе со всеми. В соседних домах отворились окна — люди слушали. Гебисты (их было очень много) не решались помешать. Горстка людей, стоявших у решетки, в этот трагический момент

была сильнее всей огромной репрессивной машины государства — для многих уже не их Родины. После суда мать Толи, его брат и жена брата Рая пошли к нам. Они впервые были у нас, но внутренне уже были нам близки. Мы и потом часто общались в начавшиеся годы трудного тюремного и лагерного пути Толи.

Суды 1978 года вызвали очень сильное возмущение во всем мире, во многом способствовали пониманию истинного положения с правами человека в СССР. Среди многих организаций, созданных в это время за рубежом для защиты узников совести в СССР, я хочу особо отметить Комитет американских ученых SOS (Спасите Орлова Щаранского). Впоследствии этот Комитет включил и мою защиту в одну из своих основных задач: первая буква стала читаться Sakharov.

Весной 1978 года мне сообщили, что неизвестная мне женщина, ее имя — Наталья Лебедева, умирающая от рака в академической больнице, завещала свои сбережения мне для использования в целях помощи политзаключенным и их семьям. Лебедева была одинокая женщина, в прошлом узница сталинских лагерей, научный сотрудник в одном из институтов Академии. После смерти Лебедевой выяснилось, что она, по-видимому, не успела оформить письменного завещания или только без свидетелей продиктовала его вызванному в больницу нотариусу. Документ, если он существовал, исчез. Нотариус, кажется, отрицал существование за-

вещания. Все сбережения Лебедевой (около 5000 рублей) перешли в фонд государства.

В середине сентября мы с Люсей поехали отдохнуть на две недели в Сухуми. Там было еще тепло. Мы купались, гуляли, я много работал, сидя в номере гостиницы; по вечерам ходили в кино. Очень интересной была экскурсия в Новоафонские пещеры. Туда мы ходили (так же, как обычно в кино) вместе с Копелевыми — Раей и Львом (они тоже приехали отдохнуть) — и с нашим другом Х.², с ним нас подружил Мотя еще в 1977 году.

Копелевых мы неожиданно встретили на Сухумской набережной. Левины доброжелательность, сопереживаемость, терпимость и широта, жизнелюбие и интеллектуальность, неразрывно связанные в моей памяти со всем его обликом большого, сильного, доброго человека с огромными черными, по-детски удивленными глазами, очень украшали нашу жизнь.

Наше пребывание в Сухуми омрачило неожиданное обострение состояния Люсиных глаз — у нее произошло сильное внутреннее кровоизлияние в глаз во время купания в море, когда она совершила в воде какое-то резкое движение. Еще весной Люся подала заявление на новую поездку в Италию — необходимо было снова показаться Фреззотти, сменить очки (их очень тщательно и квалифицированно подобрали ей в 1977 году, но состояние ее глаз быстро менялось после операции).

Возможно, как мы думали, нужно будет сделать еще одну операцию. Ответа все еще не было. По приезде в Москву я предпринял ряд мер с целью ускорения ответа — несколько раз звонил заместителю министра внутренних дел Шумилину, ведавшему делами ОБИРа, и послал письмо Брежневу. В письме я напоминал, что в 1975 году было принято принципиальное решение, в силу которого моя жена получила право лечить за рубежом свои глаза, пострадавшие в результате контузии на фронте Великой Отечественной войны. Я отослал это письмо в середине ноября, но не публиковал его. Копия письма пропала во время негласного обыска 29 ноября.

В этот день случилось так, что на некоторое время (около полутора часов) наша квартира на улице Чкалова осталась пустой. Обычно мы избегали этого, а когда уезжали все вместе из квартиры, то брали с собой на всякий случай наиболее важные документы. В этот раз мы этого не сделали. Около часа дня мы с Люсей поехали на академической машине в книжный магазин, а вскоре после нас Руфь Григорьевна и Лиза поехали на международный телефонный переговорный пункт. Лиза в это время уже жила у нас, став членом нашей семьи. С квартирного телефона говорить с США — с нашими детьми и Лизиним мужем — было невозможно (разговор мгновенно прерывался оператором КГБ, непрерывно находящимся на нашем проводе; именно эта невозможность услышать что-либо, а не подслушивание,

была нашей бедой; подслушивание же — и по телефону, и просто в квартире — конечно, всегда было и малопривлекательно, но скрывать нам нечего).

С переговорного пункта Руфи Григорьевне и Лизе в 1978 году удалось несколько раз поговорить. Но в этот раз они вернулись ни с чем. Одновременно с ними вернулись и мы с Люсей. Вскоре из ванной раздался голос Лизы:

— Где халат? Не могу найти...

Тут мы обнаружили, что не хватает еще некоторых вещей; подбор их был очень странным — это были поношенные Люсины и мои вещи (в их числе мои домашние брюки и любимая мной синяя куртка, купленная еще Клавой и заштопанная Руфью Григорьевной после того, как куртку изгрызла собака Малыш), мои очки. Более ценные Люсины вещи, лежащие на самом виду, не были взяты.

На следующий день приехала Лидия Корнеевна и попросила что-то показать ей из написанного мною. Тут я обнаружил, что в коробке для документов лежит совсем не то, что там находилось. Исчезло письмо Брежневу, машинописный и рукописный текст первого варианта этих воспоминаний — то, что я успел написать за 5 первых месяцев работы. Это была первая кража, или конфискация — называйте, как хотите — в многолетней истории моего «труда Сизифа». Но, в отличие от судьбы этого мифологического персонажа,

у меня каждый раз на вершине горы оставался кусочек камня, с такими мучениями поднятого мною наверх. Кажется, Сизиф был осужден за то, что не захотел умереть, когда этого от него потребовали боги. Что ж, в таком случае аналогию можно продолжить — я не захотел замолчать по желанию «земных богов»...

Из коробки исчезла также подборка нескольких десятков адресованных мне писем с просьбой о помощи и черновики ответов на некоторые из них, в большинстве составленные Софьей Васильевной Каллистратовой. Исчезли также многочисленные письма с угрозами убить или искалечить меня и моих близких и копии многих моих общественных обращений по разным поводам и других документов, в основном (кроме письма Брежневу) уже опубликованных. Вместо этого коробка была аккуратно заполнена такой же массой других писем и документов, менее важных и интересных, которые до этого лежали в нижнем ящике секретера. Несомненно, все это было делом рук КГБ (кража вещей, вероятно, форма маскировки).

Это был фактически *негласный* обыск! Через четыре года Люсе в поезде устроили уже официально оформленный обыск; до этого КГБ применял лишь «стыдливо-условные» методы...

Само собой разумеется, что дверь в нашу квартиру была заперта на ключ, когда мы уходили, и оказалась исправно запертой при возвращении. Проблемы ключа

чей для КГБ никогда не существовало — там у них для этого достаточно специалистов.

Мы сделали заявление о пропаже документов и моих воспоминаний, а также письма Брежневу (дополнение 7). Мы заявили также, что, ввиду неоправданной задержки рассмотрения Люсиного заявления о поездке в Италию, после 3 января мы будем считать отсутствие ответа отказом и начнем бессрочную голодовку. Боря Альтшулер достал (не без трудностей — это «дефицит») 40 бутылок «Боржоми» и привез нам в двух авоськах, мы положили их под секретер и кровать — места-то у нас мало.

Перед самым Новым годом позвонил заместитель начальника Московского ОВИРа Зотов и сообщил, что Люсе разрешена поездка. Он рассчитывал, что Люся приедет немедленно за визой (вероятно, это было нужно ему для отчетности), но Люся воскликнула: — Что вы, в такой мороз!

В это время температура на улице была 30—35 градусов мороза, в отдельные дни еще холодней. Небывалые холода зимы 1978/79 года причинили множество бед в Москве и еще больше — в других местах.

ГЛАВА 44

1979 год. Третья поездка Люси.
Дело Затикяна, Багдасаряна и Степаняна.
Мои обращения к Брежневу.
Две поездки в Ташкент.
Новое дело Мустафы Джемилева.
Адвентисты. Владимир Шелков.
Письмо крымских татар Жискар д'Эстену
и мое новое обращение к Брежневу.
Збигнев Ромашевский.
Вера Федоровна Ливчак. Новые аресты

Люся улетела 15 января. Фреззотти и крупнейший американский офтальмолог д-р Скеппенс не сочли возможным делать ей еще одну операцию и были вынуждены ограничиться консервативным лечением и выпиской новых очков, соответствующих изменившемуся состоянию глаз. В связи с консультацией у д-ра Скеппенса Люся вылетела в США и смогла своими глазами посмотреть, как живут и осваиваются в новом и чужом мире дети и внуки; до сих пор мы никому не говорили, что Люся была в США; даже в клинике Скеппенса никто, кроме его самого, не знал ее подлинной фамилии, но я думаю, что к моменту выхода «Воспоминаний» в свет скрывать Лю-

сину поездку уже не будет необходимости. (Добавление 1987 г. КГБ знал о поездке Люси, а мы знали, что они знают. В мае 1984 года в статье в «Известиях» они выложили эту карту на стол. Так что теперь мы можем писать обо всем.)

Люсины впечатления были сильными и сложными, быть может даже противоречивыми.

Уже будучи интернированным в Горький, я написал документ, согласно которому Ефрем Янкелевич является моим официальным представителем за рубежом. Но еще задолго до этого, фактически с самого начала, на Ефрема и Таню легла большая, тяжелая работа и, позволю себе заметить, — расходы, связанные с тем, что никто, кроме них, не мог адекватно представлять за рубежом мою позицию и мои интересы. Одновременно выяснилось, что быть родственником Сахарова за рубежом, скажем конкретно в Бостоне, конечно, менее «накладно», чем в СССР, но во все не открывает никаких дорог — даже наоборот.

Это очень явственно проявилось в судьбе и трудоустройстве Ефрема, в истории поступления в МТИ¹ Алеши, отчасти и в Танином трудоустройстве. Те обещания, которые приходили к нам в 1973—1977 годах из МТИ, оказались чистой формальностью; никто из подписывавших, оказывается, не принимал их всерьез. Алешу в МТИ не приняли, когда он сразу по приезде в США туда пришел, а приняли в Брандейский университет, куда он пришел, как говорится, «с улицы». Там, на его счастье, не знали,

что он родственник Сахарова, а может, не знали, кто такой Сахаров. (Брандейский университет — прекрасный, так что, быть может, Алеше повезло.) А вот Ефрему определенно не повезло. Уже 3 года он без работы, хотя у него было удачное начало, руководитель был им доволен. И ругать потенциальных работодателей тоже не приходится — Ефрем и Таня то и дело вынуждены куда-то ехать по делам Сахарова, или выступать, или срочно что-то писать — кому это понравится не только в деловой Америке, но и в более безалаберном обществе? Ситуация почти тупиковая!..

Контуры всех этих трудностей выявились к концу Люсиного (очень недолгого) пребывания в США; она вернулась с этим тягостным впечатлением. Но, конечно, было также много радостного, в особенности от общения с внуками, уже освоившимися с языком и со всей разноплеменной средой Ньютона (город-спутник Бостона, где живут дети и внуки).

15 февраля в Танином и Ремином доме в Ньютоне торжественно отмечали Люсин день рождения, дети пели традиционную песенку:

Happy birthday to you,
Happy birthday to you...

Пока Люся находилась за рубежом, у нас происходили драматические общественные события, и на мою долю выпало как-то в них участвовать.

Часть этих дел была связана с положением крымских татар, в котором вновь наступило обострение. Летом 1978 года Совет Министров СССР принял постановление № 700, дававшее органам МВД новые широкие полномочия в выселении крымских татар из Крыма и препятствовании их возвращению в Крым. Это постановление было формально секретным, но в Крыму о нем открыто и с угрозой говорили татарам в милиции и других советских учреждениях. В соответствии с постановлением были созданы специальные подразделения МВД (или КГБ?), проводившие жестокие акции выселения — с разрушением домов, насилием и погромами. Категорически запрещались прописка и трудоустройство крымских татар в Крыму, продажа им домов. Я позвонил сотруднику ЦК Альберту Иванову, занимавшемуся вопросами, связанными с функциями МВД (дела о выезде и поездках, положение в лагерях, прописка и т. п.). Я спросил его, правильны ли сведения о постановлении № 700. Он ответил утвердительно. На мое высказывание, что это — национальная дискриминация крымских татар и несправедливость по отношению к народу, ставшему 35 лет назад объектом преступлений Сталина и его администрации, он ничего не возразил, только сказал:

— Так или иначе, но крымским татарам в Крыму делать нечего. Их место там занято. Мы не можем выселять украинцев.

На мою реплику, что никто не требует выселять украинцев, места в Крыму не меньше, чем в любом другом районе, единственное, что надо, — покончить с национальной дискриминацией, Иванов ничего не ответил.

Выселения крымских татар продолжались. Они происходили и до принятия постановления № 700. Летом 1978 года милицейская команда подошла к дому крымского татарина Мусы Мамута. В знак протеста против преследований крымских татар Муса облил себя бензином и поджег. Когда милиционеры взломали дверь, они увидели пылающий факел — человека. По дороге в больницу нестерпимо страдающий Мамут сказал:

— Надо было кому-то это сделать!..

В больнице Муса Мамут умер.

Я написал большое письмо о судьбе крымских татар в СССР, о национальной дискриминации и их общенародной мечте о возвращении в Крым, за которую они борются законными ненасильственными методами. Это письмо я направил Генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму и постоянному представителю США в ООН Эндрю Янгу. (Письма я посылал через консульство США. Быть может, это два различных письма: Вальдхайму раньше, чем Янгу, — я сейчас не помню этого точно. В письме, написанном в 1978 году, я сообщал о самосожжении Мамута.) Ни на одно из писем я не получил ответа.

В январе 1979 года (уже после отъезда Люси) крымские татары вновь несколько раз приходили ко мне и сообщали о новых вопиющих фактах произвола и дискриминации, осуществлявшихся на основании постановления № 700. Я решил обратиться по проблеме крымских татар к Брежневу и подготовил соответствующий документ. Однако раньше, чем я успел его отправить, передо мной встало другое трагическое дело, и получилось так, что я отправил на имя Брежнева одновременно два обращения.

Еще летом 1978 года Мальва Ланда сообщила нам, что в Ереване распространяются слухи об аресте бывшего политзаключенного Степана Затикяна по обвинению в соучастии во взрыве в московском метро в январе 1977 года. При этом сообщалось о давлении, оказываемом на армянских политзаключенных в разных лагерях, с тем чтобы они подтвердили, что Затикян замыслил акты террора. Мальва была очень взволнована. Но я не стал выступать в какой-либо форме на основании этих сообщений, считая их слишком неопределенными и отрывочными. В январе 1979 года, примерно 25-го числа, ко мне пришла Юла Закс (сестра А. Твердохлебова)² и рассказала (вернее, написала на бумажке), что трое армян — Затикян, Степанян и Багдасарян — приговорены к смертной казни за совершение террористического акта — взрыва в московском метро. Никто не знает, когда и где был суд, как он происходил, о нем никто не был из-

вещен, даже родственники подсудимых. Единственное, что было известно, это то, что два дня назад родственники подсудимых были срочно доставлены в Москву и тут им сообщили об уже вынесенном приговоре. Завтра у родственников последнее свидание с осужденными. Юла также сказала (написала) — тогда и ей, и мне это казалось решающе важным, — что Затикян в момент совершения взрыва находился в Ереване: этому множество свидетелей и документальные подтверждения, т. е. он имеет алиби. На другой день утром (в понедельник) я позвонил в иностранные агентства и сообщил полученные мною сведения. Так я делал всегда, когда узнавал что-либо важное, практически каждую неделю. В понедельник же или утром во вторник ко мне пришел корреспондент Би-Би-Си в Москве Кэвин Руйэн, чтобы узнать какие-либо подробности. Со своей стороны, он рассказал, что несколько дней назад ему позвонил один из его постоянных информаторов (которого он считал связанным с КГБ, но для инкоров и такие люди часто бывают полезны). Информатор сообщил, что 15 января где-то под Москвой начался большой процесс над группой террористов, армян и евреев, осуществивших террористический акт в московском метро. Общее число обвиняемых якобы 100 человек! В этом сообщении многое было невероятным и непонятным (непонятно и до сих пор), но сообщенная дата начала суда показалась мне заслуживающей внимания.

Вечером во вторник я написал обращение к Брежневу. Я просил его способствовать приостановке исполнения смертного приговора и назначению нового судебного разбирательства. Я сообщил известные мне сведения, заставлявшие меня сомневаться в вине обвиняемых в совершении ужасного, не имеющего оправдания преступления. Главный мой аргумент — что в суде не были обеспечены необходимые для исключения судебной ошибки и несправедливости гласность и публичность, о суде никому не было известно: ни общественности, ни даже родственникам осужденных. Я закончил составление документа и собирался ложиться спать. В это время позвонил Кэвин. Он сообщил, что только что было передано по телетайпам сообщение об осуждении трех армян за взрыв в метро и одновременно сообщено, что приговор приведен в исполнение.

Совершенно потрясенный, я почти что прокричал в трубку:

— Это убийство! Я объявляю в знак траура однодневную голодовку...

Кэвин воскликнул:

— Андрей, зачем вы это делаете?! Ведь они — террористы!

— Их вина не доказана. Как можно считать их террористами?..

На другой день утром я пошел отправлять оба письма (я сдал их, как всегда, в приемную писем Президиу-

ма Верховного Совета в Кутафьей башне). По дороге я прочитал в вывешенной газете сообщение «В Верховном суде СССР». Оно было очень странным, необычным для сообщений такого рода. Сообщалось, что в Верховном суде СССР рассмотрено дело по обвинению во взрыве в московском метро, повлекшем человеческие жертвы, но не было указано, когда состоялся суд, под чьим председательством, состав суда, кто представлял защиту. Далее говорилось, что преступники — рецидивист Затикян и два его сообщника — приговорены к исключительной мере наказания (смертной казни) и что приговор приведен в исполнение. Не были даже указаны фамилии Багдасаряна и Степаняна, как никак приговоренных к смерти. Наличие в этом сообщении таких умолчаний является одним из факторов, способствующих моим сомнениям в этом деле.

О своем письме Брежневу я сообщил по телефону иностранным корреспондентам и в агентства. Через час или два начались звонки в нашу квартиру. Звонившие обычно говорили, что они присутствовали на суде над террористами, которых я защищаю, и выражали свое возмущение моей позицией защиты убийц. Форма, в которой это говорилось, в разных звонках была различной: иногда это было только сожаление по поводу моей неосведомленности и наивности, иногда ирония, насмешка (психологически очень странная в данной ситуации), иногда — гневное возмущение, угрозы распра-

виться со мной самим. Я пытался задавать звонившим мне, якобы присутствовавшим на суде, вопросы, но большинство из них оставалось без ответа (например, когда был суд, под чьим председательством). Все же на некоторые вопросы мне отвечали:

— Почему на суде не присутствовали родственники подсудимых?

— Чтобы не было эксцессов со стороны родственников погибших.

— В чем вина Затикяна? Ведь известно, что его не было в Москве.

— Он организатор преступления.

(До этого я не учитывал такой возможности соучастия, так же как и Юла.)

Никаких, после первой вышеупомянутой заметки, ответственных разъяснений или даже репортажей корреспондентов «из зала суда» (обычная форма сообщений в советской прессе) опубликовано не было. Но в «Известиях» примерно 8 февраля было напечатано письмо от имени родственника погибшего при взрыве мальчика, который, по его словам, присутствовал на суде. Как мне сказали, этот человек работал водителем при одном из московских театров. Он якобы долго колебался, прежде чем дать свою подпись. Вскоре он получил квартиру. Письмо называлось «Позор защитникам убийц» и было направлено прямо против меня. На самом деле большинству читате-

лей газеты, вероятно, гораздо интересней существо дела, а не полемика со мной. Но и по существу сообщалось довольно много. Суд якобы проходил в присутствии нескольких сот представителей советской общественности. Сообщники Затикяна (их фамилии вновь не назывались) рассказали, как, по поручению Затикяна, они оставили в вагоне метро взрывное устройство. Другое аналогичное взрывное устройство должно было быть использовано при взрыве на Курском вокзале. На часовом стекле этого второго устройства были якобы обнаружены отпечатки пальцев Затикяна. На обыске у Затикяна был найден изготовленный им чертеж электрической схемы взрывного устройства. Когда я спросил Мальву Ланда об этом чертеже, она ответила, что действительно в Ереване было известно, что на обыске у Затикяна нашли схему; вероятно, это схема «какого-нибудь дверного звонка». Я не мог согласиться с ней: схема взрывного устройства и схема дверного звонка сильно непохожи. Однако, конечно, удивительно, зачем Затикян хранил такой компрометирующий его чертеж через год после изготовления устройства; несложную схему он вполне мог бы просто запомнить, если она вообще не вполне тривиальна. И зачем было распространять по Еревану слух о найденной схеме?.. Все же, если принять гипотезу следствия, то обнаружение схемы — серьезная улика. Но как раз добросовестность

следствия, объективность суда и точность сообщений в письме родственника (за которую он не несет никакой ответственности) больше всего требуют к себе осторожного отношения.

Кончалось письмо в «Известиях» утверждением, что Затикян вел себя на суде злобно, допускал антисемитские выкрики, восхвалял Гитлера (автор прибавлял: «Послушал бы его Сахаров!»).

Через несколько дней после статьи в «Известиях» в нашу квартиру пришли два неожиданных посетителя. Я открыл им дверь и, видя их возбужденные, заплаканные лица, спросил:

— У вас какое-нибудь горе?

— Да. Мы родные погибших при взрыве в метро. И мы пришли спросить вас, почему вы защищаете убийц.

Один из посетителей был крупный, немного рыхлый мужчина с бледным рябым лицом и бегающими глазами. Он непрерывно вынимал из кармана носовой платок и прикладывал его к глазам, даже тер их. Другой — приземистый, крепкий и смуглый, со злыми черными глазами, время от времени весь как бы подбирающийся от удара. И все же первый, по виду «старший по чину», был страшней. Несомненно, это были гебисты. Я пытался говорить, что вина не может быть доказана без открытого суда, а его не было. Спросил, почему не были извещены родственники, и получил уже известный

мне ответ, очевидно уже ставший стандартным для гебистов:

— Мы бы их растерзали; это они виноваты, что вырастили таких убийц.

Я говорил нарочно размеренно, а они — все громче и возбужденнее. Маленький начал подступать ко мне с криками и выбрасывать у меня перед лицом сжатый кулак. Я продолжал, стараясь соблюдать спокойствие и неподвижность, свои аргументы. В квартире были Лиза и Мальва Ланда. Они прибежали на шум. Один из посетителей сказал Мальве:

— Вам, Мальва Ноевна, тут делать нечего. Опять клевету напишете!

(Выдав тем самым окончательно свою гебистскую принадлежность.) Крики и размахивание руками усилились. Обстановка становилась все напряженной. Лиза стала протискиваться между мной и гебистами, пытаясь как-то защитить меня. В этот момент один из гебистов быстро нанес ей — незаметно для меня — сильный и болезненный, как она потом призналась, удар в живот, но тогда Лиза даже не поморщилась. Продолжая кричать, «посетители» постепенно двигались к двери и, наконец, ушли, пообещав напоследок прийти со всеми родственниками погибших и окончательно разделаться со мной.

Потом начался поток писем. Всего их пришло более 30, может около 40 — с оскорблениями, упреками (Почему ты защищаешь убийц, а не их жертв? И тебе не

стыдно?..), угрозами. Примерно в 15 письмах содержались прямые угрозы убийства. В одном из них мне обещали отрезать голову и положить ее напротив американского посольства. Авторы многих писем сообщали, что они уже отсидели немало и готовы посидеть еще ради того, чтобы покарать такого мерзавца, как я. Эти угрозы получили свое продолжение спустя два месяца во время моей поездки в Ташкент.

Поистине можно сказать, что КГБ проявил в этом деле большую «нервность» и не только в отношении меня. Одновременно со мной письма с угрозами пришли и другим москвичам. Елена Сиротенко, невеста одного из бывших членов НОПа (см. ниже) Паруйра Айрикяна, отбывающего повторное заключение, получила письмо такого примерно содержания:

«...(Нецензурное обращение), из-за тебя погибли наши ребята, наши славные борцы. Но не радуйся (нецензурное слово), в день нашего национального праздника (день геноцида — это вовсе не праздник. — А. С.) мы будем резать наших врагов и тебя не забудем».

Подпись: Группа армян.

В середине февраля в одном из московских кинотеатров во время сеанса кто-то выкрикнул в темноте:

— Да здравствует независимая свободная Армения!
Слава погибшим героям!

Никто кричавшего не задерживал.

Говорили, что были и другие подобные эпизоды. По моему, очевидно, что это действия ГБ, никто другой на такое не решился бы. В феврале в некоторых московских учреждениях (в том числе на больших заводах) на политинформациях сообщалось, что преступники — армяне; они действовали из «лютой злобы» к русскому народу и повешены (?!!.., а не расстреляны; более жестокая казнь вызывает более сильные эмоции ненависти!). Вышесказанное противоречит тому объяснению, распространяемому, по-видимому, также КГБ, что фамилии Багдасаряна и Степаняна не были названы, чтобы не вызывать в стране антиармянской истерии, по просьбе «армянских товарищей». Верней — тут были какие-то другие причины.

Через два дня после сообщения о приговоре ко мне неожиданно приехали двое молодых армян (рабочие). Они сказали, что их послали рабочие того электротехнического завода в Ереване, где работали Затикян, Багдасарян и Степанян (Затикян — мастер, остальные двое — рабочие). Их послали другие рабочие, чтобы как-то предупредить или отсрочить казнь их товарищей (они считали, что, несмотря на сообщение о приведении приговора в исполнение, на самом деле это не так; то же считал возможным и я, посылая письмо Брежневу). Рабочие хотели собрать подписи под петицией у известных армян в Москве, занимающих видное положение.

ние. Я при моих гостях позвонил одному из академиков, армянину по национальности, однако тот категорически отказался не только что-либо подписать, но даже и встретиться с приехавшими делегатами рабочих из Еревана. Через два дня делегаты пришли ко мне вновь — никто их не поддержал. Они были этим потрясены и растеряны. Они встречались с адвокатом одного из осужденных (не помню, кого именно). Адвокат сказал:

— Нам (т. е. защите) пришлось поднять руки: слишком сильны были доказательства обвинения.

(Эту формулу — «поднять руки» — я раньше слышал у другого адвоката по другому делу.)

Официальных и не вызывающих сомнения данных по делу совершенно недостаточно. Некоторую информацию я получил «частным» образом и приведу здесь, что мне передали, хотя и эти сообщения вызывают в ряде пунктов сомнения, тем более что они частично противоречат друг другу.

Одно из сообщений исходит якобы от человека, участвовавшего в экспертизе осколков взрывного устройства и присутствовавшего на суде. Сообщение было передано мне «по цепочке»; когда я пытался кое-что уточнить и передал свои вопросы (11 вопросов, в том числе о дате суда), я не получил на них ответа. Эксперт сообщал:

1) 8 января 1977 года было взорвано два устройства: одно — в метро (погибло много людей, в том числе де-

тей), другое — в урне для мусора (погиб 1 человек, и у женщины произошли преждевременные роды с гибелью ребенка).

2) Было закуплено около 10 «гусятниц» (кастрюль для жарки гуся). Две из них были использованы, третья намечалась к использованию на Курском вокзале в октябре 1977 года. Но при проверке документов Багдасарян и Степанян сбежали, оставив сумку с устройством в зале. Их арестовали в поезде Москва—Ереван.

3) Багдасарян и Степанян заявили на суде, что их первоначальные показания об участии Затикяна в качестве организатора и изготовителя устройства — ложь. Затикян к делу непричастен.

Второе сообщение исходит якобы от женщины, работающей в Верховном суде СССР. В середине января многих работников аппарата Суда пригласили присутствовать на заседании суда по делу о взрыве в метро. Это было кассационное заседание — суд первой инстанции состоялся когда-то раньше (это противоречит сообщению в советской печати и всем остальным сообщениям). Председатель суда — Смоленцев, заместитель Председателя Верховного суда (действительно, есть такой заместитель)³. На суде все трое обвиняемых признали свою вину (на самом деле, на кассационном суде обвиняемые не присутствуют)⁴.

Далее, существует группа сообщений, исходящих от знакомых и родственников осужденных. Это утвер-

ждения типа: Затикян — не такой человек, который мог бы стать на путь террора; это полностью противоречит его принципам. Затикян был членом и одним из организаторов так называемой Национальной объединенной партии Армении (НОП), жестоко преследовавшейся группы армянских националистов (слово «партия» звучит тут слишком громко). Они выступали за создание независимой объединенной Армении, с присоединением находящихся в Турции районов. В качестве первого шага они рассматривали проведение плебисцита по вопросу отделения Армении от СССР. Каким способом они собирались присоединять находящиеся в Турции районы, я не знаю. На мой взгляд, эта программа утопическая и опасная. Но я признаю право людей придерживаться подобных взглядов и проповедовать их, поскольку они не применяют насилия и не призывают к нему (это необходимое условие). Приговоры членам НОП непомерно суровые; я неоднократно выступал в защиту некоторых из них (Айрикяна и др.). Затикян тоже находился в заключении (поэтому в официальном сообщении он назван рецидивистом). По освобождении отошел от НОП, женился, имел трех детей. Незадолго до инкриминируемого ему преступления стал добиваться эмиграции. Что скрывается за этими внешними контурами, я не знаю. Во время свидания после приговора (единственного с момента ареста) брат Затикяна отвел его в сторону от женщин —

матери и жены — и спросил, виновен ли он в преступлении. Степан Затикян ответил:

— Я ни в чем не виновен, кроме того, что сделал своих детей сиротами.

В отличие от Мальвы Ланда, я считаю, что в этой фразе есть некоторая двусмысленность, быть может не намеренная. В принципе возможно, что убежденный террорист не считает террор преступлением, но сожалеет о том, что в результате его действий его дети стали сиротами. Но прямой смысл ответа — я не виновен.

Степаняна на том же свидании спросили:

— Как проходил суд?

Он якобы ответил:

— Никакого суда не было. Нас просто привезли (не помню, куда) и зачитали приговор.

Через несколько месяцев я прочитал в «Вестнике», издаваемом Кронидом Любарским, что в марте 1979 года в Ереване палач КГБ (называлась армянская фамилия) осуществил казнь Степана Затикяна⁵. О Багдасаряне и Степаняне я не имею никаких сообщений.

Известные мне инакомыслящие очень по-разному относятся к делу Затикяна, Багдасаряна и Степаняна. Некоторые убеждены, что все дело — сплошная фальсификация КГБ: первоначально — с целью расправы над всеми инакомыслящими или с какой-то иной провокационной целью; потом, когда вышла осечка, — с целью расправы над НОП. Сторонники этой теории считают, что

все вещественные доказательства сфабрикованы КГБ, что Багдасарян и Степанян сотрудничали с КГБ либо только на стадии следствия, либо даже на стадии осуществления преступления, что им было обещано сохранить жизнь и именно поэтому их фамилии не упоминаются в печати. Возможно, что потом договоренность была нарушена той или иной стороной. Суда, в соответствии со свидетельством Степаняна, не было (поэтому никто не может назвать даты суда и не были приглашены родственники). Другие мои друзья считают, что Затикян и его товарищи — типичные националисты, подобно баскам, ИРА и т. п., и что нет ничего неожиданного в том, что кто-то в СССР стал террористом. Вина обвиняемых неопровержимо доказана, отсутствие гласности — в традиции политических процессов в СССР, а в данном случае КГБ мог опасаться вызвать цепную реакцию терроризма. Что касается меня, то я вижу слабые места в обеих крайних позициях. Моя позиция — промежуточная, а точнее — неопределенная. Я по-прежнему считаю правильным свое письмо Брежневу, так как считаю, что без подлинной гласности подобное дело не может быть объективно рассмотрено, тем более что альтернативным обвинителем является КГБ.

Сказанным исчерпывается то, что я хотел рассказать об этом запутанном и мрачном деле, которое оказалось странно переплетенным с моей судьбой и судьбой моих близких.

В начале 1979 года мне стало известно, что новое дело возбуждено против Мустафы Джемилева, только что вышедшего из заключения. Он вновь арестован, на этот раз формально за нарушение «правил надзора» (а по существу это было продолжение перманентных репрессий за общественную активность). Брат Мустафы Асан сообщил из Ташкента о дате суда, и я вылетел туда, чтобы присутствовать на суде. Перелет из Москвы до Ташкента занимает около пяти часов. Я прилетел в Ташкент около часа ночи по местному времени, легко нашел квартиру Асана — они с женой жили в большом многоквартирном доме, построенном после землетрясения. Хозяева не ложились спать, ждали меня. На другой день с утра мы пошли на суд, но суд был отложен под предлогом, что в тюрьме нет транспорта для привоза заключенного. Через неделю суд был назначен неожиданно — многие родственники не смогли на него попасть. Мустафа был приговорен к 5 годам ссылки⁶.

В этот свой приезд я познакомился со многими активистами крымскотатарского движения, проживающими в Ташкенте. Большинство из них имели за плечами по несколько лет заключения. Это были интересные люди, глубоко преданные идее возвращения крымских татар на крымскую землю, с которой их связывают тысячи исторических нитей. Они не скрыли от меня, какие острые споры и разногласия существуют между ними относительно тактики их борьбы, относительно ее

реальных перспектив. В одном они были все согласны: что допустимы и оправданны только легальные, ненасильственные методы, в рамках существующей государственной структуры. Спорным был в особенности вопрос об отношении к общему правозащитному движению. Некоторые считали, что контакты с нами (с такими людьми, как Лавут, Сахаров) спутывают простое и очевидное крымскотатарское дело со множеством других сложных проблем и тем очень его затрудняют. По-видимому, они при этом опасались, что удары репрессий, обрушившихся на правозащитников, рикошетом будут падать и на них. Другие (большинство) считали, что крымскотатарское дело — органическая часть общего комплекса проблем прав человека в СССР: свободы передвижения, информации, убеждений — и только вместе мы можем чего-то добиться.

Я больше, конечно, общался с представителями последней точки зрения. На прощание жена Асана, он сам и другие крымские татары нагроулили меня подарками (курагой, гранатами, еще чем-то) для меня и Софьи Васильевны Каллистратовой, глубоко ими уважаемой.

Через две недели мне пришлось вновь вылететь в Ташкент, на этот раз на процесс адвентистов. Главным обвиняемым был 83-летний духовный глава Церкви адвентистов Владимир Алексеевич Шелков. «Адвентистов Седьмого Дня» (таково полное название) преследовали при Победоносцеве, но несравненно бо-

лее жестоко — при советской власти. Причина — их принципиальная независимость от власти. Хотя адвентисты не уклоняются от призыва в армию, но отказываются давать присягу и брать в руки оружие. Сам Шелков до своего последнего ареста провел в заключении 25 лет, во время войны был приговорен к расстрелу, потом, через несколько месяцев, помилован.

Очень многие адвентисты живут на нелегальном положении под ложными фамилиями, зарегистрированные браки их фиктивны, не отражают истинных семейных отношений — все это для того, чтобы сохранить верность их религиозному учению. То и дело власти раскрывают их маскировку, следуют аресты и приговоры. Естественно, что в такой обстановке вырабатываются и отбираются стойкие, надежные характеры. Именно таковы были адвентисты, с которыми нам пришлось столкнуться в жизни. Еще в Москве к нам приходил один из них — Ростислав Галецкий, очень понравившийся и Люсе, и мне. Теперь я увидел их уже в «массе».

Померанц, говоря о реальности интеллигенции и народа в нашей стране, где, по видимости, народа уже нет и интеллигенции тоже нет, пишет:

«...Но, быть может, надо мысленно отделить от плоти народа его бессмертную душу?.. Что за реальность? Не знаю. Просто чувствую, как она трепыхается...

и вылезает наружу в подписях об открытии церкви, в сектантских общинах».

Я сталкивался воочию с этой реальностью несколько раз в жизни: один из них — в Ташкенте, и очень рад, что мне удалось прикоснуться к живому народному миру.

Самолет прилетел в Ташкент очень рано, еще до рассвета. Несколько часов я бродил по берегу канала, всматриваясь в зеленовато-мутную, таинственно-живую воду, которая меняла свой облик по мере того, как солнце выходило из-за горизонта и поднималось все выше по небу. Я пожалел (не в первый и не в последний раз), что так редко провожу на улице, а не в постели, это лучшее время суток... Наконец наступило рабочее время, и после некоторых недоразумений я добрался до здания Ташкентского областного суда, где проходил суд над Владимиром Шелковым и его товарищами, арестованными около года перед тем при внезапном налете милиции и КГБ на конспиративную квартиру адвентистов. Здание суда было одноэтажным, очень невзрачным.

На крыльце и около него стояло и сидело — прямо на траве — десятка два людей, мужчин и женщин. Это и были адвентисты. Их, конечно, не пустили в зал суда, кроме 2—3 человек, имевших при себе документы, подтверждавшие ближайшее родство с подсудимыми. Я провел с ними весь день: прислушивался к их разговорам между собой, некоторые вступали в разговор со

мной, а также делились той едой, которую они принесли с собой, чтобы не отлучаться от суда, — хлебом, яблоками. Я уже не помню подробностей разговоров, лишь общее впечатление — их глубокой убежденности в моральной правоте, преклонения перед бабушкой (Шелковым), какой-то духовности — все это в сочетании с крестьянской практичностью и здравым смыслом (вероятно, далеко не все среди них были крестьяне, может быть никто, но я не знаю, как точнее иначе передать представившийся мне духовный облик). Запомнились слова одной пожилой женщины:

— Мы верим всерьез. Так, чтобы вся наша жизнь была по вере, — ведь только так верить и есть какой-то смысл!

О жестоких преследованиях, которым их подвергают власти, они рассказывали удивительно просто, без всякой аффектации и рисовки, без озлобления. Примерно так, как говорят об явлениях природы.

Я мог провести в Ташкенте только один день и не дождался окончания суда. О приговоре я узнал лишь в Москве. Шелков и все остальные были приговорены к длительным срокам заключения. Для Владимира Алексеевича Шелкова этот последний приговор в его жизни оказался смертным — он умер в лагере в возрасте 84 лет, меньше чем через год⁷. Я тогда уже находился в Горьком, но ко мне еще иногда попадали люди (милиционеры дежурили в подъезде, и они не знали всех

жильцов дома в лицо; кое-кто проходил мимо них незамеченным).

О смерти В. А. Шелкова мне пришли сказать две адвентистки, мать и дочь (девочка лет восьми). Мать была потрясена. Чем тут можно было помочь? Я поцеловал обеих и посоветовал побыстрее уходить, пока их не забрали. Больше я их не видел.

Случилось так, что во второй мой приезд в Ташкент, во время суда над адвентистами, я почему-то отошел от здания и оказался один. Воспользовавшись этим, ко мне подошел какой-то человек «восточного» типа. Он сразу начал разговор на самых высоких нотах:

— Я родственник погибших в метро. Тут нас много, и мы не допустим, чтобы защитник убийц ходил по нашей ташкентской земле!

Я что-то пытался сказать про открытый суд, но остановить поток слов, которые он выкрикивал гортанным голосом, было невозможно. При этом он яростно вращал глазами; мне почему-то кажется, что его подослали ко мне именно из-за этого редкостного умения. Кончил он зловещим шепотом:

— Если ты сегодня же не уберешься в свою Москву, то я за себя не отвечаю. Я уже отсидел, посижу еще.

На самом деле, мне было необходимо сегодня же улетать — я не хотел пропускать семинар в ФИАНе. Гебисту я об этом не сказал. Тут подошел один из адвентистов. Он услышал обрывок разговора и очень обеспо-

коился. Адвентисты хотели провожать меня на аэродром, но я попросил их не делать этого, наслушавшись рассказов о том, как ведет себя с ними Ташкентский ГБ. На Москву билетов не было. Я подошел к администратору, показал «геройскую» книжку, тот пообещал помочь; и вскоре по радио объявили:

— Товарищ Сахаров, вас просят подойти к кассе.

Около кассы какой-то мужчина спросил меня:

— Вы — Сахаров?

— Да.

— Выйдите на балкон, мне надо вам кое-что сказать (или спросить — не помню).

Лицо его показалось мне знакомым (кто-то из моих коллег в прошлом?). На самом деле это был гебист, и я его действительно видел много раз. Я вышел на балкон. Это, конечно, была ошибка. Там стоял еще один гебист. Они отрезали мне путь с балкона и начали новую психологическую атаку. На этот раз это были не угрозы, а многословные рассуждения. Тема была все та же: как я мог докатиться до того, чтобы защищать убийц. Я вяло возражал. Наконец вырвался с балкона и стал подниматься по лестнице, как всегда — медленно (из-за сердца). Гебисты шли по бокам, продолжая свою «лекцию». Вдруг я остановился. Один из гебистов язвительно спросил:

— Что это вы останавливаетесь — отстать хотите?

Я ответил:

— А вы бы, идя на такое задание, хотя бы снимали значки Дзержинского.

Они посмотрели друг на друга: у каждого в лацкане был гебистский значок — и быстро ушли вверх по лестнице.

КГБ уделил огромное внимание моему выступлению по делу Затикяна, Степаняна и Багдасаряна. Реакция же на Западе была минимальной. Пожалуй, единственный отклик, о котором я тогда слышал, это демонстрация Сартра (в единственном числе) у здания советского консульства в Париже.

В конце марта ко мне пришли мои друзья крымские татары. Они составили письмо на имя президента Франции Жискара д'Эстена с просьбой при его встречах с Брежневым поставить вопрос о восстановлении национальных интересов крымских татар, о прекращении дискриминации. Письмо было составлено удачно, логично и эмоционально. К сожалению, письмо было анонимным — его авторы не могли рисковать, не будучи уверенными в эффективности данного обращения. Я составил сопроводительную, в которой указал, что знаю авторов письма и гарантирую его подлинность, а также добросовестность авторов (точного текста не помню). От себя я также описал положение крымских татар, как оно мне было известно, и привел около 10 или 12 конкретных особо вопиющих нарушений их прав. Одно из них — преследование семьи слепого инвалида

Отечественной войны. Его дом был разрушен милицией и дружинниками. Семья жила фактически на улице, им грозило выселение из Крыма. Одновременно я написал новое письмо Брежневу, где вновь изложил проблему крымских татар и привел те же конкретные дела и просил его вмешаться. В письмах Брежневу и Жискар д'Эстену я информировал их об одновременном обращении к другому адресату. Я просил Жискар д'Эстена во время встречи с Брежневым поднять приведенные мною конкретные дела и просить от своего имени об их решении. Это двойное обращение — один из наиболее аргументированных моих документов по крымскотатарскому вопросу. Письмо Брежневу я, как всегда, отдал в отдел писем Президиума Верховного Совета, а письмо Жискар д'Эстену отвез во французское посольство. Я договорился по телефону, секретарь консульства встретил меня на улице и провел в кабинет консула. Во дворе шли какие-то строительные работы, и, пока мы пробирались между лесами и кучами строительных материалов, мой провожающий обменивался шутками с рабочими и работницами (французами). Мне показалось, что в СССР подобная непринужденность в общении дипломата и рабочих невозможна: наше рабоче-крестьянское государство успело за 60 лет стать более кастовым, чем «буржуазная» республика.

Я имел содержательную беседу с консулом, в которой мой собеседник проявил хорошее знание наших

проблем и сочувствие. В конце беседы он сказал, что было бы неудобно мне встречаться с господином послом, но посол знает о моем визите. Через несколько недель консул позвонил мне домой и сообщил, что мои письма вручены президенту. Сведений о дальнейшем ходе дела у меня нет. Я не знаю, говорил ли Жискар д'Эстен с Брежневым по этому вопросу, ничего не знаю и о результатах всей этой акции.

За год перед этим с делом Вагнера получилось удачней. И само дело в этот раз было сложнее, и Жискар д'Эстен занял, возможно, другую, более пассивную позицию, чем Шмидт (если так, то сожалею).

В посольстве я был 10 апреля. Через пять дней я поехал на нашей личной машине встречать Люсю на аэродром. Вел машину наш друг Арий Мизякин, и по моей просьбе он оставался в машине, пока я ожидал выхода Люси с таможенного досмотра. Но на одну минуту он все же покинул свой пост, чтобы помочь донести чемоданы. Этим воспользовались гебисты и прокололи шины (видимо, выражение неудовольствия действиями моими и Люси за последнее время и просто желание испортить настроение). Нам помогли сменить колесо французские корреспонденты Пьер Легал и Меретик. Гебисты отомстили им за это, проколов одно колесо немедленно, а на следующий день проколов обоим все колеса. Таможенный осмотр в этот раз был очень быстрым. Люся радовалась. Но она радовалась

зря. Таможенники (тоже гебисты) украли у нее очень много мелких и более крупных вещей, всего рублей на 500—600.

В 1978—1979 годах как за рубежом, так и среди нас очень горячо обсуждался вопрос об отношении к предстоявшей в 1980 году Московской Олимпиаде. Многие наши друзья за рубежом считали необходимым вести кампанию за бойкот Олимпиады — в знак протеста против арестов и преследований инакомыслящих и других серьезных нарушений прав человека в СССР. Эта точка зрения разделялась некоторыми инакомыслящими в СССР. Сторонники бойкота Олимпиады при этом говорили:

— Конечно, мы понимаем, что невозможно добиться бойкота реально. Однако уже само обсуждение этого привлечет всеобщее внимание к нарушениям прав человека в СССР, будет способствовать расширению правозащитных позиций на Западе.

Мне эта позиция казалась неправильной как в тактическом, так и в принципиальном смысле. Я считал, что нельзя призывать к бойкоту Олимпиады как бы условно, не желая этого на самом деле. А я не хотел тогда (в 1978—1979 годах) бойкота Олимпиады-80, не хотел срывать всей этой гигантской работы по подготовке, не хотел лишить миллионы людей, в том числе спортсменов, не несущих прямой ответственности за нарушения прав человека, той радости, которую они могли от нее полу-

чить. Я рассматривал Олимпиаду как часть процесса разрядки, часть начавшегося процесса общения людей. В общем, я надеялся, что Олимпиада с приездом в СССР сотен тысяч людей с Запада (хотя большинство из них, конечно, ни о чем, кроме спорта, не хочет думать) — все же какая-то щелка в той стене разобщенности и непонимания, которая отделяет нас от Запада. Поэтому я считал, что в связи с предстоящей Олимпиадой надо увеличить усилия информировать мир о нарушениях прав человека в СССР, о нашем трудном, а в чем-то трагическом положении и сделать попытку *использовать* Олимпиаду для активизации помощи Запада нам. Возникли, в частности, идеи о шефстве отдельных западных команд и даже отдельных спортсменов над конкретными жертвами репрессий в СССР — и над такими известными, как Юрий Орлов, Анатолий Щаранский, и над многими другими, менее известными, но столь же нуждающимися в защите. Предполагалось также, что среди западных туристов и спортсменов будут распространяться майки и другие предметы с портретами жертв репрессий и с призывом к их защите. Такой подход исключал призыв к бойкоту Олимпиады. Эта позиция разделялась, по видимому, большинством инакомыслящих в СССР. Принятый Московской Хельсинкской группой документ по вопросу Олимпиады (Обращение к Международному Олимпийскому комитету и его председателю лорду Килланину) обращал внимание на нарушения прав чело-

века в СССР, на усиление репрессий, но не ставил вопроса о бойкоте. Я присоединился к этому документу, считая этот подход правильным. К сожалению, это решение не было вполне единодушным и бесспорным для всех в самой Хельсинкской группе (Наум Натанович Мейман до сих пор сомневается в его правильности), и в еще меньшей степени оно встретило поддержку у наших зарубежных единомышленников. Некоторые из них, как я подозреваю, были просто слишком увлечены шумными бойкотными кампаниями. Этот разнобой был очень печален в 1978—1979 годах. Еще больше вреда он принес, когда обстоятельства изменились и вопрос о бойкоте встал всерьез, неотвратимо. Это было как в известной истории о мальчике-пастухе, который кричал в шутку: «Волк! Волк!»; когда же волк появился на самом деле, никто из деревни не пришел к нему на помощь.

В начале 1979 года ко мне пришел неизвестный мне ранее посетитель. Когда я впустил его в дом, он осведомился, Сахаров ли я, и сказал, что мой адрес ему дал Х. и что он — Збигнев Ромашевский из Польши, из Комитета обороны рабочих (КОР), и хотел бы со мной поговорить. У меня было с ним две встречи, вторая — на другой день. Вторая беседа проходила в присутствии Тани Великановой — она пришла одновременно со Збигневом Ромашевским — частью в нашей с Люсей комнате (Люся была в это время, к сожалению, за рубежом), частью на кухне за чашкой чая.

Это был человек выше среднего роста, стройный, подтянутый, в по-европейски хорошо сидящем костюме, с резко очерченными чертами энергичного лица. По-русски говорил он не очень быстро, но совершенно правильно, четко построенными ясными фразами. Ромашевский интересовался нашими диссидентскими делами, проявляя в них осведомленность, которой обычно так недостает иностранцам (да он и не был для меня иностранцем). Со своей стороны, он кратко, но содержательно рассказал о положении в Польше, о настроениях в стране и целях КОР. Он сказал, что рабочие в массе настроены очень решительно, часто приходится слышать фразы такого рода:

— Теперь, когда вы (т. е. интеллигенты) пришли к нам, мы вместе им (т. е. партийной верхушке) покажем! Добьемся правды (или порядка — не помню точно).

Коровцам постоянно приходится удерживать рабочих от слишком поспешных действий, предупреждать возможные эксцессы.

— Одним из направлений работы КОР является расследование событий 1970 года, действий органов власти, материальная и юридическая помощь рабочим — жертвам репрессий властей, — сказал Ромашевский.

Однако расследование часто встречается с большим сопротивлением. Он рассказал о случаях давления со

стороны властей на жертв произвола, запугивания и даже убийства свидетеля, который присутствовал при избиении рабочего, приведшем к его смерти. Ромашевский сказал, что рабочие Польши с большим уважением относятся к интеллигенции и гордятся ею. Он также сказал, что понимает, что в СССР в силу ряда причин положение сильно отличается от положения в Польше и, соответственно, — цели и возможности движения в защиту прав человека другие. Но в основе все же лежит, по его мнению, нечто общее (а может, это я сказал, а он согласился). Ромашевский предложил мне написать статью для журнала «Культура», обещая, что она обязательно будет напечатана. Я ответил, что подумаю, но, к сожалению, в 1979 году не осуществил этого. Я вообще с трудом пишу, и мне было неясно, что я могу написать, не пережевывая давно известного моим читателям. А потом обстоятельства изменились, и мне тем более было трудно.

Ромашевский очень понравился и мне, и Тане Великановой своей интеллигентностью, умом, чувством ответственности, информированностью. Благодаря этой встрече я лучше понимаю истоки «Солидарности».

Сейчас (я пишу это в октябре 1982 г.) я знаю, что несколько месяцев назад Збигнев Ромашевский арестован вместе с другими активными участниками славных событий 1980—1982 годов и ждет суда (вместе с ним — его жена). Мои симпатии, глубокое уважение — на их

стороне, вместе с пожеланиями стойко вынести то, что несет им судьба*.

В 1974—1979 годах очень теплые, дружеские отношения возникли у всей нашей семьи, включая самых маленьких, с Верой Федоровной Ливчак. Это она наблюдала за моим состоянием во время голодовки в 1974 году, а в 1975 году была свидетелем трагических событий Мотенькиной болезни, переживая их вместе с нами, помогая нам.

Вера Федоровна — человек трудной судьбы и при этом — активно добрый. Муж ее был арестован и осужден, она много лет работала лагерным врачом, чтобы быть ближе к нему. В 1971 году ее единственная дочь с мужем-евреем и внучкой уехали в Израиль. Вера Федоровна не хотела по многим существенным для нее причинам уезжать из СССР навсегда, но начиная с 1972 года добивалась возможности навестить дочь и внучку, увидеться с ними. История ее мучений при этом — наглядное свидетельство бесчеловечности всей нашей системы с поездками и выездами. Как я писал, власти, даже когда они разрешают эмиграцию (например, в Израиль), активно препятствуют поездкам к эмигрировавшим их родственникам, оставшихся

*17 февраля 1983 года Ромашевский осужден на 4 года заключения, осуждена также его жена (диктор подпольной радиостанции «Солидарности»).

в СССР, поездкам эмигрировавших на свою бывшую родину, возвращению тех, кто изменил свое решение и хочет вернуться (за самыми редкими исключениями). Вера Федоровна не была таким исключением, скорее наоборот. Все ее попытки добиться разрешения на поездку ни к чему не привели. Еще до встречи с нами она получила первый отказ под предлогом, что у СССР нет дипломатических отношений с Израилем (что имело бы смысл, если бы В. Ф. хотела поехать в ранге посла, но не при частной поездке; замечу, что, когда уехавшие по израильской визе поселяются в другой стране, то родственников к ним также не пускают, но уже под тем предлогом, что формально они уехали в Израиль и, значит, там и находятся).

Вера Федоровна ходила на приемы к разным начальникам. Каждый раз это стоило месяцев усилий, ожидания, нервов. Но ни один из них не помог в разрешении этого дела. Начальник ОБИРа (от которого формально должно было бы зависеть решение) дал ей такой «совет»:

— Вам будут отказывать, но вы не отступайте. Боритесь, вновь и вновь подавайте заявления.

Заместитель министра ВД Шумилин, самый крупный начальник, о причастности которого к делам ОБИРа известно, сказал:

— Подавайте заявление на поездку в Австрию на две-три недели. Ваша дочь свободно может приехать туда.

Поверив, что Шумилин имеет в виду реальную возможность решить так вопрос о встрече с дочерью и внучкой, В. Ф. оформила документы на поездку в Австрию, но через год мучительного ожидания она получила отказ под предлогом, что у нее нет родственников в Австрии. Шумилин знал это, конечно, с самого начала. В следующий визит Веры Федоровны к Шумилину он посоветовал ей добиваться поездки дочери в СССР. Но и тут был отказ. В первые годы активных попыток Веры Федоровны и первых контактов с нами кто-то однажды толкнул ее на автобусной остановке. Она сильно ушиблась, болела; может, это был «намеки»?..

Я пытался помочь Вере Федоровне двумя путями. С одной стороны, хотел, чтобы ей пришел из-за рубежа вызов на поездку в гости от такого авторитетного лица, которому власти не могли бы отказать. Я обратился с этой просьбой к королеве Великобритании, но получил отказ. Королева писала, что в силу ее конституционного положения она не может предпринимать действий политического характера (мне все же кажется, что помочь 73-летней женщине увидеться с дочерью и внучкой — не политическое действие). Я звонил также с просьбой о помощи различным советским официальным лицам — в ЦК КПСС, тому же Шумилину — но все безрезультатно.

В апреле 1978 года, после очередного отказа, у Веры Федоровны случился инфаркт. Опасаясь не дожить до

разрешения на поездку, она, после мучительных сомнений, решила подать заявление на выезд и уехала в Израиль, где живет и сейчас. Вскоре после отъезда ей исполнилось 75 лет.

Одной из причин, удерживающих Веру Федоровну от эмиграции, было ее ощущение, что тут она полезней людям. Она долго продолжала работать врачом. Сразу после отъезда дочери она стала много помогать семьям евреев-отказников. Потом очень большое место в кругу ее помощи заняла наша семья. Если заболел кто-то из маленьких, или наоборот — не маленьких, а старых, первым движением всегда было позвонить Вере Федоровне, и она тут же появлялась; так же тогда, когда надо было посидеть с малышами, и все это — от души.

По вторникам, по вечерам, Вера Федоровна вместе с Машей Подъяпольской приходили к нам посидеть, поговорить. Без них мы уже не мыслили нашей семьи. Потом, когда Вера Федоровна уехала, нам очень ее не хватало...

1979 год ознаменовался новой волной арестов в Москве, на Украине, в Прибалтике. Эта волна имела свое продолжение и в последующие годы. Одно из очень типичных дел на Украине — арест и суд Ю. Бадзьо.

Юрий Бадзьо был осужден 21 декабря 1979 года на максимальный срок, предусмотренный статьей его обвинения «Антисоветская агитация и пропаганда» — 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Главный

пункт обвинения — рукопись его книги, квалифицированная судом как «документ антисоветского характера». (Добавление 1988 г. Сейчас Бадзьо угрожает новый суд по сфабрикованному в ссылке обвинению в «хулиганстве».)

Мальва Ланда составила список, согласно которому в январе—октябре 1979 года было арестовано и осуждено 100 человек. В ноябре—декабре последовали новые аресты, затронувшие нас уже совсем непосредственно.

1 ноября в Москве были арестованы член Комитета защиты прав верующих⁸ священник Глеб Якунин и Татьяна Великанова. Через месяц (7 декабря) — Виктор Непелов.

Имя Тани Великановой много раз встречалось в этой книге. Я знаю Великанову с 1970 года, глубоко ее уважаю и люблю. Мы впервые встретились с ней на квартире Валерия Чалидзе в связи с подписанием письма о Ж. Медведеве. Потом — на суде Пименова — Вайля. Т. Великанова — одна из тех людей, которые в моих глазах воплощают правозащитное движение в СССР, его моральный пафос, его чистоту и силу, его историческое значение. Татьяна Михайловна по профессии математик. Она работала всегда много и успешно, у нее не было профессиональных трудностей и никогда не было ни профессиональной, ни какой-либо иной ущемленности. Она — сильный, волевой и трезвый по складу ума человек. Участие Т. Великановой в правозащитном движении

отражает ее глубокую внутреннюю убежденность в нравственной, жизненной необходимости этого. Начало ее активного участия в защите прав человека относится к 1968 году, а быть может, и раньше, т. е. длилось — до ареста в 1979 году — более 10 лет. Мало кто — и мужчины, и женщины — сумел выстоять в этом потоке так долго. Таня Великанова все эти годы, решающие для правозащитного движения, находилась в его эпицентре. В 1969 году она была одним из организаторов и участников Инициативной группы по защите прав человека в СССР. В 1974 году Великанова вместе с Ковалевым и Ходорович принимает на себя ответственность за распространение «Хроники текущих событий». В том же году она — одна из организаторов Дня политзаключенного. Арест и последующий суд Тани Великановой вызвали очень большое возмущение всех, кто ее знал, всех, кому дороги права человека, законность, гласность. Это новый незаконный шаг властей на пути подавления инакомыслящих, на пути насильственной борьбы с теми, кто отвергает насилие, считая своим единственным оружием в борьбе за права человека правдивое и точное слово.

Не менее жестокая беда — арест и осуждение Виктора Некипелова. Виктор Некипелов — прекрасный поэт, член Московской Хельсинкской группы, ранее судимый за стихи (2 года заключения), добивавшийся разрешения на эмиграцию и получивший отказ. Для него готовили другую, более печальную участь! По профессии

медик-фармацевт, он был арестован прямо в аптеке. Виктор — семейный человек. Эти сухие данные не вмещают того, что мне страстно хочется передать: трагичность судьбы честного, талантливого и внутренне крайне ранимого и одновременно мужественного и отзывчивого человека. Среди его гражданских дел последних лет — защита и просто человеческая помощь, переписка и передачи репрессированным рабочим Михаилу Кукобаке и Евгению Бузинникову (без него мы могли бы почти ничего не знать об этих замечательных людях), сотрудничество с Комитетом защиты прав инвалидов⁹, подвергавшимся жесточайшим преследованиям, блестящие публицистические статьи «Институт дураков» (о печально знаменитом Институте психиатрических экспертиз имени Сербского)¹⁰ и «Сталин на ветровом стекле» (о сложной психологической и социальной проблеме отношения к Сталину и его наследию).

Виктор Некипелов — из семьи возвращенцев-«харбинцев». В годы гражданской войны сотни тысяч людей оказались за рубежом. Судьба большинства из них, особенно тех, кто, как родители Виктора, вернулся в Россию, — была трагична. Трагичность эта продолжилась и в следующем поколении. Биография Виктора — один из примеров тому.

Так кончался 1979 год для нас. Последние его недели ознаменовались очень важными событиями в мире. О них я пишу в следующих главах.

ГЛАВА 45

Письма и посетители

Я получал много писем: с выражением поддержки (я думаю, что большинство таких писем осело в КГБ и до меня дошла лишь очень малая доля), с осуждениями, с угрозами (письма последних двух категорий приходили очень странно — то их не было вообще, то, обычно после какого-либо моего выступления, они приходили целыми пачками; я думаю, что письма с угрозами, в основном, исходят непосредственно от КГБ, а письма с осуждением моего вмешательства в то или иное дело — скажем, Зосимова или Затикияна или моего письма Пагуошской конференции и т. п. — частично исходят от КГБ, а в большинстве — от реально негодующих граждан и просто выборочно отобранны КГБ из большого числа писем другого содержания.

Но не обо всех этих, важных самих по себе, категориях будет далее речь в этой главе. Она посвящена письмам и посетителям с просьбой о помощи. Письма с просьбой о помощи стали приходиться сразу после объявления о создании Комитета прав человека в ноябре 1970 года. Тогда же появились первые посетители — сначала на Щукинском, потом на улице Чкалова. За

9 с лишним лет — до моей депортации в Горький — многие сотни писем, сотни посетителей! И в каждом письме, у каждого посетителя реальная, большая беда, сложная проблема, которую не решили советские учреждения. В отчаянии, потеряв почти всякую надежду, люди обращались ко мне. Но и я почти никогда, почти никому не мог помочь. Я это знал с самого начала, но люди-то надеялись на меня. Трудно передать, как все это подавляло, мучило. К сожалению, я в этом трудном положении слишком часто (по незнанию, что отвечать, по неорганизованности, по заваленности другими срочными делами) выбирал самый простой и самый неправильный путь: откладывал со дня на день, с недели на неделю ответ на письмо; потом или отвечать уже было бесполезно по давности, или оно терялось, но при этом не переставало мучить меня. Таких оставшихся без ответа писем было бы еще гораздо больше, если бы не бесценная помощь, оказанная мне Софьей Васильевной Каллистратовой. Ранее мне предложил свою помощь один из советских журналистов, но я не сумел вовремя воспользоваться ею. (Я не хочу называть фамилии, но тот, о ком я пишу, поймет, что речь идет о нем, если эти воспоминания когда-либо попадут в его руки. Я пользуюсь случаем выразить ему свою признательность.)

Прежде чем переходить к отдельным делам, я должен сказать несколько слов о самой Софье Васильевне.

Это — удивительный человек, сделавший людям очень много добра. Простой, справедливый, умный и добрый. Редко, когда все эти качества соединяются, но тут это так. По профессии Софья Васильевна — юрист, адвокат. Более 20 лет она вела защиту обвиняемых по уголовным делам, вкладывая в это дело всю свою душу, жажду справедливости и добра, желание помочь — и по существу, и морально — доверившимся ей людям. Нельзя было без волнения слушать ее рассказы. Для нее всегда всего важнее была судьба живого, конкретного человека, стоящего перед ней. Однажды, как она рассказывала, она защищала молодого солдата М., обвиненного в соучастии в изнасиловании. Улики явно были недостаточны и, по убеждению Софьи Васильевны, он был невиновен, но был приговорен к смерти. Она посетила какого-то большого начальника, и тот, несколько неосторожно, не понимая, с кем имеет дело, стал ей рассказывать, что сейчас расшаталась дисциплина в армии, очень много случаев воинских преступлений и что с целью поднятия дисциплины суровый приговор М. очень полезен, отменять его ни в коем случае не следует. Реакция Софьи Васильевны была неожиданной для него, огненной. Она начала кричать на начальника:

— Вы что, на смерти, на крови этого мальчика хотите укреплять дисциплину, учить своих подчиненных?!

...И дальше все, что тут следовало сказать. Кричала она так громко и решительно, что начальник явно испу-

гался. В конце концов ей удалось добиться пересмотра приговора. В другом деле ей удалось добиться того, что пятнадцатилетний приговор двум обвиняемым, которых она считала невиновными, был заменен 10 годами заключения. Когда она, уже после оглашения приговора, собирала свои бумаги, собираясь уходить, очень расстроенная, к ней подошли члены кассационного суда и спросили:

— Ну что, товарищ адвокат, вы довольны результатом?

— Как же я могу быть довольна, ведь нет никаких доказательств вины обвиняемых, а они приговорены к заключению!..

Несколько удивленный такой логикой, один из судей сказал:

— Если бы были доказательства, разве мы изменили бы приговор?..

Одним из выводов, которые Софья Васильевна вынесла из своего адвокатского опыта, является неприятие смертной казни как нечеловеческого, чудовищного и социально вредного института.

Всю свою жажду справедливости, осуществлению которой она пыталась способствовать на протяжении многих лет адвокатской работы, она перенесла на защиту обвиняемых за убеждения, узников совести. Эта единственно возможная для нее позиция изменила всю ее жизнь, само место ее в мире. Эта же линия в конце

концов привела ее к участию в открытых общественных выступлениях, в Хельсинкскую группу, а потом — к преследованиям, допросам, обыскам.

Софья Васильевна защищала в числе других Петра Григоренко, Наталью Горбачевскую. Читая материалы этих давних судов, видишь, как умно и смело она вела защиту. Но не менее важна для обвиняемых была ее теплота при встрече с ними, та связь с внешним миром, которая при этом восстанавливалась.

Когда Софья Васильевна согласилась помогать мне в переписке, я стал приносить к ней получаемые мною письма целыми сумками. Она отвечала на них, давала юридические и просто житейские советы, основанные на ее богатом жизненном опыте. Потом я подписывал эти письма (после обсуждения с нею), она их отсылала. Конечно, и она не была способна сделать чудо. Но все же письма не оставались без ответа. Это уже было кое-что, хотя бы в моральном смысле.

Софья Васильевна оставляла у себя письма и копии ответов. Но весь этот архив через несколько лет попал в КГБ — он был конфискован при одном из обысков у Софьи Васильевны. Поэтому я сейчас, в своих воспоминаниях, очень мало что могу рассказать конкретно. Расскажу, что сохранила память (дела, о которых речь ниже, как раз все шли помимо Софьи Васильевны, но и по ним у меня сейчас нет материалов; все рассказываю по памяти, так что возможны неточности и многое опущено).

Больше половины посетителей составляли люди, желающие уехать из страны. Основываясь на опыте, извлеченном из этих дел, я уже не раз писал о тех многообразных причинах, которые толкают людей на эмиграцию, и о почти непреодолимых препятствиях, с которыми многие из них сталкиваются.

В дополнение к описанным ранее рассказу еще о двух, тоже в каком-то смысле типичных делах.

Однажды к нам пришли молодые женщины-румынки. Они были одеты не по сезону легко и явно растеряны. История их была такова. Они жили в Молдавии. Во время войны еще совсем маленькими девочками они попали в Румынию, там выросли, стали работать белошвейками. Около двух лет назад они по вызову родственников из Молдавии приехали к ним, привезли с собой несколько чемоданов всякого добра, нажитого ими за время работы в Румынии. Некоторое время все было хорошо. Но постепенно отношения с родственниками стали портиться, условия работы и заработка были не такими, на которые они рассчитывали. Они решили вернуться в Румынию. Получили отказ. Тут начались настоящие несчастья, с которыми они приехали к нам. Работы у них не было. Родственники их попросту выставили, не отдав им, однако, почти ничего из вещей, в том числе теплых. Этим объясняется их «летний» вид.

В этом деле отразилась ситуация с выездом в социалистические страны, еще более трудная и часто более

безнадежная, чем с выездом в капиталистические страны или Израиль — заступиться совсем некому! В деле двух румынок Люсе удалось помочь, выхлопотав израильский вызов; через полгода они уехали, счастливые и благодарные.

Гораздо трудней сложились дела у семьи штурмана гражданской авиации Евсюкова, решившей эмигрировать. Эти люди, по моему впечатлению, честные, умные и мужественные, принявшие свое решение сознательно, с полным пониманием тех трудностей, которые могли последовать и последовали. Евсюков получал отказ за отказом. Подошел срок призыва в армию его сыну. Сын отказался, так как служба в армии часто означает секретность, и был осужден к 2,5 годам заключения.

(Добавление 1987 г. Весной 1986 года с Евсюковым-старшим беседовал представитель КГБ. Он сказал — откажитесь от эмиграции, и все ваши беды кончатся. Если будете продолжать свои попытки — пеняйте на себя (раньше такая беседа была с его женой). Евсюков отказался последовать «совету». Через месяц освободившийся по отбытии срока Евсюков-младший был вызван на призывной пункт и после повторного отказа от службы в армии арестован вторично. При аресте он был избит и затем увезен в тюрьму в наручниках. Суд приговорил его еще к трем годам заключения, которые ему пришлось отбывать в одном из худших уголовных лагерей (стены в ШИЗО, по его рассказу, были всегда

мокрые, якобы потому, что в раствор была специально добавлена соль; одетые в тулупы садисты-охранники вымораживали помещение, а полуголые заключенные дрожали от холода, некоторые погибали). Евсюков-старший осенью 1986 года был помещен в психиатрическую больницу. Лишь в 1987 году в положении этой семьи произошло улучшение. Евсюков-старший был освобожден из психбольницы, а затем — в июле — и младший вышел на свободу. В судьбе Евсюковых, в привлечении к ним внимания — что, вероятно, было решающим — огромную роль сыграла Люся. Многие годы она использовала каждую возможность, каждый контакт для того, чтобы напоминать о них — и в СССР иностранным корреспондентам, и — в 1986 году во время зарубежной поездки — политическим деятелям, включая самых высших, представителям массмедиа. В 1987 году в эти усилия включился и я. В августе 1987 года Евсюковы выехали за рубеж.)

Вторая по численности группа посетителей — люди, пострадавшие из-за каких-то конфликтов с начальством на работе, незаконно уволенные и т. п. Те, кто приходил ко мне, часто по многу лет безуспешно добивались справедливости в различных центральных учреждениях. В некоторых из этих центральных учреждений, например в приемных Прокуратуры СССР и Верховного Совета, существует система направлять особо настойчивых посетителей в специальную комнату, где они

попадают прямо в руки санитаров психиатрической больницы. Следует, правда, сказать, что среди моих посетителей этой категории некоторые, несомненно, были психически больными людьми.

Третья группа — пожилые люди, пенсионеры и инвалиды. Из их рассказов передо мной раскрывались трудные условия жизни, часто подлинная нищета тех, кто зависит от системы социального обеспечения. Пенсии в СССР крайне низки, за исключением военных и тех, кто имел высокие заработки. В особенности трудны проблемы жилья, ремонта и т. п. Помочь я, конечно, ни в чем никому не мог.

И наконец, очень много посетителей — родственников осужденных и находящихся под следствием.

Все те же категории представлены в письмах, только наоборот — на первое, подавляющее большинство, место выходят письма от родственников заключенных и от них самих. Это — страшное, удручающее чтение о судебных ошибках, вызванных низким юридическим и нравственным уровнем работы судебных учреждений, предвзятостью суда и следствия, в особенности по отношению к повторно судимым, о произволе в местах заключения, об избиениях и пытках при следствии, о зависимости судебных органов от местных партийных и административных органов, о полной безнадежности добиться пересмотра приговора, о бесполезности обращений в прокуратуру и кассационные инстанции,

отделяющиеся бесконечными формальными отписками. Можно допустить, что часть писем написана людьми, реально виновными и пытающимися «сыграть на жалости», обмануть. Но, несомненно, такой может быть лишь малая часть писем. В большинстве случаев возникало ощущение полной достоверности сообщаемого — слишком страшного, чтобы быть выдумкой. Стил ь писем был такой простой, даже наивный, что подделка мне казалась полностью исключенной. Ошибиться я или мы с Софьей Васильевной, конечно, могли, но лишь в отдельных случаях.

Расскажу по памяти несколько дел, не обязательно самых типичных, но тех, которые запомнились.

Два или три письма я получил от заключенного в одном из лагерей Коми АССР (это район с весьма тяжелым климатом; там сосредоточено много лагерей, пользующихся среди заключенных дурной славой). Письма я получал в этом, как и в некоторых других случаях, каким-то «левым» способом. Заключенный (фамилию не помню) писал, что он был осужден на несколько лет за хозяйственное преступление. Ему предложили стать лагерным осведомителем — он отказался. Его привели на вахту, надели наручники и жестоко избили. При этом против него было сфабриковано лагерное дело о попытке нападения на надзирателей. Он осужден на новый, 9-летний, срок, подвергается преследованиям и не надеется выйти живым на волю.

Другой заключенный, тоже из Коми АССР, рассказывал, что он находился под следствием в городе Очамчири (недалеко от Сухуми). Он оговорил себя, так как боялся пыток, которым подвергали следователи других заключенных в той же следственной тюрьме. Я не могу сомневаться в правдивости этого рассказа. Я имею независимую информацию (переданную Гамсахурдиа еще до того, как он был арестован и осудил свою деятельность) о многих случаях пыток в следственной тюрьме Очамчири.

Однажды я открыл дверь на звонок. Какая-то женщина спускалась по лестнице, в ящике лежало большое, толстое письмо. В нем были рассказ и документы по делу Рафката Шаймухамедова. За два года до получения мною письма молодой рабочий Шаймухамедов был арестован вместе с двумя другими молодыми людьми по обвинению в убийстве с целью ограбления продавщицы продуктового магазина. Шаймухамедов был приговорен к расстрелу, двое остальных — к небольшим срокам заключения. В кассационных жалобах адвокатов из Фрунзе и из Москвы приводились веские аргументы в пользу невиновности Шаймухамедова — свидетельские показания о его отсутствии на месте преступления, данные экспертизы о несовпадении группы крови убитой и на его куртке. В письме матери сообщалось, что прокурор Бекбоев требовал от матери Шаймухамедова сразу после его ареста крупную взятку, — мать

отказалась ее дать. Она с мужем поехала с жалобой в Москву. Прокурор Прокуратуры СССР отказался принять у нее жалобу и угрожал обоим отправить в психиатрическую больницу. Шаймухамедов пробыл в камере смертников около года (или более). Он объявил голодовку, требуя пересмотра дела. Прокурор обещал ему смягчение приговора, если он прекратит голодовку, но тот отказался. На письме матери была приписка, в которой сообщалось, что заместитель Генерального прокурора СССР Маляров (тот самый, который «беседовал» со мной в 1973 году и звонил мне в 1967 году по делу Даниэля) утвердил смертный приговор — Рафкат Шаймухамедов расстрелян. Одновременно был по ложному обвинению в наезде на человека арестован брат Рафката. Прокурор Бекбоев вызвал мать Рафката, сообщил ей о расстреле сына и добавил:

— Нужен дом твоего сына. Продай его (подразумевалось — по очень малой цене). Я расстрелял одного твоего сына, могу расстрелять и второго.

Письмо из Якутии. Заключение сообщил, что он отбывает заключение по повторному обвинению. Он не был виновен, но судьи предвзято отнеслись к нему как к ранее судимому (этот мотив встречается во множестве писем; действительно, это один из самых больных вопросов нашей юридической системы — я уже об этом писал; но самый больной вопрос — низкий образовательный и нравственный уровень судей, что отражает

общее положение в стране). Мой корреспондент далее писал, что ему «шьют» новое, лагерное дело с большим сроком.

Письмо женщины-бухгалтера, осужденной на 11 лет заключения, по ее словам, за преступление, совершенное ее начальником.

Письмо из Казахстана от матери мальчика, погибшего от избиений во время следствия. В их городке традиционно при проходах призванных в армию происходят жестокие драки между русскими и казахами, по ее словам, ненавидящими русских. Это одно из проявлений истинного состояния национальных проблем в СССР. После драки были арестованы подростки, русские и казахи. Погибший мальчик — русский. Следователи-казахи избивали его, пытаясь получить у него необходимые им признания.

Письмо жены молодого парня, осужденного за пьяную драку. Он и она воспитанники детского дома, у них была очень трудная жизнь. Письмо трогательно наивное, искреннее, проникнутое любовью. Им только что улыбнулось счастье, они любят друг друга. Выпивка была случайной. Коля — ее муж — отказывался, его уговорили. В драке он был виноват, но меньше других, а наказан много больше других.

Кроме того, еще несколько писем от бывших воспитанников детских домов, непропорционально много. Это указывает на серьезную социальную проблему и на

непонимание судами необходимости большей чуткости и терпимости в этих случаях.

Темы выпивки, водки — во множестве писем. Пьянство — великая национальная трагедия, превращающая в ад семейную жизнь, умелых работников — в бездельников, причина множества преступлений и связанных с ними трагедий.

Трагедия Коли — одна из них. Рост пьянства в стране отражает глубокий внутренний кризис общества и вину государства, не желающего и не умеющего эффективно бороться с алкоголизмом (*написано в 1983 году, сейчас появилась надежда, что что-то изменится*). Народный едучий юмор нашел броские названия для крепленых дешевых вин, которые стали главным орудием спаивания и выкачивания денег: «бормотуха», «плодово-выгодное» (для кого выгодное?..).

Таковы те невеселые мысли, которые приходят в голову при чтении полученных мною писем (точней — воспоминании о них).

ГЛАВА 46

Афганистан, Горький

В декабре 1979 года СССР ввел свои войска в Афганистан. Специальный отряд КГБ расстрелял главу государства Х. Амина и свидетелей этой акции. Бабрак Кармаль объявил (по радио Ташкента) о создании нового правительства. Советские войска вступили в бой с партизанами; началась антипартизанская война, фактически — война против афганского народа. В чем была цель вторжения и каковы его последствия? В многочисленных советских заявлениях говорится, что советские войска вступили в Афганистан по просьбе его законного правительства, чтобы помочь защитить завоевания апрельской революции от действий засылаемых из Пакистана бандитов. Это объяснение несостоятельно.

Глава государства Амин не мог требовать введения советских войск, которые его же и убили. Фактически Амин стремился к национальной независимости Афганистана и именно поэтому был неугоден советским руководителям. В проводимой им внутренней политике он действительно сталкивался с большим сопротивлением, но, по-видимому, рассчитывал

справиться с ним национальными силами. Вооруженное сопротивление политике Тараки (убитого Амином предшественника) и самого Амина до декабря 1979 года было почти исключительно внутренним, часто почти племенным; общенациональным оно стало лишь после советской интервенции, и тогда же оно стало получать некоторую поддержку извне, первоначально (да и сейчас) очень незначительную. Для основной массы населения Афганистана советское вторжение обернулось трагедией войны, огромными бедствиями.

Истинная причина советского вторжения в том, что оно — часть советской экспансии. По-видимому, советские руководители были в какой-то мере озабочены тем, что после осуществленного при участии КГБ кровавого свержения Дауда Афганистан стал не более, а менее управляемым; вместе с тем, как я думаю, положение в Афганистане было, главным образом, не причиной, а *поводом* для вторжения, преследующего далеко идущие геополитические и стратегические цели. Афганистан, по-видимому, мыслился как стратегический плацдарм для установления советского господства в обширном примыкающем регионе. Менее чем за два месяца до вторжения так называемые революционные студенты ворвались в Тегеране в американское посольство и захватили заложников. Этот акт до крайности

обострил американо-иранские отношения. Все это было чрезвычайно выгодно для планов «мирного» или военного проникновения СССР в Иран, настолько выгодно, что заставляет предполагать участие советских агентов в захвате заложников: некоторые опубликованные в зарубежной печати данные вроде бы подтверждают такое предположение. Вероятно, введя войска, советские руководители рассчитывали на очень быструю победу. Но получилось совсем иначе. Афганистан, не поддавшийся в прошлом Англии и царской России, не поддался и на этот раз. Советские войска оказались перед лицом общенародного сопротивления. Армия режима Кармаля наполовину развалилась, в ней началось массовое дезертирство и переход на сторону партизан. Одновременно война стала принимать все более жестокий характер.

С ужасом и стыдом за свою страну мы узнаем из передач западных радиостанций об обстрелах с вертолетов и бомбардировках деревень, являющихся опорой партизан, о применении напалма, о массовом уничтожении посевов, обрекающем на голод и вымирание обширные контролируемые партизанами районы, о минировании с вертолетов горных дорог, о применении мин-ловушек и даже отравляющих веществ! Спасаясь от ужасов войны, более 4 миллионов афганцев бежали в Пакистан и Иран. Это чет-

верть населения страны. Положение этих людей тоже крайне бедственное. Это самая большая масса беженцев в современном трагическом мире. Могут ли афганцы простить все эти причиняемые им страдания, гибель близких?..

В первые месяцы войны на улицах Кабула кагебисты (как передавало радио) расстреляли демонстрацию девочек-школьниц. Такие преступления производят глубокое впечатление на людей и никогда не забываются. Сообщалось о случаях, когда попавших в плен партизан, в том числе раненых, сжигали заживо, о расстрелах семей крестьян, помогавших партизанам. Конечно, и партизаны совершают много жестокостей. Как заявил один из их представителей, партизаны не имеют возможности охранять и кормить пленных и обычно их расстреливают. Было много сообщений об очень жестоких расправах с пленными и афганцами, сотрудничавшими с режимом Кармаля.

От обмена пленными советско-кармалевская сторона всегда отказывается. Известны случаи, когда советских солдат, попавших в окружение, расстреливали с воздуха советские же вертолеты, чтобы не дать им сдаться в плен.

Общее число убитых советских солдат и офицеров за три года войны превысило, по сообщению иностранного радио, 15 тысяч (сюда не входят потери

ранеными и потери правительственных афганских войск).

Очень существенны международные последствия афганских событий. Вторжение в Афганистан нарушило его статус «неприсоединившейся» страны и тем нанесло удар по всей системе «неприсоединения». Оно вызвало серьезное недовольство всех мусульманских стран. Китай увидел в действиях СССР большую угрозу — они стали еще одним, очень важным препятствием улучшению отношений между СССР и КНР. Далекие последствия изменения расстановки сил на мировой арене, которые произошли вследствие этого, могут оказаться катастрофическими для всего мира. Западные страны, в особенности США и Япония, увидели во вторжении опасное проявление советского экспансионизма.

Это, вместе с другими одновременно происходившими событиями, сильно подорвало доверие к международным обязательствам Советского Союза, к его политике, к громким словам о стремлении к миру и международной безопасности. Косвенным следствием психологических изменений явились более тесное сближение Запада и КНР, пересмотр программ вооружения Запада и международной политики в целом, отказ Конгресса США ратифицировать договор ОСВ-2. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила вторжение как нару-

шение международного права (104 голоса!). Только «вето» в Совете Безопасности спасло СССР от санкций. Я убежден, что вторжение советских войск в Афганистан явилось одной из крупнейших ошибок советского руководства. При этом мы даже не знаем, кем и когда было принято решение о вторжении, кто персонально несет за него ответственность¹.

Здесь проявилась опасность для всего мира, которую несет в себе закрытое тоталитарное общество. Ранее те же особенности нашего общества сделали возможным вторжение в Венгрию и Чехословакию; я уж не говорю о трагических по своим последствиям советско-германском договоре 1939 года и последующем альянсе Сталина—Гитлера.

На Западе часто спрашивают и обсуждают, каково отношение советского народа к действиям своего правительства, в результате которых наши солдаты гибнут — физически и морально — в ненужной афганской войне. Ответить на этот вопрос непросто: у нас нет ни свободной прессы, ни опросов населения (в которых была бы гарантирована анонимность, чтобы люди не боялись); впрочем, вообще нет никаких широких опросов по острым проблемам — их результатов, даже закрытых, видимо, боятся стоящие у власти. Если говорить о том, что на поверхности, то поражают пассивность, равнодушие, отсутствие информированности и даже желания узнать, что же та-

кое происходит на самом деле там, где наши сыновья оказались в роли карателей, убийц и насильников и одновременно — жертв страшной, жестокой и бесчеловечной войны...

Из живых недавних впечатлений. Мы с Люсей должны были получить какой-то документ в нотариальной конторе. Там одновременно с нами находилась женщина средних лет, которая пришла, чтобы заверить справку о том, что у нее есть сын, для получения прибавки к пенсии (на самом деле нотариальная контора была тут излишней, но наши начальники зачастую гоняют людей за ненужными бумажками, как большие начальники гоняют их самих). Формальная трудность была в том, что сын у женщины находился в Афганистане. Нас поразило то безразличие, с которым женщина сообщала об этом. Но и тут никогда не узнаешь, что же у человека внутри...

Начинался 1980 год под знаком ведущейся войны, к которой непрерывно обращались мысли. Похоже, что в это примерно время КГБ получил какие-то более широкие полномочия: в связи ли с войной или в связи с предстоящей Олимпиадой — не знаю. Наличие этих полномочий проявилось в серии новых арестов, в моей депортации. Я вижу большую потенциальную опасность в таком усилении роли репрессивных органов — ведь мы живем в стране, где был возможен 1937 год!..

Что касается событий, непосредственно относящихся к моей личной и семейной судьбе, то они развивались так.

3 января утром я должен был выходить из дома, мы с Люсей собирались в гости. Позвонила жена корреспондента немецкой газеты «Ди вельт» Дитриха Мумендейла Зора. Она передала вопрос мужа: что я думаю о бойкоте Московской Олимпиады в связи со вторжением советских войск в Афганистан? Я ответил:

— Согласно древнему Олимпийскому статусу, во время Олимпиад войны прекращаются. Я считаю, что СССР должен вывести свои войска из Афганистана; это чрезвычайно важно для мира, для всего человечества. В противном случае Олимпийский комитет должен отказаться от проведения Олимпиады в стране, ведущей войну.

На другой день Зора зачитала мне по телефону текст статьи, написанной Дитрихом для его газеты. У меня были какие-то возражения по тексту (как я сейчас понимаю, малосущественные в масштабе происходящих событий). Я попросил задержать статью. Зора ответила, что это невозможно. 4 января (если мне не изменяет память) позвонил Тони Остин, корреспондент американской газеты «Нью-Йорк таймс» (не менее влиятельной в США, чем «Ди вельт» в ФРГ). Он попросил разрешения приехать для ин-

тервью. Я согласился. Тони пересказал ряд последних сообщений из Афганистана и задал мне вопросы о моей оценке создавшегося положения и путей его исправления. Через несколько часов он приехал вновь с готовым текстом статьи, и, пока Люся угощала его чаем, я просмотрел странички и откорректировал свои ответы и их интерпретацию интервьюером. Ввиду чрезвычайной важности предмета это редактирование было очень существенно. Я крайне благодарен Остину, что он дал мне такую возможность; обычно же корреспонденты такого не делают, ссылаясь на журналистские темпы, а я потом рву на себе волосы. Я не знаю, были ли передачи зарубежного радио по статье в «Ди вельт», но статья Остина много раз передавалась американской радиостанцией «Голос Америки» и, по-видимому, произвела впечатление.

7 января Руфь Григорьевна получила разрешение на поездку к внукам и правнукам в США. Возможно, это не совсем случайно произошло именно тогда — она, быть может, мешала каким-то планам КГБ.

8 января был принят Указ о лишении меня правительственных наград. Мы узнали об этом 22 января, а дату принятия Указа — еще поздней.

14 января ко мне обратился корреспондент американской телевизионной компании Эй-Би-Си Ч. (Чарльз?) Е. Бирбауэр с просьбой о телеинтервью и передал вопросы. 17 января состоялось телеинтер-

вью. Как всегда в таких случаях, приехало несколько операторов телевизионной компании с переносным, но все же достаточно тяжелым оборудованием, протянули провода и направили на меня свои яркие лампы. Заснятую пленку и магнитозаписи, включая, кажется, видео, они должны были немедленно везти на аэродром. Опасаясь неприятностей для них со стороны КГБ, я накинул пальто и пошел проводить их до машины, стоявшей на площадке напротив нашего дома. Меня поразило огромное количество гебистов в подъезде и на площадке и какая-то чувствующаяся в воздухе особенная атмосфера — то ли враждебности, то ли злорадства. Две машины с гебистами стояли вплотную к машине телевизионщиков. Я сказал:

— Ну, это наши.

— Да, это наши, — громко подтвердил один из гебистов с каким-то подчеркнутым вызовом. (Вероятно, они уже знали о принятом решении о моей депортации.) Никаких инцидентов, однако, не было — американцы беспрепятственно уехали.

21 января вечером к нам пришел Георгий Николаевич Владимов с женой Наташей для обсуждения вопросов, связанных с заявлением Хельсинкской группы по Афганистану; к этому документу он присоединился так же, как я и Бахмин. Владимов рассказывал разные слухи об афганских событиях, ходящие по Москве, в частности — об обстоятельствах убийства

Амина и самоубийства одного из высших офицеров МВД. Часов в 10—11 вечера Владимов с женой уехали. А в час ночи раздался звонок. Звонил Владимов, очень встревоженный. Один из его друзей только что был на каком-то совещании или лекции для политинформаторов. Докладчик на этом совещании сказал, что принято решение о высылке Сахарова из Москвы и лишении его всех наград. Когда Люся (она подходила к телефону) сообщила мне об этом, я заметил:

— Месяц назад я не отнесся бы к такому сообщению всерьез, но теперь, когда мы в Афганистане, все возможно.

Больше мы с Люсей в этот день и в первую половину следующего не возвращались к этому и, по-моему, не вспоминали о сообщении Владимова. Потом Георгий Николаевич как-то сказал Люсе, что надо было мне в этот злосчастный день 22 января утром уехать куда-нибудь подальше, может быть и обошлось бы. Я так не думаю. Да и он, на самом деле, наверное, тоже.

22 января 1980 года был вторник, день общемосковского семинара в Теоротделе ФИАНа. Я, как всегда, вызвал машину из гаража Академии и в 1.30 вышел из дома. До семинара я еще собирался заехать в стол заказов Академии, получить продукты (в том числе сметану — у меня была с собой для этого банка). Но мы доехали лишь до Краснохолмского моста.

Неожиданно на мосту нас обогнала машина ГАИ. Инспектор дал сигнал остановиться и сам остановился перед нами. Водитель удивленно пробормотал, что вроде ничего не нарушил, и вышел навстречу инспектору. Тот откозырял и стал просматривать путевые документы. Я сидел на переднем сиденье (рядом с водительским местом), наблюдая происходящее. Вдруг я услышал звук открываемых дверей и обернулся. В машину с двух сторон влезали двое; показывая со словами «МВД» красные книжечки (это, конечно, были гебисты), приказали:

— Следуйте за машиной ГАИ в Прокуратуру СССР, Пушкинская, 15.

Водитель молча повиновался. Мы медленно поехали. Я успел заметить, что на мосту, кроме нас, не было ни одной машины — очевидно, движение перекрыли с обеих сторон. Мы свернули в переулочек. Когда мы проезжали мимо будок телефона-автомата, я попросил водителя на минуту остановиться, чтобы позвонить Люсе. Реакция гебистов была мгновенной: один быстрым движением накрыл рукой кнопку двери, другой приказал водителю:

— Не останавливаться, продолжать движение, — и, обращаясь ко мне, — позвоните из Прокуратуры.

Машина въехала во двор Прокуратуры. Я попросил водителя заехать ко мне домой и передать сумку, добавив, что в стол заказов мы, во всяком случае, опо-

здали (гебисты молчали). Я вышел из машины. Тут же плотным кольцом меня окружили гебисты и повели в здание и потом на лифте наверх, на тот же четвертый этаж, где я «беседовал» с Маляровым в 1973 году и с Гусевым в 1977-м. На этот раз меня подвели к двери, на которой была табличка «Заместитель Генерального Прокурора СССР А. М. Рекунков»:

— Пройдите, вам сюда.

Через двойную дверь я вошел в большую комнату. За столом напротив двери сидел человек, предложивший мне сесть. Это и был Рекунков. Лица его я не запомнил. Слева от меня за другим столом сидело еще несколько человек; на протяжении всей беседы они молчали. Я спросил:

— Почему вы не вызвали меня повесткой, а применили столь необычный способ? Я всегда являлся на вызовы в Прокуратуру.

Рекунков:

— Я отдал указание о приводе ввиду чрезвычайных обстоятельств и ввиду большой срочности. Мне поручено объявить вам Указ Президиума Верховного Совета СССР.

Зачитывает текст Указа о лишении меня правительственных наград — насколько помню, в точности тот же текст, что и опубликованный впоследствии в Ведомостях Верховного Совета СССР.

Вот этот текст:

**УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР**

**О лишении Сахарова А. Д.
государственных наград СССР**

В связи с систематическим совершением Сахаровым А. Д. действий, порочащих его как награжденного, и принимая во внимание многочисленные предложения советской общественности, Президиум Верховного Совета СССР на основании статьи 40 «Общего положения об орденах, медалях и почетных званиях СССР» постановляет:

Лишить Сахарова Андрея Дмитриевича звания Героя Социалистического Труда и всех имеющихся у него государственных наград СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Л. Брежнев.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М. Георгадзе.

Москва, Кремль, 8 января 1980 г. №100

Не делая паузы, Рекунков продолжает:

«Принято решение о высылке А. Д. Сахарова из Москвы в место, исключаящее его контакты с иностранными гражданами».

Тут он поднял голову и сказал:

— Таким местом выбран город Горький, закрытый для посещения иностранцев. Пожалуйста, распишитесь в том, что вы ознакомлены с Указом.

Он дает мне напечатанный на машинке лист, на котором я вижу последние слова Указа (опубликованный в Ведомостях текст, т. е. без слов о высылке) и напечатанные на машинке же подписи Брежнева и Георгадзе и никакой даты². Одновременно он говорит:

— Согласно Положению об орденах и медалях, лица, лишенные правительственных наград, обязаны возвратить их в Президиум Верховного Совета СССР.

То же самое написано в лежащем передо мной листке. Это отвлекает меня от многих других вопросов, я пишу:

«Я отказываюсь возвратить присужденные мне ордена и медали, считая, что они присуждены мне в соответствии с заслугами» (не помню точно своей формулировки).

Я спрашиваю, почему под Указом нет даты и собственных подписей Брежнева и Георгадзе. Рекунков говорит что-то о технических причинах и добавляет:

— Здесь присутствует представитель Президиума Верховного Совета СССР (не уточняя, кто именно и в какой должности), он может подтвердить, что все правильно.

Один из сидящих за столом слева молча приподнимается со своего стула и делает что-то вроде полупоклона в мою сторону. Еще раньше, когда Рекунков назвал город Горький, я переспросил:

— Это точно, что Горький закрыт для иностранцев? Это важно.

— Да, конечно.

На самом деле это была совсем не моя забота, и спрашивать мне это было не обязательно. Многие же весьма важные вещи я не спросил. Я не спросил, какая инстанция, кто персонально и на каком формальном основании принял решение о моей высылке. Я не задал этого вопроса, так как считал, что вообще все происходящее — полное беззаконие и бессмысленно входить в юридические споры с нарушителями закона. И мне было все равно, кто формально принял решение — Президиум Верховного Совета по подсказке КГБ или КГБ при попустительстве Президиума. Но в результате такой моей линии поведения, которую я продолжал и в Горьком в первые недели, получалось, что я как бы соглашаюсь с беззаконием. И даже хуже: при такой пассивной тактике легко без борьбы «отдать» больше, чем требуется ситуацией. Эта ошибочная установка еще принесла свои плоды. Рекунков, не возражая по поводу моей приписки об орденах, сказал:

— Теперь нам надо обсудить некоторые практические вопросы. Вы должны немедленно выехать в Горький. Ваша жена может вас сопровождать.

Я спросил:

— Я могу заехать домой?

— Нет, но вы сможете позвонить жене.

— Где мы можем встретиться?

— Этого я не могу вам сказать, но за ней заедут.

Сколько времени ей потребуется на сборы?

— Не знаю, часа два.

— Хорошо, пусть будет два часа. Через два часа после того, как вы ей позвоните, за ней заедут.

На этой стадии беседы я тоже не задал ряда важных вопросов о своем режиме в Горьком (было бы, вероятно, лучше, если бы мне сообщил его Рекунков) и не уточнил, распространяются ли какие-либо ограничения на Люсю. Я не стремился к уточнениям, думая, что постепенно установится какой-то статус-кво и не следует торопить события — можно наклепать лишнее. Может, тут я был и прав.

Я вышел в приемную, где стояло много телефонов. У стен толпилось человек 10 гебистов. Секретарша указала мне городской телефон. Я набрал наш номер и услышал обычный голос Люси (конечно, водитель до нее не доехал).

— Я говорю из Прокуратуры (я не сказал, что СССР). Меня задержали на улице.

— Что-оооо?!..

— ГАИ остановила машину, вошли гебисты, приказали ехать в Прокуратуру. Тут заместитель Генерально-

го Прокурора Рекунков объявил о лишении всех правительственных наград и о моей высылке в город Горький, закрытый для иностранцев.

— Ты заедешь домой?

— Нет, я должен ехать прямо отсюда. Я понял, что ты тоже можешь ехать со мной.

(Словами «ты можешь» я хотел подчеркнуть, что Люся имеет свободу выбора, ехать или не ехать, но она, видимо, не поняла или не до конца поняла и не сказала другим.)

— Где я могу тебя увидеть?

— За тобой заедут через два часа.

Я слышу, как Люся буквально повторяет все мои слова вслух Руфи Григорьевне и Лизе. Последние слова, что за ней заедут через два часа, звучат почти так, что ее арестуют через два часа. Я повесил трубку и пробормотал сам себе:

— Вот так-то...

Тут меня попросили опять зайти к Рекункову. Он спросил:

— Переговорили?

— Да.

— Вопросов ко мне больше нет?

— Нет.

(Мне, наверное, следовало задать свои «юридические» вопросы, но я этого не сделал.)

— До свидания.

— До свидания.

Я повернулся и вышел. Остановился около двери. Меня со всех сторон обступили гебисты; двое из них «символически» дотронулись до моих локтей и тут же отпустили. Мы пошли вниз к микроавтобусу. Один из гебистов нес мою сумку для продуктов. Очевидно, они отобрали ее у водителя, как только я вошел в здание. Мы разместились в микроавтобусе с занавешенными окнами. Я сел на заднее сиденье, рядом со мной справа и слева сели гебисты. Поехали. Впереди нас шла машина ГАИ с маяком и сиреной, сзади — какая-то легковая. Напротив меня расположился человек, заявивший, что он — врач и «так я на него и должен смотреть». Он то и дело спрашивал, не надо ли мне валерьянки (ее у него якобы целая бутылка), валидола или чего-нибудь от головной боли и не холодно ли мне. Я на все отвечал отрицательно. Так с почетным эскортом, как будто кто-то мог меня отбивать, приехали в аэропорт Домодедово. Там меня отвели в какое-то служебное помещение, кажется милиции. Через 2—2,5 часа ожидания один из гебистов сказал:

— Ваша жена подъезжает, сейчас поедем.

У Люси, по ее рассказу, происходило следующее. Как только я позвонил и повесил трубку, наш телефон отключили и в этом состоянии он находится до сих пор. (Добавление 1987 г. Находился до января 1987 года.) Люся стала поспешно собираться и одновременно

сразу послала Лизу позвонить из телефона-автомата друзьям и иностранным корреспондентам. Около дома ближайšie аппараты были отключены, но Лиза добежала до неотключенного и успела позвонить кому-то из инкоров и Насте Подъяпольской (дочери Гриши и Маши). Тут же отключился и этот телефон-автомат, а через несколько минут и телефон Подъяпольских, но Настя успела позвонить еще в одно место, Ире Каплун, которая смогла позвонить еще нескольким инкорам. (Я уже писал об Ире, о ее трудной судьбе. Странно сейчас писать о ее участии в событиях 22 января — через полгода она трагически погибла.)

Когда Лиза вернулась, дом был уже плотно оцеплен милицией и КГБ. У двери квартиры стояли два милиционера. Если бы Лиза замешкалась, возможно ее уже бы и не выпустили. Вскоре стали подъезжать иностранные корреспонденты и наши друзья. Но уже никто из них не мог проникнуть внутрь кольца оцепления. Кто-то из милиции, вернее из КГБ, «подбросил» идею, что меня увезли в Шереметьево (международный аэропорт). Отсюда возникла версия, что меня высылают, и вскоре появились сообщения, что меня ждут в Вене. Впрочем, эти сообщения шли как сугубо непроверенные. Основное, что передавалось в эти часы по всем телетайпам и радиостанциям, что попало в экстренные телевизионные передачи и экспресс-выпуски газет и буквально всколыхнуло весь мир, — это переданное Лизой и Ирой

сообщение о моем задержании, лишении наград и депортации в Горький, и передавалось также, что вместе со мной вывозят мою жену. Через два с половиной часа после моего звонка позвонили в дверь. На площадке стояли несколько офицеров милиции. Они спросили:

— Вы готовы?

Люся ответила:

— Да, пройдите.

Они отказались.

— Могут меня сопровождать Руфь Григорьевна и Лиза?

— Да, конечно.

Люсю, Руфь Григорьевну и Лизу провели по черному ходу и посадили в стоявший во дворе микроавтобус с занавешенными окнами, такой же, вероятно, как и тот, в котором доставили меня (а может, вообще тот же самый). Был также такой же эскорт. Люся настояла, что она будет сидеть с Руфью Григорьевной и Лизой и, приоткрыв занавеску, увидела, что их везут в Домодедово. В тот момент никто из них не думал (не до этого было), что в оставшейся пустой квартире неизбежно будет проведен негласный обыск и изъятие того, что они сочтут нужным (в числе прочего в тот день пропали рукописи моих отданных уже в печать научных статей на русском и английском языках, вероятно многое другое, возможно в этот же день был похищен мой нобелевский диплом).

Около шести часов вечера меня вывели из помещения милиции на поле аэродрома к микроавтобусу, в котором я увидел мою жену, Руфь Григорьевну и Лизу. Мы обнялись и поцеловались. Через пять минут офицер скомандовал:

— Пора, самолет готов к вылету.

Мы с Люсей попрощались с Руфью Григорьевной и Лизой и, держа в руках толково собранные за два часа Люсей сумки, пошли к трапу самолета. Он стоял наготове рядом. Через несколько минут самолет Ту-154 взял курс на Горький, а Руфь Григорьевна и Лиза в том же микроавтобусе поехали домой, где их уже ждали друзья и иностранные корреспонденты, которые только от них получили, наконец, долгожданную информацию. Через час она была уже достоянием всего мира.

В самолете летели мы и человек десять гебистов (в том числе, как нам сказали, врач-мужчина и врач-женщина). Потом я слышал, что одновременно в Горький вылетел еще один самолет, на котором находился в числе других заместитель председателя КГБ Цвигун. Точность этого сообщения не гарантирую.

Мы испытывали такое облегчение, что наконец вместе (куда угодно — хоть на край света), что странным образом этот полет воспринимался как некий момент чего-то вроде счастья. Бортпроводница принесла обед. Обычно на таких коротких линиях пассажиров вообще не кормят, а тут нас угостили по высшему — интурист-

скому или, верней, начальственному — классу. Это было очень кстати — мы оба с утра не ели. При посадке произошла небольшая заминка — не вышло шасси, пилот сделал несколько кругов над Горьким (народная мудрость учит, что, если в деле замешано слишком много начальства, — всегда жди неполадок). Но пилот тряхнул, и шасси вышло. На аэродроме нас опять посадили в микроавтобус, полный каких-то людей, и повезли. Ехали долго. Люся спросила:

— Куда мы едем?

— Домой, — сказал, усмехнувшись, один из сопровождающих.

Наконец автобус свернул с проспекта Гагарина (как мы потом узнали) к 12-этажному дому-башне. Мы вошли в квартиру на первом этаже. Меня сразу пригласили в большую комнату, где за столом и рядом сидело несколько человек. Вероятно, я должен был настоять, чтобы для беседы пригласили также Люсю. Но я хотел поскорей разделаться с официальной частью, приняв ее на себя. Сидевший за столом человек отрекомендовался:

— Заместитель прокурора Горьковской области Перельгин. Мне поручено ознакомить вас с условиями установленного для вас режима.

(Я не спросил — кем установленного, на каком основании, считая и так ясным, что — КГБ и без каких-либо оснований; повторяю, я сейчас считаю эту тактику не лучшей. Я не потребовал также каких-либо документов

о режиме и не спросил, почему я получаю «сюрпризы» после того, как мне сегодня утром сделал свое объявление Рекунков, но я все это считал пустой тратой слов.)

Перельгин продолжал:

— Вам запрещено выходить и выезжать за пределы города Горького, где вы поселены под гласный надзор. Вам запрещено встречаться или иметь какую-либо связь с иностранными гражданами и с преступными элементами. Периодически, по вызову МВД, вы обязаны являться в Управление МВД для регистрации к товарищу Глоссену по адресу — улица Горная, дом 3. В случае невыполнения этого предписания вы можете быть подвергнуты приводу. По всем возникающим у вас вопросам вы можете обращаться к сотрудникам Комитета Государственной Безопасности майору Чупрову Юрию Петровичу и капитану Шувалову Николаю Николаевичу. Запишите их телефон.

Я никак не высказал своего отношения, согласия или несогласия, к сказанному Перельгиным. Он и сопровождавшие его люди ушли. Люся в это время поговорила с женщиной, назвавшейся «хозяйкой» гостиничной квартиры, и осмотрела помещение. Это действительно была квартира гостиничного типа из четырех комнат с кухней и ванной (но одну из комнат занимала «хозяйка»; мы только через полгода узнали, в чем на самом деле заключалась ее роль). «Хозяйка» рассказала Люсе, что она вдова офицера КГБ, товарищи мужа устроили

ее на эту работу. «Хозяйка» заперлась в своей комнате (в дальнейшем она на ночь и большую часть дня вообще уходила, а приходила лишь на два-три часа днем и сидела без видимого дела в своей комнате).

Мы остались вдвоем. Люся сразу отругала меня за мое поведение во время беседы и за то, что я согласился вести беседу без нее (она вошла в комнату, а ее попросили выйти).

Люся захватила в свои двухчасовые сборы самую важную вещь — транзисторный приемник (подарок Алеши). Мы включили его. Сообщения о высылке Сахарова были главной темой — наравне с Афганистаном — в этот вечер и многие последующие. Две недели передавалась подборка из моих статей, дававшая довольно полное представление о моих взглядах и общественной деятельности. Передавались протесты общественных деятелей, писателей и особенно весомо — ученых, в их числе: Филиппа Хандлера, Джереми Стоуна, Сиднея Дрелла и многих других. Хандлер выступил в мою защиту от имени Академии и американских ученых еще в 1973 году. Выступления сразу после моей высылки и многочисленные последующие имели широкий отклик, сыграли большую роль в формировании кампании «Сахаров дефенс», важной, я убежден, не только в моей личной судьбе. Я не исключаю, что выступления президента Национальной академии США Хандлера и других видных ученых произвели впечатле-

ние на советские власти и удержали от новых шагов против меня.

К сожалению, мои коллеги в СССР опять так же, как и в деле Юрия Орлова и множестве других, никак себя не проявили (если не говорить о таких, как академик Федоров и академик Блохин, которые выступили с публичными нападками на меня, вероятно прямо выполняя полученные ими инструкции). Между тем, я думаю, что открытое публичное выступление нескольких (пяти, даже трех) заслуженных, пользующихся уважением академиков имело бы очень большое значение, могло бы изменить не только мою судьбу, но и — что гораздо существенней — положение в стране в целом. При этом (и это тоже важно) этим людям ничего бы не грозило: не только высылка или арест, но и потеря работы, изменение их положения в научной иерархии. Максимум (максимум!) — на какое-то время были бы ограничены их поездки за рубеж. И больше ничего! Совершенно несоизмеримые огромные возможные положительные последствия для всей страны, в том числе и для науки, ее авторитета, для личного престижа тех, кто на это решится, и — минимальный риск. Однако таких людей в научной верхушке СССР на сегодня не нашлось. Почему — не знаю, но это факт, и крайне постыдный и печальный. Неужели наша интеллигенция так измельчала со времен Короленко и Лебедева? Ведь П. Н. Лебедев не меньше нынешних лю-

бил науку, не меньше был связан с университетом, когда ушел после решения министра просвещения Кассо о допущении жандармов на территорию университета (сколько гебистов в МГУ сейчас, известно, наверное, только Андропову). Хочется все же думать, что люди просто еще не понимают своих возможностей и ситуации в целом. В этом случае еще есть на что надеяться.

В феврале 1980 года Люся написала обращение к советским физикам. Она не согласовала его до публикации со мной, опасаясь, что это как-то свяжет и ее, и меня. В марте или апреле 1980 года Анатолий Марченко (о его судьбе я писал выше) написал открытое письмо академику П. Л. Капице. В обоих этих документах — с разных точек зрения, с разных сторон — проводится та же мысль об ответственности ученых сегодня. (Обращение Е. Г. Боннэр приведено в дополнении 6.)

В первые дни нашего пребывания в Горьком мы имели сильное переживание — мы услышали по радио голос Тани. Она читала обращение по поводу высылки. Голос был таким близким, звучал так тепло и взволнованно, что невольно глаза застилала слезы. Изменение моего положения очень сильно отразилось на детях в Бостоне. Я уже пытался описать ту сложную, трудно объяснимую ситуацию, в которой они оказались, приехав в США.

После моей высылки на них навалились новые заботы и новые неотложные дела. В результате необходимое

утверждение их в зарубежной жизни осложнилось еще больше. Это одно из тех следствий моей высылки, которое волнует меня больше всего.

В советской прессе о моей высылке и лишении наград было сообщено 23 января.

В Ведомостях Верховного Совета СССР был опубликован уже приведенный Указ о лишении наград. Примечательна его дата — 8 января. По-видимому, этот Указ КГБ рассматривал как развязавший ему руки в отношении меня и разработал операцию высылки.

Как рассказывают, заседание, на котором был принят Указ, проходило в узком составе под председательством Тихонова (будущего Председателя Совета Министров СССР); Брежнева не было. От КГБ докладывал Цвигун.

В первые недели после высылки в советской прессе вновь появились статьи с осуждением моей деятельности, по телевидению с комментариями выступил известный обозреватель Юрий Жуков. Типичной статьей этой кампании была «Цезарь не состоялся», напечатанная в «Комсомольской правде», перепечатанная в «Горьковском рабочем» и, вероятно, в других местных газетах.

25 января, через три дня после нашего прибытия в Горький, Люся собралась в Москву. Она поехала на вокзал, взяв с собой мое заявление с сообщением о моей депортации и установленном режиме, с подтвержде-

нием моей принципиальной позиции по основным общественным вопросам (дополнение 6). Но через два три часа вернулась назад. Оказывается, когда она уже села в поезд, к ней подошел офицер милиции и предложил выйти на перрон.

— Разве мне не разрешены поездки?

— Разрешены, но есть известия о вашей маме.

Взволнованная Люся вышла.

— Ваша мама с Наташей Гессе и Лизой едут на машине в Горький.

— Кто это придумал?

(Люсе, конечно, не надо было так спрашивать, но у нее вырвалось.)

— Наверное, Наташа, — сказал гебист не без яда.

На самом деле, Руфь Григорьевна, Наташа и Лиза, измученные отсутствием точных известий (наши телефонные звонки с почтамта прерывались, в телеграммах мы могли сообщить лишь адрес и очень мало сведений), решились на поездку (на машине нашего близкого знакомого Эмиля Шинберга, который и привез их в Горький к ночи после целого дня труднейшей зимней дороги). Это было, конечно, субъективно совершенно героическое действие, особенно со стороны Руфи Григорьевны, очень больного человека. В 1980 году ей исполнилось 80 лет, но у нее всегда находились силы в трудных ситуациях, когда она считала, что должна прийти на помощь близким. Мы с Люсей сначала, одна-

ко, встретили их упреками — зачем приехали: это, конечно, было с нашей стороны несправедливо и жестоко, но надо понять и нас, нашу досаду — ведь сорвались наши планы.

Руфь Григорьевна рассказала об обстановке в Москве. Вечером 22-го Руфь Григорьевна и Лиза дали импровизированную пресс-конференцию — о ней мы уже знали. Не только в этот день, но и все последующие квартира на Чкалова с раннего утра и до позднего вечера была полна людей — инкоров, жаждущих новой информации, которой не было, друзей, просто знакомых и совсем незнакомых — это был «сумасшедший дом», по выражению Наташи (сама она бросилась на поезд в Москву вечером 22 января, сразу, как только они в Ленинграде услышали по радио о произошедшем с нами; вероятно, первой услышала Регина — она всегда аккуратно слушала радио).

Накануне приезда к нам Руфь Григорьевна поехала к знакомым и позвонила академику П. Л. Капице (напомню, что наш телефон был отключен, так что из дома она позвонить не могла). Фактически это был призыв вмешаться. Но Капица уклонился от каких-либо действий, как и все другие «именитые». (*Добавление 1988 г.* В 1987—1988 годах мне стало известно, что Капица все же дважды предпринимал негласные действия в мою защиту.) Несколько слов о позиции Академии в целом, ее Президиума. Бытует мнение, что Академия оказала

противодействие нажиму властей, требовавших моего исключения из числа академиков. По дошедшим до меня рассказам это не так. Исключения требовали на заседании Президиума два или три особо «ретивых» академика. Фамилии я их забыл. Александров ответил, что вопрос об исключении не стоит. Из этого ответа кажется очевидным, что ни отдел науки ЦК, ни КГБ не ставили вопроса об исключении.

Люся уехала в Москву с Лизой в воскресенье и вернулась через неделю. Она опубликовала мое заявление на пресс-конференции, получившей очень широкий отклик. Она также дважды была в прокуратуре по вызову. Там она потребовала объяснений моей высылки и разрешения проблем Лизы, все еще не получившей возможности выехать к своему жениху — Алеше.

В первые дни моего пребывания в Горьком меня посетило несколько человек, живших в Горьком и узнавших так или иначе мой адрес (его передавало, в частности, зарубежное радио). Среди них был Феликс Красавин, которого Руфь Григорьевна и Люся, а затем и я, знали уже с давних времен. Остальных мы не знали совсем, за исключением горьковского еврея-отказника Марка Ковнера, которого я как-то раз мельком видел в Москве на еврейском семинаре (как он мне об этом напомнил). Пришел участник одного из горьковских политических процессов Пономарев, женщина-адвентистка с дочерью с известием о смерти Шелкова. Вме-

сте с Ковнером пришли двое его знакомых, еще несколько человек, которых я не запомнил. При выходе же из квартиры всех приходивших задерживал милиционер и отводил в расположенный рядом «Опорный пункт по охране общественного порядка» (такая там висела вывеска, оставшаяся от прежнего времени, потом ее сняли). Там их держали несколько часов, проверяли документы, вели устрашающие беседы, и многие имели неприятности. Через несколько недель власти изменили тактику и перестали пускать ко мне кого-либо, кроме тех, кого подослал или пропустил КГБ для «воспитательной беседы». Еще через несколько месяцев прекратились и «воспитательные» беседы. Пономарев и некоторые другие спрашивали, в чем я нуждаюсь, и предлагали свою помощь, но, опасаясь больших неприятностей для них, я говорил, что ничего не нужно, а от меня безопасней держаться подальше, лучше вообще не приходите. Боюсь, не показались ли эти слова кому-то обидными. Я этого не хотел бы.

В понедельник Руфь Григорьевна уехала с Эмилем в Москву. Последующую неделю со мной была Наташа. К сожалению, за эту неделю я допустил ряд серьезных ошибок в своих отношениях с властями. Оглядываясь на этот период сейчас, спустя полтора года, я думаю, что у меня были тогда неправильные психологические установки, о которых я уже писал, когда описывал свою беседу с Рекунковым. На это наложились, быть может,

общее состояние некоторого шока, который у меня, возможно, был, хотя я внешне этого не показывал и не ощущал, и общие мои характерологические особенности — недостаточная боевитость, что ли, и медленная реакция в беседе. В этих отношениях, как и во многих других, Люся выгодно от меня отличается. В общем, вместе мы хорошо друг друга дополняем, но тут ее не было.

Утром в понедельник, через час после отъезда Руфи Григорьевны, пришел офицер и предложил мне зайти в Управление МВД. Я не попросил у него для первого раза повестки и вскоре вместе с Наташей поехал на улицу Горную и прошел в указанную мне комнату. Там за столом сидели два человека в штатском, представившиеся:

— Майор Чупров.

— Капитан Шувалов.

Они начали разговор с претензии: зарубежное радио передает, со ссылкой на ваш телефонный звонок из Горького, что вы внесли добавления в так называемый документ Хельсинкской группы. Вы тем нарушили установленный вам режим.

Я говорю:

— Это недоразумение.

— Можете ли вы написать это?

— Конечно.

Я взял лист бумаги и написал:

«Я не звонил в Москву; все мои попытки позвонить незаконно пресекаются. Я не вносил никаких поправок и дополнений в документ Хельсинкской группы, так как я не являюсь ее членом. Сообщения об этом основаны на недоразумении. Но я присоединился к документу».

Чупров продолжал:

— Режим нарушается и тем, что вы принимаете людей, общение с которыми запрещено вам: Красавин ранее отбывал заключение, Ковнер привлекался к ответственности за участие в незаконной демонстрации, Пономарев отбывал заключение.

Я сказал:

— Я вообще не понимаю, что значит «общение с преступными элементами». Я общаюсь с людьми, которые являются моими знакомыми. Феликс Красавин — наш давнишний знакомый, судимость с него давно снята, он работает в городе Горьком, и общение с ним было и, я думаю, будет чисто личным. Я понимаю, что вы можете устроить людям неприятности за общение со мной; я говорю об этом всем проходящим, говорил и Пономареву (это я очень зря добавил!).

— Но это совершенно незаконно, ни на чем не основано и, по сути, не нужно и вам.

Вспоминая эту и предыдущую часть разговора, я очень недоволен пассивным, ненаступательным харак-

тером моей линии, тем, что я не защищал активно право на общение со мной ни для кого, кроме Феликса, и не предъявлял претензий к гебистам. Я сказал:

— Теперь у меня будет ряд просьб к вам. Я понимаю, что все вопросы, относящиеся ко мне, решаются на высоком уровне. Я прошу записать мои вопросы и сообщить их вышестоящему руководству.

1. Чрезвычайно важным и срочным вопросом, решение которого способствовало бы смягчению ситуации в целом, является дело невесты сына Лизы Алексеевой. Она до сих пор не имеет разрешения на выезд к нему, ее задержание — незаконно.

2. Необходимо, чтобы ко мне приезжали в командировку молодые научные сотрудники из ФИАНа. Это необходимо для продолжения мною научной работы.

3. Я — диспансерный больной поликлиники АН СССР. Необходимо организовать возможность продолжать мне пользоваться услугами моих врачей.

4. Необходимо восстановить отключенный телефон у моей тещи в Москве. Она — тяжело больной человек, и отсутствие телефона создает опасность для нее.

5. Необходимо поставить телефон в той квартире, в которой я поселен. Я академик и имею право на личный телефон.

Чупров сказал, что доложит мои просьбы.

— Относительно телефона вы можете сами обратиться на телефонную станцию. По вопросу медицин-

ской помощи вы можете обратиться в любую поликлинику.

Я сказал, что никто со мной на телефонной станции и разговаривать не будет, я не прописан в городе Горьком и официально — москвич.

— Вы можете прописаться.

— Я не буду этого делать ни в коем случае. Я считаю свой вывоз в Горький незаконным. Относительно медицинской помощи — я не собираюсь менять своих врачей, это мое право.

Я стал уходить. Чупров попросил меня задержаться на минуту — расписаться в посещении. Вошел человек в форме, Чупров назвал его фамилию — Глоссен, с тетрадкой под мышкой. Я подумал, что раз уж я приехал, то смешно отказываться расписаться. У меня еще не было твердого решения отказаться от регистрации во что бы то ни стало, так как я еще не совсем ясно представлял себе все возможности своей ситуации.

Вечером произошел еще один инцидент. Раздался звонок. Я впустил двух мужчин. Оба они были пьяны или, как я думаю, изображали опьянение.

— Мы хотим посмотреть, какой такой Сахаров!

— Я — Сахаров.

— Почему вы выступаете за бойкот Олимпиады?

— Потому что СССР ведет военные действия в Афганистане.

— Почему вы защищаете бандитов, которые убили бортпроводницу?

— Я никогда не выступал в защиту Бразинских. За угон самолета они отбыли свой срок по приговору турецкого суда. Но не они убили Надю Курченко — ее случайно убил советский охранник.

Мой нарочито спокойный тон не действует на них — они все больше распаляются, начинают выкрикивать все более бессмысленные обвинения. Один из них неожиданно вынимает из кармана пистолет системы Макарова и начинает «играть» им, поворачивая направо и налево, подбрасывая. Прямо в меня он при этом не целится, но очень близко — то справа, то слева, то над головой. Он говорит:

— Это невозможно, чтобы охранник убил нечаянно. Я сам работал охранником и без промаха стреляю из любого положения — стоя, сидя, лежа.

Другой вроде успокаивает «стрелка», подтверждая, что он действительно классный стрелок. Еще раньше я спросил:

— Что это: пистолет или зажигалка?

Они начинают деланно хохотать:

— Это зажигалка такая, которая в человеке дырочки делает!..

Другой в это время приходит в страшное возбуждение и кричит:

— Я сейчас вам покажу Афганистан! Я сейчас из всей квартиры сделаю Афганистан!

Потом они вдруг меняют пластинку и начинают доверительно говорить:

— Вам тут недолго жить, скоро вас вывезут в санаторий, где есть хорошие лекарства: из людей быстро идиотов делают!..

На кухне в это время были Наташа и «хозяйка», она кипятила себе чай. Наташа с ужасом наблюдала через открытую дверь происходящее, игру с пистолетом и решила, что надо как-то вмешаться. Она шепотом сказала «хозяйке»:

— Выйдите с ведром, как будто выносите мусор. Подойдите к милиционеру, скажите ему, что здесь пьяные с пистолетом.

«Хозяйка» вышла, очень долго отсутствовала (мусоропровод был рядом). Когда она вернулась, Наташа спросила:

— Сказали?

Та изобразила непонимание. Наташа послала ее еще раз. Через несколько минут вошли несколько милиционеров. Они спросили:

— Что у вас происходит?

Я говорю:

— Ничего особенного.

Они тут же увели «пьяных».

Вечером я сел писать дневник. Я веду дневник с января 1977 года (к сожалению, не вел раньше; многое в этих воспоминаниях могло бы быть точнее и с боль-

шими, интересными подробностями). В этот вечер я начал после перерыва записывать все события, происходившие 22 января и в последующие дни. Наташа погулила свет раньше, чем я кончил писать.

На другой день рано утром (Наташа готовила на кухне завтрак) пришел Глоссен:

— Мне необходим ваш паспорт.

Я, не задумываясь, пошел в другую комнату и принес ему паспорт. Глоссен, не глядя, стал вкладывать паспорт в принесенную им с собой папку.

— Зачем вам паспорт? — все же у меня появились какие-то сомнения.

— Мне приказало начальство забрать у вас паспорт. Мы можем выписать вас из Москвы и постоянно прописать в Горьком.

Я внутренне испугался, но решил держаться с достоинством, как полагается академику:

— Это исключено. Я даю вам паспорт самое большее для временной прописки.

Глоссен сказал:

— Я передам начальству.

Может, мне следовало сказать ему:

— Верните мне паспорт.

Вероятно, это было бы совершенно бесполезно. Или попытаться вырвать у него паспорт. Этого я бы не сумел. Я жалею, что не попросил вернуть паспорт — это было бы более определенным выражением моего

желания. Но главный вопрос: почему я так легко отдал паспорт? Я до конца этого не понимаю сейчас и не понимал тогда. Я думаю, тут играло роль несколько факторов. Общая установка стараться выполнять обращенные к тебе просьбы, основанная на некотором внутреннем уважении к людям; и длительная (десятилетиями) независимость от каких-либо документов, отсутствие привычки думать о документах всерьез. Оба эти фактора, конечно, не должны были действовать в новой моей ситуации, но привычки часто сильнее разума. Состояние скрытого шока еще более усиливало их действие в подсознании. И, наконец, четвертое. Как я уже сказал, я еще не выработал четко всей своей линии в целом.

На другой день (в среду 30 января) на улице (я шел в магазин) ко мне подошел незнакомый офицер милиции и сказал, что я должен явиться к заместителю прокурора Горьковской области тов. Перелыгину. Он стал говорить мне адрес. Я перебил:

— Я пойду по повестке.

В течение ближайшего часа несколько офицеров приходили в дом и устно предлагали явиться к Перелыгину. Я же требовал повестки. Наконец наспех приготовленную повестку принесли (а может, наоборот, она была у них с самого начала). Я, в сопровождении Наташи, поехал в прокуратуру. Этот вызов был ответом на Люсину пресс-конференцию в понедельник. Я прошел

в кабинет Перельгина. Он был один (редкий случай при таких беседах). Перельгин стал говорить:

— Ваша жена организовала в Москве пресс-конференцию с иностранными журналистами. Зачитала составленное вами заявление, содержащее ложные, клеветнические измышления. Эти действия являются нарушением установленного для вас режима, с которым я ознакомил вас 22 января.

Я спросил:

— Кем установленного? На каком основании? Я должен иметь на руках письменный документ, устанавливающий основания моей высылки и определяющий ее условия. Устные формулировки от меня ускользают и ни к чему не обязывают.

Перельгин:

— К этому вопросу мы вернемся позднее. Сейчас дайте мне закончить то, что я должен вам сообщить. Я должен вас предупредить, что при нарушении установленного для вас режима будет поставлен вопрос о принятии мер, исключающих такие нарушения. В частности, будет поставлен вопрос об изменении места вашей высылки. Также я сообщаю вам, что к ответственности будут привлечены лица, являющиеся посредниками в осуществлении запрещенных вам контактов с иностранцами. К ним будут применены меры, исключающие такие их действия. Вы должны написать объяснение по поводу допущенных вами нарушений.

Я взял несколько листов бумаги и написал примерно следующее (к сожалению, я не оставил копии):

«Мое заявление с изложением моей позиции и описанием положения, в котором я нахожусь, по моей просьбе опубликовано в Москве моей женой Е. Г. Боннэр на пресс-конференции. Я и только я несу ответственность за его содержание и за факт его публикации в мировой прессе и радио. Я считаю себя вправе и в дальнейшем высказываться по тем или иным вопросам современности и информировать о своем положении и публиковать эти высказывания. Заявление прокурора Горьковской области Перельгина, согласно которому такие мои действия являются нарушением установленного мне режима, является безосновательным. Эти действия не противоречат моим законным правам. Совершенно незаконными и недопустимыми являются угрозы и обвинения в заявлении Перельгина в адрес посредников в опубликовании моих документов, в частности в адрес моей жены Елены Боннэр. Само слово «посредник» в данном случае совершенно лишено какого-либо юридического смысла. Мои документы публикую именно я без посредников в соответствии со своим правом на свободу убеждений и информации, и никто, кроме меня, не может нести за это какой-либо ответственности. 30 января 1980 года. Андрей Сахаров, академик АН СССР».

Перельгин прочитал мою записку, усмехнулся и пробормотал:

— Очень недвусмысленно написано.

Затем, обращаясь ко мне, он сказал:

— В подтверждение этой беседы и сделанного мною заявления я прошу вас визировать вот это.

И он подал мне листок размером меньше чем в пол-страницы, на котором было напечатано на машинке следующее:

«Сегодня, 30 января 1980 года, советник юстиции (не помню, какого класса) заместитель прокурора Горьковской области Перельгин (инициалы) объявил мне, что при дальнейших нарушениях установленного мне режима может быть поставлен вопрос о его изменении, в частности об изменении места высылки; мне сообщено также об ответственности за нарушение режима посредниками в контактах с иностранцами.

Дата, место для подписи».

Я сказал:

— Да, вы действительно все это заявили, а я выразил свое к этому отношение.

И, говоря это, подписал листок. Перельгин сказал:

— Я вижу, вы уже собираетесь нарушать режим.

Я говорю:

— Конечно. Я считаю его незаконным, и я написал — почему.

Я вышел из кабинета. Вместе с Наташей мы спустились на улицу, и я стал ей рассказывать перипетии беседы, вполне довольный собой. Лишь через несколько часов я сообразил, что подписанный мною листок является документом, совершенно независимым от моей записки, и может использоваться в смысле, что я подтверждаю, что я предупрежден.

При большой натяжке это может даже использоваться как некоторое согласие с предупреждением, а юридические деятели — большие мастера на такие натяжки. Я заволновался и в тот же вечер написал Перельгину «Разъяснение к подписи», в котором подчеркнул, что моя подпись имеет смысл только как подтверждение того, что я ознакомлен с его заявлением; мое же отношение к его утверждениям и угрозам как к незаконным сформулировано в моей записке. Это «Разъяснение» я послал по почте и через полмесяца получил уведомление о вручении.

Я подробно рассказал о событиях 22—30 января, первой недели моего нового положения, о своих ошибках в эти дни. Вспоминая об этом, я невольно сопоставляю свое положение с положением арестованных, которые оказываются в обстановке гораздо более сильного давления и стресса и при этом в состоянии полной изоляции. Но я вижу, конечно, в своем поведении в эти дни

и последующие не только ошибки. Я полностью сохранил свою позицию по принципиальным вопросам и нашел в себе силы для жизни и самой напряженной работы в новом положении. Огромную роль в том, что это стало для меня возможным, сыграла и продолжает играть Люся.

ГЛАВА 47

Дом в Щербинках. «Режим». Кражи и обыски.
Общественные выступления. Научная работа.
Люся в эти годы

В первые месяцы 1980 года, в основном, сложились внешние контуры моего положения в Горьком — с его абсолютной незаконностью и в чем-то парадоксального. Иногда КГБ совершал новые акты беззакония, нарушая статус-кво. Очень важные события (важные и по существу, и для моего мироощущения) связаны с делом Лизы. Об этом я пишу в следующей главе. Внутри этих контуров продолжались моя общественная деятельность и, в каких-то масштабах, попытки научной работы. Происходили и некоторые события личного характера.

Как я уже писал, меня поселили на первом этаже двенадцатиэтажного дома-башни в одном из новых окраинных районов Горького с несколько странным названием Щербинки, очевидно унаследованным от когда-то находившейся здесь деревни.

В первые дни из каждого окна, на каждом углу я видел характерные фигуры в штатском. Это — кроме постоянно, днем и ночью, дежурящего в подъезде мили-

ционер. В дальнейшем фигуры перестали маячить столь назойливо, за исключением «особых» случаев, вроде моего дня рождения. Но, конечно, это не значит, что штаты и «бдительность» следящих за мной людей уменьшились — время от времени они давали о себе знать. Сообщая мне о «режиме», Перельгин сказал, что мне запрещено общаться с иностранцами и «преступными элементами». Очень скоро выяснилось, что КГБ трактует этот термин очень расширенно и, по существу, лишает меня возможности общаться вообще с кем-либо, кроме крайне ограниченного круга лиц. Беспрепятственно ко мне могут приезжать только моя жена, Руфь Григорьевна и мои дети. Посещения также были разрешены трем горьковчанам: Феликсу Красавину и его жене (но не сыну-школьнику) и Марку Ковнеру (о них я уже писал). Несомненно, что разрешения Феликсу и Марку были даны не «по слабости», а с ними были связаны определенные расчеты, оставшиеся им обоим и нам неизвестными — о них мы можем только догадываться. Каждого из них время от времени вызывали в КГБ «для беседы». Один из примеров возможных расчетов КГБ, быть может не главный. Жена Феликса Красавина — врач-терапевт. Обычно Феликс приходит без нее. Но два или три раза, когда у меня было ухудшение состояния сердца или тромбофлебит, Феликс приводил ее, чтобы она меня посмотрела.

Когда к президенту АН А. П. Александрову кто-то обратился с вопросом, почему Сахаров лишен медицинской помощи, Александров воскликнул:

— Почему лишен? Ведь его смотрит эта Майя.

На самом деле визиты Майи были чисто личными и эпизодическими и никак не могли заменить серьезной медицинской помощи. И вообще: откуда он знал про визиты жены Красавина, которую он так «запросто» называл по имени? Вопрос чисто риторический — несомненно, не без участия КГБ.

Моей невестке Лизе, как я пишу ниже, в мае 1980 года запретили ездить ко мне в Горький. В первые месяцы ко мне пропускали также незнакомых людей, относительно которых была уверенность, что они будут пытаться «переубедить» меня. Потом и эти посещения прекратились. Всех остальных неизменно задерживал дежурный милиционер — пост с марта 1980 года расположен непосредственно у входной двери; ночью дежурный иногда дремлет, но так протягивает ноги, чтобы было невозможно подойти к звонку, минуя их. Всех задержанных милиционер отводит в специально выделенное помещение в доме напротив, куда сразу прибывают для допроса соответствующие чины. Если задержанные — незнакомые люди, сочувствующие или надеющиеся найти защиту от каких-либо притеснений, часто приехавшие специально издалека, то я могу, вернее всего, никогда и не узнать об их посещении. Если это — иногородние, их часто тут же

вывозят из Горького. Во всех случаях у людей бывают неприятности, иногда — весьма крупные (вплоть до помещения на несколько месяцев в психиатрическую больницу; я задним числом узнал о трех таких случаях).

Однажды к нам проникли поговорить два мальчика-школьника. По выходе их схватили и вели «допрос» около трех часов. Мы все это время ждали у окна, когда они выйдут из опорного пункта. Один из мальчиков наконец вышел и махнул нам рукой; мы с облегчением поняли, что ребята не сломлены (такое иногда определяет всю жизнь!). Через месяц к нам пришли родители мальчиков, работники одного из горьковских заводов. У них были неприятности, и они пытались предъявить нам претензии, зачем мы разговаривали с их детьми. Родители сказали нам, что о поступке ребят было также сообщено в школу.

О людях же знакомых я, конечно, узнаю. Среди них приехавший из Ленинграда знакомый врач, 80-летняя тетя и пожилая писательница.

Один из первых случаев такого рода произошел в феврале 1980 года, в день рождения Люси. Накануне она находилась в Москве и должна была приехать с нашим другом Юрой Шихановичем — я не раз уже писал о нем. Утром Люся позвонила в дверь и возбужденно закричала: — Юру схватили!

Оказалось, что его задержали три дежуривших в вестибюле милиционера (очевидно, их число специально

было увеличено) и повели, а вещи заставили оставить в вестибюле (Юра был сильно нагружен продуктами, которые он помогал везти Люсе). Мы побежали вслед. Тогда на помещении, куда отводили задержанных, висела табличка «Опорный пункт по охране общественного порядка», потом ее сняли. Мы прошли внутрь. Юру держали, очевидно, в задней комнате; мы его не видели, а напротив нас сидел капитан в форме МВД по фамилии Снежницкий. Он — заместитель начальника милиции в нашем районе, и формально именно он осуществляет надзор надо мной (КГБ, как всегда, формально держится в стороне; впрочем, может быть, Снежницкий как раз и является представителем КГБ в «нашем» отделении милиции).

Мы стали требовать у Снежницкого ответа, где Шиханович и что с ним. Очень скоро ему это «надоело», и он приказал милиционерам вывести нас. Те выполнили это с полным удовольствием и профессиональной сноровкой. Так что мы, получив несколько увесистых толчков, оказались за дверью: я враспяжку на полу, Люся получила удар по глазу (от последствий ее спасли очки) и синяки на руке. В этот момент стали выводить Шихановича, он успел через головы милиционеров передать нам обратный билет — молодец — мы сдали билет в кассу. Как потом выяснилось (из телеграммы Шихановича), его самолетом вывезли в Москву.

Примерно до августа 1980 года КГБ пытался заставить меня ходить в отделение милиции на «регистрацию». Я получил штук 50 повесток, на которые отвечал стандартным отказом (с требованием прислать в мое распоряжение машину, полагающуюся мне как академику). В повестках часто содержалась угроза «привода», однажды была сделана попытка осуществить ее. В середине марта в квартире был взломан замок. На другой день явились два лейтенанта милиции и объявили, что я должен немедленно ехать с ними на «регистрацию», в противном случае я, по приказу Снежницкого, буду приведен силой. Я вышел на улицу. Там стоял микроавтобус. Я сказал, что мне необходимо отправить телеграмму, и направился к почте. Милиционеры побежали за мной и, схватив за руки, стали тянуть в сторону микроавтобуса. Я упирался, так что ноги скользили по снегу, и продолжал что-то кричать про почту и регистрацию. Некоторые прохожие стали обращать внимание на происходящее. Милиционеры затащили меня в подъезд и там внезапно отпустили; я добежал до двери и запер ее за собой на цепочку. На следующий день пришел неизвестный мне капитан милиции. За несколько минут до него пришел слесарь менять замок. Капитан стал требовать моей явки на регистрацию, а когда я отказался, составил протокол «о нарушении требования работника милиции», заставив слесаря расписаться в качестве свидетеля. Очевидно, слесарь тогда

был для этого и нужен, а для чего понадобилось вообще ломать и менять замок, я до сих пор не знаю. Дальнейших последствий в этот раз не было.

Все эти годы, когда я выхожу из дома, за мной немедленно следуют «наблюдатели» из КГБ. Многих из них я знаю в лицо. В лесу это иногда парочка, изображающая «любовь». Иногда это наблюдатель, который прячется за толстым стволом дерева в двух шагах от нас; если мы его заметили и ему некуда спрятаться, он стремительно убегает. Когда в 1981 году мы с Люсей стали ездить на машине, гебисты тоже стали ездить за нами, обычно на двух машинах. Иногда они «пугали», создавая ситуацию, похожую на аварийную. И машины, и пешие сопровождающие обычно меняются на протяжении одной поездки: в общем, государственных, а верней — народных, денег не жалеют. Какую цель они преследуют? С одной из них я непрерывно сталкиваюсь — они не дают позвонить по телефону-автомату в Москву, или в Ленинград, или куда-либо еще: забегают передо мной на любую почту по дороге и, очевидно, дают команду выключить аппарат, во всяком случае он оказывается «неработающим» (читатель, конечно, помнит, что в квартире телефона нет; более того, телефон у нас в Москве на улице Чкалова и даже на даче выключен еще 22 января 1980 года). Очень редко мне (и Люсе — на нее тоже распространяются эти фокусы) удается обмануть их бдитель-

ность. Например, недавно, когда я беспокоился о здоровье Наташи в Ленинграде, я вышел с помойным ведром, оставил его у помойки и, не заходя обратно в дом, забежал на почту (после этого случая, вплоть до 16 декабря 1986 года, милиционер выходил вместе со мной и Люсей к помойке). Другая их цель (вероятно, главная) — пресечь возможность контактов с людьми на улицах. Опасаются ли они, что я сделаю попытку явочным порядком уехать в Москву? Вряд ли, тут они знают свои «возможности» (я тоже).

Однажды они сочли нужным сделать «демонстрацию» этих возможностей. Это было накануне Общей сессии Академии наук в марте 1980 года. Общая сессия проводится по уставу ежегодно — на ней президент и ученый секретарь делают отчетные доклады о работе Академии и ее ученых за год, проводится обсуждение докладов и организационных вопросов, многие из которых требуют голосования и кворума. Согласно Уставу, присутствие академиков на Общей сессии является правом и обязанностью, каждое исключение из списков на данную сессию (по болезни, по причине заграничной командировки) рассматривается Президиумом Академии в индивидуальном порядке (так же, как в случае выборов). Я послал заранее телеграмму в Президиум с просьбой выслать мне приглашение на сессию (их рассылают всем академикам, но я в этот раз — и в последующие — его не получил). Ответа на теле-

грамму долго не было. Я послал повторный запрос, и тут, наконец, пришел беспрецедентный ответ:

«Ваше присутствие на сессии не предусматривается». (1)

Иностранным корреспондентам, сообщавшим об инциденте, возможно, не была полностью понятна языковая и ситуационная пикантность телеграммы. Кем не предусматривается? Уставом? Но Устав говорит прямо противоположное. Я понял из телеграммы, что АН СССР полностью идет на поводу у КГБ, нарушая собственный Устав. Вечером накануне сессии уезжали Руфь Григорьевна с Лизой (которую тогда еще пускали). Мы с Люсей поехали их провожать. Но, когда я попытался внести в вагон чемодан Руфи Григорьевны (она уже вошла в тамбур), передо мной неожиданно выросла шеренга вооруженных людей, сцепивших руки так, что я не мог пройти. У одного из них пистолет был вынут из кобуры. Я попрощался с Руфью Григорьевной издали. Потом Лиза рассказывала, что в дороге на глазах у Руфи Григорьевны были слезы. Надо знать ее — никогда не плачущую и не позволяющую себе расслабиться в самых трагических ситуациях жизни, чтобы вполне оценить ее переживания. Так КГБ продемонстрировал, что с запретом мне выезжать из Горького они шутить не намерены.

В тот же день, вернувшись в квартиру, мы с Люсей столкнулись с еще одним сюрпризом. Слушать радио

по транзистору было невозможно. Из обоих наших приемников несся сплошной рев. Это была «индивидуальная глушилка», очевидно установленная где-то поблизости. В дальнейшем мы стали слушать радио, выходя из дома и удалившись от него на 50—100 метров. На период сессии Академии перед дверью квартиры Руфи Григорьевны тоже был установлен милицейский пост, и к ней тоже, как и ко мне, пускали лишь очень немногих. Зачем была осуществлена эта безусловно незаконная акция, чего боялся КГБ — до сих пор мне неизвестно.

КГБ осуществляет здесь, в Горьком, не только надзор надо мной и изоляцию, но и некоторые еще более «деликатные» акции. С первых недель пребывания в Горьком мы стали замечать следы проникновения в квартиру посторонних людей — не всегда безобидные. То и дело оказываются испорченными магнитофоны, транзисторы, пишущая машинка (за это время мы ремонтировали их по многу раз). Наиболее важные и невозполнимые записи, документы и книги я боюсь оставлять в квартире и постоянно ношу с собой (ниже я расскажу, что и эта мера дважды не помогла). Но кое-что из мелочи, которую я не брал с собой, возможно, пропадало. Мы предполагали, что милиционеры без особых церемоний пускают гебистов в квартиру. Вероятно, сейчас это именно так и происходит (быть может, не каждый из дежурящих милиционеров к этому

причастен, а только те из них, которые пользуются доверием КГБ или попросту являются сотрудниками).

Но в первые полгода, как мы выяснили, действовал другой способ. Как я писал, одна из комнат в квартире была как бы служебным помещением, и ключи от нее были у женщины, называвшей себя «хозяйкой». Она действительно иногда давала нам смену постельного белья, хранившегося у нее в шкафу, и полотенца. Но в основном ее функции были нам непонятны. Она почти каждый день приходила и без видимого дела сидела в «служебной» комнате, оставив приоткрытой дверь, а затем уходила, заперев дверь на свой ключ. На следующий день повторялось то же самое. Подоплека всего этого раскрылась случайно. В июле 1980 года однажды, когда мы отдыхали после обеда, уже около 7 вечера прибежала запыхавшаяся девушка с почты. Только что пришел телеграфный вызов на телефонный разговор с Нью-Йорком. Это мог быть вызов от детей, и мы, естественно, заспешили на почту. Несомненно, именно на эту спешку и рассчитывал КГБ; в частности, вероятно, их интересовала та сумка с моими рукописями и документами, которую я, как уже сказал, носил с собой, а может, и что-нибудь еще. Потом, рассмотрев вызов, мы увидели, что он пришел в Горький в 11 часов утра, т. е. 8 часов «вылеживался» в КГБ. К слову, мы так и не знаем, от кого был вызов, и больше никаких вызовов из-за рубежа не получали. Я первым пришел на почту, вслед за мной — Люся. Она захватила с собой

мою сумку, но забыла какие-то вещи, кажется сигареты. Кроме того, на почте не было часов, поэтому мы не знали, прошел ли срок вызова. Люся вернулась в квартиру. И тут она увидела в нашей спальне и в соседней с ней комнате двух гебистов: один из них рылся в моих бумагах, а другой что-то делал с магнитофоном (потом оказалось, что запись, которую я наговорил в магнитофон для детей, была стерта). Люся страшно закричала, и гебисты бросились бежать. Но не к входной двери, а в комнату «хозяйки», которая была открыта, так же как окно. Гебисты вскочили на диван, опрокинув его, потом на подоконник, оставив на нем следы, и выпрыгнули наружу. Люся тут же позвала милиционера и показала ему этот разгром; кажется, он был несколько растерян. Сама же Люся потом рассказывала, что у нее было неприятное чувство от всего происходящего. Теперь нам стало ясно, в чем была основная функция «хозяйки». Просто она должна была, уходя, оставлять открытым окно (все окна в нашей квартире запираются изнутри на задвижку, и если она закрыта, то снаружи открыть окно невозможно). Проникнув в комнату «хозяйки» с улицы, гебисты уже совсем просто открывали своим ключом дверь изнутри, делали в квартире что хотели и тем же путем уходили. При этом милиционер не должен был знать об их визитах (лишний свидетель и, вероятно, большинство из них не сотрудники КГБ). Именно за это «хозяйка» и получала свою зарплату!

В этот день Люся должна была уезжать в Москву. На другой день я послал телеграмму председателю КГБ СССР Андропову с протестом против беззакония. Люся провела в Москве пресс-конференцию, на которой она рассказала о новом беззаконии КГБ, а также послала телеграмму президенту АН СССР А. Александрову, в которой поставила его в известность о произошедшем. Аналогичные телеграммы она послала и президентам американских академий, членом которых я состою. Через несколько дней на квартиру пришел курьер КГБ с повесткой на беседу по поводу моей телеграммы Андропову. Я пошел. Состоялся разговор с двумя гебистами, один из которых отрекомендовался начальником ГБ Горьковской области, а другой — майором Рябининым из Москвы. С Рябининым у нас в дальнейшем была еще одна встреча (во время голодовки 1981 года). К сожалению, я провел эту беседу неудачно, в «ненаступательном» духе и в значительной степени «смазал» психологический эффект создавшейся ситуации. В заключение рассказа об этом эпизоде я хочу подчеркнуть, что тайные проникновения гебистов в квартиру (все равно — через окно или через дверь) являются грубейшим нарушением права неприкосновенности жилища и других прав, а также создают угрозу для самой моей и Люсиной жизни: например, мало ли что они (при желании) могут подсыпать в еду или куда захотят. Последняя мысль (в отно-

шении меня) упомянута в Люсином письме Александрову и президентам американских академий.

Что касается «хозяйки», то я перестал пускать ее в квартиру. Она (и КГБ) легко примирились с этим. Ее функция была раскрыта, и больше она не была нужна.

Как задним числом мне очевидно, КГБ продолжал охотиться за моей сумкой все последующие месяцы. К сожалению, я относился к этой опасности слишком легкомысленно и очень многое имел в одном экземпляре (и тем самым — в одном месте). Через восемь с половиной месяцев КГБ добился своей цели, воспользовавшись моей неосторожностью при посещении поликлиники. Вот как это произошло.

Я в Горьком не имел возможности пользоваться услугами врачей. Все мои лечащие врачи остались в Москве. Но большие неприятности с зубами все же вынудили меня в сентябре 1980 года обратиться в зубо-врачебную поликлинику. Мне подлечили некоторые зубы, удалили другие и назначили на протезирование. В начале февраля мне обточили несколько зубов, сняли мерки. Потом полтора месяца я с нетерпением ждал открытки от врача-протезиста и, получив ее утром 13 марта 1981 года (в это время Люся была в Москве), заторопился на прием. Надо сказать, что как раз в эти дни я обнаружил ошибку в одной своей работе и находился в несколько «отключенном» состоянии, больше думая о формулах, чем о чем-либо ином. Придя в поли-

клинику, я хотел по лестнице подняться на верхний этаж, в кабинет, но в этот момент врач-протезист К. вышла мне навстречу и предложила пройти в другой кабинет на первом этаже. Это было мне легче: я всегда с трудом поднимаюсь по лестницам из-за сердца. Кто-то стоявший рядом сказал, что наверху ремонт (что было неправдой!). При входе в кабинет К. сказала, что это — хирургический кабинет и что по строжайшему распоряжению главного врача я должен оставить свою сумку при входе (чистейшая глупость, вернее — умышленный обман: о какой стерильности может идти речь при обточке зубов, при грязных полах и т. п.?). Я, конечно, должен был или отказаться от приема, или настоять на отмене распоряжения. Но я вместо этого обратился с просьбой к медсестре, стоявшей рядом, присмотреть за моей сумкой или взять ее в кладовку. Медсестра сказала:

— Не беспокойтесь, у нас здесь никогда ничего не пропадает.

Я посмотрел, что в коридоре сидят больные, ожидающие приема, и тут допустил свою главную ошибку, подумав, что на глазах у такого числа людей ничего с моей сумкой не произойдет. Как говорится, когда Бог хочет наказать, он лишает разума. Доктор К. стала заниматься моими зубами. Я сидел спиной к входной двери. Дверь скрипнула. Вдруг К. воскликнула:

— Кто это?

И потом, после паузы:

— А, это вы.

Вошла главный врач; к сожалению, забыл ее фамилию. Она тут же вышла, а минут через пять вошла опять. Еще через 10 минут К. окончила свою работу, я вышел в коридор и не обнаружил там своей сумки! Один из присутствующих больных рассказал, что какие-то двое мужчин вертелись около сумки, заглядывали в кабинет. Потом один из них взял сумку и внес ее в кабинет. Это не привлекло ничьего внимания: ведь он же не унес сумку, а наоборот, внес ее туда, где находился ее владелец. О дальнейшем можно догадываться. Вероятно, второй гебист вошел в кабинет с сумкой большего размера и за моей спиной положил в нее мою; после этого он мог спокойно уйти. Какова была роль при этом главного врача, во всех деталях не знаю. Но несомненно, что распоряжение не пускать меня с сумкой в кабинет она сделала вполне сознательно и понимая, зачем это.

Удар КГБ был чрезвычайной силы. Пропало множество моих записей как общественного, так и чисто научного характера, множество документов, писем ко мне и копии моих писем (так же как копии Люсиных писем детям), три толстые тетради моего дневника за 14 месяцев и три такие же тетради — рукописи моих воспоминаний. Первая тетрадь воспоминаний пропала в ноябре 1978 года во время негласного обыска. Я затратил

оба раза большой труд, как оказалось — в значительной степени впустую. В дополнении 7 приведено мое заявление по поводу пропажи сумки. Оно вызвало большой отклик во всем мире — КГБ вновь покрыв себя позором. Кража заставила меня существенно изменить многие планы, временно отставить в сторону некоторые задуманные научные работы. Необходимо было спешить с воспоминаниями, пока КГБ не вырвет их у меня из рук или не помешает их завершению иным способом. Если эти воспоминания оказались все же перед тобой, мой дорогой и уважаемый читатель (не из КГБ), это будет означать, что мои старания на этот раз оказались не напрасными.

Очень огорчила также меня (и Люсю) пропажа дневников, в которых я записывал не только ежедневные события, но и пришедшие в голову мысли, впечатления от книг, включая научные, впечатления от кино, от разговоров и т. п. Там же были четыре статейки-эссе на литературно-философскую тему. Две — о стихотворениях Пушкина «Давно, усталый раб, замыслил я побег...»¹ и «Три ключа». Во второй статье я говорил и о стихотворении «Арион», которое, по моему мнению, имеет внутренние связи со стихотворением «Три ключа» и важно как для понимания состояния души и творчества поэта, так и для меня самого, оказавшегося на Горьковской скале в то время, как многие мои друзья — в пучине вод. Я пытался потом восстановить эти

статьи (объединив их вместе) в дневнике, но по второму разу, как это часто бывает, получилось хуже — суше и как-то механичней. Боюсь, что то же самое случится частично с воспоминаниями; буду стараться этого избежать. Две другие статьи: 1) об «Авессалом, Авессалом» Фолкнера и 2) о замечательной повести Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» — я даже не пытался восстановить. Одну вещь из сумки гебисты вернули, верней подбросили. Когда я, потрясенный, вернулся из поликлиники, на столе лежало письмо, которое я собирался по дороге в поликлинику отправить в Институт научной информации (с просьбой о присылке оттисков научных статей). Видимо, они таким способом оставили «визитную карточку» (проникнув в запертую на ключ квартиру мимо милиционера), а, может, попутно они хотели показать, что они не мешают моей научной работе. (Но это не так.) Кража сумки потрясла меня (тут были чувство досады на самого себя за неосторожность, горькое сожаление о пропавших, совсем невозможных письмах и документах и трудно или частично восстанавливаемых рукописях, боль за потерю ценностей чисто личного характера и неприятный осадок от того, что в чужие и враждебные руки попали интимные письма и записки). Это потрясло Люсю тоже. Люся говорит, что я был в состоянии физического шока, буквально трясся. Это было действительно так. И все же мы не были сломлены, даже на какое-то время.

Моя активность, может, даже возросла в эти дни (общественная; научную работу я был вынужден надолго отложить в сторону).

Люся приехала 13-го вечером. Я ее «огорошил» сообщением о краже еще на вокзале. Обратю в Москву она уехала 24 марта. Перебирая свои бумаги, я нашел 6 документов, написанных в эти дни. Это:

- 1) Обращение в защиту Толи Марченко, арестованного незадолго перед этим;
- 2) Автобиография для юбилейного сборника, который подготавливали к моему 60-летию друзья;
- 3) Статья «Ответственность ученых» (черновой вариант статьи был в сумке, и все пришлось писать заново);
- 4) Обращение о краже;
- 5) Уточненный список моих выступлений для сборника;
- 6) Письмо о Валленберге.

При этом в первые дни после Люсиного приезда мы «отдыхали», верней старались освободиться от чувства кошмара: ездили через весь город смотреть какой-то боевик с Бельмондо, очень замерзли. Так продолжалась жизнь!..

Я не буду повторять здесь историю Рауля Валленберга — она известна всему миру. Недавно я слышал по радио, что на запрос шведского МИД советские власти вновь ответили, что Валленберг умер в 1947 году и что дело его не может быть предъявлено, так как оно

сожжено. Но, во всяком случае, последняя часть ответа — ложь. На всех следственных делах НКВД—КГБ стоит пометка «Хранить вечно» — и она выполняется, за некоторыми исключениями, когда из дел, по распоряжению самого высшего руководства, изымались отдельные страницы, но и эти дела остались в какой-то форме. (Я слышал на объекте рассказ, как все это делалось, от Г-ва — одного из работников КГБ, принимавшего участие в переборке старых дел тридцатых—сороковых годов: во всех делах сохранялись первые страницы, в делах, по которым был расстрел, — обязательно справка о приведении приговора в исполнение, в этой справке была графа — пистолет номер такой-то.)

Несомненно, что дело, в котором речь идет об иностранном подданном, при всех обстоятельствах (на всякий случай) сохраняется полностью.

Рауль Валленберг — один из тех людей, которыми гордится не только Швеция, но и все человечество. Нельзя ослаблять дипломатических усилий, добиваясь, чтобы советские власти, пока, к сожалению, продолжающие покрывать преступления Сталина и его сообщников, все же раскрыли тайну, связанную с судьбой этого замечательного человека. Если Валленберг жив, то его освобождение в огромной степени способствовало бы авторитету нынешнего руководства СССР, которому вроде бы не к лицу принимать в свой багаж преступления прошлых лет.

Почти сразу после кражи я начал по памяти восстанавливать украденное (дневники и воспоминания), при этом я все писал, наученный горьким опытом, в двух экземплярах под копирку. (Люся просила меня так делать и раньше, но я ее совета до кражи не послушался — без копирки писать удобнее и быстрее, легче делать исправления и можно пользоваться мягкими ручками и фломастерами. Но тут пришлось смириться.) Один экземпляр написанного мною Люся примерно раз или два в месяц отвозила в Москву и потом переправляла в США Реме и Тане. Как она это делала — целая история; рассказывать ее, однако, в подробностях — пока преждевременно. Опасаясь краж и негласных обысков, Люся в Москве и поезде ни на минуту не расставалась с рукописями, часто весьма объемистыми. К апрелю 1982 года, через год с небольшим после кражи, я закончил вчерне рукопись и начал на основе имевшегося у меня экземпляра готовить вариант («макет») для перепечатки на машинке (перепечатку Люся организовала в Москве — в Горьком у нас такой возможности нет). К сентябрю я сделал половину этой работы, а в течение сентября подготовил вторую половину макета.

А 11 октября все это опять было у нас украдено — 500 страниц на машинке и 900 рукописи. Кража на этот раз была организована очень драматичным, «гангстерским» способом. Очевидно, КГБ уже некоторое время перед этим охотился за моей сумкой, в которой

я носил рукописи воспоминаний, дневник, важные для нас документы, а также фотоаппарат и приемник, которые нельзя было оставить в пустой (хотя и «охраняемой» милицией) квартире — мы уже имели несколько случаев поломок.

За несколько дней до приезда Люси, когда я стал заводить стоящую около дома нашу автомашину «Жигули», в моторе возник пожар. «Неизвестные» слегка отвинтили ночью крышку бензобака и укрепили рядом на проволоке отсоединенный контакт зажигания. Я думаю, что гебисты рассчитывали, что я растеряюсь и оставлю сумку без присмотра. Но я мгновенно выключил двигатель, и пожар затух сам собой (правда, пришлось менять обгорелые провода зажигания).

9 октября, за два дня до осуществления ГБ кражи, мы с Люсей поехали в город. Я оставил ее в машине около рынка, а сам пошел в зубную поликлинику (ту самую, где за полтора года до этого у меня украли сумку в первый раз). Люся сидела на переднем сиденье, сумка лежала на полу сзади. Подошла какая-то незнакомая женщина и тихо сказала Люсе:

— Будьте осторожны, тут их кругом очень много. Я не знаю, что они хотят с вами сделать, но их-то я узнала.

Люся взяла сумку себе под ноги, подняла все стекла и стала ждать, что будет. Подошел человек в форме милиции, попросил предъявить документы. Документы

лежали в сумке, но Люся не хотела ее доставать, опасаясь, что у нее ее могут отнять, и сказала:

— Документы у мужа, он скоро придет.

«Милиционер» отошел. Больше никто не подходил.

Очевидно, гебисты рассчитывали на какое-то другое Люсино поведение, менее осторожное, или им кто-то помешал.

11 октября мы с Люсей поехали на машине в город, остановились на площади возле речного вокзала. Там же рядом — железнодорожная касса предварительной продажи билетов. Люся пошла за билетом. Она, как всегда, взяла из сумки свою книжку инвалида Отечественной войны, дающую право получения билетов вне очереди и со скидкой. Я остался в машине, сумку положил, как обычно, на пол сзади водительского места, прижав ее креслом. Было 4 часа дня, совершенно светло. К машине подошел человек лет тридцати пяти с темным лицом и черными курчавыми волосами.

Стекло водительской двери было наполовину опущено. Он заглянул в машину поверх стекла и спросил:

— У вас московский номер, вы едете в Москву?

Я ответил:

— Нет, я еду в Щербинки.

Дальше же у меня какой-то непонятный провал в памяти. Следующее, что я помню — что кто-то вытаскивает сумку через окно дверцы (задней или передней — не помню). Я пытаюсь выйти из машины, но несколько

минут (или секунд?) не могу найти ручку дверцы (обычно это абсолютно автоматическое движение). Выйдя, я вижу стоящих около машины трех женщин; одна из них с баульчиком, похожим на медицинский. Женщины говорят:

— Они побежали к балюстраде, перепрыгнули через нее.

— Почему вы так долго не выходили из машины?

Я отвечаю:

— Не мог найти ручку...

Они, очень успокоенно:

— А-а-а.

— А вы знаете, что они разбили у вас стекло?

Я иду к машине и вижу, что действительно стекло задней левой дверцы полностью выбито, на полу машины и на улице много осколков. Такое выбивание нельзя сделать мгновенно без шума, но я *ничего не слышал*. Единственное объяснение, которое я могу дать, — что против меня был применен наркоз мгновенного действия, нечто вроде рауш-наркоза. Никаких «вещественных» доказательств этой гипотезы у меня нет, но иначе все в целом совершенно необъяснимо, в особенности провал в памяти и то, что я не слышал грохота осколков. Я вновь вышел из машины. Женщины стояли на прежнем месте. Одна из них сказала:

— Мы вызвали милицию. Ждите, они сейчас приедут.

Я думаю, что эти женщины были медицинские работники: врач и две медсестры — на случай, если мне станет плохо от наркоза. Слова о вызове милиции, как вскоре стало ясно, были ложью: они никого не вызывали и не могли вызвать; просто им для чего-то было надо, чтобы я не сразу пошел в милицию (может быть, они боялись, что я упаду по дороге). Женщины тут же ушли; я не успел им сказать, что им следует задержаться и быть свидетелями. Тут пришла Люся. Она еще издали заметила, что я иду как-то странно, как пьяный, и на руке кровь. (А я вдыхал воздух и чувствовал странный запах, как от гниющих фруктов.)

Оказалось, что в билетной кассе она задержалась, так как все кассирши почему-то были вызваны в другую комнату и минут десять некому было выдавать билеты. Очевидно, гебисты таким образом задержали Люсю, чтобы я был один достаточно для проведения «операции» время.

Я тут же пошел в милицию и заявил о краже. Следователь составил протокол, осмотрел место происшествия и сфотографировал машину — все, как полагается (но, конечно, они ничего не нашли, да я и не рассчитывал на это). Количество украденного (может, юридически правильной говорить не о «краже», а о «грабеже») было колоссальным, не меньше, чем полтора года назад в поликлинике. Я вновь написал

заявление для прессы с сообщением о новом преступлении КГБ. Люся повезла это заявление в Москву, чтобы там передать его инкорам. Утром 30 октября она подошла к двери нашей квартиры и обнаружила там пост милиции. Милиционеры никого, кроме нее, в квартиру не пускали, так что вызвать корреспондентов домой она не смогла, но саму ее выпускали. Наш квартирный телефон, как я уже писал, отключен с 22 января 1980 года. Люся вышла на улицу и по уличному телефону-автомату договорилась о встрече с корреспондентом агентства Рейтер, тоже на улице. Вместе с ней при этой встрече была Ида Петровна Мильгром, мать Толи Щаранского. Ида Петровна рассказала о своих попытках узнать что-либо в ГУИТУ о состоянии Толи, уже больше месяца державшего голодовку за право переписки и свиданий с матерью, а Люся отдала мое заявление о краже сумки (дополнение 7).

На другой день (или в тот же день вечером) Люся включила свой радиоприемник. К своему ужасу, она услышала, что «Голос Америки» (а вслед за ним — «Свобода») передали нечто несусветное:

К Сахарову приехала дочь (!?). Жена ушла из квартиры (!?). Сахаров остался один (то ли в квартире, то ли в машине — не помню), и у него пропала сумка с рукописями и документами (где при этом была дочь — неясно).

То же самое, что и Люся, услышали миллионы советских радиослушателей. На следующий день был передан уже правильный текст, но радиостанции не заикнулись, что накануне был передан лживый. У множества людей отложилось в памяти первое впечатление, всегда более сильное; многие же вообще не стали слушать повторную передачу, раз они слышали первую. Абсолютно ясно, что лживый текст был подсунут КГБ с целью запутать следы своего преступления и заодно чуть-чуть скомпрометировать Люсю — по передаче получалось, что причиной пропажи сумки был ее уход из дома «из-за приезда дочери», неизвестно какой (фактически ни одна из моих дочерей с марта 1982 года и до декабря 1982 года ко мне не приезжала).

К сожалению, и в этом, может самым показательном, случае никакие западные спецслужбы не заинтересовались, кто же «всунул» лживую передачу, так же как остались нерасследованными и другие аналогичные эпизоды, в том числе относящиеся ко мне и описанные в этой книге.

Чтобы покончить с темой о возможных действиях просоветской агентуры при передачах по зарубежному радио моих документов и сообщений обо мне, упомяну еще об одном, совсем недавнем случае.

В январе 1983 года в Москве получил распространение документ в мою защиту, озаглавленный «Письмо иностранным коллегам». Документ этот аноним-

ный; авторы указали, что они не подписывают его, опасаясь за свои семьи и положение на работе. При передаче документа по зарубежному радио было заявлено, что, по слухам, распространяющимся в Москве, автором документа является сам Сахаров (!). Насколько мне известно, никто из иностранных корреспондентов в Москве не передавал такого сообщения о моем анонимном авторстве письма в собственную защиту. Я уверен, что сообщение инспирировано КГБ. Вероятно, истинные авторы документа были известны КГБ и была уверенность, что они не раскроют своего авторства².

В конце октября 1982 года ко мне должны были приехать мои коллеги — физики из ФИАН. Однако в этот раз поездка не состоялась. Как я слышал (не из первых уст), кто-то якобы дал распоряжение, что сейчас поездки не своевременны. Похоже, что КГБ продал сам себя. Ведь никакого публичного моего заявления о краже сумки еще не было. Следующая поездка физиков состоялась лишь в середине января, через четыре месяца после предыдущей и накануне трехлетнего «юбилея» моего пребывания в Горьком. Верней всего, опять не случайное совпадение.

4 ноября я получил повестку в областную прокуратуру. Там мне было предложено пройти к заместителю областного прокурора Перелыгину — к тому самому, с которым я имел дело в 1980 году. Я его, однако, сра-

зу не узнал. Поздоровался за руку по привычке к вежливости. Перелыгин сказал:

— Гражданин Сахаров, я пригласил вас в связи с вашим клеветническим заявлением.

Потом было длинное препирательство, в ходе которого Перелыгин приписывал мне различные не сказанные мною слова, пытался уличить в противоречиях, а главное — пытался заставить подписать текст «предупреждения», — а я категорически отказывался от подписания чего бы то ни было и настаивал на ответственности КГБ за совершенное преступление. Оставив, наконец, план получить от меня подпись, Перелыгин встал и «торжественно» заявил, что я еще раз предупрежден о серьезной ответственности за нарушение мною «...режима, установленного для меня высшим органом власти».

Я:

— Президиумом Верховного Совета СССР?

Перелыгин, вроде бы неуверенно:

— Да.

Я:

— До сих пор все мои попытки получить ответ, кто установил мне режим, были безрезультатны. Рекунков показал мне только указ о лишении наград (и только он был впоследствии опубликован), на письменные запросы ответа я не получил; в «Известиях» говорилось о «компетентных органах» — это всеми читается как КГБ.

Перельгин достает с полки толстый том и показывает мне через стол страницу, на которой у него была подготовлена закладка:

— Я объявил вам в 1980 году, что режим вам установлен Президиумом Верховного Совета СССР, и вы подписали соответствующее предупреждение, вот оно.

Я говорю:

— Вы ничего не говорили о Президиуме Верховного Совета, и я не помню, чтобы я подписывал предупреждение с этой формулировкой. Я не мог бы такое забыть.

В том тексте предупреждения, которое Перельгин предлагал мне подписать 15 минутами раньше, никакого упоминания о Президиуме Верховного Совета, во всяком случае, не было. Я стал внимательно вглядываться в документ, который Перельгин держал передо мной, но он тут же его убрал. Формат был вроде не тот, что в 1980 году — тогда это была половина листка. Я не только поставил тогда подпись, но и написал, что я ознакомлен с текстом (я, как описано в предыдущей главе, не стал выражать своего отношения к предупреждению, т. к. сделал это на отдельном листке). Сейчас была только подпись, причем сделанная не авторучкой, а нечто очень похожее на факсимиле. Сопоставив все это в уме, я прихожу к выводу, что Перельгин показывал мне фальшивку.

Окончательной ясности в отношении того, как в 1980 году были «оформлены» моя высылка (точнее — депортация) и установление мне режима, у меня нет.

Согласно Конституции СССР, Указы Президиума Верховного Совета СССР *публикуются* за подписью председателя Президиума Верховного Совета СССР и секретаря Президиума (тем самым только при этом они имеют законную силу). Никакой публикации в данном случае не было. Следует по-прежнему полагать наиболее правдоподобным, что решение о депортации, выбор места и, тем более, установление мне противозаконного режима изоляции были приняты на менее высоком уровне, чем Президиум Верховного Совета, а именно — КГБ. (Косвенным подтверждением является следующий факт: первоначально от меня требовали периодической регистрации, однако, когда я этому воспротивился, об этом требовании режима как бы забыли. Вряд ли так могло бы произойти с Указом Президиума.)

Опять, как в 1981 году, после кражи 11 октября 1982 года я начал усиленную работу по восстановлению «макета». Однако эта работа была крайне затруднена тем, что у меня под рукой не было не только тех добавлений и «связок», которые я сделал во время подготовки украденного макета (в объеме 200—300 страниц), но и входившего в состав макета первоначального текста рукописи, тоже нуждающегося во многих важных для меня исправлениях и изменениях и в перекomпоновке. Получить посланную в США копию рукописи, так же как копию украденных перепечатанных частей макета, чтобы их отредактировать, чрезвычайно трудно, почти не-

возможно. В самом благоприятном случае на это уйдут многие месяцы, а там возможны новые кражи и обыски!

Затягивание дела с «Воспоминаниями» также очень сильно обостряет, как я это чувствую, положение Люси.

Как все это разрешится, сейчас, когда я пишу эти строки, — я не знаю. (*Позднейшее добавление.* Сейчас, в апреле 1983 года, с большими трудностями Ефрем переправил часть первоначальной рукописи, при этом «в дороге» пропало около трети посланного им. Я вновь пытаюсь восстановить, хотя бы частично, макет, но во все не уверен, что нам удастся благополучно переправить это Ефрему.)

Пока, полагаясь только на свою память и воображение, я пишу фрагменты, рассчитывая, что они органически войдут в имеющуюся в США у Ремы и Тани часть рукописи. Но и эта работа идет под дамокловым мечом...

6 декабря Люся повезла в Москву часть подготовленной мною рукописи фрагментов. Несколько дней перед отъездом Люсю мучили очень сильные боли в сердце, возможно это был первый инфаркт, но, как всегда в нашей жизни, откладывать было нельзя.

Я провожал Люсю на вокзал. Билет был куплен заранее, у нее было место в четырехместном купе (часто ей приходится довольствоваться местом в общем, т. е. не купированном вагоне; вообще с билетами всегда трудно, и выручает только инвалидная книжка).

Ничто в этот вечер не предвещало каких-либо неприятностей. Однако, когда поезд в 7 часов утра остановился в Москве и Люся приготовилась выходить и искать носильщика для ее довольно тяжелых вещей, в купе вошли двое — мужчина и женщина, следователи. Они задержали двух из трех пассажиров, объявив, что они будут понятыми при обыске. Пассажиры пытались вроде протестовать, но безуспешно. (На самом деле, я убежден, что эти пассажиры тоже были привлечены заранее и просто «играли роль». На всех известных нам обысках инакомыслящих понятые — всегда «сотрудники»; не может быть, чтобы тут было сделано исключение. Адрес одной из понятых — тот самый соседний со мной дом в Щербинках, 216 по улице Гагарина; именно туда водят задержанных и, вероятно, там живут некоторые из приставленных ко мне гебистов. «Понятая» выдала себя также тем, что изображала ничего не знающую о Сахарове, а на самом деле меня все знают в округе.)

У нас осталась копия протокола обыска. Ее всегда вручают обыскиваемому (но иногда отбирают при следующих обысках). Люся, желая сократить процедуру и не уехать вместе с поездом на запасные пути, сразу отдала мои рукописи, полагая, что это — единственное, что интересует следователей. Но после этого обыск длился еще около трех часов, сопровождался «личным» осмотром женщиной-следователем (этот термин озна-

чает, в частности, что от осматриваемого требуют полного раздевания) и осмотром всех вещей, длительным составлением описи. Состав увели на станцию Москва-III, и Люсе самой пришлось тащить тяжелые сумки до пригородного поезда. Она несколько раз присаживалась по дороге с сильными болями в сердце, но потом была вынуждена идти дальше. Поднимаясь на проложенный через пути мост, Люся потеряла на некоторое время сознание. Остаток пути ей помог дойти какой-то молодой человек. Я думаю, что ухудшение ее здоровья в последующие месяцы было, в частности, стимулировано и этим обыском, в особенности если у нее уже был инфаркт в ноябре. Тогда Майя (жена Феликса), сделав ей кардиограмму на переносном аппарате с малым числом отведений, сказала, что все благополучно. Возможно, это прибавило «смелости» ГБ.

В Москве Люся пошла в поликлинику Академии и повторила кардиограмму. Однако и там ей сделали кардиограмму с малым числом отведений и сказали, что инфаркта нет. Впоследствии (в марте 1984 года) эту кардиограмму смотрел профессор Сыркин. Люсе неизвестно точно его мнение, но, по-видимому, он какие-то тревожные изменения увидел.

На обыске отобрали примерно 250 страниц моих рукописей, а также многое другое: портативный (и весьма ценный) малоформатный киноаппарат, кассеты с отснятыми любительскими кинофильмами, магнито-

фонные кассеты с записью моего голоса и кассеты с записью голоса преподавательницы английского языка — с английскими уроками, неправильными глаголами и т. п., книгу переписки Бориса Пастернака с его сестрой Ольгой Фрейденберг (Люсе особенно жалко эту книгу, к тому же чужую), Люсину личную записную телефонную книжку, присланное мне из Канады письмо, где рассказывается о том, что мое обращение к Пагуошской конференции не могло быть использовано (по некоторым деталям я предполагаю, что это — фальшивка КГБ, но, быть может, я ошибаюсь — пусть в таком случае автор этого письма откликнется), копию моей телеграммы членам Президиума Верховного Совета СССР с просьбой включить узников совести в амнистию к 60-летию СССР.

Формально обыск проводился по делу С. В. Каллистратовой. Конечно, это был только предлог. Ни один из документов и предметов, отображенных на обыске, не имел к Софье Васильевне никакого отношения (единственное — некриминальное — телефон С. В. в Люсиной записной книжке). В чем для КГБ была истинная цель обыска — мы можем только гадать. Может, это новая попытка помешать моей работе над воспоминаниями. Может, это попытка оказать психологическое давление на Люсю и на меня. Или это — реально некое подготовительное действие для более суровых мер против Люси — мы не можем исключить этой возмож-

ности. До сих пор КГБ проводил против меня только кражи и негласные акции, теперь он провел формальное действие, которое обычно означает большую угрозу. Я надеюсь, что эта сторона дела понятна тем, кто озабочен нашей судьбой (и уж безусловно должно быть понятно, что действия против Люси — это действия и против меня; и наоборот) — *написано в 1983 году.*

В любом случае обыск 7 декабря, так же как гангстерская кража за два месяца до этого, означал дальнейшее ужесточение тех действий, которые разрешены КГБ против нас.

Как мне стало известно, через несколько дней после обыска в поезде на какой-то встрече присутствовали иностранные журналисты и Рой Медведев. Журналисты спросили Медведева, что он думает об обыске. Медведев сказал:

— Этот обыск вполне закономерен. Сахаров не имеет права писать воспоминания. Он в прошлом имел отношение к секретным работам. Я имею право писать воспоминания, а Сахаров — не имеет.

Это высказывание Медведева, возможно, способствовало тому, что обыск не получил большого отклика в иностранной прессе и радио. Я позволю себе заметить, что считаю себя вправе писать воспоминания, разумеется не включая в них сведений, представляющих собой государственную или военную тайну. Более того,

по причинам, о которых я неоднократно писал, я считаю это важным.

* * *

Пережду теперь к рассказу о моих общественных выступлениях за эти последние, горьковские годы. Моя высылка, как я убежден, явилась частью общей политики усиления репрессий против инакомыслящих. Также не случайно она совпала по времени со вторжением в Афганистан и последовала за моими выступлениями об этом. В дальнейшем сюда добавились польские события. Все это создало очень тревожную, даже трагическую ситуацию и определило тональность и тему моих выступлений. Одно из моих первых крупных выступлений из Горького так и называлось — «Тревожное время» (статья в «Нью-Йорк таймс мэгэзин»)³. До этого было заочное интервью корреспонденту «Вашингтон пост» Кевину Клоузу (я отвечал в письменной форме на поставленные им вопросы, которые привезла Люся) и такое же письменное интервью итальянскому радио и телевидению. (Такая форма интервью и раньше мне подходила, так как я не слишком находчив в диалоге; теперь же она стала единственно возможной.)

В апреле 1980 года Люся сняла меня на кинолентку и записала на магнитофон мое пятиминутное выступление. Эти кадры прошли по телевизионным экранам многих стран мира и привлекли очень большое внимание.

Не останавливаясь на нескольких других выступлениях общего характера, назову те, которые мне кажутся наиболее важными:

1) Письмо главам государств — постоянных членов Совета Безопасности об Афганистане³. В этом документе я писал о трагедии Афганистана и последствиях вторжения для внутреннего и международного положения СССР, для международного доверия и безопасности, для судеб мира во всем мире. Я писал о необходимости решения проблемы на пути компромисса, который, по моему мнению, включает вывод всех советских войск и замену их войсками ООН для предотвращения кровопролития, свободные выборы с предоставлением политических прав и партизанам, и Б. Кармалю, свободную эмиграцию из страны, экономическую помощь.

2) Статья «Ответственность ученых»³. Я пишу о большой ответственности ученых как в проблемах, примыкающих к их основным профессиональным занятиям, так и в общих проблемах прогресса: его возможностей и опасностей, экологии, войны и мира, защиты справедливости, защиты свободы информации и других основных прав человека, защиты репрессированных. В этой статье я привожу много фамилий узников совести СССР — жертв репрессий за ненасильственную защиту прав человека.

3) Статья «Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир»⁴. Я продолжаю и развиваю в этой

статье те мысли, которые владеют мною на протяжении многих лет. Пытаюсь анализировать причины, создающие угрозу международному доверию и безопасности, угрозу миру, и пути их устранения. Утверждаю, что необходим постепенный переход от опасного, неустойчивого равновесия, основанного на ядерном устрашении, к равновесию обычного оружия. Заключительные слова статьи:

«Но только равновесие Разума, а не страха — истинная гарантия будущего».

4) Обращение к участникам Пагуошской конференции³.

5) Открытое письмо доктору Сиднею Дреллу³.

6) Текст выступления при получении премии имени Лео Сциларда³. (Премия эта, которой я весьма горжусь, была присуждена мне Федерацией американских ученых; премию принимала от моего имени Таня Янкелевич на заседании Федерации 19 апреля 1983 года. Текст выступления удалось своевременно переслать; чего это стоило Люсе — я не буду тут объяснять.)

В последних трех выступлениях, в основном, развивались те же мысли, что и в статье «Что должны сделать США и СССР...». В чем-то, однако, они отражают дальнейшее уточнение и конкретизацию моих мыслей.

В особенности я придаю значение письму Дреллу. Дрелл прислал мне тексты своих выступлений и копии статей о ядерной опасности и проблемах ядерного разоружения через Люсю, у которой он был в январе 1982 года. Мое письмо представляет собой в известной мере ответ на его статьи.

Усилившиеся в последние годы репрессии против инакомыслящих, затронувшие многих близких мне прекрасных людей, — аресты и жестокие приговоры, угрожающие обыски — заставили меня выступать с обращениями в их защиту, адресованными мировой общественности и советским руководителям.

Одно из самых ужасных — дело Анатолия Марченко. Я писал об этом удивительном человеке, его мужестве и благородстве. Репрессивные органы не могли простить ему убийственно точной книги «Мои показания» (о современных лагерях и тюрьмах) и в особенности его спокойного и непоколебимого нонконформизма. В марте 1981 года он был арестован — в пятый раз!⁵ Суд состоялся через несколько месяцев. Судить его — кроме стойкости и независимости — фактически было не за что. Главным и почти единственным пунктом обвинения явилось письмо в мою защиту академику Капице и эссе «Терциум датум». Но Марченко — «рецидивист»; он осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки. Этот приговор ни за что человеку, уже проведшему в заключении половину жиз-

ни, тяжело больному — фактически пожизненный! Он разлучен со своей замечательной женой Ларисой Богораз, с горячо любимым сыном Павлом. Последнее время перед арестом Марченко усиленно строил своими умелыми, трудолюбивыми руками дом в Карбанове — ближе к Москве ему не разрешали поселиться⁶. И теперь Пашка отказывается переехать в Москву: «Ведь надо докончить дом — этого так хотел папа!..». Я обращался с просьбой вмешаться в судьбу Марченко к академику Капице: как-никак это именно к нему было обращено Толино письмо, но я не получил ответа!

В мае 1980 года арестована член Хельсинкской группы Татьяна Осипова — жена Ивана Ковалева, сына Сергея Ковалева. Она осуждена на 5 лет ссылки. Через год арестован и затем осужден на 7 лет заключения и 5 лет ссылки ее муж Ваня Ковалев (тоже член Хельсинкской группы)⁷. Трагедия этой молодой семьи не может не потрясти. В 1982—1983 годах Таня Осипова держала длительную голодовку, добиваясь права свидания с мужем. По советским законам такие свидания заключенного с заключенной не запрещены, но и не оговорены в Исправительно-трудовом кодексе. Власти трактуют отсутствие упоминания как запрещение. Я обращался с просьбой способствовать разрешению свидания к Генеральному секретарю ЦК КПСС Андропову и к мировой общественности. Аналогична судьба

супругов Руденко и Матусевич. Ранее Люся пыталась добиться свидания Э. Кузнецова и Сильвы Залмансон — но тоже безуспешно.

Преодолеть сопротивление властей, добиться осуществления естественного человеческого права на свидание мужа и жены не удается.

Вновь арестован и осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки замечательный украинский поэт Василь Стус (сразу после вступления в Хельсинкскую группу Украины). Он умер в лагере.

Незадолго до окончания срока ссылки Мераба Коставы (в конце 1981 года) была устроена возмутительная провокация. Костава жил на частной квартире. К нему пришел незнакомый гость, сказавший, что он ссыльный художник. Неожиданно нагрянула милиция и задержала гостя под предлогом, что у него нет документов. Костава пошел в милицию выяснять причину задержания и был там арестован. Домой он уже не вернулся. Мераб Костава повторно осужден на 5 лет заключения якобы за нападение на работников милиции⁸.

Я послал телеграмму с просьбой о вмешательстве в дело Коставы первому секретарю ЦК Грузии Шеварднадзе. В телеграмме я указал, что Костава арестован за действия, которые он совершил, следуя традиции гостеприимства грузинского народа. Ответа и результатов и у этой телеграммы, как обычно, не было.

Это мое выступление — первое после голодовки 1981 года, о которой я рассказываю в следующей главе. Люсе (еще совсем не оправившейся от голодовки) с большим трудом удалось на какое-то время ускользнуть от слежки и по междугородному телефону позвонить в Москву и передать текст телеграммы одному инкору. В прессе и по радио появилось сообщение о моем выступлении в защиту Костава, но не передавался текст телеграммы и даже не сообщалось, что она адресована Шеварднадзе (а это было, по-моему, важно). В 1986 году Костава был осужден на третий срок! Освобожден лишь в 1987 году.

Репрессиям и издевательствам в заключении подвергаются Юрий Орлов, Анатолий Щаранский. А. Щаранский держал длительную голодовку за право корреспонденции и свидания с матерью.

Вновь арестована и осуждена к ссылке Мальва Ланда. Этот горестный список можно продолжить...

* * *

В Москве в 70-е годы и в Горьком я продолжал попытки заниматься физикой и космологией. Мне в эти годы не удалось выдвинуть существенно новых идей, и я продолжал разрабатывать те направления, которые уже были представлены в моих работах 60-х годов (и описаны в предыдущих главах книги). Вероятно, это удел большинства ученых по достижении ими неко-

того предельного для них возраста. Впрочем, я не теряю надежды, что и мне, быть может, что-то еще «блеснет». При этом я должен сказать, что и просто наблюдение за научным процессом, в котором сам не принимаешь участия, но знаешь, что к чему, — доставляет глубокую внутреннюю радость. В этом смысле я «не жадный». (Замечание. Описывая ниже и поясняя свои последние работы, я вынужден повторить многое, содержащееся в главе 18.)

В 1974 году я сделал, а в 1975 году опубликовал работу, в которой развивал идею нулевого лагранжиана гравитационного поля, а также те методы расчета, которые я применял в предыдущих работах⁹. При этом оказалось, что я пришел к методу, много лет назад предложенному Владимиром Александровичем Фоком, а затем — Юлианом Швингером. Однако мой вывод и сам путь построения, методы были совершенно иными. К сожалению, я не смог послать своей работы Фоку — он как раз тогда умер.

Впоследствии я обнаружил в своей статье некоторые ошибки. В ней остался не выясненным до конца вопрос, дает ли «индуцированная гравитация» (современный термин, применяемый вместо термина «нулевой лагранжиан») правильный знак гравитационной постоянной в каких-либо вариантах, которые я рассматривал.

В том же 1975 году я опубликовал работу, в которой интерполяционная формула для масс адронов, описан-

ная в нашей с Зельдовичем статье в 1966 году, распространялась на адроны, содержащие так называемые «очарованные» кварки — первые члены этого семейства были открыты незадолго перед тем¹⁰. Некоторая методическая проблема, которую пришлось разрешить, касалась нахождения спин-спинового взаимодействия для барионов, содержащих три существенно различных кварка. Мне было приятно, что я сумел справиться с этим. Эта работа была продолжена в двух статьях, опубликованных мною уже в Горьком. В первой статье, основываясь на идеях квантовой хромодинамики (динамической теории взаимодействия кварков; подробнее я разъясняю этот термин в первой части книги), я смог уменьшить число параметров в интерполяционной формуле, сделав ее еще более физической и наглядной¹¹. Во второй статье¹² я дал простой и наглядный, не требующий сложных расчетов способ оценки постоянной взаимодействия кварков с глюонным полем (глюонное поле — аналог электромагнитного поля в теории кварков; при этом постоянная взаимодействия — аналог электрического заряда электрона). Способ основывается на сравнении разностей масс, вызванных спин-спиновым глюонным и электромагнитным взаимодействием. К сожалению, так как электромагнитные разности масс известны не точно, речь идет об очень приближенной оценке (впоследствии Франклин мои оценки уточнил). Побочным результатом работы была возможность опре-

деления одного из основных параметров квантовой хромодинамики — числа так называемых «цветов» кварков — внутреннего дискретного квантового числа, приписываемого по этой теории кваркам.

Известные мне разности масс не противоречили принятому сейчас числу «цветов», равному трем. В настоящее время в связи с уточнением значений электромагнитных разностей масс можно получить более определенные результаты. Это привлекло, как я слышал, к себе внимание исследователей. Конечно, точные расчеты сильных (глюонных) взаимодействий кварков дают более прямой ответ. Но в науке всегда важна проверка некоторых центральных положений несколькими независимыми методами.

Три работы — одна опубликована до моей высылки и две после высылки — посвящены космологическим проблемам. В первой работе¹³ я обсуждаю механизмы возникновения барионной асимметрии. Некоторый интерес, быть может, представляют общие соображения о кинетике реакций, приводящих к барионной асимметрии Вселенной. Однако конкретно в этой работе я веду рассуждения в рамках своего старого предположения о наличии «комбинированного» закона сохранения (сохраняется сумма чисел кварков и лептонов). Я уже писал в предыдущих главах, как я пришел к этой идее и почему я считаю ее сейчас неправильной. В целом эта часть работы представляется мне неудачной.

Гораздо больше мне нравится та часть работы, где я пишу о многолистной модели Вселенной. Речь идет о предположении, что космологическое расширение Вселенной сменяется сжатием, потом новым расширением таким образом, что циклы «сжатие — расширение» повторяются бесконечное число раз. Такие космологические модели издавна привлекали внимание. Разные авторы называли их «пульсирующими» или «осциллирующими» моделями Вселенной. Мне больше нравится термин «многолистная модель». Он кажется более выразительным, больше соответствующим эмоциональному и философскому смыслу грандиозной картины многократного повторения циклов бытия.

До тех пор, пока предполагали сохранение барионов, многолистная модель встречалась, однако, с непреодолимой трудностью, следующей из одного из основных законов природы — второго начала термодинамики.

(Отступление. В термодинамике вводится некая характеристика состояния тел, называемая *энтропией*. Мой папа когда-то вспоминал о старой научно-популярной книге, которая называлась «Царица Мира и ее тень» (я, к сожалению, забыл, кто автор этой книги¹⁴). Царица — это, конечно, энергия, а тень — энтропия. В отличие от энергии, для которой существует закон сохранения, для энтропии второе начало термодинамики устанавливает закон возрастания (точней — неубы-

вания). Процессы, в которых суммарная энтропия тел не изменяется, называются (считаются) обратимыми. Пример обратимого процесса — механическое движение без трения. Обратимые процессы — абстракция, предельный случай необратимых процессов, сопровождающихся увеличением суммарной энтропии тел (при трении, теплообмене и т. п.). Математически энтропия определяется как величина, прирост которой равен притоку тепла, деленному на абсолютную температуру (дополнительно принимается — точнее, следует из общих принципов, — что энтропия при абсолютном нуле температуры и энтропия вакуума равны нулю).

Числовой пример для наглядности. Некое тело, имеющее температуру 200 градусов, отдает при теплообмене 400 калорий второму телу, имеющему температуру 100 градусов. Энтропия первого тела уменьшилась на $400/200$, т. е. на 2 единицы, а энтропия второго тела возросла на 4 единицы. Суммарная энтропия возросла на 2 единицы, в соответствии с требованием второго начала. Заметим, что этот результат есть следствие того факта, что тепло передается от более горячего тела к более холодному.)

Возрастание суммарной энтропии при неравновесных процессах в конечном счете приводит к нагреванию вещества. Обратимся к космологии, к многолистным моделям. Если мы при этом предполагаем число

барионов фиксированным, то энтропия, приходящаяся на барион, будет неограниченно возрастать. Вещество с каждым циклом будет неограниченно нагреваться, т. е. условия во Вселенной не будут повторяться!

Трудность устраняется, если отказаться от предположения о сохранении барионного заряда и считать, в соответствии с моей идеей 1966 года и ее последующим развитием многими другими авторами, что барионный заряд возникает из «энтропии» (т. е. нейтрального горячего вещества) на ранних стадиях космологического расширения Вселенной. В этом случае число образующихся барионов пропорционально энтропии на каждом цикле расширения — сжатия (т. е. условия эволюции вещества, образования структурных форм могут быть примерно одинаковыми в каждом цикле).

Я впервые ввел термин «многолистная модель» в работе 1970 года. В своих последних статьях я употребляю тот же термин в несколько ином смысле; я упоминаю здесь об этом во избежание недоразумений.

В первой из трех последних статей (1979 года) рассмотрена модель, в которой пространство в среднем предполагается плоским. Предположено также, что космологическая постоянная Эйнштейна не равна нулю и отрицательна (хотя и очень мала по абсолютной величине). В этом случае, как показывают уравнения теории тяготения Эйнштейна, космологическое расширение неизбежно сменяется сжатием.

При этом каждый цикл полностью повторяет предыдущий по своим средним характеристикам. Существенно, что модель является пространственно плоской. Рассмотрению наряду с плоской пространственной геометрией (геометрией Евклида) также геометрии Лобачевского и геометрии гиперсферы (трехмерный аналог двухмерной сферы) посвящены две следующие работы¹⁵. В этих случаях, однако, возникает еще одна проблема. Увеличение энтропии приводит к увеличению радиуса Вселенной в соответствующие моменты каждого цикла. Экстраполируя в прошлое, мы получаем, что каждому данному циклу могло предшествовать лишь конечное число циклов.

В «стандартной» (однолистной) космологии существует проблема: что было до момента максимальной плотности? В многолистных космологиях (кроме случая пространственно-плоской модели) от этой проблемы не удастся уйти — вопрос переносится к моменту начала расширения первого цикла. Можно стать на ту точку зрения, что начало расширения первого цикла или, в случае стандартной модели, единственного цикла — это Момент Сотворения Мира — и поэтому вопрос о том, что было до этого, лежит за пределами научного исследования. Однако, быть может, так же — или, по-моему, больше — правомерен и плодотворен подход, допускающий неограниченное научное исследование материального мира и пространства—времени. При этом, по-видимому, нет места Акту Творения, но основ-

ная религиозная концепция божественного смысла Бытия не затрагивается наукой, лежит за ее пределами.

Мне известны две альтернативные гипотезы, относящиеся к обсуждаемой проблеме. Одна из них, как мне кажется, впервые высказана мною в 1966 году и подвергалась ряду уточнений в последующих работах. Это гипотеза «поворота стрелы времени». Она тесно связана с так называемой проблемой обратимости.

Как я уже писал, в природе не существует полностью обратимых процессов. Трение, теплопередача, излучение света, химические реакции, жизненные процессы характеризуются необратимостью, разительным отличием прошлого от будущего. Если заснять на пленку какой-то необратимый процесс и затем пустить кинофильм в обратную сторону, то мы увидим на экране то, что не может происходить в действительности (например, маховик, вращающийся по инерции, увеличивает скорость своего вращения, а подшипники охлаждаются). Количественно необратимость выражается в монотонном возрастании энтропии. Вместе с тем входящие в состав всех тел атомы, электроны, атомные ядра и т. п. двигаются по законам механики (квантовой, но это тут не существенно), которые обладают полной обратимостью во времени (в квантовой теории поля — с одновременным СР-отражением — см. в предыдущих главах). Несимметрия двух направлений времени (наличие «стрелы времени», как говорят) при симметрии уравнений движения давно уже

обратила на себя внимание создателей статистической механики. Обсуждение этого вопроса началось еще в последние десятилетия прошлого века и проходило иногда довольно бурно. Решение, которое более или менее устроило всех, заключалось в гипотезе, что асимметрия обусловлена начальными условиями движения и положения всех атомов и полей «в бесконечно удаленном прошлом». Эти начальные условия должны быть в некотором точно определенном смысле «случайными».

Как я предположил (в 1966 году и, в более явной форме, — в 1980 году), в космологических теориях, имеющих выделенную точку по времени, следует относить эти случайные начальные условия не к бесконечно удаленному прошлому ($t \rightarrow -\infty$), а к этой выделенной точке ($t=0$).

Тогда автоматически в этой точке энтропия имеет минимальное значение, а при удалении от нее во времени вперед или назад энтропия возрастает. Это и есть то, что я назвал «поворотом стрелы времени». Так как при обращении стрелы времени обращаются все процессы, в том числе информационные (включая процессы жизни), никаких парадоксов не возникает. Изложенные выше идеи об обращении стрелы времени, насколько я знаю, не получили признания в научном мире. Но они представляются мне интересными.

Поворот стрелы времени восстанавливает в космологической картине мира симметрию двух направлений времени, присущую уравнениям движения!

В 1966—1967 годах я предположил, что в точке поворота стрелы времени происходит СРТ-отражение. Это предположение было одной из отправных точек моей работы по барионной асимметрии. Здесь я изложу другую гипотезу (Киржниц, Линде, Гут, Тернер и другие приложили руку; мне здесь принадлежит только замечание, что имеет место поворот стрелы времени).

В современных теориях элементарных частиц предполагается, что вакуум может существовать в различных состояниях: устойчивом, обладающем плотностью энергии, с *большой точностью* равной нулю, и неустойчивом, обладающем огромной положительной плотностью энергии (эффективной космологической постоянной). Последнее состояние иногда называют «ложным вакуумом».

Одно из решений уравнений общей теории относительности для таких теорий таково. Вселенная замкнута, т. е. в каждый момент представляет собой «гиперсферу» конечного объема (гиперсфера — трехмерный аналог двухмерной поверхности сферы; гиперсферу можно представлять себе «вложенной» в четырехмерное евклидовское пространство, так же как двухмерная сфера «вкладывается» в трехмерное пространство). Радиус гиперсферы имеет минимальное конечное значение в некоторый момент времени (обозначим его $t=0$) и возрастает при удалении от этой точки как вперед, так и назад по времени. Энтропия равна нулю для

ложного вакуума (как и для всякого вакуума вообще) и при удалении от точки $t=0$ вперед или назад во времени возрастает вследствие распада ложного вакуума, переходящего в устойчивое состояние истинного вакуума. Таким образом, в точке $t=0$ происходит поворот стрелы времени (но нет космологической СРТ-симметрии, которая требует в точке отражения бесконечного сжатия). Так же как в случае СРТ-симметрии, все сохраняющиеся заряды тут тоже равны нулю (по тривиальной причине — при $t=0$ вакуумное состояние). Поэтому в этом случае также необходимо предположить динамическое возникновение наблюдаемой барионной асимметрии, обусловленное нарушением СР-инвариантности.

Альтернативная гипотеза о предыстории Вселенной заключается в том, что на самом деле существует не одна Вселенная и не две (как — в некотором смысле слова — в гипотезе поворота стрелы времени), а множество кардинально отличающихся друг от друга и возникших из некоторого «первичного» пространства (или составляющих его части; это, возможно, просто иной способ выражения). Другие Вселенные и первичное пространство, если есть смысл говорить о нем, могут, в частности, иметь по сравнению с «нашей» Вселенной иное число «макроскопических» пространственных и временных измерений — координат (в нашей Вселенной — три пространственных и одно временное измерение; в иных Вселенных

все может быть иначе!). Я прошу не обращать особого внимания на заключенное в кавычки прилагательное «макроскопических». Оно связано с гипотезой «компактизации», согласно которой большинство измерений компактифицировано, т. е. замкнуто само на себя в очень малых масштабах.

Предполагается, что между разными Вселенными нет причинной связи. Именно это оправдывает их трактовку как отдельных Вселенных. Я называю эту грандиозную структуру «Мега-Вселенная». Некоторые авторы обсуждали варианты подобных гипотез. В частности, гипотезу многократного рождения замкнутых (приближенно гиперсферических) Вселенных защищает в одной из своих работ Я. Б. Зельдович.

Идеи «Мега-Вселенной» чрезвычайно интересны. Быть может, истина лежит именно в этом направлении. Для меня в некоторых из этих построений есть, однако, одна неясность несколько технического характера. Вполне допустимо предположить, что условия в различных областях пространства совершенно различны. Но законы природы обязательно должны быть всюду и всегда одними и теми же. Природа не может быть похожей на Королеву в сказке Кэрролла «Алиса в стране чудес», которая по своему произволу изменяла правила игры в крокет. Бытие — не игра. Мои сомнения относятся к тем гипотезам, которые допускают разрыв непрерывности пространства—времени. Допустимы ли такие

процессы? Не есть ли они нарушение в точках разрыва именно законов природы, а не «условий бытия»? Повторяю, я не уверен, что это обоснованные опасения; может, я опять, как в вопросе о сохранении числа фермионов, исхожу из слишком узкой точки зрения. Кроме того, вполне мыслимы гипотезы, где рождение Вселенных происходит без нарушения непрерывности.

Предположение, что спонтанно происходит рождение многих, а быть может, бесконечного числа отличающихся своими параметрами Вселенных и что Вселенная, окружающая нас, выделена среди множества миров именно условием возникновения жизни и разума, получило название «антропного принципа». Зельдович пишет, что первое известное ему рассмотрение этого принципа в контексте расширяющейся Вселенной принадлежит Идлису (1958 год). В концепции многолистной Вселенной антропный принцип тоже может играть роль, но для выбора между последовательными циклами или их областями. Эта возможность рассматривается в моей работе «Многолистные модели Вселенной». Одна из трудностей многолистных моделей заключается в том, что образование «черных дыр» и их слияние настолько нарушают симметрию на стадии сжатия, что совершенно непонятно, пригодны ли при этом условия следующего цикла для образования высокоорганизованных структур. С другой стороны, в достаточно продолжительных циклах происходят

процессы распада барионов и испарения черных дыр, приводящие к выглаживанию всех неоднородностей плотности. Я предполагаю, что совокупное действие этих двух механизмов — образования «черных дыр» и выравнивания неоднородностей — приводит к тому, что происходит последовательная смена более «гладких» и более «возмущенных» циклов. Нашему циклу, по предположению, предшествовал «гладкий» цикл, во время которого «черные дыры» не образовались. Для определенности можно рассматривать замкнутую Вселенную с «ложным» вакуумом в точке поворота стрелы времени. Космологическая постоянная в этой модели может считаться равной нулю, смена расширения сжатием происходит просто за счет взаимного притяжения обычного вещества. Продолжительность циклов возрастает вследствие роста энтропии при каждом цикле и превосходит любое заданное число (стремится к бесконечности), так что условия распада протонов и испарения «черных дыр» выполняются.

Многолистные модели дают ответ на так называемый парадокс больших чисел (другое возможное объяснение — в гипотезе Гута и других, предполагающей длительную стадию «раздувания» — см. в главе 18).

Почему общее число протонов и фотонов во Вселенной конечного объема так необозримо велико, хотя и конечно? И другая форма этого вопроса, относящаяся к «открытому» варианту: почему так велико число

частиц в той области бесконечного мира Лобачевского, объем которой порядка A^3 (A — радиус кривизны)?

Ответ, который дается многолистной моделью, очень прост. Предполагается, что с момента $t=0$ прошло уже много циклов, во время каждого цикла увеличивалась энтропия (т. е. число фотонов) и, соответственно, в каждом цикле генерировался все больший барионный избыток. Отношение числа барионов к числу фотонов в каждом цикле при этом постоянно, так как оно определяется динамикой начальных стадий расширения Вселенной в данном цикле. Общее число циклов с момента $t=0$ как раз таково, что получилось наблюдаемое число фотонов и барионов. Так как рост их числа происходит в геометрической прогрессии, для необходимого числа циклов мы получим даже не столь уж большое значение.

Побочным результатом моей работы 1982 года является формула для вероятности гравитационного слипания «черных дыр» (использована оценка в книге Зельдовича и Новикова).

С многолистными моделями связана еще одна интригующая воображение возможность, верней — мечта. Может быть, высокоорганизованный разум, развивающийся миллиарды миллиардов лет в течение цикла, находит способ передать в закодированном виде какую-то самую ценную часть имеющейся у него информации своим наследникам в следующих циклах, отделенных от данного цикла во времени периодом сверхплотного со-

стояния?.. Аналогия — передача живыми существами от поколения к поколению генетической информации, «спрессованной» и закодированной в хромосомах ядра оплодотворенной клетки. Эта возможность, конечно, совершенно фантастична, и я не решился писать о ней в научных статьях, но на страницах этой книги дал себе волю. Но и независимо от этой мечты гипотеза многолистной модели Вселенной представляется мне важной в мировоззренческом философском плане.

* * *

Вернусь по времени на несколько лет назад.

Весной 1978 года, вскоре после отъезда Алеши, мы поехали в Ленинград — я, Люся и Руфь Григорьевна, которую мы не хотели оставлять одну в Москве. Остановились мы, как всегда, на Пушкинской. Вскоре я заболел гриппом. Меня изолировали в комнате Зюечки, перешедшей к Регине. Но вскоре, несмотря на эти предосторожности, заболела Руфь Григорьевна, причем значительно тяжелей, чем я. Лежа с небольшой или нормальной температурой, я придумывал разные задачи (которые я, как в 60-е годы, называл про себя «любительскими»). Вот две придуманные мною задачи:

1. Рассмотрим бесконечную последовательность чисел вида $a_n = n! + 1$. Доказать, что последовательность содержит бесконечное число простых чисел. Дать оценку

числа простых чисел $S(n)$, содержащихся в первых n членах последовательности.

При эвристическом рассмотрении этой задачи (и ее вариантов и обобщений) я использовал полуинтуитивное понятие вероятности того, что некоторое число является простым числом; необходимо также учесть, что число вида a_n безусловно не делится ни на одно простое число, меньшее чем n . Этот ход рассуждений далек, конечно, от требований математической строгости. Я не знаю, известно ли более строгое рассмотрение проблемы.

2. Рассмотрим последовательность Фибоначчи с законом построения $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ и начальными членами $a_1 = 1$, $a_2 = 1$. Доказать, что среди чисел a_n есть кратные любого целого числа m . Показать, что при изменении начальных чисел a_1 , a_2 это утверждение не обязательно справедливо.

Вот еще одна любительская задача, придуманная в 1985 году, когда меня во время голодовки насильно удерживали в Горьковской областной больнице и подвергали принудительному кормлению. Я подолгу смотрел на висящие на стене часы; иногда по ночам, в больничном полумраке, стрелки в моих глазах казались то длинней, то короче, и мне было трудно понять, которая из них часовая, какая минутная. Итак, задача:

3. Рассеянный часовщик. Часовщик по ошибке укрепил на часах (с 12-часовым циферблатом) две стрелки одинаковой длины. В некоторые моменты из-за этого возникает неопределенность, двусмысленность в отсчете времени. Указать все эти «особые» конфигурации.

Мне потом сказали, что эта задача уже известна и описана в научно-популярном журнале.

А вот еще одна придуманная мною любительская задача более раннего времени:

4. Двое играют в «бой яиц». Перед ними стоит корзина с яйцами. Они наугад берут по яйцу и ударяют их носами. Разбитое яйцо выбрасывается и побежденный берет новое, а победитель раунда сохраняет свое яйцо для следующего раунда (предполагается, что победившее яйцо сохранило свою прочность и что исход каждого раунда зависит только от относительного качества яиц). Спрашивается: какова вероятность победы в $(n+1)$ -м раунде после победы в предыдущих? Ответ. $1-1/(n+2)$.

* * *

Продолжу рассказ о нашей с Люсей горьковской жизни. Тут очень быстро установился некий шаблон. Примерно раз в месяц-полтора Люся уезжает в Москву, оставляя меня одного в квартире (с милиционером,

дежурящим за дверью). Отсутствует она обычно 10—15 дней. (В первый год эти интервалы были гораздо короче; это, конечно, было еще утомительней для нее.) Каждая поездка — это бессонная ночь в душном или мертво-холодном вагоне, часто даже не в купированном, а в переполненном общем. Но Люсины поездки совершенно необходимы — это почти единственная наша связь с внешним миром, в том числе с детьми, оказавшимися за океаном. Поездки необходимы также и для того, чтобы она могла передать иностранным журналистам мои заявления, обращения и интервью по животрепещущим, часто трагическим поводам, а также способствовать (как я уже писал, не конкретизируя деталей) переправке рукописи этих воспоминаний. Все это, конечно, делается «явочным порядком» и требует от Люси не только огромных усилий, но и решимости. Обрато Люся едет с тяжелыми сумками (одна или две из них — «сумки-холодильники»), заполненными продуктами — творогом в пачках, сливочным маслом, мясом и многим другим, чего практически нет в Горьком — городе с полутора миллионным населением. Замечу для объективности, что в самое последнее время снабжение в Горьком несколько улучшилось, например овощами, а в Москве, наоборот, ухудшилось, так что разрыв сократился. Следует также указать, что некоторые дефицитные продукты, например колбаса, продаются закрытым образом по предприятиям —

к нам все это имеет мало отношения (кроме овощей); закрытая продажа — вовсе не имеет.

Кстати, КГБ усиленно распускал слухи, что я в Горьком якобы получаю какие-то пайки на дом (финский сервелат, еще что-то столь же «обкомовское»). Многие этому поверили. Конечно, это абсолютная выдумка. Правда, раз в неделю, по пятницам, я вижу в окно, как привозят пайки (не слишком экзотические) для тех гебистов, которые делают свою таинственную работу вокруг меня. По числу пакетов я вижу, что их человек 35. Это — «стрелочники»; начальство где-то вдали...

Без Люси я стараюсь как можно больше работать, выходя из дома только за хлебом и овощами с непременно сумкой с документами и рукописями, перекинутой через плечо (килограмм 10—12 в лучшие дни, до кражи). Сумку я стараюсь не выпускать из рук. Даже выходя из машины, чтобы отдать в кассу бензоколонки талончики на бензин, я не оставляю свою сумку на сиденье.

Когда Люся приезжает, мы обычно в первый день обмениваемся новостями и я читаю (так бывает далеко не каждый раз) «левые» письма от Руфи Григорьевны, детей и внуков. («Левые» — то есть кем-то привезенные; конечно, в письмах нет ничего, что следовало бы скрывать, — просто посланные обычной почтой письма не доходят! Единственное, что приходит обычной почтой, — коротенькие открытки от Руфи Григорьевны,

ей это разрешается; сейчас уже, видимо, нет — открытки приходят лишь частично.)

Привозит Люся и некоторые книги, в том числе научные. Люсины рассказы, ее непосредственная, эмоциональная, но обычно точная реакция на людей и события, привезенные ею бумаги во многом определяют, что я должен срочно делать и писать.

На следующий день начинается необходимая работа, перед Люсиным отъездом переходящая в «аврал». Но в промежутке мы все же смотрим по вечерам телевизор, ходим (очень редко) в кино. В 1980—1981 годах мы изредка ходили (в «разрешенных» пределах) гулять на откос Оки с чудесным видом вдаль или по осеннему полю. Эти мгновения ухода от города и неволи запомнились. Но в 1982 году у нас на такие прогулки (на самом деле очень близкие) уже не хватало сил и времени.

Явочным порядком мы завоевали право ходить к Хайновским — старым друзьям и дальним родственникам Руфи Григорьевны и Люси. Они издавна живут в Горьком; то, что мы оказались рядом, — чистая случайность.

В 50-е годы Руфь Григорьевна с трехлетней Таней жила у Хайновских. В Ленинграде ей после лагеря жить не полагалось (потом ей пришлось уехать еще дальше, в деревню в 30 километрах от Горького). Хайновские — ставшая нам близкой семья. Душой ее был Юрий Хайновский, очень живой, отзывчивый, общительный и ду-

шевный. Жизнь его никогда не была легкой. Детство и юность в семье политссыльного, ранение на фронте, арест и заключение за неосторожные разговоры, многолетний материальный недостаток. И вместе с тем, жили они дружно, по-человечески, окруженные людьми. К нам никого из них не пускают, но нашим поездкам к ним не препятствуют. В первые разы гебисты «нервничали», заглядывали в окна. Теперь они, видимо, получили разрешение и во время наших визитов потихоньку сидят в машине недалеко от дома Хайновских.

Начиная с апреля 1980 года ко мне приезжали физики — мои коллеги по ФИАНу. Потом эти поездки (после трех визитов) прервались, я дальше пишу — почему, и возобновились уже в 1982 году, а после кражи сумки, как сказано выше, возник еще один перерыв. Конечно, такие визиты очень важны для меня в моей почти полной изоляции. Но они никак не в состоянии заменить нормального научного личного общения — с посещениями семинаров и конференций, свободными беседами в коридорах со свободно выбранными собеседниками, участия (пусть даже пассивного) в научных дискуссиях у доски, когда можно спросить то, что докладчику или автору кажется само собой разумеющимся, и одно слово все разъясняет... (Каждый научный работник знает, как это необходимо.) И угнетает то, что визиты физиков ко мне являются «управляемыми», явно используются для приглушения кампаний в мою защиту.

Из всех физиков в СССР нашелся лишь один, который дважды приезжал в Горький без разрешения властей и по предварительной договоренности встречался со мной на улице. Это — мой бывший однокурсник Миша Левин¹⁶. В 40-е годы он был арестован и осужден по одному из известных политических дел того времени. Освободившись из заключения, он несколько лет жил и работал в Горьком, пока не произошло «потепления» и он не смог вернуться в Москву (как мы с Люсей — через столько лет — написано в 1987 г.). Мишина судьба — через их общего друга Севу — странно приближалась к Люсиной еще в довоенные годы! Таким же способом, как с Мишей, удалось встретиться еще с двумя людьми — с Наташей Гессе и Славой Лапиным, Люсиным однокурсником. Мы встречались либо на главпочтамте в назначенный час, либо в кафе на той же площади; гуляли, беседовали, заходили с Наташей к Хайновским. Со Славой вышла путаница: он не дождался нас, поехал в Щербинки, был задержан и имел двухчасовую беседу в ГБ — в его обычном блистательно «наивном» стиле; потом мы случайно встретили его на улице, уже потеряв надежду его дождаться.

Каждый раз, когда в СССР приезжают иностранные ученые, заинтересованные в моей судьбе, они получают целый букет выдумок от академических официальных лиц — Александрова, Скрябина, Велихова (это

президент, ученый секретарь, заместитель президента¹⁷ — соответственно). Оказывается, я живу в прекрасных квартирных условиях, у меня зарплата, как у министра, секретарша, домработница, привилегированное медицинское обслуживание, продуктовые пайки. Как очевидно из вышесказанного, все это — ложь. Роль секретарши, может, в какой-то мере исполняет Люся, вдобавок ко всем остальным обязанностям. Уборку квартиры, приготовление пищи, покупку продуктов производит тоже она, а в ее отсутствие — я. К слову — о медобслуживании: все оно, пожалуй, свелось к трем проявлениям — к зубной поликлинике, где у меня украли сумку, к насильственной госпитализации во время голодовки и немедленной выписке, как только у меня случился сердечный приступ, к врачам, оказавшимся около машины во время последней кражи с наркотом¹⁸.

Перед отъездом Люся начинает орудовать на кухне: она готовит мне еду на время ее отсутствия, чтобы я, по крайней мере первую неделю, был избавлен от готовки. Все это помещается в холодильник, и я провожаю ее на вокзал. Цикл начинается снова...

* * *

Может, кому-то наша жизнь, по ее описанию, покажется не самой трудной. Действительно, она не столь чудовищна, как в лагерях и тюрьмах. Но то, что сдела-

ли со мной, — абсолютно незаконно. И это очень опасно. По существу, держа меня в незаконной изоляции, власти закрепляют возможность творить «законное беззаконие» и по отношению ко всем узникам совести. (Смешная аналогия: в первые послевоенные годы, когда было трудно с жильем, жилищные чиновники говорили нуждающимся:

— Что вы волнуетесь? Вот у нас один академик живет в ванной...

Правда, я не знаю такого академика, вероятно это байка, но сейчас сам, не по своей вине, играю роль вроде этой.)

И еще я должен сказать: наша внешне спокойная (за исключением эксцессов КГБ) жизнь идет на самом деле с огромным напряжением сил, на нервах, на пределе. В особенности это относится к Люсе, не только к ее непрерывным поездкам в переполненных и душных вагонах, иногда на боковых полках, но и ко всей ее жизни.

В Москве на ее долю выпала вся, теперь неразделенная, тяжесть общения с инкорами, с приезжающими в СССР иностранными коллегами и другими озабоченными моей судьбой людьми, с московскими и немосковскими инакомыслящими и просто посетителями. Надо видеть это, чтобы понять всю физическую и психологическую тяжесть этих контактов. Наташа как-то, пожив с Люсей в Москве, сказала:

— Так жить невозможно, нельзя. Ты живешь на износ.

(Добавление 1987 г. Очень скоро эти слова, к сожалению, получили подтверждение.)

Дела, которыми занимается Люся, вовсе не только мои (мои в малой мере), на нее одну лег весь тот правозащитный груз, который раньше лежал на обоих (передача материалов о новых арестах и судах, о ссыльных, об условиях в местах заключения, о всевозможных нарушениях прав человека, организация пресс-конференций для тех, кто сам не может этого, активное участие в работе Хельсинкской группы, посылки и бандероли — это, быть может, главное, и др., всего не перечислишь!). Люся (как, впрочем, и я) — далеко не здоровый человек, она не зря инвалид второй группы — сказываются контузия и многое другое, в особенности операция щитовидной железы 9 лет назад (*написано в феврале 1983 года*) и, конечно, не самый молодой возраст, целая жизнь по принципу «жить, не жалея себя».

Главная же трагедия ее жизни — разлука с детьми и внуками, вынужденными 5 лет назад уехать из СССР в бесконечно далекий и совсем не простой зарубежный мир, с полным отсутствием нормальной связи — почты и телефона (телефонной связи у меня нет и с Москвой). Я уже писал, что, когда они уезжали, мы понимали, что это будет тяжело и трудно, но насколько — мы все же не могли знать. Сейчас, уже почти три года,

к этому добавилась разлука с мамой, Руфью Григорьевной. Все это завязано в тугой, неразрешимый узел.

Говорят, человек, лишенный связи с внешним миром, становится живым мертвецом. Мне кажется, что я в своей фантастической горьковской изоляции не стал мертвецом; если это так, то только благодаря Люсе. Это в равной мере относится и к общественной активности, и к науке, и к чисто человеческому общению. Поистине Люся дала мне жизнь и поддерживает ее. Чего это ей стоит — я пытался написать выше. Это все верно и в применении ко всем дням горьковской жизни, и к самым первым, описанным в предыдущей главе (я рассказал там, как Люся помогла тогда найти и удержать верную и достойную линию на крутом повороте нашей судьбы).

ГЛАВА 48

Дело Лизы Алексеевой

Алеша уехал 1 марта 1978 года. С мая Лиза жила в нашей семье, стала ее членом. Почти немедленно начались трудности. Весной ее по надуманному предлогу не допустили к госэкзаменам, не дав тем самым формально закончить образование и получить диплом. В июле следующего года, явно по указанию, уволили из вычислительного центра, где она работала оператором и была на хорошем счету. В дальнейшем, особенно после моей высылки, трудности и опасность ее положения увеличивались. Попытки добиться ее относительно быстрого выезда, как у многих других внешне в аналогичном положении, — не удалось. Разлука ее с Алешей затянулась почти на четыре года — выезд Лизы стал возможен лишь после многолетних усилий, завершившихся голодовкой моей жены и моей в ноябре—декабре 1981 года.

На протяжении этой книги я много писал о нарушениях в СССР права на свободный выбор страны проживания, о тех трагедиях, к которым это приводит. В случае Лизы все многократно усиливалось ее

связью со мной — фактически Лиза Алексеева стала заложником моей общественной деятельности.

Одним из усложнявших обстоятельств была позиция родителей Лизы. Десятилетия изоляции нашей страны от остального мира и целенаправленной пропаганды создали в умах многих искаженные представления о жизни и целях других государств, предубеждения против отъезда из страны. Отъезд представляется им изменой родине, эмигранты в их воображении неизбежно становятся агентами ЦРУ или какой-либо иностранной разведки. Родители Лизы не были тут исключением. Их позиция широко и демагогически использовалась — даже тогда, когда она фактически изменилась.

В первые месяцы 1978 года, когда родители Лизы еще не знали о ее отношениях с Алешей и желании уехать к нему, Лизина мама случайно нашла в кармане ее пальто письмо от Алеши — тогда еще была возможна переписка. Мама устроила Лизе большой скандал — сам факт переписки с человеком, уехавшим из страны, представлялся ей чудовищным и опасным. Лизин отец — инженер на заводе под Москвой, в прошлом военный, сейчас уже на пенсии, человек несомненно искренний и честный, вспыльчивый и упрямый. Было совершенно ясно, что позиция Лизиных родителей не изменится без каких-то чрезвычайных обстоятельств.

Лиза — совершеннолетняя, по закону родители не могут препятствовать ее отъезду, но фактически при отсутствии их согласия даже подача документов на выезд оказывается чрезвычайно затрудненной. Как я уже писал, при подаче документов требуется справка от родителей об отсутствии или наличии у них материальных претензий, и, если они не хотят отъезда, они могут заблокировать подачу документов, не давая никакой справки — при этом нет никакого юридического механизма заставить их это сделать. Частичный выход, который нашли люди, оказавшиеся в таком положении, — посылка документов в Верховный Совет, откуда их обычно пересылают в ОВИР; расчет тут на то, что за время рассмотрения в ОВИРе что-нибудь изменится в лучшую сторону. Так поступила и Лиза, послав в Верховный Совет свои документы, включая вызов от Томар Фейгин (мамы Ефрема) из Израиля, — т. е. было соблюдено и это формальное требование (незаконное, как я уже разъяснял). Впоследствии к этим документам был присоединен вызов от Алеши ей как невесте, а потом вызов как жене.

В апреле 1979 года (вскоре после возвращения Люси из Италии) неожиданно для нас были освобождены «ленинградские самолетчики» — те из них, кто был осужден на 10 лет заключения, т. е. более чем на год досрочно. Всего было освобождено пять человек — Альтман, Бутман¹, Вульф Залмансон, Пэнсон,

Хнох. Вероятно, это был жест доброй воли перед предстоящими переговорами Брежнева и Картера об ОСВ-2, так же как и последовавший затем обмен еще пяти человек. Люся, так много сделавшая в этом деле и считавшая всех его участников своими близкими, тут же поехала в Ригу, где они были выпущены на свободу, чтобы повидаться с ними. Позже у нее возникла мысль, что кто-либо из освобожденных, не связанный другими обязательствами, назовет Лизу своей невестой и потребует ее выезда вместе с собой. «Самолетчики» улетали по высокой международной договоренности — это давало почти 100% вероятности успеха, но, конечно, надо было проявить настойчивость и стойкость. Она обсуждала с ними этот план в поезде Рига—Москва, и потом мы вместе продолжили переговоры на нашей кухне. К сожалению, «самолетчики» побоялись выполнить нашу просьбу — и сами по себе, и в особенности под влиянием «умных» советчиков. Чувствуя неловкость, они уехали, не попрощавшись с нами.

В эти дни у меня произошли сильные головокружения, очевидно на сосудистой почве. Я лежал в кровати. По радио мы услышали о новом сенсационном освобождении — в обмен на двух советских шпионов — на этот раз двух главных обвиняемых «самолетного дела» Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова (первоначально приговоренных к смертной казни,

затем замененной 15 годами заключения), Александра Гинзбурга, Валентина Мороза и баптистского пастора Георгия Винса, в это время как раз направлявшегося из тюрьмы в ссылку. Вместе с Винсом за рубеж выезжала его семья, в том числе сын Петр, тоже только что вышедший из заключения. Я многократно выступал по делу как Георгия, так и Петра Винсов. Я решил обратиться к Петру с той же просьбой, с которой перед тем мы обращались к «самолетчикам». Лежа в постели, я написал письмо Пете Винсу, и Мальва Ланда повезла его в Киев, где жила семья Винсов. Однако при выходе на вокзале в Киеве ее задержала «милиция» (КГБ) якобы по подозрению в поездной краже (чуть ли не, говорилось, бриллиантов — конечно, это все была инсценировка). Мальву обыскали, отобрали у нее мое письмо и тут же насильно доставили обратно в Москву. Впрочем, вероятно, ей все равно не удалось бы добраться до Винса — их дом был «обложен» КГБ, и никого туда не подпускали. Петя Винс уехал один. Это была новая неудача вывезти Лизу, произошедшая сразу вслед предыдущей — с «самолетчиками».

В эти дни Лиза совершила суицидную попытку. Она приняла смертельную дозу попавшегося ей на глаза лекарства. К счастью, Люся заметила ее необычно «заторможенное» состояние, вызвала «скорую», и Лизу удалось спасти. Это был необдуманный посту-

пок оказавшегося в трагической ситуации и совсем еще неопытного в жизни человека. Впоследствии Лиза жестоко раскаивалась. Я рассказываю здесь об этом, так как в этом деле особенно наглядно проявилась заинтересованность КГБ в Лизиной судьбе и так как оно имело влияние на последующие события и, как я думаю, на планы КГБ.

Несколько дней Лиза провела в больнице. Незадолго до ее выписки ко мне в ФИАНе после семинара подошел секретарь парторганизации Теоротдела В. Я. Файнберг с несколько смущенным видом. Потом он приехал к нам на улицу Чкалова и продолжил разговор. Оказывается, в ФИАН приходил отец Лизы, говорил с секретарем общепартийной организации, а до этого был в райкоме. Отец требовал, чтобы Лизу оградили от моего пагубного влияния, заставили ее не жить у нас. Самое примечательное, что в райкоме уже знали о Лизиной попытке самоубийства. Я кратко рассказал В. Я. об истинном положении дел. В ответ он, еще более смущенно, передал мне исходившую от райкома просьбу не предавать гласности произошедшее с Лизой. Он также обещал, что с отцом Лизы поговорят и постараются как-то успокоить, был в разговоре даже неопределенный намек, что помогут выезду — все эти обещания не были выполнены. Мы же пошли навстречу просьбе райкома, тем более что публикация была бы тяжела для Лизы;

поэтому мы и раньше не собирались ничего публиковать, после же «предупреждения» это как раз следовало сделать. А через месяц (или два) выяснилось, что райком был в этом деле просто передаточным звеном от КГБ! В газете «Неделя» (воскресное приложение к «Известиям» с отдельной подпиской²) появился фельетон, целиком посвященный Лизе, — центральным в нем была как раз попытка самоубийства (обыгрывались также поездки Люси и Лизы к Глузману в ссылку). То, что мы ничего не публиковали, дало тут авторам преимущество первого впечатления. Авторы были явно кагебистские, в частности это подтверждалось тем, что в фельетоне использовалось и даже приводилось факсимиле моего письма Пете Винсу, отобранное у Мальвы Ланда на обыске (то, что личные письма недостойно публиковать без разрешения автора и адресата, конечно, игнорировалось). Лиза в фельетоне характеризовалась с самой худшей стороны — как наркоманка и морально неустойчивая личность. Она была обозначена условной буквой Н. Люся же (главная цель клеветы) и я были названы явно и полностью.

Впоследствии мы узнали, что все же, несмотря на усилия авторов фельетона, он произвел на многих впечатление, отличное от того, к которому стремились авторы и их «заказчик». Многие читатели (и особенно многие читательницы) спрашивали: «Ес-

ли такая любовь, то почему девушка не может поехать к любимому человеку без всех этих сложностей?» В самом деле, почему?

В «Неделе» появился новый фельетон, который должен был, очевидно, исправить дело. Но это произошло уже после моей высылки в Горький, т. е. в «новую эпоху», и после еще одного события. В конце февраля 1980 года в США выехала Оля Левшина, первая жена Алеши, вместе с дочерью Катей. Их отъезд был неожиданным не только для нас, но и для всех знакомых и друзей Оли. Мы до сих пор не знаем всех обстоятельств, предшествовавших этому отъезду, мотивов самой Оли, позиции родителей, но несомненно, что ее отъезд отвечал каким-то планам КГБ и стал возможен благодаря КГБ. Формально, по-видимому, она уехала по тем же документам, которые были оформлены 2 года назад, но на самом деле мы и этого не знаем.

Второй фельетон в «Неделе» появился сразу за Олиным отъездом. Он во многом противоречил первому — но кто из читателей их будет сверять! Тема любви Алеши и Лизы отсутствовала. Получалось так, что Алеша допустил «загул», валялся потом у жены в ногах, она его простила, хотя и не сразу, но теперь семья восстанавливается, Оля едет к мужу. Люся же — любящая бабушка (как будто это криминально) — устраивает отъезды и Оле, и Лизе; последней —

«чтобы удалить следы своих преступлений». Фельетон назывался «Оглянись, человек»; в нем было обращение к Н., которая, якобы, в любой момент может свободно уехать, уже вроде бы уезжает, но должна в последний момент одуматься и понять, что демоническая Елена Боннэр посылает ее «в никуда» (Алеша уже соединился со своей законной женой), на верную гибель ради каких-то своих планов. Самой же Лизе, к этому времени уже несколько месяцев ждавшей ответа на поданное в ОВИР заявление, как бы давалось понять, что она никогда и никуда не уедет — но это было ясно только посвященным. Оба фельетона были перепечатаны в горьковской местной газете, возможно и в других изданиях, и в сокращенном виде за рубежом.

Тогда же в итальянской газете «Сетте джорни» появился фельетон, специально посвященный Люсиным «преступлениям». Номер газеты был прислан по почте ряду людей в СССР, возможно и за рубежом. Начальнику Теоротдела ФИАНа академику Гинзбургу, находящемуся в командировке в Италии, номер подложили в машину советского консульства (я узнал об этом не от самого Гинзбурга, а через третьих лиц)³. Автор фельетона ссылался на того же Семена Злотника, о котором я писал в связи с «желтыми пакетами», — это мифический персонаж, под именем которого выступает КГБ. Якобы автору фельетона

удалось встретиться с Семеном Злотником (кажется, в Ницце), и тот рассказал ему о сенсационных фактах из жизни жены академика Сахарова Елены Боннэр. Фельетон был написан в самом низкопробном бульварно-постельном стиле и не только содержал безудержную клевету и ложь в Люсин адрес, но и демонстрировал знание подробностей Люсиной жизни чуть ли не с пеленок — несомненный плод тщательного изучения ее биографии целой армией гебистов. Так, в фельетоне говорилось, что в школе, где училась Люся, велась игра в героев «Трех мушкетеров» Дюма, и Люся выступала в роли миледи (демонической красавицы). Автор фельетона тем как бы создавал у читателей соответствующий образ Люси. Игра в называние героями Дюма в Люсином классе в Ленинграде действительно велась, но за год до того, как Люся приехала из Москвы после ареста родителей, и миледи была совсем другая девушка (не исключено, что именно от нее и получили гебисты эту информацию). Фельетон развивал те же темы, которые содержались в желтых пакетах — якобы причастность Люси к гибели жены Злотника и жены Всеволода Багрицкого. Обвинить автора фельетона в клевете при этом было невозможно, так как он ссылался на рассказ Семена Злотника, с которого уже совсем нет спроса, поскольку его не существует. Кончался фельетон зловещим намеком: Елене Боннэр удалось уйти от ответствен-

ности за два преступления — убийства или подстрекательство к ним, но если она совершит третье, то несомненно ответит за это. В этом, видимо, была вся соль. КГБ, толкая Лизу к отчаянию, к гибели, может к новому суициду, заранее готовил психологическую почву для того, чтобы обвинить в этом Люсю (этим объясняется также фраза в фельетоне «Недели», что Люся пытается выслать Лизу за рубеж, так как Лиза — свидетель ее преступлений!).

Оля приехала в Бостон и начала там работать. Развод Алеши и Оли был оформлен через несколько месяцев после ее приезда. Суд определил алименты и дни обязательного общения дочери с отцом. Со временем Катя вновь привыкла к Алеше, подружилась с Мотей и Аней; во всем этом была существенная, положительная сторона приезда Оли. Сейчас Катя уехала из Бостона, так как Оля вышла замуж, что само по себе, конечно, очень хорошо; общение Кати с Алешей и Лизой, приехавшей в конце 1981 года, и с другими родственниками в Бостоне не прерывается.

Только после развода Алеша смог послать Лизе приглашение как невесте; при этом советское консульство отказалось, вопреки обычной практике, его завизировать, вновь демонстрируя исключительность и трудность нашей ситуации.

Между тем Лизино положение продолжало обостряться. До мая 1980 года Лиза свободно ездила ко мне

в Горький (с Люсей или с Руфью Григорьевной). Но 16 мая, когда они вместе с Руфью Григорьевной поехали на мой день рождения, ее не пустили. Когда она отошла от Руфи Григорьевны, чтобы купить сигарет, мужчины в штатском схватили ее и затащили в комнату железнодорожной милиции — она даже не успела крикнуть. Это, конечно, были гебисты. Они заявили ей: «Вы знаете, кто мы. Мы слов на ветер не бросаем. Вам запрещается ездить в Горький. Вы не должны жить на улице Чкалова, должны вернуться к родителям!» (Последнее при сложившихся отношениях было исключено.) Через несколько дней Лизу вызвали в КГБ (в «орган КГБ», как было написано в повестке) и сделали официальное предупреждение об уголовной ответственности по статье 190¹ в случае продолжения ею ее деятельности. (Это так называемое «Предупреждение по Указу». КГБ получил по Указу Президиума Верховного Совета право делать такие предупреждения.⁴)

В дальнейшем угрозы в отношении Лизы много раз повторялись, и мы не могли думать, что это только пустые слова. Однажды при поездке Лизы вместе с Люсей в Ленинград они с Наташей Гессе пошли на рынок. Там к Лизе подошли несколько гебистов, и один из них заявил: «Убьем».

Летом 1980 года я послал телеграмму на имя Брежнева, где просил о разрешении Лизе на выезд к люби-

тому человеку, жениху, и подчеркивал, что все, что происходит с нею, — это заложничество, связанное с моей общественной деятельностью.

В августе я обратился с большим, подробным письмом к заместителю президента Академии академику Евгению Павловичу Велихову, в его лице к президенту и Президиуму Академии. Два месяца Велихов ничего не отвечал на мое письмо и на повторные телеграммы, потом 14 октября прислал телеграмму такого содержания (привожу по памяти): «Мною принимаются меры для выяснения возможностей выполнения Вашей просьбы. По получении результатов сообщу». После этой телеграммы Велихов никогда ничего не сообщил и никак не реагировал на мои дальнейшие телеграммы и еще два посланных ему письма.

20 октября 1980 года я обратился с большим открытым письмом к президенту АН СССР академику А. П. Александрову⁵. В письме затронут ряд общих и более частных тем. В этом письме я прошу Александра и в его лице Президиум о помощи в деле Лизы. Ответа я не получил.

Летом 1980 года и зимой 1980/81 года Люся со своей стороны обращалась с просьбой о поддержке к различным общественным и государственным деятелям Запада. Я написал тогда же свое первое письмо канцлеру ФРГ Шмидту.

3 февраля 1981 года я послал большие и подробные письма с настоятельной просьбой о помощи Якову Борисовичу Зельдовичу и Юлию Борисовичу Харитону.

Я считал (и считаю), что я в особенности имел моральное право рассчитывать на их помощь — в силу нашей более чем двадцатилетней совместной напряженной работы, а в случае Якова Борисовича Зельдовича и в силу личных дружеских отношений — в деле, которое было столь трагичным, ключевым для меня. Я писал им об этом, подчеркивая, что я прошу у них помощи именно в деле о выезде Лизы и ни в каком другом. Я не получил никакого ответа от Ю. Б. Харитона. Устно мне были переданы его слова, что ответ Якова Борисовича является и его ответом. От Зельдовича же я получил письмо, о котором уже упоминал в первой части книги. Яков Борисович писал, что не может выполнить мою просьбу из-за неустойчивости его положения, которая проявляется в том, что его не пускают за границу дальше Венгрии.

Лиза послала свое заявление в ОВИР 20 ноября 1979 года. Через полтора года, в мае 1981 года, ее вызвали в ОВИР и сообщили об отказе. Отказ сообщал сам начальник Областного ОВИРа полковник Романенков в присутствии заместителей и секретарей и еще двух людей явно из КГБ. Причина отказа, названная Романенковым, — «недостаточная мотива-

ция воссоединения»(?!). К этому времени у Лизы, кроме вполне достаточного по формальным требованиям ОВИРа вызова от Томар Фейгин, был и вызов от Алеши ей как невесте. Присутствовавший гебист обратился к Лизе с предложением написать отказ от дальнейших попыток выехать из СССР. Он многозначительно добавил: «Так и нам, и вам будет спокойней». Предложение это было беспрецедентным и совершенно противоправным — это был шантаж. Оно также раскрывало моральную и юридическую слабость позиции властей. Лиза решительно отказалась.

Смысл фразы «Вам будет спокойней» вскоре стал выявляться. Через несколько дней Лизу дважды вызывали на допросы, формально по делу Феликса Сереброва (одного из арестованных членов Комиссии по использованию психиатрии в политических целях⁶ и Хельсинкской группы), а фактически — чтобы угрожать ей и запугивать. Допросы происходили в очень грубой форме, с криком, чего Лиза совершенно не выносит, и угрозами как ареста, так и физической расправы. Так, один из следователей угрожал выкинуть ее в окно!

После получения Лизой Алексеевой необоснованного отказа и угроз я решил еще раз обратиться к Брежневу, на этот раз с подробным письмом (отослано 26 мая). В письме я вновь рассказал о деле Ли-

зы, привел аргументы, показывающие необоснованность отказа ей. В заключение я писал: «Я обращаюсь к Вам как к Председателю Президиума Верховного Совета СССР, чья подпись стоит под Заключительным Актом совещания в Хельсинки и другими важнейшими документами, и как к человеку, лично знающему меня с 1958 года. (Я, возможно, ошибся, надо — с 1959 года, а может, наоборот, ошибка в других главах воспоминаний.) У Вас, я уверен, нет оснований сомневаться в моей субъективной честности и искренности. Я готов нести личную ответственность за свою общественную и публицистическую деятельность в соответствии с законами государства. Но то, что происходит со мной и вокруг меня, — бессудная высылка, круглосуточный надзор и изоляция, кража личных и научных записей органами КГБ. В особенности же недостойным является использование КГБ судьбы моей невестки для мести и давления на меня. Это неприкрытое заложничество, и настоящим письмом я ставлю Вас об этом в известность. Недопустимость заложничества неоднократно провозглашалась представителями СССР. Отпустив Лизу, власти подтвердили бы этим свои заверения. Я убежден, что разрешение Е. Алексеевой на выезд из СССР не только прекратит многолетние страдания разлученных любящих, но и будет актом справедливости, способствующим

авторитету СССР. Я обращаюсь также с просьбой помочь в деле выезда Алексеевой к главам ряда иностранных государств. С уважением (подпись)». Никакого ответа на это письмо, как и на телеграмму в 1980 году, не было.

Тогда же — в мае или июне 1981 года — я сказал Люсе: «Мне кажется, что исчерпаны все средства, кроме голодовки». Она в принципе со мной согласилась.

Между тем вскоре удалось завершить дело, которое, хотя и не решало само по себе проблемы Лизинго выезда, но имело очень большое косвенное значение, в особенности моральное, как подтверждение верности Алеши и Лизы, их любви. 14 июня в штате Монтана в северо-западной части США Алеша в суде города Бют вступил с Лизой в заочный брак. В США есть несколько штатов, законодательство которых допускает заочное бракосочетание, один из них — расположенный в северо-западной части страны штат Монтана. На церемонии, состоявшейся в торжественной обстановке в городском суде города Бют, невесту представлял Эд Клайн, большой друг нашей семьи (это о нем я писал выше как о создателе вместе с Чалидзе «Хроники-Пресс»). Эд имел заверенную доверенность от Лизы — получение ее и доставка представили большие трудности. Вдобавок мы не знали, что в США, как и в большинстве стран, но не в СССР,

при вступлении в брак требуются справки об отсутствии венерических заболеваний. Во время церемонии Алеша и Эд обменялись кольцами, оба очень волновались.

Официальные лица и пресса в СССР утверждают, что заочный брак в СССР не имеет законной силы. Один из иностранных корреспондентов, узнав о заочном браке Лизы и Алеши, позвонил в ОВИР и спросил о том, как это повлияет на выезд Е. Алексеевой. Он, конечно, сделал это зря — ответ был автоматически отрицательным, а звонок и публикация как-то его легализовали. Между тем в советском Кодексе о браке написано, что заочный брак, заключенный в какой-либо стране в соответствии с ее законами, признается законным в СССР⁷. Правда, мы сами об этой статье закона узнали уже после голодовки, когда вопрос был уже разрешен. Практически, конечно, КГБ с законом считаться не стал бы, даже если бы мы и указывали на этот аргумент в дополнение к другим, тоже юридически достаточным.

Родители Лизы Алексеевой, узнав о том, что Лиза и Алеша вступили в заочный брак, переменили свою точку зрения на Лизин отъезд — для них подтверждение Алеши его верности Лизе имело большое значение. Отец Лизы Константин Александрович Алексеев написал летом 1981 года письмо Брежневу, в котором он просил отпустить его дочь. К сожалению, мы об

этом тогда не знали. КГБ же, безусловно зная о письме отца, до самых последних дней, до окончательного решения продолжал ссылаться на прежнюю позицию родителей, в частности об этом писалось в статье в «Известиях», опубликованной уже 4 декабря 1981 года.

В сентябре 1981 года в Москве состоялась большая Международная конференция по управляемому термоядерному синтезу. Я послал письмо многим иностранным участникам конференции с просьбой о поддержке в деле Лизы. Однако большинство из тех, кому я писал, на конференцию не приехали, поддерживая политику бойкота. К сожалению, я не послал письмо Председателю Европейского физического общества профессору Энгельману, который вместе с Велиховым был сопредседателем конференции, — мне кажется, что я предполагал отправить ему письмо, но в обычной суете перед отъездом Люси в Москву этого не сделал. Как мне передали, профессор Энгельман два дня отказывался открывать конференцию, требуя присутствия на ней Сахарова — одного из пионеров ее темы — и еврея-отказника доктора Альперта, специалиста по ионосфере. Потом какими-то ложными аргументами Велихову удалось его уговорить. О деле Лизы Энгельман, по видимому, не знал и ничего поэтому о нем Велихову не говорил.

Кроме иностранных участников, я также послал письма советским участникам — академикам П. Л. Капице и Б. Б. Кадомцеву и еще одно, уже упомянутое, письмо Велихову. Ни один из них никак не реагировал на мои письма. В сентябре 1981 года мы узнали, что в ноябре Л. И. Брежнев поедет в ФРГ для важных переговоров с канцлером Гельмутом Шмидтом и другими высшими руководителями ФРГ. К этому времени мы уже окончательно пришли к мысли, что никакого другого способа добиться выезда Лизы к мужу, кроме голодовки, реально не существует (дальнейший ход событий только подтвердил это). Поездка Брежнева за рубеж создавала психологические и политические условия, при которых голодовка имела наибольшие шансы на успех. Нам обоим было ясно, что такой случай больше может не повториться. Очень существенно было также, что наши предыдущие двухлетние усилия — письма, документы и обращения — тоже не только показали свою недостаточность, но и сделали Лизино дело достаточно широко известным; наше решение о голодовке в этих условиях не выглядело как сумасбродство и понималось очень многими (не всеми, конечно) как вынужденное и единственно возможное.

Первоначально мы обсуждали с Люсей решение о голодовке письменно, записками — мы не хотели, чтобы это обсуждение сразу стало известно КГБ в на-

шей прослушиваемой квартире. Нам не пришлось обсуждать очень долго — решение было нашим общим, основанным на глубоком понимании каждым моральной и фактической неизбежности избранного пути. Конечно, ни о каком давлении, прямом или косвенном, одного из нас на другого не могло быть и речи. Это внутреннее единство, близость потом очень поддерживали нас на всем протяжении голодовки — и в те дни, когда мы были вместе в квартире, и в последние, решающие ее дни, когда нас насильно разделили при госпитализации.

Приняв же окончательное решение, мы уже не считали нужным его скрывать — наоборот, нам казалось, что мы даем КГБ шанс выйти из этой игры без шума и скандала и потери лица, потиху отпустив Лизу. Не наша вина, что они этим не воспользовались.

В первой половине октября мы подготовили и разослали множество писем и документов, в которых просили о поддержке наших требований, в том числе мое письмо, фактически второе, канцлеру ФРГ Шмидту и разосланное во много адресов и потом широко опубликованное «Письмо иностранным коллегам»⁸.

Люся и я написали трудные для нас письма Руфи Григорьевне и детям, сообщая о нашем решении. Конечно, мы понимали, как им будет мучительно, тяжело — гораздо трудней, чем нам. Но мы рассчитывали, что они, и в первую очередь Алеша, правильно нас

поймут, рассчитывали на духовную близость, созданную всей жизнью. Не меньше мужества и понимания требовалось от Лизы. К счастью, мы не ошиблись. Не имея во время голодовки никакой непосредственной связи с нами, они не только не допустили действий, которые могли бы помешать успеху, но и сумели сделать гораздо больше, чем мы могли предполагать, — я об этом подробнее пишу дальше.

Я подготовил также телеграммы Брежневу и Александрову, в которых сообщал о голодовке, но пока, по просьбе Люси, медлил с их отправкой — это был тот шаг, после которого отступления уже не могло быть. Со всем этим Люся уехала в Москву. Она также взяла с собой тетради с рукописями воспоминаний — я много написал заново после кражи сумки — с новыми тетрадями дневников, документами и т. п. Я не хотел, чтобы все это досталось КГБ. Через неделю от нее пришла телеграмма: «Встречай обязательно носильщиком везу воду аккумулятор». Вода, о которой шла речь в телеграмме, — это щелочная минеральная вода «Боржоми», которую мы пили во время голодовки начиная с третьего дня в дополнение к простой воде. В Горьком подходящую нам воду достать было невозможно, в Москве тоже непросто, но по Люсиной просьбе Юра Шиханович «достал» (любимое советское слово) 100 бутылок — к слову, большая часть из них осталась неиспользованной. Аккумулятор — для

нашей машины «Жигули»; предыдущий вышел из строя, возможно «естественным» образом, хотя в свете последующих событий в этом можно сомневаться (и раньше, с лета, когда Люся перегнала машину из Москвы, с ней происходили некоторые «странные» вещи). 19-го мы ездили в город без каких-либо происшествий, без наездов на доски с гвоздями, как мы уверены. А на другой день утром сразу в двух шинах оказались проколы, пришлось везти колеса на станцию техобслуживания на такси.

К 20 октября мы решили, что откладывать отправку телеграмм Брежневу и Александрову больше нельзя. 21 октября утром я отправил эти телеграммы, в них был назван срок начала голодовки — 22 ноября 1981 года, за день до приезда Брежнева в ФРГ. Мосты были сожжены.

Конечно, у КГБ все еще была в оставшийся месячный срок возможность «мирного исхода». Они избрали другое. Уже через два дня после отправки телеграмм мы получили выразительный сигнал — у нас украли автомашину! Все обстоятельства и последующие события, с нею связанные, показывают абсолютно однозначно, что это сделал КГБ. Во время поездки вышел из строя совершенно новый аккумулятор, возможно было сломано еще что-то; таксист, которого мы попросили нам помочь, не мог завести машину от своего аккумулятора. Мы поста-

вили закрытую машину во двор школы (по совету бывшего директора, который заверил меня, что ничего плохого не случится). Через полчаса машина была украдена; в школе в тот день еще шли занятия, два работника школы, как потом выяснилось, в это время стояли на улице и якобы ничего не видели (их запугали?). Машина — большая ценность в наших, вообще в советских условиях. Но все же удивительно, если КГБ рассчитывал, что можно заставить нас при помощи кражи машины изменить какие-либо существенные наши планы, тем более в таком деле, в котором мы решились на крайнюю меру — голодовку. Несомненно, это было «выражение отношения». Потом оказалось, что с кражей, видимо, связывались и какие-то тактические планы, может они возникли по ходу дела.

В начале ноября в связи с истечением полугодичного срока после отказа Лиза вновь послала заявление в ОВИР, приложив документ о заочном браке. 16 ноября ее вызвали в ОВИР. Внешне повод был незначительным — с нее опять потребовали справки из домоуправления и от родителей. Когда Лиза заявила, что справки от родителей не будет, инспектор ушла из комнаты, долго отсутствовала и, вернувшись, согласилась обойтись без справки. Это мы расценили как хороший признак — КГБ, возможно, готовил себе запасной путь отступления.

15 ноября Люся поехала в Москву последний раз перед голодовкой. В ее отсутствие неожиданно приехал мой дальний родственник Саша Бобылев, муж Клавиной сестры. До этого он никогда не приезжал в Горький, да и в Москве мы виделись раз в несколько лет. Конечно, он приехал отговаривать меня от голодовки. Пустили его ко мне без всяких трудностей. Я не исключаю даже, что его приезд был явно или неявно санкционирован КГБ, но и не утверждаю этого. Аргументы Саши Бобылева были заимствованы из «Недели». Он, в частности, говорил, что я нарушаю права родителей Лизы, которые, наоборот, вполне вправе не пускать за рубеж свою совершеннолетнюю дочь. Голодовку он называл совершенно безнадежной и добавлял, что детям (имея в виду только детей от первого брака) нужен живой отец, а не мертвый.

Опасаясь, что во время голодовки КГБ будет использовать естественное волнение моих детей в своих целях, я послал им телеграмму, в которой настаивал, чтобы они не приезжали ко мне во время голодовки без Лизы, — в противном случае я не могу их пустить. Я рассчитывал при этом, что они поймут и причину моей телеграммы, и ее острую форму, рассчитанную на «двойное» прочтение — и детьми, и КГБ.

Люся в Москве в недели, предшествовавшие голодовке, столкнулась с тем, что многие знакомые и друзья, в особенности многие инакомыслящие, не одоб-

ряют и не понимают нашего решения. Хотя содержание и форма аргументов при этом были иными, чем у Саши Бобылева, но в основном мысль — что голодовка совершенно неправильное дело — была той же. Уже после окончания голодовки я получил два письма, написанных ранее, — от Револьта Пименова и Петра Григорьевича Григоренко, в которых они резко возражали против голодовки. О других письмах и телеграммах с возражениями, которые пришли во время голодовки, я рассказываю ниже.

Люся передала мне перед голодовкой слова Лидии Корнеевны Чуковской: «Я не думала, что Андрей Дмитриевич может быть таким жестоким». Я не понял, что означали эти слова. Может быть, Лидия Корнеевна имела в виду те волнения, которые выпали на долю наших близких и друзей. Я могу сказать, что в этом смысле наше решение было действительно трудным, но от этого не становилось менее неизбежным...

Среди тех, кто особенно энергично возражал против голодовки, оказался и Феликс Красавин. Он неоднократно, ссылаясь на свой лагерный опыт, и до, и во время голодовки всячески подчеркивал ее бессмысленность («КГБ ни за что не отступит!») и нашу неминуемую гибель. За 10–12 дней до начала голодовки мы встретились с ним у Хайновских — я выше писал об этой семье. Феликс рассказал о со-

стоявшейся у него беседе с его куратором из КГБ. Куратор (фамилию Феликс назвать отказался), по его словам, сказал, что в результате голодовки погибнет Сахаров, и именно это является целью его жены, которая таким образом хочет избавиться от ставшего ей уже ненужным мужа (и — подразумевалось — уехать в США). Ему — Феликсу Красавину — во время голодовки делать у Сахаровых нечего, ходить туда ему запрещено. Мы поняли это как угрозу КГБ убить меня (без свидетелей) и свалить вину за это на Люсю. Замечу, что во время голодовки, пока мы были в квартире, Феликс беспрепятственно заходил к нам и продолжал свои уговоры. Во время одного из таких визитов он сказал, что он понимает — после нашей гибели и ему останется недолго жить, КГБ уберет его как ненужного свидетеля. В беседе Феликса с куратором была и такая — вскользь — фраза: «У Сахарова, кажется, пропала машина. Возможно, ее жена спрятала или перегнала в Москву. Ну, к весне машина, наверное, найдется» (опять намеки, компрометирующие Люсю).

Постараюсь сформулировать возражения оппонентов голодовки. Очень многие — в их числе Григоренко, в упомянутом письме, и другие — считали, что я в силу своего особого положения в правозащитном движении (у других это была наука, или защита мира, или еще что-то столь же общее и «великое») не

имею права рисковать своей жизнью, идти на почти неминуемую гибель ради столь незначительной цели, как судьба моей невестки. Потом в сатирической форме эту мысль отразил в одном из своих произведений Зиновьев. Григоренко писал о репрессиях на Украине — действительно ужасных — и завершал свое письмо категорически: «Вы совершили большую ошибку и должны ее исправить, прекратив голодовку». Пименов в особенности делал упор на то, что семейное, личное счастье (Алеши и Лизы; он писал — «счастье — мученье... ссориться, мириться, валяться в постели...») не может быть куплено ценой «страданий великого человека» (то есть моих). Кроме того, у Пименова была совсем странная идея, что победа над властями никогда не бывает бесплатной — всегда потом они в чем-либо берут реванш. Как пишет Пименов, «в полицейских делах действует своего рода закон сохранения». Объясняя этот тезис, он пишет, что за уступкой, когда Брежнев отпустил Буковского (Пименов в посланном по почте письме вместо указания фамилии цитирует несколько слов из стихика «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую б..., чтоб на Брежнева сменять»), вскоре был взят реванш Орловым и Щаранским. Первая часть аргументации носит общий характер, ответ на нее я попытаюсь дать чуть дальше или вообще ответа не требуется, а относительно «закона сохранения» — ес-

ли бы дело обстояло так, то любая борьба с незаконием ВСЕГДА была бы вредной. *Мне кажется, что жизнь по своим причинным связям так сложна, что прагматические критерии часто бесполезны и остаются — моральные.* Потом, уже много после голодовки, Пименов признал, что он был неправ в своих возражениях!

Особенно было плохо то, что многие наши друзья-диссиденты направили свой натиск на Лизу — и до начала голодовки, и даже когда мы ее уже начали, заперев двери в буквальном и переносном смысле. Лиза, якобы, ДОЛЖНА предотвратить или (потом) остановить голодовку, ведущуюся «ради нее»! Это давление на Лизу было крайне жестоким и крайне несправедливым. Должно было быть ясно, что Лиза никак не влияла на наши решения и не могла повлиять. Что же касается того, что голодовка велась ради Лизы (и Алеши), то и это верно только в очень ограниченном смысле. С более широкой точки зрения голодовка была необходимым следствием нашей жизни и жизненной позиции, продолжением моей борьбы за права человека, за право свободы выбора страны проживания — причем, и это очень существенно, в деле, за которое с самого его возникновения и я, и Люся несем личную ответственность. Вот, собственно, я и ответил сразу всем своим оппонентам. Я свободно принял решение о голодовке в защиту Буковского и других

политзаключенных в 1974 году — тогда мало кто возражал. Сейчас наши основания к голодовке были еще более настоятельными, категорическими. Еще несколько замечаний. В возражениях некоторых оппонентов я вижу нечто вроде «культы личности», быть может правильнее будет сказать — потребительское отношение. Гипертрофируется мое возможное значение, при этом я рассматриваюсь только как средство решения каких-то задач, скажем правозащитных. Бросается также в глаза, что оппоненты обычно говорят только обо мне, как бы забывая про Люсю. А ведь мы с Люсей голодали оба, рисковали оба, оба не очень здоровые, немолодые, еще неизвестно, кому труднее. Решение наше мы приняли как свободные люди, вполне понимая его серьезность, и мы оба несли за него ответственность, и только мы. В каком-то смысле это было наше личное, интимное дело. Наконец, последнее, что я хочу сказать. Я начал голодовку, находясь «на дне» горьковской ссылки. Мне кажется, что в этих условиях особенно нужна и ценна победа. И вообще-то победы так редки, ценить надо каждую!

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА

19.XI—20.XI. Два дня в поте лица убирал дом к Люсиному приезду, превзойдя самого себя.

По почте пришло письмо от неизвестного мне Веригина (Горький, более точного обратного адреса нет). Это, несомненно, запугивающее письмо от КГБ. «Я слышал по зарубежному радио, что Вы собираетесь объявить голодовку. Я и мои товарищи, с которыми я обмениваюсь подобного рода «информацией», считают, что это — нелепое действие, которое неизбежно кончится смертельным исходом. Одумайтесь. Вы нужны своему народу». Вложена газетная вырезка с подробным «физиологическим» описанием умирания узников Лонг-Кэт...

21 ноября приехала Люся (в новой шапке). Она рассказала подробней о разговоре с Руфью Григорьевной и детьми, о вызове Лизы в ОВИР. Во вторник и среду Лиза ездила в Бронницы за справкой из домоуправления (во вторник не было управдома, в среду выдали без разговоров, и Лиза отвезла в ОВИР). Во вторник Лиза зашла к маме. Этот разговор был спокойный относительно. Мама подарила Лизе кофту, говорила, зачем ты (Лиза) туда едешь, ведь тебя с твоими занятиями обратно никогда не пустят. Какими занятиями? Ты сама знаешь, о чем я говорю. Создается впечатление, что с Лизиными родителями говорило ГБ и подготовило их к возможности, что Лиза уедет. То, что в ОВИРе обошлись одной справкой, тоже говорит о том, что ГБ готовит для себя

ВОЗМОЖНОСТЬ отпустить Лизу. Но, вероятно, они разрабатывают и другие варианты. Люсю, Лизу снимали для телевидения 16 ноября. Вместе с тем, что снято Люсей здесь, будет передача по телевидению в нескольких странах 22 ноября, в первый день нашей голодовки.

...Вечером (в 12 часов, после ужина) мы чокнулись с Люсей чашками с карлсбадской солью (слабительное). Голодовка началась. Каждый день мы собираемся делать друг другу массаж позвоночника и спины, принимать 5 минут теплую ванну. Люся завела тетрадь для записи каждому веса, давления крови (у нее есть тонометр), пульса, выпитой воды, количества мочи.

22.XI. Первый день голодовки.

Понемногу втягиваемся в ритм. Много смотрели телевизор — вечером 5-я симфония Бетховена. Люся рассказала со слов Тани разговор с Аней. Таня говорит Ане: Ты плохо ешь, тебя никто замуж не возьмет. Аня: Нет, возьмут, потому что я хорошая. — А кто, ты хочешь, чтобы взял тебя замуж? — Хороший человек. — А что такое — хороший человек? Аня думает, потом говорит: Хороший человек — это как дидя Адя (дед Андрей). Таня рассказала это во время последнего телефонного разговора 16 ноября.

Днем 22-го пришел Феликс, принес напольные весы со смешными цветочками на платформе. Феликс

затеял свой обычный резонерский разговор, на этот раз (уже не первый), какая плохая Америка и ее правительство. По ходу спора он сказал Люсе, что она из «академических кругов». На самом деле мы совсем не идеализируем Америку, видим в ней массу плохого и глупого, но это живая сила в хаосе теперешнего мира (конечно, мир велик, есть и что-то другое)...

По радио — много о нашей голодовке.

23.XI. Второй день голодовки.

У обоих кружится слегка голова. Много смотрим по телевизору о визите Брежнева. Ясно, что о ракетах средней дальности не договорились и не могли. Шмидт твердо стоит на позиции НАТО (двойное решение), из его речи на банкете в советской прессе устранено все о СС-20 (нарушивших равновесие), об этнических немцах и других проблемах. Пишу уже в среду, когда Брежнев вернулся. Но каковы реальные результаты переговоров, мне не ясно и сейчас. Впрочем, я в этой торговле или игре в покер мало что понимаю. Брежнев опять предложил мораторий плюс некоторое уменьшение числа СС-20 и других ракет на «сотни штук» в обмен на отказ от размещения и распространения ограничений Першингов и Томагавков на тактическое оружие.

Люся 23-го вечером напомнила эпитафию из Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!». Мы с ней чувствуем, что

это не просто битва за выезд Лизы (этой причины более чем достаточно — что важнее судьбы и любви человека!) — но битва за свободу вообще! Но это мало кто понимает даже из нашего ближайшего окружения. Лидия Корнеевна сказала: «Я не думала, что Андрей Дмитриевич может быть таким жестоким».

24.XI. Третий день голодовки.

Пришел Марк. Сообщил, что на среду Машу вызывают на допрос. Сообщил, что 24-го визит Брежнева заканчивается (фактически он закончился 25-го, тоже раньше, чем сообщали в последнее время).

По-видимому, несомненно, что ГБ не отпускает Лизу «под визит» Брежнева. Хотя не исключено, что это будет сделано несколько потом — или «под встречу» 30 декабря, или под воздействием нарастающей волны протестов. Я сказал Люсе — возвращаемся на нашу основную позицию: если ГБ не хочет нашей смерти, оно рано или поздно отпустит Лизу, если наоборот — ну что ж, у них и без голодовки масса вариантов.

На радио все дни очень много о нашей голодовке: 1) обращение Хейга, 2) решение американского Сената (от имени американского народа), 3) обращение 20 американских лауреатов Нобелевской премии к ученым и правительствам, 4) обращение французских, норвежских ученых, 5) статьи во многих газетах США и Европы, включая ФРГ, 6) дельные пере-

дачи на СССР «Голоса Америки», Би-Би-Си, «Волны», 7) в четверг Люся слышала обращение к Брежневу Э. Габуджани (коммунист, мэр Флоренции) — от своего имени и от имени народа Флоренции!

Люся 24-го слышала, и я тоже, голоса Алеши и Тани на пресс-конференции, но трудно было разобрать слова. 25-го она слышала много лучше. Они выражают беспокойство за здоровье мое и Люси и сообщают, что обратились к советскому консулу в Вашингтоне с просьбой предоставить им возможность поехать в СССР, чтобы ухаживать за нами. Хотя надежды на такое разрешение практически нет, но действие — тактически правильное. Алешу спросили, хочет ли он поехать ухаживать или чтобы встретиться с Лизой и уехать вместе с ней. Он ответил, что если Лизе будет разрешен выезд, то и голодовки не будет.

26-го ноября Люсе показалось, что она слышала голос Руфи Григорьевны.

25.XI. Четвертый день голодовки.

Люся много пытается слушать, как и все остальные дни. Кое-что ценой огромных усилий ей удастся. По телевизору смотрели 3-ю серию грузинского телефильма о секретаре райкома и слушали очень хороший концерт Вюрцбургского камерного оркестра. У Люси небольшие отеки на ногах. Это нас беспокоит. Она меньше меня теряет вес. Впрочем, взвешивания очень неточные (плюс-минус 1 кг, кроме системати-

ческих ошибок, которые тут мало существенны). С сердцем у нее тоже неважно (неизвестно, у кого из нас хуже, не люблю «новичков»). Пришла телеграмма без подписи: «Андрей пожалей Люсю».

26.XI.

Сегодня опять пришел Марк. То ли ГБ отменило свое решение, то ли оно относилось только к Феликсу... С Марком послали телеграмму Лизе с медицинскими данными (вес, давление крови, пульс). 24-го получили телеграмму от Володи Корнилова с беспокойством. 25-го от Лидии Корнеевны. Обоим послали ответы. Среди выступивших по делу Лизы — левая социалистическая партия Франции.

27 XI. Шестой день голодовки.

У Люси малы потери веса — это непонятно (но отеки стали меньше). Пока она труднее, чем я, переносит голодовку, болит голова. Второй день по часу гуляем по балкону днем при солнце: навстречу друг другу вышагиваем, посередине расходимся — как пароходики — у концов поворачиваем. (*Примечание 1987 г.* Мы не выходили из дома, т. к. считали, что на улице нас могут схватить и разлучить. Что это могут сделать дома, нам казалось менее реальной опасностью.) Два часа спим или лежим днем при открытой двери, закутанные. Хорошо! Приходил Феликс с Майей. Майя мерила давление, пульс, слушала. В легких у обоих чисто. У Люси давление 140 (она

сама себе намерила 150). Нехорошо — давление в норме должно падать (на следующий день было 130/80).

Вечером слышали по «Голосу Америки» (но и другие радиостанции повторили): «По сведениям, полученным от ученого, которого допустили к Сахарову, состояние его здоровья ухудшилось». Это сообщение очень раздосадовало нас. О здоровье — неверно: мы чувствовали себя пока прилично, и нельзя истощать силу реакции преувеличениями. Ведь, быть может, голодовка еще только начинается. «Ученый, которого допустили» — Запад поймет, что допустили ученых, моих коллег. Идиллия! В целом, все очень на руку ГБ. Кто виноват? ГБ?.. Неясно. Увы, никто не понимает, что ГБ с нами разыгрывает игры (то не пускает Феликса, то пускает, например; у нас не хватило духу спросить Феликса, пришел ли он явочным порядком или ГБ отменило свой запрет и сообщило ему об этом).

Все эти игры преследуют их цели, нам не всегда понятные (верней, почти никогда). А диссиденты в своем усердии (и неверии в нашу оценку ситуации) столь часто им подыгрывают.

...28 ноября в 20 часов Тамара (почтальон) принесла три уведомления на наши телеграммы Лизе (25, 26 — именно на эту и 27 ноября).

Эта идиллия не соответствует, однако, сообщению Марка, что Лиза три дня не получает наших телеграмм. Незадолго до прихода Феликса с Майей (днем 27 ноября) принесли телеграммы от Лейбовица и Стоуна — оба сообщают об усилиях на наивысшем уровне и просят прекратить голодовку. Я составил им ответную телеграмму при Феликсе и Майе, Люся ее переписала на бланк, и мы ее отправили Лизе, с тем чтобы она послала в Ньютон (верней всего, до Лизы не дойдет, но телеграмма полезна и для ГБ).

28.ХІ. Седьмой день голодовки.

Ожидаем, что во время нашей балконной прогулки с поезда (11.30 в Горьком по московскому времени, т. е. у нас примерно 13 часов по местному) появится Н. Н. С ним — договоренность! Какой молодец. Я мелко (с очками 4 диоптрии) переписал вчерашнюю телеграмму Лейбовицу, Стоуну и добавил (уже утром) еще несколько слов. Текст: «Лизе: опубликовать, прочесть и показать коррам ответ на телеграммы Лейбовица (Нью-Йоркская академия) и Стоуна (ФАС): “Дорогие Джоэль Лейбовиц, Джереми Стоун! Глубокая благодарность за ваши энергичные усилия, заботу, внимание. Более двух лет добиваюсь решения проблемы чисто человеческой, бесспорной морально и юридически. Обращался к Главе государства, к Академии наук СССР, к советским ученым и иностранным коллегам, к государственным деяте-

лям. Сейчас единственная возможность прекращения нашей голодовки — выезд Лизы — прекращение акта государственного заложничества, опасного алогичностью, безответственностью, жестокостью, беззаконием. Никаким обещаниям властей, не подкрепленным делом, я уже не могу верить. Прошу правильно понять и учитывать это. С уважением, благодарностью, искренне. Андрей Сахаров, 27 ноября 1981, Горький. Мы держимся. Чувствуем себя пока прилично. Все симптомы и показатели, как в книгах. Настроение решительное. Целуем. Важно: достоверной является лишь информация, переданная через Лизу. Звонить, посылать телеграммы в Горький кому-либо кроме нас не следует. Последнее сообщение по радио, что по сведениям от ученого, которого допустили к Сахарову, его состояние ухудшилось — неверно и вредно. Вся информация для прессы должна идти через Лизу. Если кому-нибудь станет что-то известно о нас, пусть сообщит Лизе, чтобы она решила, достоверно ли, нужно ли публиковать. Сейчас мы особенно озабочены, что от Лизы нет телеграмм и нет извещений на наши телеграммы. Вероятно, таковы цели ГБ — прервать связь с Лизой, возможно дополнив дезинформацией. 28 ноября. Целуем. Андрей Сахаров, Люся"».

Утром пришел Марк. Он уверяет, что Насте сказал, что мы чувствуем себя бодро, он нашел нас лучше,

чем в прошлый раз. Без четверти час (по местному) вышли на балкон, ждали Н. Н., его не было. Неожиданно появилась Бэла (ее гебисты проворонили). Люся сунула ей записку, предназначенную для Н. Н. Бэла была около балкона еще несколько минут, хотя Люся умоляла ее отойти. Кажется, она собиралась потом попытаться пройти «законным путем», через милиционера; через 10 минут мы увидели, что ее ведут (двое гебистов по бокам) в опорный пункт. (Добавление 1987 г. Ее схватили на автобусной остановке.) Мне не нравится, что у Люси три дня подряд вес постоянный — 60 кг. Это ненормально. Чувствует она себя сегодня неважно. Она такая терпеливая, что неизвестно, какова степень ее недомогания, но может, начался криз...

29.XI.

Сегодня Люся спросила меня, чувствую ли я то же самое, что она — полное отсутствие сомнений в правильности сделанного нами выбора. Я чувствую то же самое, как-то все прошлое отошло куда-то, стало смотреться издали. И ощущение душевного комфорта от отсутствия сомнений. А что хочет ГБ — это их дело.

Пришла утром срочная телеграмма из Н. (около объекта). Привожу текст: «Глубоко оскорблены вашей затеей. Ради корыстных целей своей жены Вы предаете интересы науки. Если еще не разучились, то подумайте, что уничтожает в Вас Ваша супруга. На-

ива» (подпись мне непонятна). ГБ это или мои бывшие коллеги? До этого пришли два ругательных письма из Горького. У Люси все не падает вес (все 60 кг). Самочувствие плохое, даже голос какой-то слабый. Быть может, ее нельзя на такой долгий срок лишать тиреоидина? Это меня очень волнует. Марк сказал, что при базедовой болезни (у Люси другое — у нее оперированная щитовидка) нельзя голодать. Мы оба с огромным удовлетворением читаем статью Михайлова в «Континенте» «Приход великого инквизитора» — об опасности национализма (солженицынского), о том, что нельзя путать религию, национализм, государство и политику. Статья очень серьезная, прекрасно написанная — остро, исчерпывающе и ясно. Согласен с ним на сто процентов.

30.XI.

Утром пришел Марк, принес валенки для Люси — гулять на балконе. Пришла повестка к следователю Рукавишникову — на Горную для опознания машины. Пусть подождут. А может, это ГБ решило так меня выманить? Сейчас все это «по ту сторону».

Третий день пишу и переписываю восьмистраничное письмо детям. Ночью 30-го кончил. Очень важное внутренне для меня. Сегодня написал такой документ: «Десятый день мы продолжаем голодовку за выезд нашей невестки к сыну. Это — не только защита права на любовь и жизнь наших близких, когда все

обращения к властям, ученым, Академии, государственным деятелям, все апелляции к законам и международным обязательствам СССР оказались безрезультатны. Это также борьба за общее право на свободный выезд из страны и свободное возвращение, борьба за свободу вообще. И это защита моего личного достоинства и чести в условиях незаконной ссылки и изоляции. Никакое изменение состояния нашего здоровья, никакие голословные обещания властей не прекратят нашей голодовки. Лишь выезд Лизы». Сегодня во второй половине дня Люсе несколько лучше.

Забегая вперед: 2 декабря пришла телеграмма от Сиднея Дрелла — уговаривает прекратить голодовку, положившись на их усилия. Мой ответ: «Дорогой Сидней. Мы тронуты заботой, усилиями. Знаем, что всем друзьям, маме, детям бесконечно трудно, страдаем за них. Но мы не имеем другого пути. Мы не стремимся к самоубийству — трагический конец означает УБИЙСТВО — санкционированное не только КГБ, но и полным молчанием моих коллег из Советской Академии наук. Перед лицом коварной машины можем прекратить голодовку лишь при выезде Лизы. С благодарностью, Елена, Андрей. 2 декабря 1981. Горький».

30 ноября и 1 декабря пришли повестки с вызовом меня к следователю Рукавишникову для опознания машины (вызов на Горную, кабинет Снежницкого).

Машина — Люсина. Первый день Люся объясняла девушке, что мы не выходим, второй раз сказала о голодовке. 2 декабря пришел лейтенант. Он говорил, что они будут вынуждены поставить машину на платную стоянку, и, так как она, вероятно, открыта, ее разворуют, настаивал на моей явке, нужной следствию. Я написал на повестке: «Я не могу явиться, так как одиннадцатый день держу голодовку за выезд моей невестки. Я готов отдать ключи, если машина открыта; мы оплатим платную стоянку (или наши наследники)». Неужели они хотели таким дешевым трюком выманить нас из дома и заставить прекратить голодовку? В разговоре с лейтенантом я сказал, что там, куда мы готовы попасть, машины не нужны — ездят на ангельских колесницах.

1 декабря (на 10-й день голодовки) оказалась сорванной (ночью, очевидно) дверная цепочка. Ключ они сумели повернуть в замке — дают знать о своих возможностях. Но мы и без них знаем. Очень мы не хотим, чтобы нас выкрали и разлучили, но готовы и к этому. Вечером мы с Люсей приделали новую цепочку. (Другую я еще до голодовки приладил на балконную дверь.) 1 декабря вечером пришло письмо от Сахаровой Тани от 21 ноября. В нем чувствуется волнение за меня, пишет, что готова бросить все и приехать, но своей телеграммой я сделал это невозможным, так как с Лизой не пустят. Я послал Тане утром

2 декабря телеграмму: «Дорогая дочка Таня. Спасибо за письмо теплые слова послал тебе Любе Диме письмо на адрес Любы Мы держимся Целую Папа». Уведомление пришло 3 декабря вместе с уведомлением на телеграмму Лизе, но нет уведомления на тогда же посланную телеграмму Лидии Корнеевне, как раньше — Корнилову. Пришла телеграмма от какого-то Раппопорта из Киева: «Разделяю Ваши цели, но уговариваю прекратить, ради общего пожертвовать частным». Тоталитарное мышление!

1.XII.

За 10 минут до того, как мы собирались выходить на балкон для традиционной прогулки с 1 до 2 по местному (мы ожидали также со слов Бэлы, что может прийти М. М.), вдруг что-то, мы подумали — снежок, ударилось в стекло. Люся выскочила на балкон. В тот же момент из-за угла дома выбежали два милиционера в форме (не знакомые нам) и стремительно побежали за бросившим человеком. Так мы узнали, что в этот день была наружная охрана. Потом мы во время прогулки неоднократно видели выглядывающего милиционера — Люся даже его сфотографировала. Думая, что это М. М., Люся с досадой воскликнула: «Дурак М. М.! Как диссиденты не понимают нашего положения!». На балконе, однако, лежал не снежок, а сверток, в котором оказалась еда — три яблока, белый хлеб и ломти еще теплого, очень хорошего варе-

ного мяса, а также записка: «Милые мои, в обиду вас не дадим. Воронин». Люся разворачивала сверток, говорит, что ей было очень трудно от запаха и вида свежей еды — одно из наиболее трудных переживаний за дни голодовки. (*Примечание 1987 г.* Мясо и хлеб Люся отдала собакам, которые гуляли под балконом.)

Вечером 1 декабря пришел Феликс, уговаривал нас прекратить голодовку — явно ГБ решило не уступать, а игнорировать все внешние воздействия. Оно хозяин в стране. Мы объяснили еще раз нашу позицию. Сдаться сейчас для меня означало бы моральную гибель. Мы готовы к тому, что, возможно, погибнем — но это не самоубийство, а убийство, начатое КГБ еще два года назад. Это борьба за общее право, а не только за судьбу Лизы и Алеши, за которую мы ответственны. Это борьба за мою честь и достоинство.

3 декабря Феликс пришел вновь. Он очень взволновался, так как 10 минут звонил у двери, а мы не подходили. Мы были на балконе. Он обошел дом, за углом увидел милиционера, другой сидел у двери. Феликс влез через балкон, и в два часа мы вместе прошли в дом.

1 декабря М. М. не появился. 2 декабря пришел вечером Марк. Он сказал, что к нему прозвонилась Настя. У Лизы все в порядке (от Лизы мы не получали телеграмм после 28 ноября). Настя спрашивала, были ли М. М.

3.XII. Двенадцатый день голодовки.

Мы чувствуем некоторую слабость, но общее состояние приличное. Люся сказала, и это правильно, что мы легче переносим голодовку, так как мы ВМЕСТЕ. Люся очень мучается мыслями о детях и маме, каково им сейчас и будет, быть может, после. Но мы опять обменялись ощущением правильности принятого нами решения — единственной возможной альтернативы полной капитуляции.

К замечаниям о статье Михайлова. Цитата: «Родина — не национальное и не географическое понятие. Родина — это свобода!» Как хорошо.

На этом кончаются мои записи в дневнике о голодовке. О событиях 4.XII и о последующих я записал в марте 1982 года по свежей еще памяти.

4.XII.

День начался с обычных наших процедур. Мы помнили, что это — годовщина свадьбы ребят. Вечером собирался прийти Марк. Хотели чокнуться боржоми (а он — водкой). В первом часу гуляли на балконе. Подошел дежурный милиционер, сказал: «К вам пришли из ГАИ насчет вашей машины». «Пусть пройдут сюда — мы гуляем». Подошел тот же милиционер, что два дня назад, опять стал говорить, что без нас не могут опознать и т. д. Из его слов следовало, кажется, что машина стоит в Приокском отделении, в боксе, но

вечно она там стоять не может. Мы кое-как от него отделались. Вдруг, обернувшись, мы увидели, что в комнате сзади нас стоит какой-то человек (ГБ, мы его где-то уже видели). Люся, с криком вбегая с балкона в дом: «Как вы сюда попали?». Он: «Дверь была открыта». Мы прошли в квартиру, увидели, что в комнате и коридорчике стоят 8 человек, часть явно из ГБ, а может и все. Люся сказала, пока мы шли по коридору: «Это они нас убивать пришли». Дверная цепочка опять, как два дня назад, сорвана, ключ лежит на табуретке. Один из людей сказал: «Я из Горздравотдела. Вам необходимо госпитализироваться. Мы получаем много писем от граждан, от ваших детей» (все вранье, как и открытая дверь).

Люся спросила: «Поместите нас вместе?». Он ответил, хотя и неуверенно, что да. Мы оделись, чувствуя, что физическое сопротивление бесполезно, да и сил у нас уже не было. Гебисты вышли. Сели на дорогу. Поцеловались. Я немного заплакал. Люся горько сказала: «И это в Танькину годовщину...». Когда вышли на улицу, увидели две санитарные машины. Нас стали растаскивать в разные стороны и затолкали в разные санитарные машины. Я почти не сопротивлялся физически; я начал кричать прохожим и на какое-то время ослабил физическое сопротивление. Люсе, оттаскивая ее от меня, сильно сжали руку. Она успела крикнуть мне: «Дыши глубже!». Это относи-

лось к принудительному кормлению. При мне была сумка с документами, в ней были также зубная паста, Люсиная щетка, а у Люси — мои рубашки, трусы и носки. Мы не собирали этого отдельно. У поворота на улицу Бекетова я увидел, что какой-то санитарный микроавтобус повернул влево, а мы поехали вправо. Я закричал: «Это повезли мою жену?». «Нет, что вы, это совсем другая машина». Меня привезли в Горьковскую областную больницу, а Люсю — в 10-ю больницу Канавинского района (очень захудалую). Но я все же думал до встречи с Люсей, что мы лежим где-то в разных отделениях одной больницы. Меня поместили в двухместной палате. Рядом со мной лежал человек, назвавшийся секретарем райкома одного из районов Горьковской области. Выход в коридор был через проходную, где лежал еще один человек. Эти люди были знакомы между собой. Через несколько минут появился лечащий врач Рунов; я дал ему померить пульс и давление — от всех дальнейших обследований и процедур я решил отказаться и требовать соединения с Люсей. Я очень волновался за нее и понимал, что она волнуется за меня. Конечно, мы были полностью уверены, что другой не прекратит голодовку, но отдельно друг от друга нам было гораздо тяжелее морально и физически, на это, по-видимому, и был расчет КГБ. До последнего дня голодовки они надеялись нас сломить! Другой целью госпитализа-

ции было как-то «успокоить» (обмануть) мир, наших друзей тем, что мы в больнице.

4 декабря, в день насильственной госпитализации, в «Известиях» появилась статья «Очередная провокация». В самом отвратительном тоне сообщалось о нашей голодовке — это и была провокация. Дело Лизы излагалось в духе фельетонов «Недели», позиция родителей изображалась такой же, как до заочного брака, и утверждалось, что заочный брак в СССР не признается. В примечании сообщалось, что в настоящее время Сахаровы помещены в больницу и им оказывается медицинская помощь. Статья, по-видимому, была напечатана и поступила в продажу еще до того, как к нам вломились гебисты⁹; на мировое общественное мнение она, по-видимому, не оказала того воздействия, на которое рассчитывали ее инициаторы.

Люся прочитала статью еще в первый день, в ординаторской — ее специально вызвали туда для этого; на предложение вернуть газету она разорвала ее и с криком «Идите вы с вашими «Известиями»...» бросила ее в одного из врачей. Мне передал статью главный врач лишь в понедельник. На обоих она произвела тяжелое впечатление. Люся потом сказала, что особенно больно ей было думать, что статью увидят Руфь Григорьевна, Алеша и Таня. Люся большим криком и напором сумела добиться права выходить из палаты в коридор, я не сумел (также Люся выходила делать ванны). Она

демонстративно разбила повешенную на кровать табличку с надписью «Постельный режим». Вечером 4-го, когда все больные были уже в палатах, Люся вышла в коридор и заплакала. В этот и следующие дни Люся написала множество коротких записок на клочках бумаги с информацией о нашем положении, с просьбой передать записку Хайновским. Эти записки она бросала в окно во двор, где ходило много посетителей, и совала в руки в коридоре больным и посетителям — ни одна из записок не была доставлена.

Я в первый день сделал попытку выйти из палаты, дошел до конца коридора, надеясь как-то узнать, где Люся, обратился с этим вопросом к неизвестному мне врачу — он сказал, что ничего не знает, но если узнает, то сообщит. Я подошел к своей палате, около которой человек 10 больных смотрели телевизор, и хотел обратиться к ним с той же просьбой; в этот момент на меня набросились лечащий врач, какая-то сестра и мои соседи по палате (особенно усердствовавшие) и затолкали в палату со словами, что у меня постельный режим. Я что-то крикнул больным, смотревшим телевизор, — они отвернулись. Часть первой ночи в больнице я, примостившись у ночника, читал книгу Набокова «Другие берега», начатую еще в квартире. Утром я подал заявление главному врачу. Я писал, что нас с женой насильно госпитализировали и разлучили, что я требую соединения с ней — до этого отказы-

ваюсь от всех обследований и процедур — и что прекращение голодовки возможно лишь при предоставлении выезда Лизе.

В это утро я обнаружил в тумбочке вещи, которые были у Люси (носки, рубашки, мыло, еще что-то). Я решил, что Люся где-то рядом — ошибочно, но это чувство очень меня поддержало и толкнуло на правильное действие. Я попросил сестру передать Люсе зубную пасту и щетку, а также книгу Набокова. На полях (на стр. 114 и 115) я написал для Люси записку: «Люся, я отказываюсь от общения с врачами, процедур, обследований, пока ты не со мной. Целую, целую, всегда со мной. Бесконечно благодарен. А.» Сестра обещала передать и, как ни странно, передала. Правда, Люся не сразу нашла мою записку, только в понедельник 7-го. Сестру эту я больше не видел.

Мне каждую трапезу приносили в палату — я выносил ее в проходную и требовал больше не приносить еды, но сестры каждый раз были новые и все повторялось заново. Мои соседи по моей просьбе ели в проходной комнате — я закрывал в это время к ним дверь. Но в общем мог бы обойтись и без этого. Я старался не лежать все время на койке, а ходить по палате. Два-три раза в день приходил консультант, профессор Вогралик, известный в Горьком врач, раньше мы слышали о нем хорошие отзывы, потом слышали и другие... Вместе с ним — его помощница, тоже про-

фессор, Мария Тимофеевна, фамилии не знаю, лечащий врач Рунов и несколько раз — врач-невропатолог, на самом деле, я думаю, психиатр. Отдельно Рунов ходил еще чаще. Вогралик и психиатр вели со мной настойчивые беседы, каждый в своем ключе. Вогралик говорил, что я не молодой человек, что в любую минуту могу впасть в такое состояние, из которого меня уже не вывести, у меня уже есть необратимые изменения — он их ясно видит — и что дальше они очень скоро разовьются; говорил о своем долге врача. Психиатр говорил еще более устрашающе о моем физическом состоянии, одновременно он пытался запугать меня, внушив мне, что я уже не полностью владею мыслью, что мои мысли путаются и я совсем «дошел». Я, по его словам, должен дать врачам возможность выполнить «клятву Гиппократата» — помочь мне. На все эти разговоры и на попытки Рунова померить мне давление я отвечал стандартной фразой: «Отказываюсь от обследований, пока моя жена не будет соединена со мной». Или: «Встаньте мысленно на мое место. Я ничего не знаю о своей жене, что с ней». Потом выяснилась чудовищная вещь: те же врачи — Вогралик и Мария Тимофеевна ходили также и к Люсе, и при этом и у нее, и у меня изображали полную неосведомленность, что с тем, о ком мы спрашиваем и волнуемся. Вот она — «управляемая медицина»!

8 декабря утром Рунов сказал мне: «У вас на размышление несколько часов. Вы должны прекратить голодовку». До этого так же ультимативно, правда без упоминания определенного срока, то же самое мне заявили Вогралик и Мария Тимофеевна. В этих словах была угроза, но когда я прямо спросил: «Вы угрожаете мне искусственным кормлением?» — они сразу пошли на попятную: «Что вы, вовсе нет».

Через несколько часов после этого ультиматума в палату вошел человек; я с первых секунд понял, что это гебист, а потом, когда он назвал себя, вспомнил его — я имел с ним дело в 1980 году после проникновения гебистов в квартиру: «Я из Комитета государственной безопасности. Вы меня знаете. Моя фамилия Рябинин. Я уполномочен сказать вам, что ваше требование может быть рассмотрено в положительном смысле, но предварительно вы должны прекратить голодовку». Я сказал, что я со всей серьезностью отношусь к обещанию КГБ, но что решение о начале голодовки мы с женой приняли совместно и лишь вместе мы можем решить ее прекратить. «Я доложу о вашем ответе — мы еще увидимся».

В этот же день утром Люсе принесли в палату приспособления для принудительного кормления и демонстративно поставили на столик в углу комнаты, угрожая ей таким образом (но ничего не говоря при этом). Люся заявила, что кормить ее можно будет

только насильно, — она будет сопротивляться изо всех сил, даже если умрет при этом. Через несколько часов после этой последней попытки сломить ее к ней тоже пришел Рябинин, и произошел разговор, вполне аналогичный тому, что был со мной. Люся потребовала встречи со мной. Примерно в семь часов вечера Люсю на машине привезли в Областную больницу, где я находился. Мне сказали, что я должен пройти в кабинет главного врача — там меня ждут жена и Рябинин. В сопровождении врачей и сестер я пошел туда — в конце коридора стояла каталка, и в комнату, где была Люся, меня привезли на каталке (чем очень напугали ее). Мы обнялись впервые после 4 дней очень тяжелой морально разлуки. В качестве гарантии обещанию КГБ мы потребовали от Рябинина, чтобы он при нас связался с президентом АН Александровым, и дали согласие прекратить голодовку. Я вернулся в свою палату, а Люсю на той же машине (видимо, из КГБ), на которой ее привезли, отвезли обратно в 10-ю больницу. В этой же машине ехал Рябинин. Люся спросила его: «Почему вы пишете такую ложь в «Известиях» в статье о Сахарове «Цезарь не состоялся»?» Рябинин ответил: «Но, Елена Георгиевна, это ведь не для нас с вами пишется». Люся: «А, значит, это пишется для быдла, — и, обращаясь к доктору, который тоже ехал с ними, и к водителю: — Слушайте, вся эта ложь для вас пишется». Рябинин

пытался как-то замять остроту разговора. Его ответ действительно очень интересен. Он показывает нечто глубинное в психологии КГБ, этого государства в государстве («ордена», или «внутренней партии», как у Орвелла). КГБ может и обязан иметь истинную и полную информацию, а все население, «простые люди» («пролы» у Орвелла), должно кормиться профильтрованным и подслащенным информационным пойлом. Нас Рябинин как бы ставил на один уровень с собой, хотя и по разные стороны баррикад.

На другой день утром (в среду 9-го) Люся подала новое решительное заявление и сумела настоять, чтобы нас сразу объединили — первоначально мы согласились ждать этого до субботы, как нам обещали. В середине дня мы уже были вместе! Моих соседей сразу куда-то перевели.

Итак, мы голодали 13 дней в квартире и 4 (точной — 4 с половиной) в больнице. Все это время нарастала кампания в нашу поддержку. Очень активно действовали Таня и Рема в Европе, Алеша — в США и Канаде. В целом Запад понял наши мотивы и правоту. Многие эмигранты и диссиденты оказались менее к этому способны (культ идеи, борьбы, политики, моей личности, еще какой-то чепухи). Письма Петра Григорьевича и Револьта, позиция Лидии Корнеевны очень показательны, при всем их отличии. В остром и опасном положении, в котором мы находились во

время голодовки, чрезвычайно важны были усилия всех наших друзей и близких, всех, кто принял участие в нашей судьбе. Никто не может сказать, где та капля, которая переполнила чашу, что именно оказалось решающим. Я не могу перечислить тут всех — ограничусь некоторыми примерами. В СССР с обращениями в мою защиту выступили группа ученых-отказников, Владимов, Шиханович, Ходорович.

Особенно я хочу отметить роль приезда французских ученых Мишеля и Пекера. Они приехали в СССР в самые решающие дни, добились встречи с президентом Академии Александровым и ученым секретарем Скрябиным и потом рассказали об этих встречах на нескольких пресс-конференциях. Особенно важно, что первая из этих пресс-конференций состоялась в Москве и поэтому получила особенно широкий отклик.

В один из первых дней голодовки Лиза позвонила Наташе в Ленинград и попросила ее приехать. В этом разговоре Лиза сказала: «Приезжайте, пожалуйста, мне очень плохо» — такие слова Лизе совсем не свойственны. Наташа немедленно приехала — ее поддержка и советы очень много значили для Лизы. В это неопишимо трудное для нас морально время Наташа приняла на себя часть натиска некоторых советчиков из числа друзей и диссидентов с их жестоким и неумным стремлением добиться от Лизы каких-либо дей-

ствий с целью прекращения голодовки. Кто-то в эти дни (да и потом) говорил, что не понимает, как могла Лиза сама не объявить голодовки. Но если бы она так поступила, то погубила бы нас всех: ее стойкость, понимание и активные действия во время голодовки и сразу после ее окончания, до того момента, когда в руках у Лизы оказалась виза, были абсолютно необходимы.

В общем, Лиза — молодец. Некоторые спрашивали, как может Руфь Григорьевна сидеть в США и не приехать немедленно туда, где голодает ее дочь. Опять же ее приезд тогда был бы катастрофичным по своим последствиям. Как я уже писал, Лиза, Руфь Григорьевна, Алеша, Таня, Рема действительно сумели выстоять морально в труднейшем и мучительном положении, энергично и умно действовать.

12 декабря Лиза и Наташа приехали в Горький. После некоторых проволочек (во время которых, кстати, выяснилось, что мы записаны в больнице под другими фамилиями) их пропустили к нам. Сначала их хотели очень быстро увести, но мы сумели этому воспротивиться, и они пробыли у нас около 3 часов. Для меня это был последний раз, когда я видел Лизу перед отъездом. Конечно, она плакала, но я одновременно видел новое для меня выражение ее глаз — впервые счастливое за эти четыре страшных года. Ради одного этого стоило пройти через все то, что мы

пережили. Я написал в тот день Обращение с благодарностью всем тем, кто поддержал нас, и с напутствием Лизе. Вот оно:

«Мы бесконечно благодарны всем, кто поддержал нас в эти трудные дни — государственным, религиозным и общественным деятелям, ученым, журналистам, нашим близким, друзьям — знакомым и незнакомым. Их оказалось так много, что невозможно перечислить. Это была борьба не только за жизнь и любовь наших детей, за мою честь и достоинство, но за право каждого человека быть свободным и счастливым, за право жить согласно своим идеалам и убеждениям и в конечном счете борьба за всех узников совести. Сейчас мы рады, что не омрачили Рождество и Новый год своим близким и всем нашим друзьям во всем мире.

Желая счастливого пути Лизе, я надеюсь на воссоединение всех разлученных и вспоминаю прекрасные слова Михайлы Михайлова, что родина — не географическое понятие, родина — это свобода».

Слова Михайлы Михайлова — из той его статьи, которую мы с Люсей читали и обсуждали во время голодовки.

14 декабря Люся поехала за некоторыми моими и своими необходимыми нам вещами на квартиру.

Квартира была запечатана — милиция открыла ее по акту. На обратном пути она заехала к Хайновским (до этого галантно завезя на такси сопровождавшего ее милиционера в Приокское управление). Хайновские были счастливы — тем, что все благополучно кончилось, и тем, что они видят Люсю. Оказывается, Юра пытался попасть к нам в квартиру и потом в больницу, но его не пустили. Однако после попытки попасть в квартиру с ним беседовал какой-то гебист и сказал: «Вы их еще у себя увидите». Мы этого «обещания» не знали — оно до нас не дошло.

Юра, весь сияя от радости, проводил Люсю до машины. Вышло так, что она видела его в последний раз. Через шесть дней Юра Хайновский умер. Так большое горе часто идет рядом с жизнью и счастьем. Некоторое слабое утешение в том, что она все-таки повидала его, а он — ее.

15 декабря Люся под расписку (ее и мою) уехала в Москву на проводы Лизы. Люся была еще очень слаба после голодовки и несомненно рисковала (что потом подтвердилось), но она не могла не проводить Лизу.

Без Люси ко мне опять переселили прежних соседей; они вели со мной длинные разговоры о моей позиции, о Польше — 13 декабря там было введено военное положение — все это в архисоветском духе, хотя и уважительно ко мне. В это время в советской

прессе и по радио ежедневно появлялись фальшивки, что «Солидарность» готовила контрреволюционный вооруженный переворот, убийство тысяч партийных и государственных деятелей по заранее подготовленным спискам и т. п. Мои соседи жадно ловили все такие сообщения и пытались «прижать» меня этими «неопровержимыми фактами». Я спорил с ними.

Мои соседи написали в «Книгу благодарности и предложений» несколько слов благодарности врачам и медсестрам больницы, поставив там свои подписи и выделив место для моей подписи. Я, по некоторой слабости (и эйфории после победы), не сумел отказаться и подписал составленный ими текст. Мне было стыдно своей глупости — я лишь через 2 года рассказал Люсе про нее. Потом, уже в 1985 году, главврач Обухов пытался использовать фотокопию этого листка с моей подписью для психологического давления на меня.

У Люси в Москве перед отъездом Лизы было несколько очень напряженных дней — она все время была на ногах. 19 декабря Лиза улетела в Париж, где ее ждали Таня и Рема, а оттуда — в США, где она наконец встретилась с Алешей.

Из аэропорта Лиза прислала мне в Горький телеграмму, в ней были слова — «уезжаю счастливая и зареванная».

Сразу после проводов Лизы Люся была вынуждена лечь в постель — сказалось сверхнапряжение последних дней в Москве и голодовки. Хуже всего было то, что у нее произошло опасное обострение с почками. Впрочем, лежала она только два-три дня и, все еще не совсем здоровая, приехала в Горький 25 декабря.

Мы заранее условились с врачами и Люсей, что я буду находиться в больнице до ее приезда. Вышло, однако, несколько иначе. 22 декабря у меня произошел длительный сердечный приступ. 23 декабря мне сняли кардиограмму. А 24 декабря меня неожиданно выписали из больницы — якобы срочно потребовалось освободить палату; вместе со мной были выписаны оба соседа — они были явно удивлены. Как мне заявили, выписка была согласована с профессором Вограликом — он не возражал (накануне при осмотре он спросил меня, сколько у меня было раньше микроинфарктов, я ответил, что два; он пробормотал: «Я так и думал» — и, ничего не сказав кроме этого, ушел).

Моя выписка была, конечно, еще одним действием «управляемой медицины» (не последним в нашей жизни). Вероятно, КГБ не хотел нести за меня реальной ответственности, а тут могли быть неприятности — пусть они лучше всего наступят, когда никто за меня не отвечает. Так оно и вышло. 26 декабря у меня произошел еще один, еще более тяжелый приступ, от которого я долго (более месяца) не мог оправиться.

Документы истории болезни моей и Люси мне на руки не были выданы, хотя это — обычная практика и ранее лечащий врач Рунов обещал это сделать. Для нас эти документы, включавшие результаты подробных обследований, были бы очень полезны. В ответ на нашу просьбу выслать документы по почте нам ответили, что их переслали, якобы, в районную поликлинику, с которой я и тем более Люся не имеем никакого дела.

В середине января 1982 года, все еще серьезно страдая болями в сердце, я обратился к президенту Академии А. П. Александрову с просьбой поместить меня для лечения в один из санаториев Академии наук. Никакого письменного ответа я не получил. Люсе, через секретаршу, был передан устный отказ. Секретарша сказала: «Анатолий Петрович просил передать, что это абсолютно исключено». В 1983 году подобные события повторились в более трагической ситуации, когда у Люси произошел инфаркт. Я рассказываю об этом в следующей, заключительной главе.

В Париже и в США Лиза попала в центр внимания прессы и телевидения. Она дала ряд очень толковых интервью, в которых говорила не только о наших делах, но и об общих правозащитных — тут всегда много есть о чем рассказать, одни беды приходят вслед за другими. Некоторые наши эмигранты удивлялись Лизиной осведомленности — но ведь Лиза находилась

в самом «эпицентре» правозащитных дел, и ее роль не была пассивной — очень многое прошло через ее печатающие пальцы.

В январе 1982 года штат Монтана (где за полгода до этого состоялось заочное бракосочетание) пригласил Лизу и Алешу прибыть в качестве гостей штата на «Сахаровские дни» — а ведь еще недавно там не знали моей фамилии. Это была очень теплая, дружественная встреча — и очень торжественная одновременно. Лизе и Алеше был сделан традиционный индейский подарок — одеяло (Монтана — штат, где много индейцев), танцевали индейские танцы. Президент Рейган и его жена прислали Лизе свои поздравления. Таков «хэппи энд». И так кончается для внешнего мира эта история. Конечно, для Лизы и Алеши она продолжается, и многое в ней будет для них, как и для всех на свете, непросто. Но это уже другая ее глава, не для этой книги.

(Добавление от 21 февраля 1983 г. Сегодня пришла телеграмма из США: «Родилась девочка Александра вес 3370 очень хорошая Лиза чувствует себя хорошо мы их видели целуем — мама дети». В свое время, когда Люся ждала рождения второго ребенка, она хотела назвать его, если родится девочка, именем Александра — в честь своей тети Шуры Константиновой, ушедшей в партизаны в первые дни Отечественной войны и погибшей. Тогда родился мальчик Алеша. Но

сейчас, в следующем поколении, все же осуществилось то Люсино желание. Само сообщение о рождении этой девочки за тысячи километров от нас, за океаном Лизой, за отъезд которой мы так недавно голодали, воспринимается как чудо, кажется чем-то призрачным, нереальным.)

Я так подробно написал о деле Лизы, потому что оно еще очень живо в памяти и в нем многое отразилось. Возможно, время, когда мы с Люсей проводили нашу голодовку и были готовы к любому исходу, — наш «звездный час» — по силе чувства уверенности в единственной правоте того, что мы делаем, по внутренней близости.

ГЛАВА 49

Заключительная

В феврале 1983 года я наконец закончил восстановление украденного в октябре 1982 года текста (точней, написал заново то, что теперь надо скомпоновать с сохранившимися у Ремы отрывками) и поставил дату окончания книги — 15 февраля¹. Это день шестидесятилетия моей жены.

Люся дала мне счастье, сделала жизнь более осмысленной. Ее же жизнь оказалась при этом такой трудной, трагической, но тоже, я надеюсь, получившей новый смысл.

Люся еще в первые годы нашей совместной жизни рассказала мне историю из жизни Юрия Карловича Олеси (известного писателя) и его жены Ольги Густавовны, сестры Лидии Густавовны Багрицкой. Они как-то сидели за столиком ресторана, и Ю. К. сказал подошедшей красивой официантке:

— Ты моя королева!..

Ольга Густавовна, когда официантка отошла, спросила:

— Если эта девка твоя королева, то кто же я?

Юрий Карлович посмотрел на нее несколько удивленно, растерянно.

— Ты? — и уже совсем серьезно ответил: — Ты — это я.

Мне очень нравится этот рассказ, и кажется, что я тоже имею право сказать Люсе:

— Ты — это я.

В счастье, в общих заботах, в трудностях и беде (и «королева» тоже!).

Люся является одним из главных действующих лиц моих воспоминаний; благодаря ей они могли быть написаны и опубликованы. Ей эта книга с любовью посвящается.

В воспоминаниях я пытался отразить различные сферы, через которые провела меня судьба — семью, университет в Москве и Ашхабаде, военный завод в годы войны, научно-исследовательский институт в 1945—1948 годах, годы работы над термоядерным оружием, движение за права человека, горьковскую депортацию. Я хотел отразить в книге тех людей, которые мне дороги или вообще так или иначе играли роль в моей жизни, описываю свою работу, мысли и сомнения, достижения и неудачи. Книга получилась пестрой, многоплановой. Кому-то из моих читателей что-то покажется интересным, а что-то скучным и лишним. Для другого читателя интересным покажется иное. Пусть каждый выберет себе то, что его затрагивает!

На протяжении двадцати лет своей жизни — с 27-летнего до 47-летнего возраста — я принимал актив-

ное участие в работе над термоядерным оружием. Мы начинали эту работу, будучи убеждены в ее абсолютной необходимости для безопасности нашей страны, для сохранения мира, увлеченные грандиозностью стоящей перед нами задачи. Со временем многое стало представляться мне не столь однозначным. Я пытался описать в этой книге, как судьба постепенно толкала меня к новому пониманию и к новым действиям.

В конце 50-х — начале 60-х годов я был глубоко озабочен последствиями ядерных испытаний. Мне удалось сыграть определенную роль в подготовке Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах — в воздухе, под водой и в космосе.

То, что мне пришлось увидеть и узнать за годы работы над оружием, заставляло с особенной остротой думать о чудовищной опасности термоядерной войны — коллективного самоубийства человечества, о путях ее предотвращения. В 1968 году я впервые выступил с получившей широкую известность статьей с целью открыто высказать свою точку зрения по этим и другим важнейшим вопросам. Этому же посвящены книги и статьи «О стране и мире» (1975), Нобелевская лекция (1975), «Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир» (1981), «Опасность термоядерной войны» (1983), выступление на церемонии вручения премии имени Сциларда (1983), письмо

участникам встречи лауреатов Нобелевской премии в Сорбонне (1983)² и другие выступления.

В наиболее развернутой и острой форме мои мысли последнего времени, сомнения и тревоги отражены в статье «Опасность термоядерной войны» (открытое письмо д-ру Сиднею Дреллу). (Добавление 1988 г. Это наиболее развернутое изложение моих взглядов по вопросам мира и разоружения в период, предшествовавший «перестройке».)

Я неоднократно писал в этой книге об известном американском физике д-ре Сиднее Дрелле, о наших встречах с ним в Москве и Тбилиси. Я считаю его своим другом. На протяжении многих лет Дрелл был советником правительства США по вопросам ядерной политики и разоружения. В ряде статей и выступлений последних лет он сформулировал свою позицию по этим вопросам. Я полностью разделяю основные принципиальные тезисы Дрелла, но не во всем могу согласиться с теми утверждениями, которые относятся к ближайшим действиям, к оценкам существующей военной и политической ситуации, к путям достижения общей для всех разумных людей цели устранения опасности термоядерной войны. (Добавление в октябре 1983 г. Я получил от Дрелла письмо, в котором он обсуждает различия наших позиций. По-видимому, эти различия по существу меньше, чем я считал, когда писал статью.)

Так же, как Дрелл, я понимаю, что реальная стратегия Запада не соответствует сейчас тому принципу, который мы считаем столь важным — не использовать ядерного оружия, ядерного устрашения для каких-либо иных целей, кроме предупреждения ядерной же угрозы со стороны потенциального противника. Начиная с 1946 года и Европа, и США пытались компенсировать свою относительную слабость в обычных вооружениях превосходством в ядерном оружии. Эта стратегия, возможно, сыграла определенную сдерживающую роль, но она крайне опасна и постепенно привела к ситуации «ядерного тупика». Нельзя угрожать, даже косвенно, применением ядерного оружия, если это применение принципиально недопустимо — я в этом убежден. Превосходства же в ядерном оружии Запад теперь не имеет. Я на протяжении ряда лет высказывал мысль о необходимости восстановления равновесия в области обычных вооружений — с целью сделать возможным отказ от ядерного оружия, создающего непосредственную угрозу существованию человечества.

Кардинальное решение проблемы международной безопасности — укрепление международного доверия на основе открытости общества, соблюдения прав человека. Однако даже в лучшем случае — если развитие пойдет в этом направлении — несомненно, предстоит длительный переходный период, чрезвычайно опас-

ный. Я высказываю в своей статье мысль (подчеркивая ее дискуссионный характер), что, пока ядерное оружие существует, необходима безопасность («устойчивость») по отношению к различным «вариантам» ограниченной или региональной ядерной войны, на которые потенциальный агрессор может решиться в той или иной критической ситуации, если он чувствует себя в этих вариантах достаточно сильным и при этом рассчитывает, что обороняющаяся сторона не пойдет на дальнейшую эскалацию из страха взаимного полного уничтожения.

Придавая огромное значение переговорам о ядерном разоружении, я считаю, что Запад не может рассчитывать в них на истинный, а не иллюзорный успех, если у него нет что «отдавать». Поэтому Запад, в частности, должен быть готов строить МХ (чтобы вынудить СССР ликвидировать свои мощные шахтные ракеты, особо опасные вследствие их огромной разрушительной силы и ставшие объективно — после разработки разделяющихся боеголовок — оружием первого удара). Запад должен быть также готов ставить в Европе Першинги и крылатые ракеты. Но одновременно, если СССР пойдет на реальное сокращение (контролируемое уничтожение) своих наиболее опасных вооружений, то и Запад должен предпринять со своей стороны столь же широкие шаги доброй воли!

В целом я считаю, что в переходный период неизбежно продолжение гонки вооружений («довооружение»). Это ужасное зло в мире, где столько не терпящих отлагательства проблем, — но меньшее зло, чем сползание во всеобщую термоядерную войну, всеобщую гибель. Я решился даже назвать ориентировочную длительность этого периода: десять—пятнадцать лет, хотя в глубине души боюсь, что он будет еще более длительным.

(Добавление 1988 г. Сейчас, после заключения договора о ракетах средней и меньшей дальности и других обнадеживающих событий, есть, по-видимому, основания для более оптимистических прогнозов. Возникли новые возможности разоружения. Я надеюсь, что они будут использованы.)

Я отдавал себе отчет в том, что моя точка зрения будет принята не всеми на Западе, в частности в тех кругах, в которых популярна идея «замораживания» ядерных вооружений. Я понимал также, что в СССР столь острое выступление будет использовано для новых нападок.

Моя статья была закончена 2 февраля 1983 года. Ее переправка оказалась очень сложным делом — сейчас не время об этом рассказывать. В июне статья была опубликована во влиятельном «солидном» американском журнале «Форин афферс», затем последовали многочисленные перепечатки в США и других стра-

нах Запада. Я думаю, что статья была замечена мировой общественностью и, быть может, политическими деятелями. Я чувствую большое удовлетворение, сделав это дело, хотя у меня и были сомнения во время работы над статьей. Вопрос слишком сложный и острый, чтобы быть уверенным в своей правоте до конца, но и молчать я не мог: это было бы еще хуже.

(Несколько слов об упомянутом письме С. Дрелла: главный пункт, по которому Дрелл не согласен со мной, — он не считает целесообразным строительство ракет МХ.)

Придя к выводу, вслед за многими выдающимися людьми нашего времени, что международная безопасность, мир невозможны без открытости общества и без соблюдения прав человека, а в далекой перспективе — без сближения противостоящих друг другу мировых систем социализма и капитализма, я пытаюсь защищать и развивать эти мысли. Я писал в особенности о необходимости плюралистических изменений в жизни нашей страны и других социалистических стран и соблюдения в них прав человека. Что я понимаю под плюрализацией и открытостью общества? Кратко: экономические, правовые и политические реформы, устраняющие абсолютную партийно-государственную монополию в сферах экономики, идеологии и культуры, свободу убеждений, свободу информации

онного обмена как внутри страны, так и через границы, свободу духовной жизни, свободу религии, свободу выбора страны проживания и места проживания в пределах страны, свободу ассоциаций, безусловное освобождение всех узников совести из мест заключения и психбольниц и реальный общенародный контроль над жизнью страны и решениями, определяющими сохранение мира.

Я считаю, что народ нашей страны в своей массе принял в целом советский образ жизни, советский строй, и не только потому, что у большинства людей мало возможностей для сравнения и нет выбора, но и по более глубоким основаниям. Вовсе не идеализируя советскую действительность, я тем не менее вижу существенные достижения советской системы. Я пишу о сближении, конвергенции капиталистической и социалистической систем, о необходимости плюралистических изменений (реформ) в социалистических странах ради процветания, свободы и счастья населения этих стран и ради мира во всем мире. Я убежденный эволюционист, реформист, принципиальный противник насильственных революций и контрреволюций, тем более противник «экспорта» революции и контрреволюции (часто трудно сказать, что есть революция, что — контрреволюция).

Постепенно, в ходе общения со многими людьми, с которыми сблизила меня жизнь, в том числе под влия-

янием моей жены, все большее место в моих выступлениях стала занимать защита людей, ставших жертвой несправедливости, жертвой нарушения основных гражданских прав. Последние годы — это неизменный стержень моей позиции. Я поддерживаю международную борьбу за освобождение узников совести во всем мире, позицию Эмнести Интернейшнл в этой ее главной цели, поддерживаю борьбу Эмнести против смертной казни и пыток. Я убежден, что идеология защиты прав человека — это та единственная основа, которая может объединить людей вне зависимости от их национальности, политических убеждений, религии, положения в обществе — как это в одном из своих интервью прекрасно сказала Люся.

Выступая в защиту ставших жертвой беззакония и жестокости — среди них многих я знаю, уважаю и люблю — я пытался отразить всю меру своей боли, озабоченности, возмущения и настойчивого желания помочь страдающим. Их имена — в этой книге. Повторю некоторые из них (добавив несколько имен жертв самого последнего времени): А. Марченко, А. Щаранский, Ю. Орлов, семья Ковалевых³, В. Некипелов, Л. Терновский, М. Костава, Т. Великанова, В. Стус, М. Никлус, В. Пяткус, Л. Лукьяненко, И. Кандыба, М. Кукобака, Р. Галецкий, М. Ланда, И. Нудель, А. Лавут, В. Бахмин, Г. Алтунян, Г. Якунин, Ю. Федоров, А. Мурженко, семья Руденко и се-

мья Матусевичей⁴, В. Абрамкин, Мустафа Джемилев, Решат Джемилев, А. Смирнов, А. Корягин, С. Ходорович, покойные В. Шелков и Б. Дандарон...

Свои выступления по общим вопросам я считаю дискуссионными, склонен подвергать многие мысли и мнения сомнению и уточнению. Мне близка позиция Колаковского, который в своей книге «Похвала непоследовательности» пишет:

«Непоследовательность — это просто тайное сознание противоречивости мира... Это постоянное ощущение возможности собственной ошибки, а если не своей ошибки, то возможной правоты противника».

(Но мне все же хотелось бы заменить слово «непоследовательность» каким-то другим, отражающим также и то, что развитие личности и социального сознания должно соединять в себе самокритическую динамичность с наличием неких ценностных «инвариантов».)

В своей краткой автобиографии я написал:

«Я не профессиональный политик и, быть может, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах».

Я глубоко уважаю всякий труд: рабочего, крестьянина, учителя, врача, писателя, ученого — я часто завидую тем, кто видит результаты своего труда. Но я должен был выступить по общественным проблемам, как бы ни мучили меня иногда сомнения. К этому подвела меня вся жизнь, судьба — мне хотелось бы, чтобы это было видно из этой книги; собственно, это желание — одна из причин, заставивших меня взяться за ее написание. Я не рассчитываю на немедленные практические последствия своих общественных выступлений. Но, быть может, что-то откладывается в душах людей. И самое главное — я должен быть верен самому себе, своей судьбе.

XX век — век науки. Я имел радость изучать созданные нашими великими современниками геометрически прекрасную теорию относительности и квантовую теорию — это наиболее глубокое творение человеческого гения, давшее возможность понимать и описывать широчайший круг явлений природы (мы еще не знаем его границ). Когда я 40 лет назад пришел в Теоретический отдел И. Е. Тамма, началась эпоха больших успехов в квантовой теории поля и теории элементарных частиц. Тогда многим казалось, что глубокое, подлинное развитие этих теорий невозможно без кардинальных новых идей — «сумасшедших», как однажды сказал Н. Бор. Однако пока развитие идет

иначе — и чрезвычайно успешно — с использованием не сумасшедших, хотя и нетривиальных идей точной и нарушенной «калибровочной» симметрии, нарушенной суперсимметрии, «плененных» кварков, скрытых («компактифицированных») измерений физического пространства—времени, неточечных объектов, так называемых струн, а в старых рамках теории относительности и квантовой теории поля (я пишу об этом как благодарный зритель, а не как участник, к сожалению).

В наши дни физика элементарных частиц «дотянулась» до тайн космологии, нестабильности протона, объяснения законов гравитации. Я рад, что смог принять какое-то участие в этих захватывающих исследованиях, хотя, конечно, немного обидно, что не сделал всего, что хотел бы и что по логике дела мне следовало сделать или хотя бы вовремя осознать.

В 50-е годы вместе с Игорем Евгеньевичем Таммом нам довелось стоять у истоков работ по управляемой термоядерной реакции — возможно, основы энергетики будущего. Как известно, широкомасштабные исследования предложенного нами принципа магнитной термоизоляции ведутся во всем мире. В начале 60-х годов я выступил с предложением использовать для осуществления управляемой термоядерной реакции лазерную имплозию. Этот метод тоже сейчас усиленно исследуется.

В некоторых своих работах я отдал дань футурологии, желанию заглянуть в будущее (в «Размышлениях о прогрессе...», в статье сборника «Будущее науки»). Чисто футурологическую статью «Мир через полвека» я написал в 1974 году. Я не рассказывал о ней подробно в соответствующей главе, оставив это удовольствие для заключительной. В статье я описываю, каким мне рисуется научно-технический, экологический и социальный облик будущего, если человечество сумеет не погибнуть или деградировать от угрожающих ему глобальных опасностей термоядерной войны, отравления среды обитания и потери экологического равновесия на планете, истощения ресурсов и перенаселения. Временная грань в заглавии носит условный характер — на самом деле статья просто о будущем. Я говорю о разделении поверхности Земли на две зоны: производственно-жилую и обширную зону отдыха с нетронутой, сохраняемой природой, о глубокой компьютеризации повседневной жизни, производства и науки, о Всемирной Информационной Системе, делающей все чудеса знаний и искусства доступными каждому и объединяющей человечество в единое целое, об использовании достижений на стыке биологии, химии и физики, о синтетической белковой (точней, аминокислотной) пище, что за счет сокращения животноводства сэкономит половину пашни и луга, и о многом другом. Были там и конкретные прогнозы;

на некоторых я не настаиваю, но упомяну все же о возможном применении в зоне отдыха шагающих транспортных средств, о взрывном бридинге на Луне. Я предполагаю в будущем широкое использование космоса для земных целей и проникновение в глубь Солнечной системы, пишу о важности обнаружения внеземных цивилизаций...

Мои открытые выступления вызвали большое раздражение властей — партийно-государственного аппарата и КГБ. В 1968 году я был отстранен от работы на объекте. С 1971 года, как только Люся стала моей женой, давление в особенности сконцентрировалось на ней, а очень скоро — на наших детях и внуках. Клевета, угрозы, притеснения — таковы явные формы этого давления. Объектом угроз оказались и наши внуки. В 1977—1978 годах — вынужденная эмиграция детей и внуков, трагический разрыв семьи. В 1980 году я был лишен правительственных наград, незаконно, без суда депортирован в Горький и подвергнут изоляции. Этот акт, я думаю, подготавливался заранее, но, вероятно, не случайно был осуществлен сразу после вторжения СССР в Афганистан и моих выступлений против вторжения. В 1981 году в результате нашей с Люсей голодовки удалось добиться выезда Лизы, ставшей после отъезда детей и внуков заложницей моей общественной деятельности.

* * *

Я должен теперь рассказать о событиях последнего времени, произошедших после 15 февраля 1983 года: о болезни Люси, о новой волне клеветы против нее и меня, о нашем положении⁵.

25 апреля у Люси произошел инфаркт. Это был уже, по-видимому, второй инфаркт — первый не был диагностирован на кардиограмме в поликлинике АН. Именно сразу после него был обыск в поезде, а потом ей пришлось идти с тяжелыми сумками по станционным путям и лестнице, она тогда потеряла сознание. Может, убить ее — и была главная цель обыска?

Инфаркт 25 апреля был обширным, тяжелым, а в последующие недели дважды произошли новые ухудшения, сопровождающиеся расширением пораженной зоны. Общей, главной причиной инфаркта была, несомненно, та непомерная психическая и физическая нагрузка, которая легла на Люсю в ее жизни со мной, особенно после депортации; самое трагическое — разлука с матерью, детьми и внуками. Инфаркт со всеми его клиническими признаками случился в Горьком. Люся сама приняла первые необходимые меры — то, что возможно в наших домашних условиях. 10 мая она уехала в Москву, а 14 мая инфаркт был подтвержден на кардиограмме в поликлинике Академии наук. Ей сразу предложили лечь в больницу Акаде-

мии, но она отказалась это сделать без меня, потребовав нашей совместной госпитализации в одну палату больницы или санатория Академии. Так началась ее борьба, в которой ставкой опять, уже не первый раз, было ее здоровье. К несчастью, я недостаточно поддержал ее в этой борьбе.

Люся, конечно, боролась также за изменение моего статуса. Мало кто понял трагичность ее борьбы, очень немногие осознали тяжесть ее болезни. Так, зарубежная «Русская мысль» писала о «микроинфаркте Елены Боннэр». Какой там «микро»! — но, по-видимому, редакторам «Русской мысли» трудно было поверить, что человек с большим инфарктом ведет себя так, как Люся.

В промежутке между 10 и 14 мая проходил суд над Алексеем Смирновым. Люся была занята этим. Алексей Смирнов — внук известного журналиста Костерина, проведшего много лет в заключении, реабилитированного и восстановленного в партии в 50-х годах, умершего в 60-х годах. Это на его похоронах П. Г. Григоренко произнес речь, вошедшую в нравственную и общественную историю страны. Тетя Смирнова — автор не менее известного «Дневника Нины Костериной»⁶. В деле Смирнова проявились некоторые черты, о которых необходимо рассказать. У Смирнова был обыск, после которого его привели к следователю. Следователь сказал:

— Вот ордер на ваш арест. У вас две возможности. Если вы напишете, что вам известно о «Хронике», кто ее издает и распространяет, я разорву этот ордер. Если же нет — вы будете арестованы.

Как заявил Смирнов на суде:

— Я выбрал второе.

Смирнов был осужден на 6 лет заключения и 4 года ссылки. Основное обвинение — по показаниям лже-свидетеля. Якобы этот человек жил какое-то время у Шихановича и видел, как пришел Смирнов (в присутствии Людмилы Алексеевой) с большой пачкой номеров «Хроники» и раздал их присутствующим. На самом деле все это ложь. В частности, свидетель никогда не жил у Шихановича, Алексеева вообще никогда не бывала у Шихановича. Смирнову было отказано в очной ставке с этим человеком, на суде он тоже не присутствовал — были использованы письменные показания. Вообще Смирнов его никогда не видел.

Дело Алексея Смирнова, повторные жестокие и незаконные приговоры многим узникам совести, жестокие приговоры новым узникам пришлось на самое последнее время. Хотелось бы думать, что это не отражает каких-либо стойких новых тенденций и мы еще дождемся лучших времен. Но когда?

(Добавление. 17 ноября арестован Юра Шиханович. Люся сообщила мне об этом в телеграмме. Ему предъявлено обвинение по 70-й статье — угрожает до

7 лет заключения и 5 лет ссылки. Это самый жестокий удар, нанесенный репрессивными органами по близким нам людям за последние годы.)

Как только у Люси диагностировали инфаркт, у дверей квартиры и на улице установили посты милиции — всего около 6 человек, не считая милицейской машины с радиопередатчиками (эти посты с тех пор стали постоянными)⁷. Одна из целей постов — не пускать к Люсе иностранных корреспондентов и тех иностранцев, которые захотели бы ее посетить. Всех советских посетителей записывают: это многих отпугивает. В частности, никакие врачи, кроме академических, ее не смотрели⁸. Фактически она была предоставлена самой себе. Опасность усугублялась — и усугубляется — отсутствием в квартире телефона, отключенного с 1980 года. Также отключен телефон-автомат на улице возле дома. Не может Люся позвонить и от соседки — это уже раз привело к отключению и ее телефона. Так что при внезапном приступе Люсе будет очень трудно вызвать «скорую». Невольно закрадывается мысль, что это тоже одна из целей постов. Устанавливая пост, КГБ опасался, быть может, что я предприму попытку тайно приехать в Москву к опасно больной Люсе — но тут они меня, к сожалению, переоценили. Я занял слишком пассивную позицию и старался внешне жить так, как если бы ничего не произошло, глубоко волнуясь, конечно, за Люсино

здоровье. К вопросу же своей госпитализации вместе с Люсей в Москве я относился фаталистически, пассивно. Я считал, что мою госпитализацию разрешат только в том случае, если властям это покажется политически целесообразно — мы давали им возможность отступить в деле Сахарова «без потери лица». Если же, напротив, власти не хотят изменения моего статуса, то они, как я считал, всегда найдут способ не допустить госпитализации. Я видел поэтому мало аналогий с борьбой за выезд Лизы, в частности совершенно исключал такие меры, как голодовка — внешне это была бы голодовка за собственную госпитализацию, что несколько нелепо. Не мог и не хотел я также «изображать» себя более больным, чем на самом деле, или более беспомощным в житейском плане. Но, к сожалению, отличие от нашей борьбы за дело Лизы заключалось также в отсутствии внутреннего контакта и взаимопонимания с Люсей. Мне это нестерпимо больно сейчас, вне зависимости от того, как мои действия и бездействие сказались на негативном исходе дела. Я по-прежнему думаю, что сказались мало.

(Добавление в октябре 1983 г. Сейчас я думаю, что борьба за совместную госпитализацию была ошибочным (тактически) действием. Основной для нас внутренне аргумент — что Люся при госпитализации без меня в Москве или при совместной госпитализации в Горьком оказывается в опасном положении — не был

выставлен явно, он был бы воспринят слишком многими как мнительность, «КГБ-мания». К тому же совместная госпитализация в Москве в больнице Академии не снимала бы полностью опасений вмешательства КГБ. На самом деле, получив известие о Люсином инфаркте, я должен был бы тогда же принять решение добиваться ее поездки для лечения за рубеж и объявить бессрочную голодовку в поддержку именно этого требования. Если КГБ не хочет моей гибели, такое действие имело бы шанс на успех; во всяком случае, больший, чем малопонятная и двусмысленная для многих увязка болезни Люси с моей госпитализацией в Москве. Как видно из дальнейшего, КГБ прекрасно использовал эту двусмысленность вместе с допущенными мною ошибками. Люся без меня, сама, не могла принять решения о переориентации на борьбу за поездку. У нее и в мыслях не было ничего подобного. Как всегда, она думала обо мне, хотела быть со мной. Принять решение о борьбе за немедленную Люсину поездку должен был я. Но я тогда «не созрел» для этого решения. К тому же на расстоянии, при плохой связи и из чувства внутренней психологической самозащиты я тоже недооценивал тяжесть Люсиного положения. Я надеялся, что на этот раз «пронесло» (а о новых приступах узнал с большим опозданием). Я предполагал начать борьбу за Люсину поездку через некоторое время, когда ее состояние стабилизируется, чтобы, как

я думал, полнее использовать западную медицину. Пока же я, как я уже сказал, в основном пассивно ждал, что получится с нашей госпитализацией.)

20 мая Люся провела пресс-конференцию, на которой объявила о наших требованиях совместной госпитализации. Инкоров не пустили в квартиру — они собрались на улице у подъезда дома. Люсю же милиция и некто в штатском (конечно, гебист) пытались не пустить на улицу, но она вышла, почти силой, с нитроглицерином в одной руке и заявлением и моим письмом президенту Академии — в другой, села на подоконник витрины магазина и сделала свое заявление. Это было через 25 дней после начала инфаркта.

Через неделю Люся и я послали новые телеграммы Александрову, и в конце мая Александров сообщил нам телеграммами, что он дал приказ послать ко мне консультантов-медиков для решения вопроса о моей госпитализации (последнее уточнение содержалось только в телеграмме Люсе). 2 июня медики приехали. Они осмотрели меня, сделали кардиограмму. В ответ на мой настойчивый вопрос возглавлявший группу профессор Пылаев подтвердил, что они дают заключение о целесообразности госпитализации. Справка: я страдаю хроническим заболеванием предстательной железы, страдаю экстрасистолией, стенокардией и (умеренной) гипертонией, перенес, по-видимому, два микроинфаркта в 1970 и 1975 годах, имел в Горьком три сер-

дечных приступа (один из них, как я писал, начался в больнице после голодовки — меня тогда поспешно выписали), имел приступ тромбофлебита. Так что основания для госпитализации, несомненно, имеются, но, конечно, мое состояние далеко не столь острое и опасное, как у Люси. Медики уехали в тот же день. Несколько дней я считал, что, пожалуй, власти действительно хотят моей госпитализации, и даже — чуть-чуть играя сам с собой — перевез продукты из холодильника к Хайновским, чтобы они не пропали в случае внезапной госпитализации. Конечно, это было ошибочное действие...

Интересно, что уже через три дня мои контакты с Хайновскими (а я еще возил Надю Хайновскую, жену Юры, на его могилу на кладбище) фигурировали в Академии как доказательство того, что «я не в одиночестве» — так же как в свое время визит жены Феликса Майи послужил Александрову основанием для утверждения, что я не лишен медицинской помощи.

18 августа пришел ответ из Академии (отправленный якобы 27 июля с неточным адресом, но я думаю, что это обычные уловки ГБ). Письмо составлено в умышленно неопределенных выражениях, даже не упомянуто, что у Люси — инфаркт, что мы требовали совместной госпитализации именно в Москве и категорически отказывались от госпитализации в Горьком с его «управляемой медициной». Тем не менее в пись-

ме косвенно признано, что я нуждаюсь в госпитализации и что по причинам немедицинским меня не госпитализируют в Москве.

Как я уже писал, в июне 1983 года в журнале «Форин афферс» было опубликовано мое открытое письмо доктору Сиднею Дреллу «Опасность термоядерной войны». 3 июля в газете «Известия» появилась статья за подписью четырех академиков: А. А. Дородницына, А. М. Прохорова, Г. К. Скрыбина и А. Н. Тихонова (запомните эти имена!), озаглавленная «Когда теряют честь и совесть»⁹. Я предполагаю, что эта статья фактически написана кем-то из специалистов-международников АПН или КГБ, профессиональным журналистом и мастером пропагандистского манипулирования умами (типа Ю. Корнилова или Ю. Жукова — это пришедшие мне на ум возможные примеры). Академики же лишь подписали, что, конечно, не делает им чести. Читали ли они мою статью в «Форин афферс» — малосущественно; думаю, что не читали.

(Добавление в октябре 1983 г. Стало известно, что в ЦК был вызван для подписания статьи в «Известиях» также некий пятый академик, — фамилии его мне не сообщили. Он сказал, что хочет ознакомиться со статьей в «Форин афферс» и написать для «Известий» сам. Разговаривавший с ним человек, я думаю — из КГБ, сказал, что это их не устраивает: статья в «Известиях»

нужна очень срочно. Так этот академик избавился от позора. (Добавление 1988 г. Это был В. И. Гольданский — по его собственному рассказу.) Передают также, что подписавшие четыре академика не только не видели моей статьи, но не видели якобы и того, что подписывали. Передают, что Прохоров очень переживает случившееся. Было бы хорошо, если бы он публично снял свою подпись.)

Статья в «Известиях» — пример крайней журналистской недобросовестности. По существу это провокация, цель которой — вызвать гнев людей против меня как врага мира и собственной страны, предателя, презирающего и ненавидящего народ. Характерно, что в «Известиях» не упомянуто название моей статьи «Опасность термоядерной войны», — ведь это могло бы вызвать у людей сомнения, так ли я хочу термоядерной войны, гонки вооружений, такой ли я противник переговоров, как это изображается в «Известиях». Слишком многие, видя подписи четырех академиков, не склонны подозревать их в умышленном обмане или в том, что они подписали написанное не ими, — но, увы, это действительно так.

Я получил за два месяца более 2300 писем и несколько десятков телеграмм с самым резким осуждением моей «человеконенавистнической» позиции; сегодня, 1 сентября, письма все еще продолжают поступать. При этом следует иметь в виду, что около

половины писем — коллективные, так что общее число подписавших письма — несколько десятков тысяч человек.

(Добавление 24 октября 1983 г. Общее число писем составило 2418.) Вероятно, еще больше писем и телеграмм поступило в редакции газет и в адреса правительственных учреждений. При этом авторы писем составляют лишь малую долю общего числа обманутых (увы, не противившихся этому обману, слишком охотно на него пошедших).

Как это ни печально, следует признать, что на этот раз провокация оказалась более успешной, чем в предыдущие годы. При этом удар — подлый и жестокий! — пришелся — как и ранее! — не только по мне, но и в особенности по Люсе. Хотя Люся и не была явно названа в статье, подписанной четырьмя академиками (это было бы снижением их «высокого» уровня), но уже задолго до этого советская пропагандистская машина многими путями внедряла в податливые к этому умы представление о ней как о главной виновнице моего «падения». Наряду с инсинуациями бульварного толка особую роль при этом играет подчеркивание Люсиной национальности — еврейской; конечно, армянская менее доходчива. Так что все было готово к тому, чтобы и мою статью в «Форин афферс» приписать тому же глетворному и коварному влиянию. (Мало кто задумы-

вается, что все-таки я специалист по термоядерному оружию, а Люся — по микропедиатрии.)

* * *

В начале 1983 года вышло третье (дополненное и переработанное) издание книги Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР». В этом издании добавлен большой раздел, посвященный Люсе и мне. Очевидно, понадобилось (кому? — верней всего, КГБ).

Как указывается в справках на обложках его книг, Яковлев — доктор исторических наук. По существу же он один из самых беззастенчивых авторов, пишущих на так называемые идеологические темы (в том числе о диссидентах). Недавно, уже после описываемых ниже событий, я узнал о нем некоторые подробности — расскажу их здесь. (Все со слов одного знакомого.)

В ранней молодости он был арестован (вместе с отцом — генералом), дал много показаний на своих товарищей по университету, что привело к многочисленным арестам; судим, некоторое время находился в заключении. Видимо, во время следствия или в лагере стал сотрудничать с КГБ. Линия карьеры Яковлева сразу после освобождения стремительно пошла вверх, и невидимая рука поддерживала его в крупных, в том числе уголовных, неприятностях, в которые ему случалось несколько раз попадать... Говорят, в частных беседах Яковлев высказывался весьма вольно, оппозицион-

но... Я ниже пишу о своей встрече с ним. Меня поразило в нем сочетание наглости с какой-то почти телесной униженностью, несомненной литературной талантливости и эрудированности с полной беспринципностью, лживостью и цинизмом.

В книге «ЦРУ против СССР» много места уделено защитникам прав человека, инакомыслящим (Орлову, Великановой и др.). Они изображаются Яковлевым (как и другими авторами подобной литературы) ничтожными, корыстолюбивыми и тщеславными людьми, платными агентами иностранных разведок, пешками провокационной игры под названием «права человека», затеянной в недрах ЦРУ и осуществляемой при посредстве НТС. Большинство из них, по Яковлеву, Зивсу и др., стремится заработать себе славу «борцов» и уехать пожинать ее плоды за рубеж.

В 1983 году в иллюстрированном журнале «Смена», рассчитанном на самого широкого читателя, появилась серия статей за подписью Яковлева, представляющих собой краткую, но весьма «сочную» выжимку из «диссидентских» разделов книги. Последняя из статей — «Путь вниз» — о Люсе и обо мне. Тираж книги — 200 тысяч экземпляров, тираж «Смены» — свыше 1 млн. 700 тысяч, так что прочли эту сенсационную ложь миллионы читателей! Если кратко резюмировать развиваемые Яковлевым хитросплетения, то они сводятся к следующему. Я — свихнувшийся на бредовых идеях

мирового правительства, технократии и ненависти к социализму недоумок, психически неуравновешенный человек, которого направляют в своих целях западные спецслужбы, используя «особенности моей личной жизни», т. е. Люсю. Люся же — преступная корыстолюбивая авантюристка, виновница смерти двух женщин (тут Яковлев повторяет ложь «желтых пакетов» и «Сетте джорни»). А ныне она — «мадам Боннэр, злой гений Сахарова». Яковлев и в книге, и в статье с одобрением цитирует упоминавшийся мною лживый и подлый фельетон под этим заглавием¹⁰ из зарубежной просоветской газеты «Русский голос»:

«Похоже на то, что академик Сахаров стал «заложником» сионистов, которые через посредничество вздорной и неуравновешенной Боннэр диктуют ему свои условия».

Яковлев даже выражает мне нечто вроде лицемерного «сочувствия»: дескать, хотя я и виноват, но в основном я — жертва, «страдающая сторона»:

«Замечены регулярные перепады в его настроении. Спокойные периоды, когда Боннэр, оставив его, уезжает в Москву, и депрессивные — когда она наезжает из столицы к супругу. <...> Засим следует коллективное сочинение супругами какого-нибудь пасквиля,

иногда прерываемое бурной сценой с *побоями*. <...> Вот на этом фоне я бы рассматривал очередные «откровения» от имени Сахарова, передаваемые западными радиоголосами. <...> немало написано под диктовку или под давлением чужой воли...» (курсив мой. — А. С).

Вся эта провокационная ложь о несамостоятельности моих выступлений в книге и статье Яковлева далеко не случайна — это не просто литературные упражнения лжеца. Несомненно, Яковлев тут выступает рупором КГБ, проводником принятой КГБ «генеральной» линии «решения» проблемы Сахарова. Об этом я пишу в конце главы (и книги).

Добавление от 3 ноября 1983 г. Сегодня заместитель начальника почты (быть может, по поручению) принесла показать номер популярного журнала «Человек и закон» (в журнале печатаются очерки о судебных делах, детективные повести, даются юридические справки; тираж — 8 млн. 700 тысяч!). В октябрьском номере напечатана новая статья Яковлева все на том же материале его книги. Статья называется «ЦРУ против Страны Советов», а раздел о Люсе и обо мне — «Фирма “Е. Боннэр энд чилдрен”». Бросается в глаза, что все характеристики и эпитеты исходной статьи из «Смены» еще более обострены: Люся — уже не «рас-

пущенная», а «распутная» девица, «сексуальная разбойница»; вдовцу Сахарову навязалась *страшная женщина*; я пишу под давлением *чужой недоброй воли* и т. д. Но важнее другое. Яковлев четко и недвусмысленно формулирует то, что раньше писалось «от третьего лица» (например, от имени неназванных «учеников физика» из «Русского голоса») или не совсем явно. Цитирую («Человек и закон», 1983, № 10, стр. 105):

«В своих попытках подорвать советский строй изнутри ЦРУ широко прибегает к услугам международного сионизма. <...> Используется при этом не только агентурная сеть <...> и связанный с ними еврейский масонский (!) орган «Бнай Брит», но и элементы, подверженные воздействию сионистской пропаганды. *Одной из жертв сионистской агентуры ЦРУ стал академик А. Д. Сахаров.*» (курсив мой. — А. С.)

По контексту (буквально переписанному из прежних публикаций) очевидно, что, согласно Яковлеву (т. е. КГБ), сионистским агентом ЦРУ является Люся. Три месяца назад *так определенно* Яковлев еще не писал. Что-то сдвинулось за это время! (В той же статье он пишет о Синявском, не постеснявшись употребить выражение «безродный космополит» из эпохи

погромных походов сталинских последних лет — он не может этого не знать.)

Раздел «Фирма “Е. Боннэр энд чилдрен”» Яковлев кончает так:

«Подвергнув тщательному, если угодно, текстологическому анализу его статьи и прочее (благо по объему не очень много), не могу избавиться от ощущения, что немало написано под диктовку или под давлением чужой недоброй воли. Но эта оценка антисоветской по сути своей деятельности Сахарова (как несамостоятельной. — А. С.) никак не относится к отщепенцам вообще, добивавшимся при помощи и подстрекательстве ЦРУ смерти социалистической идеологии во имя безраздельного господства буржуазной!»

Т. е. Сахарова мы, КГБ, «пожалеем», а остальным, Люсе в том числе, — безжалостная кара!

С отвращением и гневом отвергаю *такую* жалость!

Все написанное Яковлевым буквально пропитано ложью. С целью эмоционального подкрепления своей концепции он всячески опорочивает Люсю, нагромождая гору клеветы, по принципу «Клеветите! Клеветите! Что-нибудь да останется!». Люся изображается злобной мачехой, вышвырнувшей моих детей от первого брака «из родительского гнезда». На самом деле они до сих пор живут там, а Люся не жила ни одного

дня. Люся якобы обладает нелюбовью к учению, поступила в институт по подложным справкам. В прошлом

«...распутная девица, она достигла почти профессионализма в соблазнении и последующем обирании пожилых <...> мужчин. <...> Отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. (Все же: «отбила» или «довела до смерти»? — А. С.) Так она получила желанное — почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование: погиб на войне».

Слово «разочарование» — подлое оскорбление всех, у кого на войне погибли близкие. Всеволод Багрицкий не был «пожилым и состоятельным мужчиной» — он погиб на фронте в возрасте 20 лет. Использование его имени, детских и юношеских отношений с Люсей в грязных инсинуациях — отвратительно и позорно.

Я уже писал о том, что было на самом деле, в связи со статьей в «Сетте джорни» и «желтыми пакетами». В архиве Литературного института или ЦГАЛИ, точно не знаю, хранится паспорт Всеволода, пробитый осколком снаряда, оборвавшего его жизнь. В паспорте есть отметка о браке и разводе Всеволода с М. Фила-

товой. Историк Яковлев, если бы его целью было установление истины, мог бы обратиться в эти архивы. Яковлев повторяет также другую «историю» «Сетте джорни» и большинства «желтых пакетов» — об убийстве Моисеем Злотником его жены Елены Доленко, к которому якобы имела отношение Люся, — дополняя ее новыми выдумками и инсинуациями. Люся, по Яковлеву, опасаясь ответственности за соучастие в убийстве, устроилась санитаркой в санпоезде. Но убийство произошло в октябре 1944 года — Люся же была в армии с первых дней войны, и не санитаркой, а сначала санинструктором, а потом старшей сестрой. В период брака М. Злотника и Е. Доленко Люся с ними не встречалась. Яковлев, так же как и его предшественники, ссылается на рассказ Шейнина — но из него, при всех неточностях и литературных «вольностях», о которых я писал, совершенно ясна непричастность Люси к убийству. Источником темы жены Всеволода Багрицкого, конечно, послужила его книга. Однако ни Яковлев, ни авторы «желтых пакетов» и статьи в «Сетте джорни» не решаются на нее сослаться. Не только потому, что она разрушила бы их построения фактически (из книги видно, что Люся не знала о женитьбе Севы до развода и никогда не видела его жену), но и из-за «духовной несовместимости» — так убеждены мы с Люсей. Чистый и юный дух книги и ее героев разительно противоречит пошлomu и ба-

нальному образу, который они пытаются создать, противоречит грязи и подлости их писаний.

Яковлев распространяет свою клевету и на детей Люси — Таню и Алешу (она «воспитывала себе подобных»), и на Ефрема и Лизу: якобы все они лоботрясы и проходимцы, а в Москве

«..работают и учатся подлинные трое детей А. Д. Сахарова».

Это безнравственное и лживое противопоставление детей мужа и жены (противоречащее моральным нормам жизни всех народов!), видимо, зачем-то нужно КГБ. По существу же могу напомнить, что Ефрем не «недоучка» — он успел благополучно закончить вуз в 1972 году до того, как на него обрушился молот КГБ, и никак не лоботряс, а чрезвычайно ответственный человек, самоотверженно делающий свое дело. Алеша прекрасно учился в школе и в вузе, также рьяно относится к любой работе. Таня исключена из МГУ вовсе не за неуспеваемость и не за «подложные справки» в 1976 году, а по указке КГБ в 1972-м.

Подло искажена Яковлевым трагедия вынужденного отъезда детей и внуков, история нашей с Люсей голодовки. Правда, я надеюсь, достаточно ясна читателю этой книги.

Я надеюсь, что я сумел показать в книге образ Люси — деятельно доброй, решительной, самоотверженной, ее трудовую и героическую жизнь, так противоречащую яковлевской клевете.

Статья в «Смене» была опубликована в июле 1983 года. За несколько дней до этого, когда я находился один в квартире, Яковлев неожиданно приехал ко мне (Люся в это время была в Москве). Он заявил, что приехал из Москвы, чтобы взять по поручению редакции «Молодой гвардии» интервью по поводу моей статьи в «Форин афферс». На что он рассчитывал, являясь к человеку, которого (и в особенности его жену) столь подло и бессовестно оболгал и оскорбил? Вероятно, на мою растерянность от такой беспрецедентной наглости и на мое желание как-то реабилитироваться в глазах миллионов советских читателей, защититься в советской прессе от клеветы статьи в «Известиях». Возможно, эта беседа была ловушкой с далеко задуманными целями. Я надеюсь, что сумел ее избежать. Я приведу запись беседы с Яковлевым, сделанную сразу после его посещения.

14 июля около 2 часов дня неожиданно в дверь позвонили двое: среднего роста рыхлый на вид мужчина лет 50—60 и молодая женщина, не произнесшая в дальнейшем ни слова, непрерывно курившая.

Я (я подумал, что они из КГБ, и был недалеко от истины): «Кто вы? В чем цель вашего прихода?». Мужчина, доставая из кармана нитроглицерин и закладывая его под язык: «Я — профессор Яковлев, историк, это — моя сотрудница. Мы остановились в гостинице «Нижегородская», долго не могли до вас добраться. Я приехал по поручению редакции «Молодой гвардии» и АПН. Они завалены письмами по поводу вашей статьи в «Форин афферс», не знают, что отвечать, и послали меня к вам, чтобы узнать ваше подлинное мнение. Нет ли у вас листка бумаги? Я должен сказать, что я не специалист в этих вопросах, в отличие от вас. Я историк, вот мои книги; хотите, я их вам надпишу?»

Это был автор книги «ЦРУ против СССР», в которой содержалась отвратительная клевета на многих защитников прав человека и, в особенности, на Люсю, на меня, на Таню, Алешу, Ефрема...

Я сказал: «Не надо (в ответ на его предложение подписать книги), не те у нас взаимоотношения. В XIX веке я должен бы был вызвать вас на дуэль» (я это сказал совершенно серьезно, без улыбки и иронии). Я прошел в соседнюю комнату, взял с полки книгу Яковлева «ЦРУ против СССР» и листок бумаги. Меня слегка била дрожь, но через несколько минут это прошло. Во время разговора с Яковлевым у меня не было чувства ярости и даже возмущения, а только

все возрастающее отвращение. Почти сразу я понял, что я его ударю.

Вернувшись в комнату, где сидели Яковлев и его спутница, я сказал: «Вы в своей книге допустили много лжи и клеветы в отношении моей жены, моих друзей и меня. Я отказываюсь обсуждать с вами что-либо раньше, чем вы напишете и опубликуете письменное извинение. Копию вашего письма, скажем в редакцию «Литературной газеты», вы оставите у меня. Вот вам бумага». Яковлев: «Что ж, я готов это обсудить. Я понимал, что возможны неприятности, даже судебные, но меня заверили, что все будет обеспечено (я не вполне понял, что он тут говорил; видимо, он пытался меня запугать тем, что у него — влиятельная поддержка, «прочный тыл»). Я писал свою книгу с величайшим уважением, даже любовью к вам». Я: «Я не нуждаюсь в ваших чувствах — они оскорбительны для меня. Не будем говорить о ваших чувствах и оценках, будем говорить о фактах, которые вы умышленно искажаете». Я раскрываю книгу и цитирую те места, которые мне запомнились раньше и попали под руку во время беседы. Конечно, если бы я заранее знал о приходе Яковлева, можно было бы составить гораздо более полный (весьма длинный и «эффектный») список его лжи. Я цитирую: «Пришла мачеха и вышвырнула детей». Мои дети от первого брака до сих пор живут там же, где жили, а я, женив-

шись, переехал к своей жене и ее матери, в переполненную квартиру». Яковлев: «Да, я это знаю» (!). Я: «Зачем же вы пишете нечто противоположное? Зачем вы пишете, что моя жена пошла в армию, спасаясь от ответственности за подстрекательство в убийстве? Она пошла в армию в первые дни войны, задолго до убийства жены Злотника». Яковлев: «Я узнал об этом только после опубликования книги». Я: «А на чем основывались, когда писали об этом деле? Откуда всю эту ложь взяли?». Яковлев: «Я говорил с прокурором, который вел дело Злотника, — он еще, оказывается, жив». Я: «Прокурор не мог вам не сказать, что жена не имела никакого отношения к убийству. Она даже не была вызвана в суд как свидетельница». Яковлев: «Да, я это знаю». Я: «Вы повторяете ту же клевету об этом деле и о смерти жены Багрицкого, что Семен Злотник». Яковлев: «Я такого не знаю. Где он живет?». Я: «Трудно ответить — это псевдоним кого-то из КГБ. Жена Багрицкого была за ним замужем несколько недель до войны. Всеволод Багрицкий, которого вы изображаете богатым старичком, погиб на фронте в возрасте 20 лет». Яковлев, перебивая: «Да, я это знаю». — «А жена Багрицкого умерла через несколько лет, никогда не имея никаких отношений с моей женой. И зная все это, вы пишете вашу подлую сознательную ложь». (Я часто употреблял в разговоре умышленно-оскорбительные выражения, но Яков-

лев никак на это не реагировал, преследуя какую-то свою цель.) Я, продолжая: «А зачем вы пишете в духе желтой прессы о взаимоотношениях моей жены, Кесельмана и Семенова? Это личное дело трех людей, они как-то в нем разобрались. Вы не имели права о нем писать». Яковлев: «У нас неправильно употребляют выражение «желтая пресса». Однажды чукча...». Я, перебивая: «Не нужны мне ваши анекдоты». Яковлев: «Все, что я пишу, ради вас. Ведь Янкелевич и Алексей Семенов, эти лоботрясы и бездельники, обобрали вас, присвоили ваши западные гонорары, а вы такой бессребреник, что даже не замечаете этого». Я: «Опять подлая ложь. Я не такой бессребреник...» («И распоряжаюсь своими деньгами, как я считаю нужным и правильным», — хотел я закончить эту фразу, но отвлекся в сторону в беспорядочном разговоре. Вообще денежная тема для Яковлева, продающего свою душу и тело за весьма солидные гонорары — только в 1983 году из печати вышли три его книги, — явно глубинно очень важная, больная; важна она вообще для всего истеблишмента; я невольно вспомнил тут разговор с Суловым о деньгах Баренблата, описанный в предыдущих главах воспоминаний. В основном, у кого есть деньги, тех они уважают.) Я, продолжая: «Назвать моего зятя, моего представителя за рубежом, и Алешу лоботрясами — подло. Еще покойный Рем Хохлов признавал, что Але-

ша — один из лучших студентов МГПИ». Яковлев, перебивая: «Не признаю альпинизма, такая бессмысленная смерть. А чем теперь занимается Алексей Семенов?». Я: «Кончает диссертацию». Яковлев, как бы излучая дружелюбие: «Вот и мой сын кончает диссертацию». Я: «Какое право вы имели так писать о Татьяне Великановой?». Яковлев: «Я убежден, что Великанова — хорошая, честная женщина. Но, занимаясь таким делом, нельзя хранить все полученные письма — от Литвинова и других. Разве это конспирация? Я видел эти письма, и тут я ничего не мог поделаться». Я: «Великанова не занималась ничем противозаконным, зачем тут конспирация? А почему вы пишете, что моя жена меня избивает и учит сквернословию? Вы что, видели на мне следы побоев или слышите от меня ругательства? Правда, в отношении вас мне очень хочется изменить своим правилам». Он: «Я ничего, но мне говорили в прокуратуре...» (опять ложь о прокуратуре). И с деланным испугом: «Тут нет Елены Георгиевны, а то?...». Я: «Вы прекрасно знаете, что ее нет, поэтому и приехали...». Яковлев, опять желая спровоцировать меня на интервью: «Как вы относитесь к планам Рейгана о...». Я, перебивая: «Я не буду с вами разговаривать. Но, если пославшие вас хотят знать и опубликовать мое мнение, пусть они обратятся прямо ко мне — я напишу статью, а они ее опубликуют». Яковлев: «Вы ставите предварительные усло-

вия на кота в мешке...». Я: «Нет. Но я оставляю за собой право публиковать, если они этого не сделают». Яковлев: «Я передам. Но все же, что вы...». Я, вновь перебивая: «Вы идете по стопам этого чеха, кажется Ржезача, он пытался взять у меня интервью о нейтронной бомбе, где оно?». Он: «Я его не знаю». Я: «Но у вас общие хозяева». Яковлев: «Я беспартийный историк». Я: «Какое это имеет значение? Среди членов партии бывают иногда люди идейные, заслуживающие уважения, а что вы? А что, если в своей истории вы так же лживы?». Яковлев: «Вы можете подать на меня в суд. У меня есть свидетели, данные прокуратуры, суд разберется». Я говорю: «Я не верю в объективность суда в этом деле — я просто дам вам пощечину». Говоря это, я быстро обошел вокруг стола, он вскочил и успел, защищаясь, протянуть руку и пригнуться, закрыв щеку, и тем самым парировать первый удар, но я все же вторым ударом левой руки (чего он не ждал) достал пальцами до его пухлой щеки. Я крикнул: «А теперь уходите, немедленно!» Я толчком распахнул дверь. Яковлев и вслед за ним его спутница поспешно вышли. Она не проронила ни слова и не сделала никакого движения в сторону Яковлева, когда я его ударил.

Конечно, в двадцатиминутной беседе не могли быть должным образом освещены все инсинуации Яковле-

ва, а пощечина явилась лишь слабым, «символическим» воздаянием профессиональному лжецу.

В сентябре 1983 года Люся решила подать на Яковлева заявление в суд. Она подала гражданский иск «об ущербе ее чести и достоинству» (формулировка закона)¹¹, нанесенном публикациями Яковлева. Заявление было подано 26 сентября, и, согласно закону, суд должен был в течение месяца или принять решение о рассмотрении иска, или отклонить иск, сообщив об этом в письменной форме с указанием мотивировки. До сих пор (3 ноября) никакого ответа нет.

* * *

Статья в «Известиях» и клеветнические публикации о Люсе произвели, как мы это почувствовали, сильное впечатление на многих наших соседей в Горьком, заставили некоторых из них переменить свое мнение о нас. Еще в июле мы имели несколько острых разговоров на улице, а некоторые соседи, ранее приветливые, стали при встрече отводить глаза. Здесь я приведу запись одного из таких разговоров; правда, как раз в этом случае у меня нет уверенности, что моя собеседница не выполняла «задания».

15 июля ко мне подошла с разгневанным видом неизвестная мне женщина, в руке она держала номер «Известий» со статьей академиков. Я приехал на машине и собирался закрыть ее и идти в дом. Женщина

сразу начала кричать: «А, Сахаров, я тебя целую неделю выслеживаю. Мы, женщины, разорвем тебя на кусочки, повесим за... (не помню, как она выразилась, приличия были, однако, соблюдены). Как ты смеешь призывать американцев к войне против нас, к вооружению? Как смеешь обращаться к этому Дреллу и Рейгану? Они и так вооружены против нас до зубов, а ты, предатель, призываешь их вооружаться еще больше. Я знаю, что такое война, я видела, как умирают дети, мы, фронтовички, покажем тебе и твоей еврейке Боннэр, как призывать к войне. Это она тебя подзуживает. Ты что — русской бабы не мог найти? Если будет война, все погибнут, никто не спасется. На фронте таких предателей убивали, и тебя, подлеца, мы уьем, разорвем на кусочки». Она кричала очень громко. На скамейке около дома сидело 10—12 жильцов дома, мужчин и женщин, и дежурный милиционер, они явно прислушивались. Я не мог прервать разговора и почувствовал, что я должен как-то отвечать по существу. Разговор был не такой последовательный, чтобы его можно было точно пересказать, но я постараюсь осветить его основные линии. Я: «Академики написали такое, что каждый возмутится, — лживо и провокационно. Я написал статью «Опасность термоядерной войны». Они скрыли это название». Женщина: «У тебя есть эта статья?» Я: «Нет, потом будет». Женщина: «Вот мой телефон, я хочу знать, правду ли ты говоришь. Что написа-

но в статье?» Я: «Я пишу, что ядерная война недопустима — это самоубийство. Запад должен отказаться от ядерного сдерживания, необходимо равновесие в обычных вооружениях. Наибольшую опасность представляют собой мощные ракеты с большим числом боеголовок, сейчас такие ракеты есть только у СССР. Пока СССР — монополист в этой области, нет надежды, что он от них откажется. Гонка вооружений — величайшее зло, но это меньшее зло, чем сползание к всеобщей термоядерной войне. Статья дискуссионная». Женщина (с иронией): «Ах — дискуссионная статья!» (по ее репликам казалось, что она понимает, о чем я говорю, понимает термины, это было в странном контрасте с ее погромно-вульгарными выкриками). Я: «Я десять раз подумал, прежде чем написать эту статью. Я не ждал за нее ни похвал, ни денег. Я физик-ядерщик, знаю, о чем пишу. Моя жена не имеет никакого отношения к статье». Женщина: «А что Елена Боннэр? Какова ее роль?». Я: «Она верная жена». Женщина: «Еврейка не может быть верной женой». Я: «А ты, оказывается, еще и антисемитка». Женщина: «Нет, я совсем не антисемитка. Во время войны я вместе с евреями спасала детей — это были самые лучшие люди. Я против тех, кто едет к этому фашисту Бегину. Я видела войну. А ты и твоя Боннэр едят русский хлеб с маслом, а войну вы видели только в кино. Я с 1924 года рождения, на фронте с 18 лет». Я: «Моя жена с пер-

вых дней на фронте, тоже с 18 лет, она 1924 года (тут я оговорился). Она была ранена и контужена, инвалид войны 2-й группы». Женщина: «На каком фронте она воевала? Кем была? Может, я ее знаю?» Я: «На многих фронтах. Сначала санинструктор, выносила раненых, потом в санпоезде. Ты говоришь — еврейка, она наполовину еврейка, наполовину армянка, разве это имеет значение?». Женщина: «Нет, не имеет». Я: «А на хлеб с маслом мы оба наработали». Она: «Да, это конечно. А кем жена работала после войны?» Я: «Врачом на две ставки». Она, с недоверием: «Она не могла кончить медицинский институт до войны». Я: «Она кончала после войны». Женщина: «А, понятно. И как же она на старости лет стала заниматься таким грязным делом?». Я: «Занимаюсь делом, которое ты называешь грязным, — я, по велению совести, ради всего человечества» (я нарочно употребил эти «высокие» слова). Она (опять переходя на агрессивный тон, как бы опомнившись): «Ты шизофреник! Я давно к тебе присматриваюсь как психиатр. В твоём поведении явные признаки ненормальности». Я: «Спасибо, хорошо разобралась». Я вышел из машины, положив ей руку на плечо и таким образом слегка отодвинув. Женщина крикнула мне вслед: «Если еще что-нибудь напишешь, мы, женщины, найдем тебя и твою Боннэр из-под земли и разорвем на кусочки, твои милиционеры тебе не помогут». Я: «Не ставь мне ультиматумов. Надо будет — напишу».

Проходя мимо жильцов, я поздоровался с ними — они приветствовали меня вполне радушно.

17 августа в местной газете «Горьковская правда» появилась подборка писем с откликами на статью академиков и на публикации Яковлева. Составители подборки пишут:

«Гнев и возмущение авторов (писем), простых советских людей, понятны. Разве можно отнестись равнодушно и спокойно к тому, кто порочит святая святых — свою Родину, свой народ, кто откровенно вновь желает своим соотечественникам горя, страданий и бед, которые не раз приходилось им переживать... Те, кто читал о дурно пахнущих похождениях и инсинуациях мадам Боннэр... призывают академика «жить своим умом, а не боннэровским» (*это опять та же, что и у Яковлева, концепция Люсиного пагубного влияния!* — А. С.). Они также призывают принять необходимые меры для пресечения курьерской деятельности Боннэр».

Отрывки из цитируемых писем:

«...Нет в нашем селе ни одной семьи, которой не задела бы Великая Отечественная война. Поэтому нам непонятно, как это может советский человек призывать к гонке ядерного вооружения... Возмущены тем, что

Вы, Сахаров, проживая на нашей земле и питаясь хлебом, выращенным нашими руками, клеветаете на свою Родину... Нет места среди нас человеконенавистникам...»

«...Несолидно нападать из-за угла. Скажите нам, что побудило Вас стать подстрекателем международной напряженности, изгоем?..»

Кандидат технических наук Гришунов пишет:
«...Возникает вопрос, как может советский человек, чей талант раскрылся благодаря неустанной заботе партии и правительства... ратовать за достижение военного превосходства США над СССР...».

Подборка озаглавлена: «Опомнитесь, гражданин Сахаров!». Из справки составителей я узнал, что 3 июля в «Горьковской правде» была напечатана статья четырех академиков — в тот же день, что и в «Известиях», т. е. это была не перепечатка. Очевидно, текст статьи специально был прислан из КГБ прямо в Горький, где особенно важно было спровоцировать общественное возмущение Сахаровым и подстрекательницей Боннэр. Чтобы как-то завуалировать для своего читателя разоблачительное совпадение дат, в «Горьковской правде» написано, что статья в «Известиях» была опубликована 2 июля!¹²

19 августа, выйдя из дома, я обнаружил, что все стекла машины (переднее, заднее, стекла дверей) и капот были оклеены вырезками из «Горьковской правды» со статьей обо мне и плакатами с рукописными текстами. К моменту, когда я это увидел, большая часть плакатов была уже сорвана и можно было прочесть только отдельные слова:

«Сахаров — провокатор...», «Презрение народа...»,
«Позор предателю...».

Плакаты были приклеены специальным синтетическим клеем (весьма дефицитным!), не растворимым в воде и плохо растворимым в стеклоочистительной смеси. Несколько часов мы с Люсей вдвоем отмачивали потеки клея растворителем и отскабливали их острым ножом. Я уверен, что оклейка машины — дело рук КГБ; не знаю, конечно, на каком уровне принималось об этом решение. Более чем странный, отвратительный и позорный метод дискуссии!..

В то время, когда мы в поте лица трудились над очисткой машины, мимо нас проходило много людей, в том числе соседи. Два-три человека выразили сочувствие, обругали хулиганов. Большинство отводило глаза. Но были и такие, которые давали понять, что наша неприятность представляется им вполне оправданной нашим поведением. Среди них — пожилая со-

седка, пенсионерка. Эта женщина не очень членораздельно обвиняла нас в каких-то преступлениях, о которых пишется в газете и «говорят люди». В отношении Люси она повторила, что Люся меня «подстрекает» и «торгует родиной у еврейской церкви». (Люся сказала: — У синагоги? — Да, да, у синагоги.) Утверждения Яковлева, что Люся меня бьет, казались нашей собеседнице вполне достоверными — дело семейное. На другой день, когда Люся зачем-то вышла из дома, другая соседка из соседнего дома, тоже пожилая, погрозила ей кулаком. Совсем недавно, уже в октябре, Люся, совсем больная, вышла на балкон подышать свежим воздухом; мимо проходила компания людей среднего возраста с девочкой лет 12, и повторилась та же сцена с угрозой кулаками. В общем, грустное впечатление все это производит: та легкость, с которой люди верят самым диким выдумкам, в особенности же в отношении еврейки. Для Люси с ее эмоциональной чуткостью к людям, ее окружающим, чрезвычайно трудно, мучительно существовать в этой обстановке почти всеобщей ненависти. Для меня, более здорового физически и гораздо более «интровертного», это тоже очень тяжело.

3 сентября, когда мы с Люсей собирались ехать куда-то на машине, к нам подошла женщина, скорее молодая, чем средних лет, с самыми резкими, истерическими нападками на меня и, в особенности, на Люсю,

которая как еврейка меня подстрекает. На другой день Люся рано утром уезжала в Москву. Колесо оказалось спущенным — с корнем вырвана ниппельная трубка. Колесо я сменил на запасное — на поезд мы не опоздали. Люся грустно сказала:

— Посидим минутку в машине на дороге. Это наш единственный дом.

Посадив ее на поезд, я вернулся в Щербинки. А Люсю ждало тяжелое, мучительное испытание. Как только поезд тронулся, пассажиры, ехавшие с ней в купе, начали кричать на Люсю, требуя немедленно высадить ее из поезда, так как она — предательница, поджигательница войны, сионистка, и они, честные советские люди, не могут ехать вместе с ней. К соседям по купе присоединились почти все остальные в вагоне — кто по доброй воле и охоте, начитавшись провокационных статей академиков и Яковлева, кто, вероятно, из страха остаться в стороне и попасть «на заметку», кто просто по своей погромной склонности. Это действительно был настоящий погром, с истерическими выкриками, упреками, угрозами. Люся вначале односложно возражала, но, почувствовав, что это совершенно бесполезно и никто ее не слушает, замолчала. Уйти и так прекратить пытку криком в замкнутом пространстве вагона было некуда. В полученной мной фототелеграмме она написала:

«Это было очень страшно, и поэтому я была совершенно спокойна».

Но чего стоило ей это спокойствие, к тому же после недавнего инфаркта! Мы предполагаем, что зачинщики погрома были гебисты, хотя утверждать с определенностью трудно. Если это так, то похоже, что ГБ просто в очередной раз убивало Люсю?

Наконец, после более чем часа криков и истерики, проводница сказала:

— Я не могу высадить пассажира с билетом, — и провела Люсю в служебное купе, где она наконец осталась одна.

Через некоторое время к Люсе заглянула средних лет женщина, русская, по виду учительница. Она поцеловала Люсю и сказала:

— Не обращайтесь на них внимания, они все такие погромщики.

Внутреннее напряжение, державшее Люсю, ослабло, и она заплакала. Увидев Люсино измученное лицо, заплакала и Бэла Коваль, наш друг, встречавшая Люсю на вокзале в Москве. На улице Чкалова Люсю уже ждал у дверей квартиры обычный милицейский пост. Обратная поездка в Горький и следующая в Москву прошли спокойно. А при следующем приезде Люси в Горький произошел инцидент, носивший скорее фарсовый характер, явно подстроенный ГБ: носильщик на

вокзале отказался вынести вещи из вагона и отвезти к машине, так как Люся, как он сказал, «возит бумаги». Я вынес вещи сам и, взяв свободную тележку (с разрешения дежурного милиционера, который, видимо, был не в курсе «дела»), вместе с еще одним пассажиром, молодым евреем из Батуми, повез их к машине. Но тут на нас наскочил другой носильщик и, схватив тележку, пытался отвезти вещи обратно на перрон. Носильщика привел некто, по-видимому гебист. После перепалки наши вещи все же отвезли к машине, а попутчика поволокли в милицию, вероятно посчитав, что он с нами. Я тоже прошел в милицию. Начальник отделения, извинившись передо мной, отпустил батумца, но записал его данные. Батумец при выходе спросил меня:

— А вы правда Сахаров?..

20 июня американский журнал «Ньюсуик» опубликовал интервью своего корреспондента Р. Каллена с президентом АН Александровым. Взято оно было, очевидно, неделей или двумя раньше, в самый решающий период рассмотрения вопроса о моей госпитализации. К сожалению, корреспондент не спросил об этом. Были заданы вопросы о моей депортации, о возможности эмиграции, о моем членстве в Академии. Очень жаль также, что некоторые острые моменты в ответах Александрова были опущены редакцией журнала при публикации — это лишает возможности

использования их теми, кто выступает в мою защиту. В числе этих «сглаженных углов»: сравнение «Дня Сахарова» в Америке с гипотетической ситуацией, если бы в СССР был объявлен день в честь убийцы президента. Опущен намек, что вследствие подобных действий, как объявление «Дня Сахарова», Сахаров может быть исключен из Академии. Опущено, что Сахаров знает *в деталях* устройство находящихся на вооружении термоядерных зарядов.

Александров высказался в конце интервью в том смысле, что я страдаю серьезным психическим расстройством. Люся написала прекрасное ответное письмо в связи с этим его «измышлением» — мне пришло в голову это слово из УК, тут оно вроде к месту.

Интервью Александрова значительно не только в связи со мной. Он, в частности, заявил, что СССР принял обязательство не применять первым ядерного оружия, и это принципиально важно, но не исключены ошибки компьютера. В этом случае позиции американских ракет в Европе станут объектом советского (фактически первого!) удара, поэтому установка этих ракет в огромной степени увеличивает опасность возникновения ядерной войны. По существу президент Академии угрожает тут Западу не менее (а может — более) резко, чем это делают Устинов или Громыко в самых острых своих заявлениях.

В июле или августе утверждение о моем «психическом нездоровье» повторил Генеральный секретарь ЦК КПСС и глава государства Ю. В. Андропов. Это заявление он сделал во время беседы с группой американских сенаторов, которые приехали для «зондирования» возможности улучшения советско-американских отношений и задали вопрос о Сахарове. Возможно, что оба заявления (Александрова и Андропова) не были случайными, а отражают некую новую тенденцию в отношении меня.

Есть ли у власти (конкретно — у КГБ) какой-либо общий, «генеральный» план решения «проблемы Сахарова»? Мы, вероятно, никогда не узнаем, существует ли такой план в записанном на бумаге виде, но многие действия в отношении меня и Люси за последние годы выявляют некие тенденции, носящие весьма зловещий характер. Время покажет, ошибаемся ли мы с Люсей в их оценке.

Очевидно, власти не хотят (а может, и не могут — по субъективным или объективным причинам) выслать меня из страны. Они также не хотят применить ко мне и Люсе такие меры, как суд, тюрьма, лагерь¹³. Очень многое — и в особенности писания Яковлева, о которых я рассказал в этой главе, — говорит о том, что власти (КГБ) собираются изобразить в будущем всю мою общественную деятельность случайным заблуждением, вызванным посто-

ронным влиянием, а именно влиянием Люси — корыстолюбивой, порочной женщины, преступницы-еврейки, фактически агента международного сионизма. Меня же вновь надо сделать видным советским (русским — это существенно) ученым, имеющим неопределимые заслуги перед Родиной и мировой наукой, и эксплуатировать мое имя на потребу задач идеологической войны.

Сделано это должно быть или посмертно, или при жизни с помощью подлогов, лжесвидетельств или словив меня тем или иным способом, например психушкой (заявления Андропова и Александрова говорят в пользу такой тактики), или используя моих детей — недаром Яковлев так противопоставляет их детям Люси... Главное в таком плане, если мы правильно его понимаем, — моральное, а может быть, и физическое устранение Люси. Этой цели служит массированная многолетняя клевета на Люсю, лживое опорочение ее прошлого; для этого — передержки в книге и статьях Яковлева о времени Люсиного знакомства со мной, искажения правды о ее влиянии на мою общественную деятельность. Влияние, конечно, есть, и очень большое, но оно совсем не то, которое выставляется пропагандой. Люся не влияла на мою позицию в вопросах войны и мира, в вопросах разоружения — тут мои взгляды выработаны на протяжении многих лет, основываются на специальных знаниях и опыте. Но

Люся с ее открытой и действенной человечностью способствует усилению гуманистической, конкретной направленности моей общественной деятельности, стойко и самоотверженно поддерживает меня все эти трудные годы, часто принимая основной удар на себя, помогает мне словом и делом. Клевета преследует цель поставить Люсю в трудное и опасное положение, нанести ущерб ее здоровью и жизни и тем парализовать мою общественную деятельность уже теперь, сделать меня более поддающимся давлению в будущем. Той же безжалостной цели служат провокации вроде погрома в поезде 4 сентября или, возможно, обыска после сердечного приступа год назад. Но я не могу исключить, что применяются или будут применяться и другие, уже вполне гангстерские методы, например — сосудосужающие средства в пищу и питье. Совсем мне не ясно, какое влияние на здоровье оказывает непрерывное облучение мощными радиоизлучениями индивидуальной глушилки. Одно несомненно — главный удар КГБ и главная опасность приходится на Люсю, сейчас уже серьезно больную.

Прошло более полугода после инфаркта в апреле. Все это время Люсино состояние не нормализовалось: продолжались боли, не исчезла необходимость наряду с пролонгированными средствами усиленно применять нитроглицерин. Временами происходили ухудшения. Последнее, самое серьезное и длительное, про-

изошло 16 октября. 17 октября Люся попросила меня не отлучаться из дома. В середине дня она сказала:

— По-видимому, нам надо поговорить.

Я присел на край кровати. Люся говорила о детях и внуках, о радости, которую они ей дали; дети принесли ей удовлетворение и счастье в жизни. Говорила о маме, обо мне. Она сказала, что не упрекает меня за последнее главное выступление (письмо Дреллу), — оно было необходимо. Но я должен отдавать себе отчет в том, чего оно ей стоило, не скрывая от себя правды. Потом она говорила о том давлении, которое мне предстоит в будущем...

Я ответил ей:

— Я никогда не предам тебя, себя самого, детей.

Люся:

— Да, это я знаю.

17-го же я позвонил по автомату Марку и продиктовал ему текст телеграммы Руфи Григорьевне, детям и внукам. Мы заранее условились с ними обменяться телеграммами ко дню лицейской годовщины:

Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

От Руфи Григорьевны и детей ничего не пришло ни 19 октября (день годовщины Лицея), ни до сих пор (я пишу это в ночь на 5 ноября).

Кончая свою футурологическую статью 1974 года, я писал:

«Я надеюсь, что, преодолев опасности, достигнув великого развития во всех областях жизни, человечество сумеет сохранить человеческое в человеке»¹⁴.

Этими словами я хотел бы закончить и эту книгу. Что же касается меня, то сегодня, на пороге 70-х годов жизни, человеческое, жизнь для меня — в моей дорогой жене, в детях и внуках, во всех, кто мне дорог.

А. Сахаров

Горький,
15 февраля 1983 года

ЭПИЛОГ

За шесть лет, прошедших после завершения этой книги, в нашей с Люсей жизни и во всем мире произошло много событий. Упомяну лишь некоторые из них: борьба за Люсину поездку к родным и для лечения — голодовки в 1984 и 1985 годах, ее поездка, операция на открытом сердце, наше возвращение в Москву, участие в Форуме «За безъядерный мир, за международную безопасность»¹ и выступление против принципа «пакета», смерть Руфи Григорьевны, создание Фонда «За выживание и развитие человечества», мое выступление по проблемам Нагорного Карабаха и крымских татар, первый выезд за рубеж, поездка в Азербайджан, Нагорный Карабах и Армению, выборы на Съезд народных депутатов СССР и участие в его работе.

Часть этих событий описана в Люсиной книге «Постскриптум», другие — в моей книге «Горький, Москва, далее везде», являющейся продолжением «Воспоминаний».

Главное — что мы с Люсей вместе. И эта книга посвящена моей дорогой, любимой Люсе.

Жизнь продолжается. Мы вместе.

13 декабря 1989 года²,
Москва

ДОПОЛНЕНИЯ

Обращения об амнистии и об отмене смертной казни

Верховному Совету СССР ОБРАЩЕНИЕ ОБ АМНИСТИИ

В годовщину образования Союза Советских Социалистических Республик обращаемся к вам с призывом принять решение, отвечающее гуманностью и демократической направленностью основным интересам нашего общества.

Мы призываем в ряду таких решений принять закон об амнистии.

Мы считаем, что в этом законе должно быть особо предусмотрено освобождение осужденных по причинам, прямо или косвенно связанным с убеждениями, в частности, осужденных по статьям 190^{1,2,3}, статьям 70 и 72 УК РСФСР и по аналогичным статьям кодексов других союзных республик, всех осужденных в связи с религиозными убеждениями, всех осужденных в связи с попыткой покинуть страну, соответственно призываем пересмотреть решения, принятые по тем же мотивам, о помещении в специальные «тюремные» и общего типа психиатрические больницы.

Впервые в России опубликовано в 1991 г. («Звезда» № 10 и сборник «Pro et contra»).

Свобода убеждений, обсуждения и защиты своих мнений — неотъемлемое право каждого. Вместе с тем эта свобода — залог жизнеспособности общества.

Мы считаем также, что в законе об амнистии в соответствии с юридическими нормами и гуманностью должно быть предусмотрено освобождение всех лиц, отбывших срок заключения свыше установленного сейчас максимального срока в 15 лет по приговорам, вынесенным до принятия ныне существующих основ законодательства.

Май 1972 года

К. Бабицкий, Е. Маневич, А. Маневич, Б. Цитленок, В. Корешкова, А. Лернер, В. Г. Левич, Ю. Шмуклер, В. Браиловский, В. Норд, Г. Подъяпольский, Т. Ходорович, В. Лапин, В. П. Некрасов, З. М. Григоренко, Н. Долинина, Л. В. Альтшулер, А. А. Галич, Г. И. Петров, Е. Г. Боннэр, В. А. Каверин, Е. А. Гнедин, Ю. А. Шиханович, Л. З. Копелев, Н. И. Буковская, Мойшезон, В. Белоцерковский, Е. Левич, И. Р. Шафаревич, М. Л. Ростропович, В. Максимов, И. И. Ивич, Р. Л. Берг, Р. А. Медведев, И. Корнеев, А. В. Гапонов-Грехов, Г. Н. Владимов, А. Н. Твердохлебов, В. В. Иванов, А. Тумерман, С. Ковалев, В. Н. Чалидзе, Т. Великанова, В. Альбрехт, И. Кристи, Д. С. Азбель, Д. Симис, А. Д. Сахаров, А. С. Вольпин, Л. К. Чуковская, М. А. Леонтович.

В Верховный Совет СССР ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Многие люди издавна стремились к отмене смертной казни, считая, что она противоречит нравственному чувству и не может быть оправдана никакими общими социальными соображениями. Смертная казнь отменена сейчас во многих странах.

В годовщину создания Союза Советских Социалистических Республик мы призываем Верховный Совет СССР принять закон об отмене смертной казни в нашей стране.

Такое решение будет способствовать, в частности, дальнейшему распространению этого акта гуманности во всем мире.

Май 1972 г.

К. Бабицкий, Е. Маневич, А. Маневич, Мойшезон, В. Белоцерковский, Е. Левич, Б. Цитленок, В. Корешкова, А. Лернер, В. Г. Левич, Ю. Шмуклер, В. Браиловский, В. Норд, А. Тумерман, С. Ковалев, В. Н. Чалидзе, Т. Великанова, В. Альбрехт, И. Кристи, Д. С. Азбель, Д. Симис, А. Д. Сахаров, А. С. Вольпин, Л. К. Чуковская, М. А. Леонтович, И. Р. Шафаревич, М. Л. Ростропович, В. Максимов, Г. Подъяпольский, Т. Ходорович, В. Лапин, В. П. Некрасов, З. М. Григоренко, Н. Долинина, Л. В. Альтшулер, А. А. Галич, Е. Г. Боннэр, В. А. Каверин, Е. А. Гнедин, Л. З. Копелев, Н. И. Буковская, И. И. Ивич, Р. Л. Берг, Р. А. Медведев, И. Корнеев, Г. Н. Владимов, А. Н. Твердохлебов, В. В. Иванов, О. Ладыженская, Т. М. Литвинова, В. И. Смирнов, С. Бабенышева.

Заявление о поездке в Принстон

Весной этого года я получил приглашение посетить в качестве визит-профессора на 1973/74 учебный год Принстонский университет. Это предложение является большой честью для меня и очень интересно. И я не считал возможным ответить на него отказом. Конечно, я понимал и понимаю, что в наших условиях такая поездка не тривиальна, и я до сих пор не знаю, получу ли я на нее разрешение. До последнего времени я не предпринимал практических шагов в этом направлении. 22 ноября я получил для себя и членов моей семьи личное приглашение от известного американского физика Германа Фешбаха. Оно визировано Государственным секретарем США Генри Киссинджером. Поскольку это приглашение вполне соответствует советским официальным требованиям и имеет такую авторитетную поддержку, я решил им воспользоваться. На днях я начал первые практические шаги, запросив в институте, где я работаю, характеристику, без которой не принимаются документы на оформление виз.

Мне часто задают вопрос, не опасаясь ли я, что если мне будет выдано разрешение на поездку, то я по прибытии

Впервые в России опубликовано в 1991 г. (Сборник «Pro et contra»).

в США буду лишен советского гражданства, как В. Чалидзе и Ж. Медведев. Конечно, такие опасения у меня есть. Но вместе с тем я считаю, что мое положение в некоторых отношениях существенно отличается от положения Чалидзе и Медведева, и я надеюсь, что это будет учтено советскими властями. Со своей стороны я заявляю, что я желаю сохранить советское гражданство и вернуться на родину. Я твердо выполняю вытекающие из советского гражданства обязательства, в том числе относящиеся к сохранению секретов оборонного значения, и считаю, что мое место — по причинам нравственным, общественным и личным — на родине.

Андрей Сахаров, академик

30 ноября 1973 года

Переписка с президентом Картером

Дорогой мистер Картер!

Очень важно защитить тех, кто страдает за свою ненасильственную борьбу за гласность, за справедливость, за попранные права других людей. Наш и Ваш долг — бороться за них. Я думаю, что от этой борьбы зависит очень многое — доверие между людьми, доверие к высоким обещаниям и в конце концов международная безопасность.

У нас тут трудная, почти непереносимая обстановка — не только в СССР, но и во всех странах Восточной Европы. Сейчас, накануне Белградского совещания и в условиях подъема борьбы за права человека в Восточной Европе и СССР, власти, не желая делать никаких уступок в отношении самых необходимых для общества прав человека (свободы убеждений и информации, свободы совести, свободы выбора страны проживания и др.), не будучи способ-

Первое письмо А. Д. Сахарова президенту Картеру было передано через американского адвоката Мартина Гарбуса как личное письмо, но затем было широко опубликовано в американской печати. 17 февраля А. Д. Сахаров в американском посольстве получил ответное письмо Картера и тут же написал ему второе письмо.

ны к честной борьбе идей, усиливают репрессии и предпринимают попытки дискредитировать инакомыслящих. Преследования членов Группы содействия Совещанию в Хельсинки в Москве и на Украине, особенно провокация в московском метро, которой надо дать серьезный отпор. Знаете ли Вы правду о положении религии в СССР — униженное положение официальных церквей и безжалостное преследование (аресты, штрафы, отбирание детей у верующих родителей) тех церквей, которые добиваются независимости от государства (баптисты, униаты, пятидесятники, ИПЦ и др.)? Нерасследованное убийство баптиста Библиенко — возможно, один из примеров.

Очень важно, чтобы президент США продолжал усилия для освобождения тех людей, которых уже знает американская общественность, и чтобы эти усилия не остались безрезультатными. Очень важно продолжение борьбы за тяжелобольных, за политзаключенных женщин. Привожу список нуждающихся в срочном освобождении, но очень важно помнить, что многие другие находятся в столь же тяжелом положении: Ковалев, Романюк, Джемилев, Светличный, Глузман, Рубан, Штерн, Федоров Юрий, Макаренко, Сергиенко, Огурцов, Пронюк, Семенова Мария, Винс, Мороз, Федоренко, Суперфин. Подробные сведения о каждом — в «Хроника-Пресс» (Эд Клайн знает все!).

Андрей Сахаров

20 января 1977 года

* * *

Белый дом Вашингтон 5 февраля 1977 года

Дорогой профессор Сахаров!

Я получил Ваше письмо от 21 января и хочу поблагодарить Вас за то, что Вы поделились со мной Вашими мыслями.

Права человека — центральная забота моей администрации. В моей инаугурационной речи я сказал: «Будучи свободными, мы не можем быть безразличны к судьбе свободы где бы то ни было».

Вы можете быть уверены, что американский народ и наше правительство будут сохранять твердое обязательство содействовать уважению прав человека не только в нашей стране, но и за границей.

Мы будем использовать наши возможности, чтобы добиваться освобождения узников совести, и мы продолжим наши усилия, чтобы придать миру отзывчивость к человеческим стремлениям, создать мир, в котором люди с различной историей и культурой смогут жить бок о бок в мире и справедливости.

Я всегда рад получить от Вас известие, и я желаю Вам всего лучшего.

Искренне Ваш Джимми Картер

* * *

Глубокоуважаемый господин Президент!

Ваше письмо от 6 февраля, которое я получил сегодня, является большой честью для меня и поддержкой единого движения за права человека в СССР и странах Восточной Европы, частью которого мы все себя считаем. Вы подтвердили в этом письме, так же как и ранее в своей инаугурационной речи и других выступлениях, приверженность новой администрации США принципам защиты прав человека во всем мире. Особое значение имеет Ваше стремление способствовать освобождению узников совести.

Я писал в приветственной телеграмме по поводу Вашего избрания, какое глубокое уважение вызывает у нас Ваша позиция. Я неоднократно писал и говорил, что защита основных прав человека — это не вмешательство во внутренние дела других стран, а одно из самых главных международных дел, не отделимое от основных проблем мира и прогресса. Сегодня, получив Ваше письмо, исключительный характер которого я ясно понимаю, я могу только еще раз повторить это.

Я пользуюсь случаем, чтобы напомнить о конкретных делах, в частности тех узников совести, о которых я писал Вам в январе. У одного из них, Сергея Ковалева, опасная опухоль. Я прошу Вас вмешаться для немедленного перевода его в тюремную больницу в Ленинград. Я еще раз подчеркиваю произвольный характер выбора имен. Я не считаю себя вправе вообще делать такой выбор. Судьба многих и многих политзаключенных требует к себе столь же пристального внимания.

Четыре члена Группы содействия выполнению Хельсинкского соглашения арестованы в феврале — Александр Гинзбург, Микола Руденко, Олекса Тихий и руководитель Группы Юрий Орлов. Их арест — вызов всем государствам—участникам Хельсинкского совещания. Я прошу Вас ходатайствовать о выпуске на поруки или под залог больных Гинзбурга и Руденко. Необходимы активные действия глав всех государств, подписавших Хельсинкский Акт, для того чтобы все члены Группы были освобождены и она могла продолжить свою важную работу.

Из передач зарубежного радио я узнал, что Вы высказали желание встретиться со мной, если я приеду в США. Я очень благодарен за это приглашение. Для меня несомненно, что подобная поездка и личные контакты имели бы чрезвычайное значение. К сожалению, в настоящее время я не предвижу для себя возможности такой поездки.

Я хочу высказать надежду, что усилия людей доброй воли, Ваши личные усилия, господин Президент, будут способствовать осуществлению тех высоких целей, о которых Вы пишете в письме ко мне.

*С глубоким уважением, искренне
Андрей Сахаров*

17 февраля 1977.

Москва, ул. Чкалова, дом 486, кв. 68
227-27-20

В защиту преследуемых за рубежом

Генеральному секретарю ООН
Главам государств — членов Совета Безопасности
Президенту Ливана

Трагическое положение раненых, детей и женщин в осажденном палестинском лагере Эль-Заатар требует немедленных и нетривиальных действий. Используйте ваш высокий авторитет и влияние для спасения погибающих.

*Елена Боннэр,
Андрей Сахаров, лауреат Нобелевской премии Мира
Октябрь 1976 года*

* * *

Комитету защиты польских рабочих

Я поддерживаю инициативу представителей польской интеллигенции во главе с Анджеевским, создавших Комитет защиты рабочих от репрессий со стороны властей.

В нашей стране, так же как и в Польше, есть много проблем, затрагивающих самые широкие слои населения, в том числе рабочих. Борьба за права рабочих, несомненно, является важной частью общедемократического движения за права человека. Мы в СССР это ясно понимаем, хотя в настоящее время мне неизвестны конкретные действия, которые по сво-

ему размаху и эффективности могли бы быть поставлены в один ряд с деятельностью польского комитета.

Мы знаем, как важны в условиях тоталитарного общества неконформизм и солидарность людей и как это трудно.

Я восхищаюсь смелостью наших друзей в Польше, на реальном важном деле осуществляющих солидарность интеллигенции и рабочих.

Я надеюсь, что со временем будут найдены формы эффективного сотрудничества в борьбе за права человека в Польше, СССР и других странах Восточной Европы.

20 ноября 1976 года

Андрей Сахаров

* * *

Премьеру Государственного совета КНР Хуа Гофену

Я обращаюсь к Вам, исходя из чувства глубокого уважения к народу Китая. Я прошу Вас использовать свое влияние для пересмотра приговора Вей Циньшену, осужденному к 15 годам заключения за открытые выступления в защиту принципов демократии. Такой акт справедливости способствовал бы авторитету КНР и международному доверию.

С глубоким уважением

*Андрей Сахаров, академик,
лауреат Нобелевской премии Мира*

17 октября 1979 года

Указ Президиума Верховного Совета СССР

**О выселении Сахарова А.Д. в административном порядке
из города Москвы**

Учитывая представление Генерального прокурора СССР и Комитета государственной безопасности СССР о совершении Сахаровым действий, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных пунктом «а» статьи 64 и частью 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР, и о возможности возбуждения в отношении Сахарова уголовного дела, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. В целях предупреждения враждебной деятельности Сахарова, его преступных контактов с гражданами капиталистических государств и возможного в этой связи нанесения ущерба интересам Советского государства признать необходимым ограничиться в настоящее время выселением САХАРОВА Андрея Дмитриевича в административном порядке из города Москвы в один из районов страны, закрытый для посещения иностранцами.

2. Установить Сахарову А.Д. режим проживания, исключаящий его связи с иностранцами и антиобщественными элементами, а также выезды в другие районы страны без особого на то разрешения соответствующего органа Министер-

ства внутренних дел СССР. Контроль за соблюдением Сахаровым А.Д. установленного режима проживания возложить на Комитет государственной безопасности СССР и Министерство внутренних дел СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. Брежнев

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе

Москва, Кремль.

8 января 1980 г.

№ 1389-Х

Заявления о высылке в Горький

Заявление

22 января я был задержан на улице и насильно перевезен в Прокуратуру СССР. Зам. Ген прокурора СССР А. Рекунков сообщил мне о лишении меня по постановлению Президиума Верховного Совета СССР звания Героя Социалистического Труда, всех наград и лауреатских званий. Мне было предложено вернуть ордена и медали и удостоверения к ним, но я отказался, считая, что награжден ими не зря. Рекунков сообщил также о принятом решении выслать меня в г. Горький, закрытый для иностранцев. В тот же день я с женой Еленой Боннэр, которой разрешили ехать вместе со мной, был доставлен специальным рейсом самолета в Горький, где зам. прокурора города объявил условия назначенного мне режима — гласный надзор, запрещение выезда за черту города, запрещение иметь встречи с иностранцами и «преступными элементами», запрещение переписки и телефонных разговоров с заграницей, в том числе научной и чисто личной переписки и телефонной связи, даже с детьми и внуками — Матвеем шести лет и Аней четырех лет... Мне поставлено в обязанность три раза в месяц являться в МВД с угрозой насильственного привода в случае неповиновения.

Фактически власти осуществляют еще более полную изоляцию от внешнего мира. Дом круглосуточно окружен нарядами милиции и КГБ, препятствующими приходу к нам кого бы то ни было, в том числе и наших друзей. Телефонная связь с Москвой и Ленинградом полностью блокирована, мы ни разу не могли позвонить маме моей жены, ничего не знавшей о нас. Не смог я также позвонить своему коллеге-физику, очень уважаемому советскому ученому. Эти же ограничения относятся к моей якобы свободной жене. Она послала телеграмму детям в США, но, раз нет ответа, значит, и она лишена связи с детьми. Даже в тюрьме возможности связи с внешним миром больше.

Мы, немолодые и не очень здоровые люди, полностью лишены помощи наших друзей, а также медицинской помощи наших врачей.

Эти репрессии против меня предприняты в момент большого обострения международного положения и усиления преследования инакомыслящих внутри страны. Обострение международного положения вызвано действиями СССР, который, в частности

1. осуществляет в Европе широкие демагогические кампании с целью закрепления своего военного преимущества;
2. пытается нарушить наметившиеся возможности на Ближнем Востоке и на юге Африки;
3. поддерживает террористические режимы в Эфиопии и некоторых других странах;
4. сохраняет свои военные формирования на Кубе;

5. поддерживает действия иранских «полугосударственных» террористов, нарушивших основные принципы дипломатической работы;

6. кульминацией этой опасной политики явилось вторжение в Афганистан, где советские войска ведут безжалостную войну с повстанцами, с афганским народом.

Внутри страны власти предприняли новые акции против ядра движения за права человека. Арестована Великанова, перед угрозой ареста Ланда... Громится журнал «Поиски», арестованы Абрамкин, Сокирко, Гримм. Преследуется движение за свободу вероисповедания и арестованы священники Дудко и Якунин, арестован Регельсон. Идут суды и аресты на Украине и в Прибалтике. Усилились репрессии против крымских татар, осужден Решат Джемилев.

Действия властей против меня в этой обстановке направлены на то, чтобы сделать полностью невозможным продолжение моей общественной деятельности, унижить и дискредитировать меня и тем самым развязать руки для всех дальнейших репрессий против всех групп инакомыслящих внутри страны при меньших возможностях миру узнать о них, и для дальнейших международных авантюр. 24 января в «Известиях» опубликована статья, в которой содержится клевета на меня и умышленное искажение моей позиции. Моя позиция неизменна — я защищаю плюралистическое общество, демократическое и справедливое; конвергенцию, разоружение и мир; защиту прав человека во всем мире — в нашей стране и странах Восточной Европы, добиваюсь всемирной

амнистии узников совести, отмены смертной казни. Я защищаю тезис о приоритете проблемы мира, проблемы предотвращения термоядерной катастрофы. Из статьи в «Известиях» видно, что главной причиной репрессий против меня в это тревожное время явилась моя позиция осуждения интервенции в Афганистане, угрожающей всему миру: требование вывода советских войск из этой страны, быть может с заменой войсками ООН (интервью «Нью-Йорк таймс», телевидению США), присоединение к документу Московской Хельсинкской группы.

Находясь в условиях полной изоляции и тревоги за членов моей семьи — моей тещи и Лизы Алексеевой, которым я теперь не могу быть никакой защитой, я требую, чтобы Лизе Алексеевой была предоставлена возможность немедленно покинуть СССР, выехав вместе с моей тещей Р. Г. Боннэр, уже имеющей разрешение на поездку к детям и внукам. Хотя моя жена формально свободна, конечно же, я буду тревожиться не только за ее здоровье, но и за ее жизнь, если она будет вынуждена ездить к ним (к сожалению, мы знаем, что органы безопасности применяют и мафиозные способы).

Действия советских властей грубо нарушили мое основное право получать и распространять информацию (ст. 19 Всеобщей Декларации прав человека). Представители советских властей пытаются успокоить широкое общественное мнение тем, что я смогу продолжать научную работу и мне не грозит уголовное преследование. Но я готов предстать перед открытым и гласным судом. Мне не нужна золотая клетка —

мне нужно право служить общественному долгу так, как мне диктует совесть.

Я благодарен всем, кто выступает в мою защиту. Моя судьба сложилась счастливо, мне удалось быть услышанным, но я прошу не забывать о тех, кто самоотверженно служил и служит защите прав человека — в частности о тех, о ком я уже сказал в этом письме, и о всех тех, о ком не сказал.

Андрей Сахаров

*27 января 1980 года,
г. Горький*

Открытое письмо в защиту Андрея Сахарова

Я защищаю своего мужа — это не принято и это трудно, но поток клеветы — «Известия», «Литературная газета», «Новое время» (кто следующий?) — так страшен, мерзок и алогичен, что разум заходит за ум в предвидении будущего — что еще будет?

За десять лет моей жизни рядом с Андреем Сахаровым в нашем доме были многие люди Запада. Я обращаюсь к немцам и американцам, к французам и англичанам, к норвежцам и шведам, итальянцам и испанцам, голландцам и японцам. Может быть, я кого-нибудь забыла, но за эти годы у меня сохранилось впечатление, что везде есть наши друзья, те, что были у нас дома, хоть раз пили чай на кухне или в нашей тесной комнате, кто читал книги Сахарова или вел с ним беседы о разрядке, разоружении, СОЛТ, атомной энергетике, сохранении среды обитания, о свободе выбора страны проживания, о свободе получать и распространять информацию, о свободе совести и о тех людях, кто в тяжелых условиях безгласности нашей страны стремились прорвать стену молчания, защищая естественное право всех людей быть свободными, и за это расплачиваются годами тюрем, лагерей, ссылок и психбольниц.

Бизнесмены и политики, журналисты и ученые, просто частные люди, приезжавшие посмотреть Россию и Сахарова. Я не буду рассказывать вам, какой он человек — вы его видели, вы говорили с ним. Я призываю вас в судах, правительствен-

ных и общественных комиссиях своих стран под присягой давать показания о содержании ваших бесед с Андреем Сахаровым, о том, что он говорил и писал о самых важных проблемах современности. От вашей памяти и вашей настойчивости сегодня зависит жизнь моего мужа. Ему отказывают в праве на суд и, как только вы забудете о нем и замолчите, совершат расправу, не очень заботясь о том, под каким соусом она будет преподнесена миру. Я призываю вас стать свидетелями защиты.

Я обращаюсь к ученым. Я не могу назвать имена друзей моего мужа в Европе и Америке, потому что тогда должна называть и имена советских ученых. Это невозможно. Очень немногих я знаю лично, это люди прекрасные. О многих Андрей говорил с такой любовью и восхищением, что это чувство передалось и мне. Я прошу у них прощения. Я обращаюсь не к ним, но ко всем. Радио доносит до нас голоса западных ученых, и каждый такой голос приносит радость не меньшую, чем голос нашей дочери, однажды прозвучавший, когда она читала заявление наших детей. Мы верим, что их голоса не смолкнут, пока Андрею Сахарову не вернут право думать, говорить и жить как свободному человеку. Мы верим, но мы ужасаемся тому, что уже не слышим голосов в защиту ваших коллег — ученых Орлова, Ковалева и других.

А советские ученые молчат. Даже Президиум Академии был молчаливой безымянностью. Коллеги Сахарова на Западе, не принимайте это молчание за протест — власти сейчас не приказали клеймить, им выгодно обмануть вас молчанием, чтобы вы контактировали с молчаливыми.

Конечно, Советский Союз место трудное, если не молчать, однако молчание сейчас не защита. Призывая к защите Сахарова, я призываю вас, советские ученые, защищать самих себя, ваше право быть людьми, в каких бы высоких сферах науки вы ни находились. Вы все помните другие годы — тесноту коммуналок, скудость жизни, разгромленные науки, «врачей-убийц» и слепой террор, огнем и мечом прошедший по народу, по всему, чем жив народ и что делает его народом. Теперь не то, теперь у каждого ученого своя горячая любовь к своему горячо любимому делу, простор институтов, лабораторий и собственных квартир и связи с целым миром. Не захочешь, да вспомнишь: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». Конечно же, есть заботы, семья, дети, болезни, возраст — но ведь это жизнь, и дай Бог, чтобы она была всегда! Вы молчите от страха потерять. Но потерять можно еще больше, если молчать, — в молчании вернув страну и себя лично в те страшные, как ночной кошмар, времена, когда была произнесена процитированная мной фраза. А ведь все знают, что нет в нашей стране семьи, которой тогда это не коснулось, многие помнят ночные шаги на лестницах и тяжкое прислушивание — за мной или за соседом? Успокойтесь — пока не за вами, пока за Сахаровым и за теми, кто не молчит. Сахаров никогда не был за себя — в ряду тяжких забот, которые он взял на себя, он был и за вас, и за вашу науку, за ваше право читать, знать, думать, за ваши поездки в Кембридж, Стенфорд, Сорбонну, Стокгольм, и даже с семьей, и даже без унижительного дрожания — пустят, не

пустят. Успокойтесь, еще не за вами, вы еще поедете туда, куда так давно и так хотелось поехать, и будете там говорить, как вы любите Сахарова (или любили, если с ним уже разделяются), тем, кто вам там будет говорить о своей любви к нему. Я не призываю к бойкоту, это не мое дело, но я прошу западных коллег Сахарова не общаться с молчашниками, какими бы лично они ни были милыми и талантливыми людьми. Помните, что наши власти каждый раз выбирают нужное сегодня: сегодня власти за ученых выбрали им — ученым — молчание. Я призываю приезжать к Сахарову — ему запрещены встречи с иностранцами и преступными элементами. У него нет запрещения на вас, уважаемые советские коллеги моего мужа, — неужели вы заранее согласны, что любого из вас можно объявить ренегатом и преступником за дружеский или научный визит? Я предлагаю вам стол и кров в любой день и час в той шарашке на одного, которую «гуманно» устроили Сахарову, чтобы там под ваше молчание навсегда покончить с этим атипичным явлением нашей с вами жизни.

Я думаю о физиках. Я столько хорошего слышала о вас от Андрея. Само слово «физик» для него полно особого смысла, и он по сей день уверен, что физик хорош душой и смел от природы по самой своей сущности. Вы лучше меня знаете, что Сахаров добр и терпим, что он любит свою страну и свою науку, что он никогда не солжет и никогда не смолчит в любой неправде и несправедливости. Вы все знаете лучше меня.

Сегодня мне хочется крикнуть — где вы, советские физики, неужели компетентные органы сильнее и выше вашей науки?

Елена Боннэр-Сахарова

9 февраля 1980 года

P.S. Я впервые написала письмо, за которое боюсь: я боюсь, что Андрей — он любит защищать — увидит в нем обвинение. Я не обвиняю, я призываю к защите.

Заявления о кражах рукописей

Заявление

29 ноября в квартире, где я живу 7 лет, произведен негласный обыск и незаконное изъятие документов и рукописей. В этот день моя теща (хозяйка квартиры), моя жена и я были вынуждены выйти из дома одновременно, и с 12 час. 30 мин. до 13 час. 50 мин. запертая на ключ квартира оставалась без присмотра. Этот краткий промежуток времени и был использован для противозаконной акции, как я уверен, осуществленной работниками КГБ с санкции высшего руководства этой организации.

У меня изъяты копии почти всех документов, опубликованных мной в этом году, множество полученных мной писем и копии моих писем, а также несколько еще не опубликованных рукописей, в том числе предназначенная для публикации статья «Движение в защиту прав человека в СССР и Восточной Европе — цели, значение, трудности» и большая рукопись (68 страниц машинописного текста, 170 рукописных), содержащая заметки автобиографического характера. Я не предназначал эти заметки для публикации, однако теперь, когда они попали в чужие руки, я, возможно, сочту необходимым их опубликовать. Среди

изъятых документов — копии писем Л.И. Брежневу от меня и моей жены по поводу ее лечения (не опубликованные). Пропажу документов я обнаружил 1 декабря. Лица, проводившие обыск, украли также несколько моих личных вещей.

На протяжении многих лет я, моя семья и близкие подвергаются различным преследованиям, притеснениям и угрозам. Сейчас для нас особенно тяжелой является почти полная блокада почтовой и телефонной связи с нашими детьми и внуками, которые были вынуждены уехать из СССР. Эта блокада, несомненно, нарушение международных соглашений СССР.

Обыск и изъятие документов 29 ноября — новая ступень действий властей, направленных против меня и моей общественной деятельности. Я считаю необходимым информировать об этих действиях международную общественность.

Андрей Сахаров, академик

2 декабря 1978 года

Заявление для печати и радио

Я сообщаю, что сотрудники КГБ вновь тайно проникают в квартиру, в которую я силой помещен более года назад и нахожусь в условиях незаконной изоляции. Эти проникновения на этот раз происходят, по-видимому, с ведома некоторых из дежурящих круглосуточно у двери милиционеров и вновь создают опасность для меня.

Я сообщаю также, что 13 марта 1981 года КГБ совершил новое отвратительное преступление, украв сумку, в которой хранились мои рукописи, личный дневник за последний год, копии писем моим западным и советским коллегам, письма детей и внуков. В трех толстых тетрадях-дневниках наряду с чисто личными записями — многочисленные выписки из научных книг и журналов, в том числе из статей нобелевских лауреатов по физике 1979 года, изложение новых научных идей и другие необходимые мне материалы научной работы, мои размышления о физике, литературе и многом другом. Среди украденного три толстых альбома большого формата — рукописи моей автобиографии, что толкает меня на более раннюю, чем я предполагал, ее публикацию. Воры КГБ умышленно подбросили на мой стол находившееся в сумке неотправленное письмо в Научный Информационный Центр ВИНТИ, возможно, показывая свое невмешательство в мою научную работу, однако они украли дневник, в значительной степени, как я писал, научный. Ранее из московской квартиры был выкраден и мой Нобелевский Диплом. Но последней кражей КГБ показывает свое стремление лишить меня памяти, мысли, возможности всякой интеллектуальной жизни даже наедине с самим собой. Ответственность за эту кражу ложится на ее исполнителей — Горьковский КГБ — и на санкционировавшее ее руководство КГБ СССР.

Андрей Сахаров, академик

17 марта 1981 года

* * *

Председателю Комитета государственной безопасности СССР Федорчуку В. В.

копия: Президенту АН СССР академику Александрову А. П.

Сообщаю о новом совершенном против меня преступлении. 11 октября 1982 года у меня вновь украдена сумка с документами и рукописями. Ранее аналогичная кража была совершена 13 марта 1981 года, а также при негласном обыске в Москве в 1978 году. Обстоятельства краж и характер похищенного, как я считаю, доказывают, что кражи были совершены сотрудниками КГБ. 11 октября похищены около 900 страниц не перепечатанной рукописи моих воспоминаний, охватывающих 60 лет жизни, около 500 страниц машинописного текста воспоминаний, 6 тетрадей личных дневников, мой паспорт, водительские права, мое завещание, а также очень важные для меня и невозполнимые личные письма и документы.

Украдены также фотоаппарат и радиоприемник (дома их ломают), сберегательная книжка и 60 рублей — единственные вещи, которые могли бы представлять интерес для «обычных» воров, все остальное они бы подбросили. Кража произошла днем в 16 часов на площади около речного вокзала, в центре города Горького, когда моя жена пошла за железнодорожным билетом. Я сидел в машине на переднем сиденье, сумка с документами стояла на полу сзади

водительского места. Некто, заглянув в окно, обратился ко мне с вопросом, я ему ответил, затем в моей памяти провал. Было разбито стекло задней дверцы, чего я не заметил и не услышал, хотя множество осколков упало в машину и на асфальт, произведя несомненно большой грохот. Я предполагаю, хотя и не могу юридически это доказать, что против меня был применен наркоз мгновенного действия. Я помню только, что увидел, как через окно вытаскивается сумка. Несколько минут я не был в состоянии открыть дверцу машины. Когда я вышел, около машины стояли три женщины, одна с баульчиком, похожим на медицинский. Они спросили меня, почему я так долго не выходил из машины. Потом одна сказала: «Они (т.е. вору) с вашим чемоданом перепрыгнули через балюстраду. У вас разбили стекло — вы это знаете? Мы уже вызвали милицию, они скоро приедут». Слова о вызове милиции были ложью. Я предполагаю, что эти женщины были врачами — их задача была оказать мне помощь в случае необходимости, а также удержать от попытки немедленно пойти в милицию. После прихода моей жены я пошел в ближайшее отделение милиции, сделал там заявление о краже (туда до меня никто не обращался). Необходимо в заключение отметить, что не только у моей двери круглосуточно дежурят милиционеры, но и всегда во время моих поездок по городу или выходов на улицу за мной следуют сотрудники КГБ на одной или двух машинах или пешком. Никто не может подойти ко мне и вступить в разговор, не будучи замеченным ими, а если б «обычный» вор

похитил сумку, они, как я предполагаю, немедленно бы его задержали.

Обращаюсь к Вам как председателю Комитета государственной безопасности СССР и настаиваю на немедленном возвращении мне всего похищенного, на гарантиях неповторения подобных и иных преступных действий Ваших подчиненных. Я прошу Вас дать соответствующие указания.

Копию этого письма я посылаю президенту Академии наук СССР. Я хотел бы значительную часть своих сил уделить научной работе. Однако при повторяющихся кражах моих рукописей, в том числе — также научных, при необходимости многократно восстанавливать украденное с затратой огромных усилий, в незаконной высылке и изоляции, не может быть и речи о каких-либо условиях «спокойной научной работы». Я хочу, чтобы об этом знали Вы и мои коллеги в СССР и за рубежом. Я был бы благодарен Вам, Анатолий Петрович, если бы Вы поддержали мое требование о возвращении мне украденного 29 ноября 1978 года, 13 марта 1981 года и 11 октября 1982 года.

Четыре с половиной года назад, начав писать свои воспоминания, я рассматривал их как чисто личные и не думал об их публикации. Теперь, после краж, я чувствую себя обязанным как можно скорее их восстановить и опубликовать.

Андрей Сахаров, академик

*23 октября 1982года,
г. Горький*

* * *

Обращение

11 октября у меня похищена сумка с рукописью моих воспоминаний и невосполнимыми личными документами. Это уже третья такая кража. Как я убежден, она совершена не случайными преступниками, а сотрудниками органов, под надзор которых я поставлен. Через три недели, 4 ноября, я был вызван к заместителю прокурора Горьковской области Перельгину. Перельгин заявил, что переданное мной иностранным корреспондентам заявление о краже сумки является клеветническим, поскольку я в нем бездоказательно обвиняю органы государственной безопасности, и что, делая такие заявления, используемые враждебной СССР пропагандой, я нарушаю режим, установленный для меня Верховным органом власти — Президиумом Верховного Совета СССР. Перельгин добавил, что это уже второе предупреждение и он предупреждает меня о самой серьезной ответственности. Это заявление заместителя прокурора области является совершенно необоснованным. Мое заявление, в котором я сообщал о реальном факте, не является клеветническим. Ответственность должны нести совершившие преступление — те, кто, применив против меня наркоз, похитили мои рукописи и документы.

Особое внимание я обращаю на заявление Перельгина, что режим мне установлен указом Президиума Верховного Совета СССР. Ранее я многократно обращался к Прокурору

СССР Рекункову и к Перельгину с требованием предъявить мне документ, из которого было бы ясно, какой инстанцией, когда и за чьей подписью принято решение фактически силой вывезти меня в Горький, изолировать и еще назначить режим. Однако такого документа мне никогда не предъявляли, а в Ведомостях Верховного Совета СССР опубликован лишь указ от 8 января 1980 года о лишении меня правительственных наград, но нет никакого указа о режиме. Несомненно, такой указ был бы антиконституционным. Перельгин — юрист, и он должен это знать, как должен знать, что незаконен даже сам термин «режим» в применении ко мне. Режим определяется судом и объявляется осужденным в приговоре суда. Мне же никогда никакая юридическая инстанция не предъявляла никаких обвинений и никто меня не судил. Изолировав в Горьком, меня лишили конституционного права на объективный суд (если есть за что судить!), права на защиту в суде, права на неприкосновенность жилища, неприкосновенность того, о чем я думаю и что записываю, права на свободную переписку, на разговор по телефону, права лечиться у врача по своему выбору, права на отдых, просто на то, чтобы выехать за город, права свободного научного и человеческого общения и еще многих прав, гарантированных Конституцией СССР гражданам государства. Я отказываюсь верить, что Президиум Верховного Совета СССР принимал такой указ! Поэтому я вправе считать, что Перельгин шантажировал меня и что шантаж этот содержит угрозы новых репрессий или новых преступлений — уже был незаконный вы-

воз меня из Москвы и изоляция, была кража без наркоза, было похищение с наркозом, почему не быть наркозу еще с чем-нибудь?

Почти три года я лишен права жить дома и нахожусь под стражей — срок более чем достаточный для любого следствия и даже отбытия наказания по многим статьям Уголовного кодекса РСФСР. Советская пресса, советские официальные представители в контактах с моими зарубежными коллегами, западными общественными и государственными деятелями это беззаконие и этот произвол толкуют как акт гуманности. Но если закон может быть гуманным, то беззаконие и произвол не могут быть таковыми никогда.

Сообщая о заявлении Перельгина, о его ничем не подтвержденной ссылке на указ Президиума Верховного Совета СССР, о его новых угрозах, я обращаюсь к мировой общественности с просьбой выступить против моей незаконной высылки и изоляции, против новых репрессий, с просьбой о юридической и человеческой защите. С этой просьбой я обращаюсь к Главам правительств стран, подписавших Хельсинкский Акт, к общественным деятелям, к моим коллегам-ученым.

Андрей Сахаров, академик

10 ноября 1982 года

г. Горький

Голоса минувшего

<...> В начале августа 1991 года мне позвонил незнакомый человек, представившийся Андреем Станиславовичем Пшежедомским — помощником председателя КГБ Российской Федерации Иваненко. Он сказал, что его шеф хочет со мной встретиться. По старой диссидентской привычке я ответила, что в гости в КГБ не хожу и, если им надо меня видеть, пусть пришлют официальную повестку. Человек этот стал говорить, что я его неправильно поняла, что они (кто? КГБ?) меня очень уважают и просто хотят со мной встретиться. КГБ России тогда был почти новорожденным младенцем. Но мне было любопытно. Я сказала: «Если вам так хочется познакомиться, приходите ко мне». Через два дня они пришли.

Поначалу разговор не клеился: говорили чуть ли не о погоде. Что-то о моих статьях в «МН», о Конгрессе памяти Сахарова. Я не выдержала и спросила, для чего они все-таки пришли. Говорят, решили налаживать связи с политическими деятелями и общественностью. Хотят выяснить, чего от них ожидают, и выработать новую концепцию для их организации. Насчет концепции я рекомендовала обратиться к одному из экспертов Конгресса, который детально изучил новый (со-

«Огонек», 1992, № 8.

юзный) закон о КГБ и нашел, что в нем нарушены почти все права человека. Сказала, что себя политическим деятелем не числю и, выступая по тем или иным вопросам, высказываю только свое личное мнение; ни к каким политпартиям не принадлежу, так что пришли они не по адресу. Но, в общем, беседа была доброжелательная. Я представителей КГБ в таком человеческом качестве видела впервые в жизни, да еще и у себя на кухне в ясный солнечный день за чашкой кофе. И я сказала, пусть и у меня будет «навар» с нашей встречи. Дайте мне прочесть следственные дела моих родителей и дяди. И помогите найти рукописи и дневники Андрея Дмитриевича, украденные сотрудниками КГБ в Горьком. Иваненко сразу обещал выполнить первую мою просьбу, но не был уверен, что поможет в остальном. На этом мы расстались. А еще через несколько дней позвонил Андрей Станиславович и пригласил в понедельник прийти к ним читать следственные дела. Но тот понедельник оказался 19 августа — путч. И только 20-го, увидев мельком в коридоре Белого дома Иваненко, я вспомнила и сразу забыла об этой договоренности. А потом вновь позвонил А. С., и я впервые переступила порог Большого дома. А там не порог, а мраморный подъезд и мраморные ступени!

Я ходила по его многокилометровым коридорам. Видела внутреннюю тюрьму (теперь в ней бухгалтерия столовой) — маленький трехэтажный дом во дворе, сложным переходом соединенный с основным зданием, окруженный им со всех сторон. Всего несколько камер-одиночек, расположенных на двух этажах. Заключение держали здесь недолго — один-

два дня. Привозили на суд, который проходил в помещении, отделенном от тюрьмы небольшим коридором и коротким лестничным маршем. Показывал и рассказывал мне все молодой симпатичный лейтенант. И на переходе из внутренней тюрьмы к залу судебных заседаний, куда дверь теперь заделана, рассказал, что здесь судили его деда и он получил обычный в те годы приговор: высшую меру наказания — расстрел. Приговор приводился в исполнение на другой стороне той же Лубянской площади в подвале дома Военной коллегии. Подземный переход, идущий под всей площадью, под всеми переходами метрополитена и городскими коммуникациями, соединял его с основным зданием КГБ. Это последний путь многих тысяч людей. Я в этом переходе не была и не знаю, существует ли он сейчас. Что-то подступившее к горлу помешало спросить! Позднее в этом здании был горвоенкомат. Я там бывала в 1970—1971 годах, когда вступила в жилищный кооператив этого учреждения, на что имела право как офицер, участник и инвалид второй мировой войны.

Дважды ходила по подземному переходу из старого здания КГБ в новое к новому (после путча) председателю КГБ В. В. Бакатину. При первой встрече он сделал мне роскошный подарок — два тома «Воспоминаний» Андрея Сахарова, изданных в 1986 году — на три года с лишним раньше, чем книга Сахарова увидела свет. Книги в синем красивом переплете, формата рукописи, на хорошей бумаге, впечатанные шрифтом несколько более крупным, чем обычный. Вещественное доказательство того, что рукописи Сахарова похитили не

случайные мелкие воришки, а Комитет государственной безопасности СССР. Издана книга под названием «Листы воспоминаний», на которое Андрей Дмитриевич поначалу согласился в 1983 году по моему предложению, но потом его отверг. Жаль, что я не знала об этом издании раньше и упустила возможность узнать, какое же издание Сахарова (КГБ, в журнале «Знамя» или американское) читали бывшие руководители Союза. Могла спросить Горбачева, когда он в антракте торжественного заседания первого Конгресса памяти Сахарова говорил, что внимательно читал «Воспоминания» Андрея. И у Лукьянова, когда была у него вместе с группой экспертов Конгресса, после их первой поездки в Карабах. Он тоже говорил, что хорошо знаком с этой книгой.

В следующий раз презент, полученный мной от Бакатина, был скромней. Не находка, а скорей констатация потери. Я получила два документа. Текст первого привожу полностью:

Справка

Дело оперативной проверки № 4490 на Боннэр Елену Георгиевну было получено 1 отделом 5 Управления КГБ СССР из УКГБ по г. Москве и Московской области 16 декабря 1971 года и перерегистрировано как ДОП № 3223.

29 декабря 1972 года ДОП № 3223 переведен в дело оперативной разработки № 10740, 4 июля 1988 года к этому делу приобщено ДОП № 1532 в 200 т. на Сахарова А. Д. («Аскольда»), полученное из УКГБ по Горьковской области (наш рег. № 14616)».

Вот такой документ. Из него непонятно, с какого же времени меня оперативно проверяли. И, выходит, не меня приобщили к делу Сахарова, а его ко мне. Правда, Андрей Дмитриевич всегда говорил, что я себя недооцениваю, что я у КГБ — враг № 1. И странно, что объединили они наши дела только в 1988 году.

Второй документ также на одном листе, но заполненном с двух сторон. Привожу его с сокращениями. Лицевая сторона:

Секретно

Утверждаю

Начальник 5 Управления КГБ СССР

генерал-майор Иванов Е. Ф.

6 сентября 1989 г.

Постановление о прекращении производством дела оперативной разработки № 10740.

9 августа 1989 г. я, начальник 1 отделения 9 отдела 5 Управления КГБ СССР полковник Шевчук А. К., рассмотрев материалы дела № 10740 на «Лису» с окраской «антисоветская агитация и пропаганда», нашел: материалы дела утратили свою актуальность, в связи с чем

в ОСК: Боннэр Елена Георгиевна по ДОР № 10740

постановил: дело прекратить со снятием объекта дела «Лису» со всех видов оперативного учета, материалы уничтожить <...>

Согласен.

Начальник 9 отдела 5 Управления КГБ СССР полковник Баранов А. В.

На обратной стороне:

Акт об уничтожении дела № 10740

<...> 6.09.1989 г. путем сожжения уничтожены тома [перечислено 7 номеров] дела № 10740. Четыре документа из дела изъяты <...>, а именно

Заключение об осведомленности «Аскета» (еще одно их кодовое имя Сахарова — Е. Б.) в государственных секретах особой важности <...>

<...> и одна кассета с магнитной пленкой <...> Ранее были уничтожены следующие тома дела [перечислено еще 576 номеров] <...>

Всего по этому акту было уничтожено 583 тома. Но первые 7 томов уничтожены на основании приведенного постановления. А на каком основании производилось уничтожение до 6 сентября 1989 года?

Были ли в сожженных томах рукописи и дневники Андрея Дмитриевича? Я все еще надеюсь, что они найдутся. Надеюсь, что уничтожались только следы многолетней слежки за нами, доклады осведомителей и другие материалы, которые они относят к оперативной разработке. Это же надо суметь испоганить, а потом ликвидировать такую кучу бумаги — на Андрея 200 томов, а на меня — 383. Но меня не очень интересует, как они вели за нами свою слежку, насколько глубоко проникали в нашу интимную жизнь. Не хочу я знать имена тех, кто в доме числился в друзьях, но работал на КГБ. И се-

годня я живу, как жила раньше, дела и заботы КГБ в его прежнем качестве меня не касаются. И не очень верю, что его можно изменить так, что он станет адекватен демократическому государству. Но вдруг в нем найдутся люди, которые смогут разыскать бумаги Андрея Дмитриевича? <...>

Е. Боннэр

Прогулки с Пушкиным

I

До войны физфак был куда меньше, чем теперь, и к началу второго семестра мы все, поступившие в 1938 году, более или менее перезнакомились друг с другом. А тут еще начал работать физический кружок нашего курса, куда ходили человек 20—25. В их числе и Андрей Сахаров, который сразу выделился неумением ясно и доходчиво излагать свои соображения. Его рефераты никогда не сводились к пересказу рекомендованной литературы и по форме напоминали крупноблочную конструкцию, причем в логических связях между отдельными блоками были опущены промежуточные доказательства. Он в них не нуждался, но слушателям от этого не было легче. Один из таких рефератов (об оптической теореме Клаузиуса) был настолько глубок и темен, что руководителю нашего кружка — С. Г. Калашникову — пришлось потом переизлагать весь материал заново.

Мне кажется, что Андрей искренне и простодушно не осознавал этой своей особенности довольно долго. На учебных отметках она практически не отражалась, ибо глубина и обстоя-

«Михаил Левин. Жизнь. Воспоминания. Творчество». (1995)

тельность его знаний все равно выпирали наружу. Но зато из-за нее он абсолютно не котировался у наших девочек во время предэкзаменационной горячки, когда другие мальчики вовсю натаскивали своих однокурсниц. Правда, был особый случай. Одна из наших девочек по уши влюбилась в молодого доцента-математика. Ей было мало его лекций и семинарских занятий и она стала ходить на предусмотренные учебным регламентом еженедельные консультации, которые, естественно (в середине семестра!), никем не посещались. Загодя она разживалась «умными вопросами», и, когда подошла очередь Андрея, он придумал ей такой тонкий и нетривиальный вопрос, что консультация, вместо обычных 15—20 минут, растянулась — на радость нашей Кате — часа на полтора.

Сам Андрей вгрызлся в науку (физику и математику) с необычайным упорством, копал глубоко, всегда стремясь дойти до дна, а все узнанное отлагалось в нем прочно и надолго¹.

На втором курсе я делал в кружке доклад о «цепочке Лагранжа» — бесконечной эквидистантной веренице упруго связанных точечных масс. Почти год спустя на лекции по «урматфизу» нас бегло познакомили со специальными функциями. И дня через два Андрей с тетрадным листком в руке подошел ко мне:

— Смотри, если в уравнениях для цепочки Лагранжа

$$\ddot{x} = \sigma^2(x_{n+1} - x_{n+1} - 2x_n)$$

перейти к новым переменным

$$z_{2n+1} = \sigma(x_n - x_{n+1}), z_{2n} = \dot{x}_n$$

то все z_k — четные и нечетные — будут удовлетворять одному и тому же уравнению

$$\dot{z}_k = \sigma(z_{k-1} - z_{k+1}),$$

совпадающему с формулой для производной функции Бесселя. Ты тогда рассматривал только гармонические по времени колебания. А с помощью бесселевых функций можно, выходит, решить и начальную задачу для цепочки Лагранжа.

Сейчас я, конечно, помню плохо, что рассказывалось на кружке, но он сыграл определяющую роль в наших отношениях с Андреем. Дело в том, что мы учились в разных группах и в обычные дни мало пересекались. А кружок начинался ближе к вечеру, и после окончания заседания все расходились по домам. Андрей и я жили неподалеку друг от друга (он — в Гранатном переулке, я — у Никитских ворот), так что нередко шли вместе пешком от Моховой до «Тимирязева», иногда прихватывая бульвар или кусок Спиридоньевки. И довольно скоро в тогдашних наших разговорах прорезалась тема, линия которой пунктирно протянулась на пятьдесят лет.

Началась эта линия так.

С. Г. Калашников, опытный педагог, предложил перечень докладов, имевший целью углубление и расширение лекционного курса. Нам же хотелось поскорее ворваться в новую физику — теорию относительности и квантовую механику. Ка-

лашников, ссылаясь на Эренфеста, втолковывал нам, что и Эйнштейн, и Бор любили и до тонкостей знали классическую физику и именно поэтому осознали вынужденную необходимость отказаться от нее. Понимание новой физики не сводится к правилам и формулам, ее надо выстрадать и пережить, как говорил Ландау. Ворча про себя, мы покорились. По дороге домой Андрей сказал:

- Сергей Григорьевич прав. Не надо уподобляться Сальери.
- При чем тут Сальери?
- Вспомни:

...Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Нельзя бросать, а потом бодро и безропотно следовать. Разрыв со старым должен быть мучительным.

Не будь этого случая, Пушкин все равно возник бы в наших разговорах. Еще не сошла на нет огромная волна пушкинского юбилея 1937 года. Печатался по кускам роман Тынянова, переиздавали Вересаева, шел спектакль, в котором Пушкин говорил стихами Андрея Глобы; в другом спектакле

пушкинский текст был подправлен Луговским. Зощенко написал шестую повесть Белкина «Талисман». Все это занимало нас. В сборнике стихов, сочиненных учениками Антокольского, Андрей напоролся на обращение:

Ты долго ждал, чтоб сделаться счастливым...
Теперь, сосредоточенны, тихи,
Районные партийные активы
До ночи слушают твои стихи.

Четверть века спустя он вспомнил это четверостишие:

— Драгоценное свидетельство современника, как сказал бы Пушкин. А ведь действительно в тот страшный год всюду проходили и такие активы. Единственные в своем роде — после них все участники расходились по домам.

В другом стихотворении описывалось, как Наталья Николаевна укатила во дворец на бал, а Пушкин остался дома по-работать. Но ему не пишется, одолевают ревнивые мысли:

Сейчас идешь ты, снегу белей,
Гостиною голубой.
И светская стая лихих кобелей
Смыкается за тобой.

— Боже мой! — воскликнул Андрей. — Как мог Антокольский включить такое? И неужели он не знает, что жена камер-юнкера не могла быть на придворном балу без мужа?

Сам Андрей в свои 18 лет это хорошо знал. Он не просто читал и перечитывал Пушкина — он как-то изнутри вжился в то время. Много лет спустя он сказал мне, что кусок русской истории от Павла I и до «души моей» Павла Вяземского* существует для него в лицах. Но и XVIII век Андрей знал очень хорошо. Когда в 1940 году МГУ получил новое имя (мы поступали в «имени М. Н. Покровского»), Андрей сказал сразу, что основателем и куратором университета был граф И. И. Шувалов, хотя первоначальная идея шла, конечно, от Ломоносова.

Тогдашние суждения Андрея о Пушкине запомнились мне своей независимостью и нестандартностью. Он, например, категорически не соглашался с расширительным толкованием строк

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа,

вырванных из реального контекста стихотворения, написанного в 1818 году. Эти две строки переключивались из одной юбилейной публикации в другую, а в наше время вошли уже в названия статей и книг, не говоря о миллионах школьных сочинений. Почему Пушкин, гордящийся 600-летним дворянством и столь щепетильный в вопросах чести, декларирует свою

* «Душа моя» — слова из шуточного обращения Пушкина к маленькому сыну П. А. Вяземского «Душа моя, Павел, Держись моих правил». (Подстрочные примечания здесь и далее принадлежат автору.)

неподкупность? Откуда у 19-летнего юноши самоуверенная претензия быть эхом народа? На самом деле все объясняется просто. Стихотворение было написано в честь императрицы Елисаветы Алексеевны. Произведения подобного жанра обычно вознаграждались (скажем, табакерками с алмазами). Поэтому Пушкин сразу отменяет такое оскорбительное предположение. Любовь народа к царствующим особам было общим местом мировоззрения того времени, и эту народную традицию отражает (эхо!) голос ни на что не претендующего молодого поэта. И нечего притягивать сюда замыслы будущих декабристов отдать Елисавете трон ее мужа.

Точно так же Андрей относился к рассуждениям о том, что заключительная ремарка «Бориса Годунова» передает навеянный сочинениями декабристов взгляд Пушкина на глубинные совесть и нравственные устои народа. В законченном накануне восстания и принятом с восторгом в Москве 26-го года «Борисе» народ не безмолвствовал, а кричал: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!». Такими были тогда взгляды Пушкина, и к такому финалу вели законы трагедии, которым он учился у «гениального мужичка» Шекспира*. А безмолвие появилось лишь в белой рукописи 30-го года, представленной цензору.

Кстати, много лет спустя по случаю очередного некруглого юбилея в газете напечатали «Слово о Пушкине», произне-

* «Гениальный мужичок» — слова Пушкина о Шекспире, записанные Ксенофонтом Полевым.

сенное одним из литературных генералов. И там были слова о народном осуждении убийства *детей* Бориса. Андрей засек этот ляп и с горечью сказал:

— Ну ладно, он может и не знать, что Ксения досталась на потеху Самозванцу. Но почему он не дал себе труда прочитать пушкинские тексты, мыслями о которых он счел нужным поделиться?

В «Юбилейном» Маяковского, которое тогда было у всех на слуху, Андрей с ехидством отметил, что предрекаемая Дантесу участь никак не связана с убийством Пушкина, а опирается только на происхождение (Ваши кто родители?) и занятия до 17-го года. По этим правилам отбора и Пушкина с Лермонтовым мы тоже «только бы и видели». И тут он вдруг добавил, что мальчиком долго не мог преодолеть барьер имени, начиная и бросая читать «Графа Монте-Кристо»*.

Неожиданной для меня оказалась его неприязнь, переходящая в ненависть, к Дантесу. Как тот мог допустить?! Бывшие в то время в ходу объяснения и оправдания — доверие Пушкина, нехватка времени, дворянские понятия о дуэльной чести — Андрей отметал с порога:

— Иван Пущин был человек чести, а он уверенно писал, что не допустил бы дуэли. И особого ума тут не требуется. На Черной речке лежал глубокий снег. Дантес должен был подать Пушкину заряженный пистолет со взведенным кур-

* Настоящее имя героя романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо» — Эдмон Дантес.

ком. И тут он мог оступиться, падая «нечаянно» спустить курок и ранить самого себя (в ляжку, а не в бок!). При кровотокающем секунданте дуэли быть не может, д'Аршиак бы не согласился. Поединок откладывается, потом друзья успевают вмешаться*...

Пожалуй, стоит упомянуть еще об одном литературном событии того времени. В школе мы проходили «Сказки» Салтыкова-Щедрина и «Пошехонскую старину». Сверх того читали, конечно, «Помпадуров» и «Историю одного города». Но вот где-то на третьем курсе наш однокурсник и мой близкий друг Кот Туманов открыл «Современную идиллию». Читая ее каждый у себя дома, мы целую неделю обменивались в университете находками. Андрей гордился тем, что первым нашел в росписи расходов менялы Парамонова пятиалтынный «на памятник Пушкину» и больше тысячи «в квартал на потреотизм...». Лет двадцать тому назад, уже во времена опалы, мы смотрели телевизионное выступление некоего седовласого ученого мужа, несшего высокопарную ахинею. Андрей, тщательно выговаривая фонемы, сказал:

— Сумлеваюсь, штоп сей старик наказание шпицрутенами выдержал, — и был доволен, когда я сразу подхватил:

* «Объектовские» люди всегда отмечали редкое сочетание в Сахарове таланта физика-теоретика с гениальностью инженера-конструктора. Программа действия для Данзаса свидетельствует, что конструктивные решения были свойственны Андрею задолго до «объекта».

— Ф том же сумлеваюсь.

Еще раз он вспомнил «Современную идиллию», прочитав «Зияющие высоты» А. Зиновьева. К сожалению, сделанное им тогда тонкое замечание полностью может быть оценено только физиками. Он сказал, что «Зияющие высоты» обладают свойствами пластинки с голограммой и в этом (но не только в этом!) схожи с «Современной идиллией». Кусок в 30—40 страниц обеих книг дает хоть и бледноватую, но полную картину замысла и средств автора, а дальнейшее чтение лишь делает эту картину более четкой и яркой.

Однокурсников Сахарова часто спрашивают о его общественно-политических взглядах довоенных времен. В моей памяти сохранились только две истории, имеющие к этому отношение.

Главный инженер МГУ подрядил студента нашего курса Стасика Попеля выкопать большую яму на заднем дворе, а когда работа была кончена, отказался заплатить обещанные деньги (уговор был устный), утверждая, что яма рылась в порядке общественной нагрузки. Долгое препирательство кончилось тем, что Стасик взрезал ему по морде. После этого деньги были сразу отданы, но инженер накатал телегу в партком, напирая на политическую окраску и разрыв в связи поколений строителей коммунизма: комсомолец избил и ограбил члена ВКП(б). Дело разбиралось на факультетском комсомольском собрании. Вузком настаивал на исключении, после чего, разумеется, автоматом следовало отчисление из студентов. Старшекурсники и аспиранты, пережившие собрания

37-го года, поддерживали вузком. Мы же вовсю отбивали Стаса, казуистически доказывая, что была пощечина, а не мордобой. Андрей очень переживал эту историю и, сидя в коридоре (он не был комсомольцем), расспрашивал выходящих покурить о ходе судилища. Еще перед началом собрания он предупредил об уязвимости нашей линии защиты: отрыв яму, Стасик настолько заматерел, что пощечина по намерению вполне могла оказаться мордобоем в исполнении. Но все кончилось благополучно. Стасик отделался строгачом с предупреждением, и больше всех радовался Андрей, поздравляя Кота Туманова и меня с тем, что нам удалось оттянуть часть наказания на себя (нам обоим вlepили какой-то мелкий выговор за безобразное поведение на собрании).

...Летом 86-го года в первый час нашей встречи, когда мы укрывались от морозящего дождика под навесом почтового отделения в Щербинках и разговор был рваным и скачущим, Андрей засунул руку в карман моего плаща. Я крепко сжал его замерзшие пальцы и неожиданно для самого себя спросил:

— Что ты чувствовал после того, как врезал Яковлеву?

Андрей ответил коротко:

— Знаешь, я вспомнил Стасика Попеля.

В физпрактикуме работал ассистент Туровский, резко отличавшийся от своих коллег непонятной робостью. Если по коридору шла навстречу ему ватага студентов, Туровский прижимался к стене. Задачи практикума, даже явно сляпаные на халтуру, он всегда принимал с первого раза и всячески

избегал и тени возможного конфликта со студентами. Кто-то из них однажды повел себя слишком нагло, вышла тягостная сцена, а потом Андрей со слов своего отца рассказал мне о тайне Туровского. Его родители были Троицкие, после революции эту поповскую фамилию поспешили сменить на «Троцкий», а десять лет спустя с еще большей поспешностью ее переменили на нейтральную «Туровский». И теперь он больше всего боится любых событий и обстоятельств, могущих потревожить в отделе кадров его личное дело, содержащее графу об изменении фамилии. По этой причине он, кажется, и не пытался защитить диссертацию.

— Только ты никому не говори об этом. Не дай бог оказаться камешком, породившим страшную лавину.

Я и не говорил все пятьдесят лет. Но теперь об этом можно рассказать.

В том, что наши разговоры происходили, как правило, на ходу, не было ничего удивительного. В довоенной Москве, с ее коммунальными квартирами, и товарищество, и долголетняя дружба завязывались и развивались во дворах и переулках. За три года студенческой жизни я всего несколько раз забегал на Гранатный взять или отдать книгу из домашней научной библиотеки отца Андрея, и из всего, сказанного мимоходом Дмитрием Ивановичем, запомнил только одно, поразившее меня сообщение: во двор моего дома, оказывается, выходили окна квартиры О. Н. Цубербиллер — составительницы знаменитого математического задачника! И Андрей

тоже несколько раз заходил ко мне — у нас было довольно много книг о декабристах, в частности успевшие выйти до разгрома «школы Покровского» первые тома Следственного дела... В сентябре 1968 года Андрей попросил меня рассказать о Вадиме Делоне и Павле Литвинове, которых я знал с малолетства. Когда-то Вадим подарил мне тетрадочку своих стихов. В нее был вложен листок с текстом будущего знаменитого шлягера «Поручик Голицын». С орфографией у Вадима всегда были расхождения, и Андрей сразу же споткнулся на «корнет Абаленский». Потом сказал, что ведь некоторые декабристы, да и сам князь Оболенский в собственноручных ответах на вопросы Следственной комиссии тоже писали, кто — Абаленский, кто — Обаленский, а кто совсем как у Вадима. А Бестужев-Рюмин вообще просил разрешения писать ответы по-французски. То был век богатырей, слабых в русской грамоте.

И вдруг он взял несколькими октавами выше:

— Знаешь, я ведь имел дело и с генералами, и с маршалом. Все они жидковаты в сравнении с Алексей Петровичем Ермоловым. В сношении с начальством застенчивы.

Андрею очень нравился этот ермоловский оборот и он не раз метил им своих коллег по Академии наук. Например, после появления знаменитой статьи 11¹ Уголовного кодекса².

В моем рассказе о студенческих годах Андрея Сахарова пропорции, конечно, не соблюдены. О физике и математике речь, разумеется, шла чаще, чем о Пушкине. Но разговоры о науке относились к ее учебно-методической стороне (за три

года мы не дошли даже до классической электродинамики) и поэтому плохо удержались в памяти.

II

Война и судьба развели нас на пятнадцать лет. Встретились снова среди деревьев большого двора, окаймленного жилыми домами ЛИПАНа на 2-м Щукинском. Андрей быстро заметил, что мне мешает тактичное присутствие «секретаря», и повел к себе домой знакомить с женой и дочками. Тут разговор пошел вольный, вольнее даже, чем в былые времена, но Андрей больше спрашивал, чем рассказывал сам. Сказал только:

— Теперь я и академик, и герой. Такой герой, что о мореплавателе не может быть и речи.

И действительно, за морем он побывал лишь три десятка лет спустя. А данный им обет молчания свято исполнял до последнего дня жизни. И все, что я знаю о подводной части научного айсберга «Сахаров», имеет источником общефизический фон, начало которому положили слухи, возникшие сразу после академических выборов 1953 года.

Андрей сказал, правда, что все последние годы он по горло в неотложных текущих делах, так что нет ни времени, ни сил на чистую теоретическую физику. А там есть чем заняться. Обнаружив мое дремучее невежество (в Тюмени не было никаких физических журналов, кроме «Физика в школе» и разрозненных тетрадей УФН), он объяснил мне сложное

и запутанное положение вещей, существовавшее тогда, то есть до знаменитой работы Ли и Янга. Уже в середине этого объяснения, происходившего за чайным столом, я внезапно осознал, что манера изложения Андрея не имеет ничего общего с той старой, довоенной. Все было логично, последовательно, систематично, без столь характерных для молодого Сахарова спонтанных скачков мысли. Я подивился вслух такой перемене.

— Жизнь заставила, — ответил Андрей. — Чтобы добиться того, что я хотел, надо было многое объяснить и нашему брату физику, и исполнителям всех мастей, и, может быть, самое трудное, генералам разных родов войск. Пришлось научиться.

— В Ульяновске он этому еще не научился, — вмешалась Клава. — Он ведь предложил мне руку и сердце не на словах, а в письменном виде. Не от робости или застенчивости, а чтобы я все правильно поняла. Может быть, я единственная женщина в России, которой во время войны сделали предложение совсем как в старинных романах!

Потом Андрей подробно расспрашивал о Тобольске и Ялуторовске — декабристских городах Тюменской области. И по-свежему, как будто только вчера об этом узнал, огорчился из-за пушкинского «неразлучные понятия жида и шпиона» в дневниковой записи о встрече с Кюхельбекером.

— Слава Богу, это писано им только для себя. Это подкорка той эпохи, а не его светлый ум! Да и слово «шпион» звучало тогда иначе. Как у Фенимора Купера.

На моей памяти Андрей неоднократно возвращался к «черному пятну» (его слова) в дневнике Пушкина. Последний раз во время анти-Синявской кампании, раздутой Шафаревичем:

— Игорь Ростиславович и его журнальные друзья и единомышленники давно не брали в руки Пушкина. А может быть, и вообще прочли только какой-нибудь однотомник. А то бы они не упустили возможности пойти с такого козыря.

Андрей был очень опечален деградацией И. Р. Шафаревича. Когда раскрылось авторство первоначально анонимной «Русофобии», я сочинил ехидные стишки. Прочитав их, Андрей сказал:

— Тебе что, у тебя с ним шапочное знакомство. А мне обидно и противно... «Он между нами жил...».

Публицистические страсти, в которых оба лагеря «пушкиноведов» размахивали как хоругвями каждый своим Пушкиным, вызывали у него грустную усмешку. Опять вырванные из реалий писем 1836 года цитаты. Одни повторяют «черт догадал меня родиться в России с душою и талантом», не прочитавши начала предложения, говорящего о тяготах ремесла журналиста. Другие напирают на «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество...», забыв, что письмо Чаадаеву могло, по расчетам Пушкина, пройти через перлюстраторов, а может быть, даже — не дай Бог! — попасть в руки жандармов. Так что в нем многое не сказано. Но никто не вспомнил про письмо Вяземскому 1826 года, посланное незадолго до казни декабристов. А в нем: «Я, конечно, презираю Отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если ино-

странец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России?»

Сейчас передо мной томик Пушкина, а тогда Андрей наизусть проговаривал почти половину письма, вплоть до «удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница». И добавил, что это письмо ведь читали все, охочие до подробностей интимной биографии Пушкина: в нем конец так называемой «крепостной любви». Или им остальное неинтересно?

А вот как читал пушкинский текст сам Сахаров. В конце 69-го года, когда Клары уже не было в живых, я зашел к Андрею на Щукинский. При мне был недавно изданный том откомментированной пушкинской переписки 1834—1837 годов с закладкой на письме графу Толю, посланном за день до дуэли. Мои умствования, связанные с этим письмом, заинтересовали Андрея и он внимательно прочитал его. Потом стал листать страницы и вдруг спросил:

— А ты заметил, что все январские письма этого и предыдущих годов Пушкин датирует «январем» и только в письме к Толю стоит «генварь»? Я уверен, что в письме Толя, на которое отвечал Пушкин, тоже стоит «генварь». Ведь генерал Толь учился русской орфографии у военных писарей!

Дома я заглянул в 16-й том Большого академического собрания, содержащего и письма к Пушкину. Толь действительно писал «генварь», а в ответе Пушкина первоначальное «январь» переправлено на «генварь». Андрей был очень доволен, когда я сообщил ему это по телефону. Мне кажется, что у него вообще был повышенный интерес к слову как к кирпичику мысли,

к поворотам смысла, связанным с игрою слов. Он был в восторге от набоковской находки: старый анекдот о двойной опечатке в газетном описании коронации (корона-ворона-корова) может быть один к одному переведен на английский язык (crown-crow-cow). Как-то в разговоре на тему «может ли машина мыслить?» Андрей заметил, что она может острить методом отсечения. Например, в четверостишии Веры Инбер времен НЭПа «Как это ни странно, но вобла была, И даже довольно долго, Живою рыбой, которая плыла Вниз по матушке-Волге» отсечение двух последних строк дает ехидно-ностальгическую сентенцию нашего времени. Когда я безо всякой ЭВМ вырвал из некрасовской «Кому на Руси...» кусок

...Поверишь ли? Вся партия
Передо мной трепещется!
Гортани перерезаны,
Кровь хлещет, а поют!

он позавидовал моей находке и сказал, что короли эпитафия Вальтер Скотт и Пушкин купили бы эти строки за большие деньги, привелось им писать о 37-м годе. А потом добавил, что у Некрасова есть эпитафия к сочинениям о Дубне и других оазисах науки: «А по бокам-то все косточки русские...».

Другой раз Андрей просил рассказать о детской группе, в которой моя дочь занималась живописью. Услышав фамилию одного из мальчиков — Алеша Ханютин, он прервал меня на полуслове:

— Если бы нынешние драматурги давали, как это делалось в XVIII веке, смысловые имена, то герой-физик получил бы как раз такую фамилию*.

Сразу же после появления письма сорока действительных членов АН я сочинил поэмку «Сорокоуд». В ней было куда больше злости, чем таланта, и Андрею, как мне показалось, понравилось только примечание к названию: в допетровской России «сорок» — единица счета «мягкой рухляди» (меха), а «уд» — член. Отдавая Андрею тетрадку с «Сорокоудом», я похвастался маленьким открытием: на листке календаря от 29 августа 1973 г. отмечена юбилейная дата Ульриха фон Гуттена, одного из авторов «Писем темных людей». Обычно Андрей посмеивался над моей любовью к совпадениям подобного рода**, но тут он сказал:

— Странные бывают сближения... А ты когда-нибудь задумывался, почему Пушкин, узнав о смерти Александ-

* В формуле для энергии фотона $E = h\nu$ Андрей произносил постоянную Планка на немецкий лад — «ханю». Думаю, что это у него было от отца, получившего образование еще до первой мировой войны, когда международным языком физиков был немецкий. Л. И. Мандельштам тоже говорил «ха».

** Впрочем, его позабавил в марте 1980 года мой рассказ о статье к юбилею нижегородской ссылки Короленко, напечатанной в горьковской газете как раз 22 января 1980 года. А семь лет спустя я порадовал его указом о награждении Толстикова орденом, опубликованным сразу после присуждения Бродскому Нобелевской премии.

ра I в Таганроге, вдруг стал перечитывать «слабую поэму Шекспира»? Не хроники и не трагедии, где столько королей теряют короны и головы, а «Лукрецию». Потому что в них один король сменяет другого. А «Лукреция» о конце царства и начале республиканского правления. Пушкин хранил черновики, а вот от «Графа Нулина»* их не осталось... Это неспроста.

Кстати, о «Графе Нулине». Андрей довольно равнодушно относился к актерскому чтению пушкинских стихов. Еще до войны он жаловался, что Качалов испортил ему «Вакхическую песнь». А вот «Нулина» в исполнении Сергея Юрского с озорным жестом в стихе «Стоит Параша перед ней» он вспоминал с удовольствием. В последние же годы ему очень нравилась Алла Демидова в телевизионной «Пиковой даме». Раньше он считал, что рассказчик в «Пиковой даме» обязательно должен быть мужчиной... Как читал стихи сам Сахаров? К счастью, я могу ответить на этот вопрос просто и коротко: очень похоже на то, как читает С. С. Аверинцев. Смысл и форма, без каких-либо фиоритур и педалирования. В молодости круг поэтического чтения Андрея определялся домашней библиотекой Дмитрия Ивановича. Во всяком случае, до войны ни Андрей, ни я не знали ни одного стихотворения Осипа Мандельштама. Новая поэзия его не занимала и, как мне кажется, пришла к нему только после женитьбы на

* Заметку о «Графе Нулине», написанном в два дня, 13 и 14 декабря 1825 г., Пушкин кончает фразой: «Бывают странные сближения».

Люсе. Но и тогда при упоминании того или иного имени Андрей обычно говорил:

— Это не по моей части. Вот Люся, она все знает.

Пушкин же всегда был совсем особая статья. Не кладовая памяти и не печка, к которой ему нравилось пританцовывать. Иногда у меня возникало ощущение, что, кроме реального пространства-времени, в котором мы жили, Андрей имел под боком еще один экземпляр, сдвинутый по времени на полтора-два года, где как раз и обитает Пушкин со своим окружением. И мне повезло, что еще в молодости Андрей впустил меня в этот свой укрытый от посторонних мир... В Горьком, после рассказа Андрея о злоключениях Бори (Бориса Львовича) Альтшулера, я мимоходом заметил:

— АДС своею кровью начертал он на щите*.

И Андрей тут же откликнулся:

— Знаешь, когда я был мальчишкой, папа дразнил меня: «АСП своею кровью начертал ты на щите!».

После случайного разговора о стихотворении Твардовского на смерть Сталина

Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползет на грудь...

* Переделка стиха «А. М. Д. своею кровью...» из баллады Франца в «Сценах из рыцарских времен».

Андрей, пожалев, что слишком долго жил с моделью «царь-батюшка добрый, а министры — злые», спросил, когда у меня появился надлом в отношении к Сталину:

— В 44-м на Лубянке или в 48-м, когда арестовали твою маму?

— В 37-м.

— Неужели ты тогда был умнее Эренбурга и Симонова*? Или из-за расстрелянных полководцев гражданской?

Я объяснил, что ум и маршалы тут ни при чем. В 37-м погибла подруга моей мамы Ата Лихачева, женщина поразительной красоты и колдовского обаяния. И я в свои 16 лет, сам того не понимая (старше меня на 20 лет!), был безумно влюблен в нее. Помолчав, Андрей сказал:

— Как Пушкин в Катерину Андреевну... (Карамзину). По-моему, это был наш первый и последний разговор «про любовь».

При всей внешней сдержанности Андрея его влюбленность в Люсю всегда выбивалась наружу. В начале семидесятых я случайно встретился с ними в Тбилиси. Побродили по городу, посидели в духане, а поздно вечером, уже в гостинице, я рассказал, как года за три до войны меня познакомили с Севой Багрицким и возникла хрупкая, отрешенная

* При первой нашей встрече в 56-м году Андрей спросил, заметил ли я симоновский фортель на 150-летнем юбилее Пушкина. Чтобы не прогневить Сталина, Симонов, декламируя «Памятник», опустил «...друг степей калмык».

от реальной жизни дружба. Мы шатались по московским переулкам, читали друг другу стихи (Севка иногда свои) и — совсем как Верлен! — заказывали в питейных подвалах за отсутствием абсента по стаканчику Шато-Икема. И я узнал про ленинградскую девочку Люсю, раз в месяц приезжавшую в Москву делать тюремные передачи. Показав ее фотографию, Севка пожаловался, что у него гибнет стихотворение: он придумал великолепную рифму *parole d'honneur* — Боннэр, но Люся наверняка не примет переноса ударения.

— Поэтам это разрешается, — утешил я. — В прошлом веке рифмовали Байрон.

— Одно дело Байрон, другое — моя Люся, — ответил Севка.

Пошли воспоминания о довоенных годах. Потом Андрей сказал:

— Теперь в тебе я могу быть уверен. В отличие от многих ты не ошибешься, произнося фамилию моей жены.

И вдруг добавил:

— Как жаль, что ты не рассказал мне про Севу еще тогда, где-нибудь на Спиридоньевке. И я узнал бы о тебе, — это уже к Люсе, — на тридцать лет раньше.

Столь свойственное Андрею высокое остроумие ломоносовского толка («сближение далековатых понятий») поражало меня и в разговорах около физики. Не мне писать о научных достижениях Сахарова, тем более вряд ли кому интересно, что и как я понял в его объяснениях и рассказах.

Поэтому ограничусь парой общедоступных примеров. Когда американцы долетели до Луны, Андрей сказал:

— Наконец-то $H \gg R$. А то было лишь соревнование титулов: астронавты, космонавты! Как «чемпионы мира» по французской борьбе в старом провинциальном цирке. Астрозвезды, космос, колумбы Вселенной... И это при $H \ll R!$ В 15-м веке было без бахвальства... Если $L \ll R$, то каботажное плавание, а вот у Колумба действительно $L \sim R$. (Здесь R — радиус Земли, H — высота, L — расстояние до материка.)

Весною 1971 года (сужу по автореферату) мы оба были оппонентами на защите докторской диссертации. Произошла какая-то задержка, и в ожидании начала мы болтали, сидя на подоконнике в широком коридоре МИФИ. А МИФИ — базовый институт Средмаша, так что добрая половина проходивших мимо нас профессоров и доцентов были совместителями и — хотя бы в лицо — знали Сахарова. Одни проходили, устремив взгляд строго вперед, другие — прижимаясь к дверям на противоположной стороне коридора, третьи (редкие) отклонялись в нашу сторону и здоровались с Андреем, кто за руку, кто кивком, а кто лишь движением глаз. Потом он заметил:

— Можно оценить не только знак и величину заряда, но и отношение e/m ...

Диссертант нервничал, опасаясь срыва защиты, и Андрей стал его успокаивать:

— Все будет в порядке. Чтобы отвлечься, попробуйте решить задачу. Я ее придумал для нового издания задачника

моего отца. Что будет происходить с цистерной при вытекании жидкости?

И нарисовал на чистом листке тетрадки с моим отзывом цистерну с дыркой в дне, но не посередине, а ближе к торцовой стенке. Слегка обалдевший диссертант убежал, не поняв, как мне кажется, о чем вообще идет речь, а Андрей сказал, что этой цистерной он уже загонял в тупик некоторых своих академических коллег, специалистов в области административной физики.

— Так какого черта ты дал ему задачу на засыпку?

— Ну, он же хороший физик. Я ведь прочитал его диссертацию.

Андрей всю жизнь любил придумывать задачи и испытывать на них собеседников. В этом было что-то от переписки ученых XVIII века с их брахистохронами и цепными линиями. Однажды Люся позвала нас с женой на пироги, и Андрей похвастался, что, когда он рубил сечкой капусту для начинки, ему пришла в голову прекрасная задача о предельном значении среднего числа углов. (Она приведена в юбилейном сборнике, посвященном его 60-летию...)³.

Слово «однажды» надо здесь понимать в самом прямом смысле. За четверть века между XX съездом и началом афганской войны я был дома у Андрея считаное число раз, а он у меня и того меньше. Уже повсеместно господствовала культура кухонных посиделок, и мы оба по отдельности принадлежали этой культуре (см. стихотворение В. Корнилова про вечера на кухне у Андрея Дмитриевича)⁴, но наше приятельство оста-

валось уличным. Когда в Москве только-только появились привезенные из-за бугра «Прогулки с Пушкиным», Сахаров заметил, что так можно было бы назвать наши студенческие хождения от Манежа до Бульварного кольца. Поэтому я позволил себе украсть у Синявского название. Надеюсь, что Андрей Донатович простит мне это.

III

В марте 1980 года в Горьком проходила конференция по нелинейной динамике. По старой памяти устроители пригласили и меня, и я поехал в надежде навестить Андрея. За два месяца, прошедших с начала горьковского пленения, развеялись все иллюзии, первоначально созданные казенными источниками. Изоляция была полной: дверь квартиры охранялась милиционером, а контакты вне стен дома (в том числе и научные) подпадали под некий негласный, но высочайший запрет, которому без сопротивления покорствовали все тамошние ученые. Время же фиановских командировок к опальному старшему научному сотруднику Теоротдела еще не наступило. А самостоятельных визитеров «фирма» перехватывала и отправляла назад, в Москву.

План мой был прост и бесхитростен. Мы должны были случайно встретиться у киоска «Союзпечати», в вестибюле Дома связи, что напротив мухинского памятника молодому Горькому. Там же находился и переговорный зал междугородного телефона, откуда Сахаровым иногда удавалось поговорить с Москвой (домашнего телефона, как известно, не бы-

ло). Так что поход Андрея на телеграф не нуждался в наружном сопровождении. Моя партия не уступала в естественности: где еще есть столько открыток с видами города для моего младшего сына? Все это я передал Люсе, которая тогда еще могла совершать челночные наезды в Москву. И единственная принятая предосторожность состояла в том, что я никому не похвастался своими намерениями.

В назначенное время, в предпоследний день работы конференции, я успел купить пять открыток, прежде чем почувствовал дыхание над ухом. Мы вышли на площадь, и я повел Андрея в сторону Ошары, потом переулками, и наконец в пустом проходном дворе мы обнялись и поцеловались. Первый раз в жизни, как заметил потом Андрей. Оба были взволнованы. Андрей вдруг начал бормотать: «Мой первый друг, мой друг бесценный...». Я неуклюже отшутился:

— Какой из меня Пушкин? Да и тебе Бог не дал пушкинского таланта дружить. А если упорядочить наших физфактовских, то для тебя первым будет Петя Кунин. А я потяну разве что на Горчакова:

Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

— Горчакова надо еще заслужить, — неожиданно осадил Андрей. — Горчаков предложил Ивану Пушкину заграничный

паспорт и место на корабле! Да и «фортуны блеск холодный» совсем уж не про тебя.

Часа два мы пробродили по городу. Зашли в Кремль, Андрей купил билеты на концерт и окончательно уверился в том, что за нами нет хвоста: огромный кремлевский двор перед кассовой сторожкой был пуст. Разговор шел рваный, с перескоками и ассоциативными ходами. Я хорошо знал старую часть города и вполне справлялся с обязанностями гида. После какого-то моего воспоминания Андрей сказал:

— Вот сейчас я понял, какой я был сволочью, что даже не пытался найти тебя, когда проездом оказывался в Горьком. Как раз в твой последний, безнадежный год здешней жизни...

— У тебя тогда хлопот был полон рот... Это Женькины слова, он тоже казнил, что долг и запреты взяли верх.

— Когда ты видел Женю? Где?.. — вопросы Андрея поразили меня настойчивой заинтересованностью. Он ведь многие годы работал вместе с Женей Забабахиным, а я после 1941 года видел Женю всего один раз. Поздней весной 1957-го, когда Кот Туманов, случайно встретившись, затащил его к себе и тут же вызвал меня по телефону. Андрей попросил подробностей. Среди них была и такая. В студенческие годы Женя жил в общежитии, иногда уезжая к родным в подмосковную Баковку («Забабахин в Забабаковке живет...»). Во время застолья у Туманова, будучи уже навеселе, мы стали раскручивать футурологический сюжет: Забабахин получает вторую Звезду, на родине дважды Героя сооружают бронзовый бюст и его имя присваивают единственному баковскому предпри-

ятию союзного значения. Оно, конечно, печатает картинку этого бюста в качестве фабричного знака на бумажных упаковках своего изделия, и Забабахин становится самым популярным Героем для взрослого мужского населения страны...

— А в расширенном и пополненном издании бодуэновского словаря появится глагол «забабахнуть», — безынерционно завершил мой рассказ Андрей. Несмотря на уникальное воспитание, его не коробили ни истории боккачиевского жанра, ни, скажем, натуральная речь министра Ванникова. И в недельной байке «укрепи и направь» его оскорбила не скабрёзность, а наглая циничность отношения имеющих власть к создателям ее могущества. Однако его огорчала натужная и нарочитая матерщина Я. Б. Зельдовича. В ней Андрей видел, вспоминая при этом «Маугли», желание и цель показать генералам и иже с ними: «Я — ваш! Мы одной крови!».

От Забабахина разговор, естественно, перешел к «нашим». Андрей всегда жалел об обрыве непрочных связей университетской поры, но только здесь, в Горьком, стал спрашивать про однокурсников. И тут меня, в который раз, поразила быстрота его реакции. Рассказывая о гибели в горах Кота Туманова, я упомянул, что потом при разборе его бумаг нашлась старая тетрадь с изложением нашей крамольной теории. Суть ее, в переводе с эзопова языка тетради на современный, состояла в следующем. Творцы научного коммунизма (да и утопического тоже) рассматривали лишь равновесное состояние «рая на земле», оставляя в стороне — по причине математического невежества — вопрос об устойчивости этого

состояния. Между тем, если в ансамбле идеальных людей, исповедующих принцип «человек человеку — друг, товарищ и брат», возникает как флуктуация злодей с тираническими намерениями, то все остальные своей доброжелательностью будут способствовать его возвышению, и от первоначального однородного благоденствия ничего не останется. С другой стороны, в мире, живущем по Гоббсову закону «человек человеку — волк!», любой выскочка осаживается соседями и конкурентами, и ансамбль — хотя бы в малом — устойчив. Вся эта ересь камуфлировалась уравнениями, относящимися к перевернутому и обычному маятникам и к пучкам гравитирующих или отталкивающих, по Кулону, частиц.

Андрей сразу же обогатил наши аналогии. Перевернутый маятник можно сделать устойчивым динамической стабилизацией — принудительными осцилляциями точки опоры. А в случае пучка частиц нужен сверхсильный центр, заставляющий частицы двигаться по предписанным кругам. Как в кольцах Сатурна. И наоборот, прямолинейный пучок заряженных частиц при насильственном закручивании сильным магнитным полем теряет устойчивость из-за эффекта отрицательной массы...

Я рассказал, как мама Кота уговаривала его друзей кончать с альпинизмом, а потом, уже на улице, Рем Хохлов сказал:

— Чтобы выдержать год партийно-начальственной суеты, мне необходимо хотя бы полтора месяца пробыть в горах.

— Хорошо, что ты запомнил эти слова, — обрадовался Андрей. — Теперь я понимаю, почему Хохлов казался мне белой

вороной в высшем эшелоне управляющих наукой, он был смелым человеком не только в горах.

Стоял сырой и промозглый мартовский день. Я пришел на свидание уже простуженным, Андрей тоже слегка продрог, а пойти было некуда*. В ресторане или кафе — если и попадешь — не рассидишься в обеденное время. Да и какой разговор, когда столы на четверых и рядом сидят чужие люди. Но тут меня осенило и я повел Андрея во Дворец партпроса на улице Фигнер. Там не было ни души, и, не дойдя до библиотеки, куда нас с радостью пропустила вахтерша, мы нашли уютный загончик неработающего буфета с пустыми столиками и уютными полукреслами.

— Ты — гений! — воскликнул Андрей.

А когда позже мы спустились в кафельно-фарфоровое великолепие, рассчитанное чуть ли не на сто персон, он ахнул:

— Пятый сон Веры Павловны!

Поднимаясь обратно в цокольный этаж, я понял, что с сердцем у Андрея совсем неважно. По городу мы шли не торопясь, но без остановок, а тут ему требовалось постоять посреди лестничного марша.

В буфетном загоне было чисто, тепло, светло, и за все время — а мы просидели там часа три — мимо нас не прошло ни одного человека. Подкрепившись бутербродами, захваченными мной на случай возможного провала, мы наслаждались не-

* Я вспомнил присловье моего горьковского друга Миши Миллера. «Кругом бардак, а пойти некуда». Очень оно понравилось Андрею.

торопливой беседой. Андрей похвастался изящным решением матричного уравнения, расспросил о моих занятиях и в ответ на мой вопрос сказал:

— Моя заветная мечта — дожить до того времени, когда все будет ясно с временем жизни протона... — и стал детально объяснять проекты гигантских экспериментов по определению этого времени. Потом разговор снова перекинулся на людей. Его ужасно огорчал академический сервизизм, обусловленный не смертельным страхом, как в былые времена, а обычными карьерными соображениями, желанием обезопасить «выездной» статус или руководящее кресло.

— Тогда в ФИАНе обстановка напоминала контору домоуправления. В ЖЭКе не выдают никаких справок, пока не предъявишь расчетную книжку с уплаченной квартплатой. А у нас не выдавали характеристик ни для защиты диссертации, ни для заграникомандировок, пока не подмахнешь квитка с осуждением Сахарова. Только Виталию Лазаревичу удалось уберечь наш отдел от этого унижения.

Незадолго до нашей встречи проходило Общее собрание АН, на котором, согласно Уставу, члены АН обязаны присутствовать, и эта их обязанность всегда подчеркивается в пригластительном извещении. А тут Сахарову сообщили, что его участие не предусмотрено.

— Зачем Президиум АН берет на себя полицейские функции? «Не предусмотрено» совсем иными инстанциями, а дело АН, четко определенное Уставом, — известить!

Андрей стал обсуждать со мной придуманную им акцию. Пусть двенадцать академиков (ему почему-то хотелось, чтобы их было именно двенадцать) в официальном порядке возбудят чисто процедурный вопрос об отказе Президиума выслать положенное Уставом извещение действительному члену АН. Кто согласится? Капица, Леонтович, наши — Андрей и Женя (Боровик-Романов и Забабахин), еще несколько имен... Дюжина не набиралась. А в других городах? Вот в Ленинграде Жорес Алферов — прекрасный физик. Я засомневался, вспомнив казариновскую историю. Жена физтеховского теоретика устроила на квартире выставку работ левых художников. Сам Казаринов в дни выставки — от греха подалее — не жил дома. Руководство Физтеха (Тучкевич, Алферов и др.) не только уволило его, но и провело через Ученый совет ходатайство в ВАК о лишении ученых степеней и звания. ВАК, правда, оказался менее кровожадным и не удовлетворил просьбу ленинградских физиков.

— Не угадали родители, — сказал Андрей. — Им следовало, раз уж так хотелось французского, назвать сына не в честь пацифиста Жореса, а дать ему стандартное имя Марат.

И снова, уже не неожиданный для меня, скачок в другое время:

— Какая жалость, что Пушкин сжег «Автобиографические записки». И есть только маленькая заметка о Будри. А в «Записках» небось эта тема была развита со всей многогранностью. В Лицей, первоначально затеянный для обучения младших братьев царя, берут профессором брата царе-

убийцы Марата! Ты помнишь пушкинскую запись о Скарятине и Жуковском? Убийца отца императора мирно беседует с воспитателем наследника престола... А ведь Лицей ничем не был отгорожен от Царскосельской резиденции! У них, значит, совсем не было отдела кадров. А вот в ЛИПАНе кадровики в два счета уволили Давыдова только за то, что его жена раньше была замужем за аккомпаниатором Вертинского. Не зря хлеб ели!

Разговор вернулся к двенадцати академикам. В глубине души Андрей любил свою Академию и ему очень хотелось, чтобы к ней вернулось былое чувство собственного достоинства. Пусть она заступает за своих сочленов, а не спешит угодить начальству. Я не разделял его надежд. В разгаре словопрения я неосторожно ляпнул, что оно напоминает исторический разговор Сталина с Пастернаком, когда Сталин говорил, что писательский союз должен грудью стать на защиту собрата по перу, а Пастернак отвечал, что этот союз уже давно таким делом не занимается. Андрей опешил:

— Значит, я в роли Сталина, а ты — Пастернак? Ну, спасибо. У юристов такое называется: добавить к ущербу оскорбление.

Часов в шесть мы покинули Дом партпроса. У Андрея была бумажка с адресом Марка Ковнера, там остановился приехавший из Москвы Алик Бабеньшев. О его намерении прогнаться к Сахарову я слышал краем уха недели две тому назад. Андрей совсем не знал улиц Горького, и я проводил его до подъезда. Но мы не успели попрощаться. От дверей дома

к нам подошел мужчина в коротком пальто. Это был, как потом объяснил мне Андрей, его куратор — капитан Шувалов. Шувалов сказал, что он не имеет права задерживать Андрея, но если тот войдет в квартиру Ковнера, то находящийся там москвич будет немедленно увезен на вокзал, так что встреча все равно не состоится. Затем Шувалов повернулся ко мне, но Андрей мгновенно перехватил его:

— Тогда, конечно, я не пойду к Ковнеру. А могу я пригласить к себе домой старого друга... старого университетского товарища, — поправился Андрей, — которого я случайно встретил сегодня на улице?

— Вы специально приехали к Андрею Дмитриевичу? Вы работали вместе с ним в Москве?

— Нет, — не дал мне ответить Андрей. — Мы никогда вместе не работали. Мы вместе учились еще до войны, он — мой старый университетский товарищ, он приехал в Горький на конференцию, и мы случайно встретились на улице.

Шувалов попросил показать командировку; став под уличным фонарем, внимательно прочитал и ее, и пригласительный билет участника конференции, задал еще несколько уточняющих вопросов (тут уж отвечал я), а потом сказал, что не в его власти разрешить посещение. И отошел. Ковнер жил рядом с магазином «Научная книга», и Андрей предложил мне зайти туда. Внутри, около книжных полок, Андрей сказал, что теперь понятно, почему не было хвоста. Они знали конечную цель его похода в город и спокойно ждали в точке прихода. Как в кинетической теории газов, неведомой для

них, они законно пренебрегли возможностью двойного соударения!

Магазин закрывался, а у входа нас поджидал Шувалов. Он попросил еще раз посмотреть мои бумаги и вдруг сказал, что мне разрешается навестить Андрея Дмитриевича.

— Спасибо, — ответил Андрей. — Но сегодня мы уже наговорились, да и время позднее. Так что Михаил Львович лучше воспользуется вашим разрешением завтра или в следующий приезд, когда моя жена будет в Горьком.

Шувалов ушел.

— Тут у него машина с рацией, — сказал Андрей. — Но хвост за нами, конечно, пойдет.

По дороге к остановке автобуса на Щербинки мы условились, что если я не разболеюсь за ночь, то утром в 11 буду внутри маленькой почты рядом с домом 214 на проспекте Гагарина. А уж оттуда Андрей поведет меня к себе. Так будет надежнее.

— А что тебе говорили Александры Ивановычи? — вдруг спросил Андрей.

— ?

— Ты что, забыл, как Александр Иванович Тургенев говорил Пущину: «Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским, и духовным?»

— У меня не было Александра Ивановича. Я даже Наташе не говорил о своих планах. Чтобы она не волновалась.

— А вот Бабенышев, к сожалению, рассказал, должно быть, самым близким друзьям. И пошла диффузия.

В последние минуты, на автобусной остановке, когда, казалось, все уже было сказано, Андрей как-то отстраненно произнес:

— Все-таки я был прав, и к тебе можно отнести стихи, написанные Пушкину. Те, что до 14 декабря:

На стороне глухой и дальней
Ты день изгнания, день печальный
С печальным другом разделил...
Где ж молодость? Где ты? Где я?

Ночью у меня было 38°, а утром, ни свет ни заря, примчался перепуганный заместитель директора института — организатора конференции. По его словам, некий высокий чин из КГБ устроил ему выволочку за то, что московский участник имел встречу с Сахаровым. И пригрозил прикрыть все последующие мероприятия с участием москвичей. Я ответил, что не считаю себя вправе разрушать научное благополучие горьковской физики. И поэтому не буду искать встреч с Сахаровым, находясь в Горьком по приглашению института. Это обещание я сдержал. Три последующие встречи с Андреем произошли в мое отпускное время, когда я гостил у друзей в деревне под Горьким.

В августе 1980-го наше свидание вначале в точности шло по мартовскому сценарию. Но потом пошли отступления. Андрей сказал, что Люсе очень хочется принять меня по-человечески, дома, и предложил такой план действий. Я еду автобу-

сом до Щербинок, где Люся поджидает меня в открытой лоджии их квартиры на первом этаже. Она окликает, и мне остается лишь перемахнуть перила лоджии.

— Тут нет ничего незаконного. В любом государстве мужчина имеет право пройти к знакомой даме — если она его приглашает! — не в дверь, а через балкон. Как Ромео к Джульетте. Претензии могут быть только у мужа или родителей... А я приеду следующим автобусом.

Приехав в Щербинки, я обнаружил, что «донны Люции на балконе» нет, а дверь из лоджии во внутренние покои закрыта. Оконные стекла неосвещенной квартиры не позволяли разглядеть, есть ли кто в комнатах, да и не для моих глаз такое занятие. Я вытащил данную мне Андреем бумажку с планом местности, но не успел свериться. Передо мной возник милиционер:

— Что вы здесь высматриваете?

— Пытаюсь понять, где живет мой знакомый.

— Кто?

— Андрей Дмитриевич Сахаров.

— Пройдите со мной в опорный пункт. Вам там все объяснят. В опорном пункте милиции, окна которого выходили как раз на лоджию Сахарова, дежурный начальник, изучив все страницы паспорта, спросил:

— Вы что, не знаете, что к Сахарову нельзя?

— Слухи об этом до меня доходили. Но вот несколько месяцев тому назад мы с Сахаровым встретили на улице его куратора, и Шувалов сказал, что я могу навестить Андрея Дмитриевича дома.

— ?!. Подождите... — и начальник с моим паспортом ушел в другую комнату. Ждать пришлось около часа. Через окно я увидел подъехавшую машину, вошел сам Шувалов, узнав кивнул головой и провел меня мимо вскочившего у своего столика милиционера в сахаровскую квартиру. И до сих пор я не знаю, как согласовать весенний испуг горьковских физиков и поведение «благородного злодея» Шувалова. Мне хотелось думать, что служебный долг не смог помешать Шувалову испытывать к Сахарову чувство глубокого уважения. А может быть, и симпатии. Позже, уже в Москве, Андрей ответил мне так:

— Как некоторые чиновники, приставленные к Сперанскому во времена его ссылки? Может быть, ты и прав. Не только крестьянки чувствовать умеют.

Когда я, сидя на казенном стуле и у казенного стола в казенной сахаровской квартире, рассказал о пребывании в опорном пункте (там и днем горел свет, так что они видели меня сквозь стекла окон), Андрей сказал, что он проиграл в уме всю ситуацию и процентов на 60 рассчитывал именно на такой исход. Только он не думал, что все будет так быстро. И упрекнул и меня, и себя, что мы с ходу не «продлили разрешения» на следующие разы.

— Ладно, будем считать, что тогда он сказал не «навесить», а «навещать».

Я не буду пытаться воспроизвести здесь беспорядочный разговор во время застолья. Тем более что вели его в основном Люся и я, а Андрей явно наслаждался, слушая жену, и только изредка вставлял реплики. Не помню уж, в связи с чем я про-

цитировал «Сон Попова», и вдруг выяснилось, что Андрей даже не слышал раньше про это произведение. У них дома было лишь дореволюционное издание А. К. Толстого.

— Прочти, что помнишь, — попросил Андрей.

Я не раз читал «Сон...» моим и чужим детям и практически знал его наизусть. По окончании моего сольного выступления я еще раз подивился тому, что Андрей не знал «Сна», ведь его передают иногда по радио. Запись исполнения Игорем Ильинским.

— Теперь существует еще одна запись! — засмеялся Андрей и, показав пальцем в потолок, добавил, что и эта запись достойна широкой аудитории.

Нам было хорошо сидеть за столом, уставленным Люсиными выпечками и припасами, неспешно вспоминать старое, немного судачить об общих друзьях и не принимать в расчет реальность, дежурившую за дверью и окнами. Андрей удивительно точно выразил это:

— А помнишь, как в «Татьяниной Церкви» (старый клуб МГУ) Анатолий Доливо пел: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью подождать...».

Мне надо было еще заехать за женой и детьми. Люся тоже в этот вечер уезжала в Москву, и они начали спорить: Андрей хотел посадить ее в поезд, Люся настаивала на проводах до автобуса — ей не хотелось, чтобы Андрей один возвращался ночью в Щербинки. Когда я уходил, спор еще не кончился.

На вокзале, выйдя из вагона покурить, я увидел у подножки Андрея и Люсю. Оказалось, что касса предварительной продажи в Москве и ветеранская броня Люси свели нас чуть

ли не в соседние купе. Пришла Наташа, и мы вчетвером минут пятнадцать постояли на перроне. Остальные провожающие сидели внутри вагонов со своими уезжающими.

— Для меня такое «не предусмотрено», — сказал Андрей.

К 60-летию Андрея, уже зная, что летом буду снова гостить под Горьким, я послал через Люсю «Подражание Канцоне, написанной в мае 1931 года»⁵:

Неужели я увижу скоро —
Слева сердце бьется, лейся слава —
Прядь волос над польсевшим косогором,
И услышу голос твой картавый?

Словно в перевернутом бинокле
Еле различу я пункт опорный.
Красный цвет и желтый не поблекли,
Но всего устойчивей цвет черный.

Этот город был моей отрадой,
Несмотря на беды и обиды.
За окном видны дома-громады,
Где была лишь деревушка-гнида.

Не уложишь в ямбы и хорей
Тракт с тюрьмою старой, Арзамасский...
Я скажу «селям» куратору Андрея
За его малиновую ласку.

И припомню, чтобы подивиться,
Сколько у истории завалов —
При Елисавет-императрице
Был уже куратором Шувалов.

На столе фисташки, мед и творог —
Выложено все, что было в доме...
Неужели разменяли сорок,
Сорок лет, что мы с тобой знакомы?

Лишь держатель акций знает сроки
Птиц широкогрудых перелета.
От меня ж — на память эти строки,
Прозорливцу — дар от стихоплета.

— Никому, кроме нас с тобой, не понятно, — сказал при встрече Андрей, — но все равно возникает ощущение прошлогоднего чаепития в Щербинках.

Эта встреча, летом 1981 года, тоже началась у киоска «Союзпечати». Только на этот раз со мною пришла жена, а на площади в перегнанной к тому времени из Москвы машине

ждала Люся. Мы посидели часок в сквере у памятника Горькому, покатались по городу («в пределах строгих известного размера бытия», — вспомнил Андрей Вяземского), а потом надолго, до глубокой темноты осели на Откосе. Если не ошибаюсь, Сахаровы были здесь в первый раз, они освоили лишь берег Оки в окрестностях Щербинок.

Андрей расспрашивал о последних месяцах жизни незадолго до этого скончавшегося Михаила Александровича Леонтовича, сам рассказал про привлечение Леонтовича к работам по управляемому термоядерному синтезу. Именно тогда, от Андрея, мы узнали, что Берия действительно произнес фразу «Будытэ слэдыт, не будэт врэдывт», которую раньше считали апокрифом. Настроение у Андрея и Люси было подавленным. Их очень мучила вся ситуация с Лизой Алексеевой, и мы долго проигрывали различные варианты ее вызволения. И для меня впервые прозвучала мысль о голодовке. Тогда, правда, еще в предположительном наклонении, как о возможном крайнем средстве.

На Запад уже полетели первые ласточки дезинформации о благоденствии Сахарова в Горьком. Андрей с горечью сказал мне:

— Не хватает, чтобы мы с Люсей стали распевать куплет Василия Львовича:

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!*

* Рефрен послания В. А. Пушкина к нижегородцам в 1812 г.

Дом, где мы с женой остановились в Горьком, стоял на Откосе, у меня в кармане лежали ключи, но... Я вспомнил «честное купеческое слово», данное на другом волжском откосе**.

— Не переживай, — утешил меня Андрей. — Надо уметь входить в обстоятельства друзей. Особенно если они для пользы дела, а не личные, как у Якова Борисовича. Сейчас я, пожалуй, не подал бы ему руки...

Мы проводили Сахаровых до машины, оставленной на параллельной Откосу улице. Постояли около нее с полчаса. Кругом ни души.

— Будем считать, что на этот раз нас не зафиксировали, — сказал Андрей.

Через пять лет нас с женой снова пригласили провести часть отпуска под Горьким. За эти годы положение круто изменилось. Прошли голодовки. Несмотря на поездку для операции в Штаты, Люся оставалась ссыльной, и все каналы связи были наглухо перекрыты. Поэтому в день отъезда Наташа и я с утра поехали в Щербинки, надеясь на удачу. День был пасмурный, моросило. Улица и двор были пусты. Мы постояли около лоджии, обошли дом, понимая, что на втором круге нас, скорее всего, засекут из окна опорного пункта. И удача нам улыбнулась! Оса запуталась в веточках домашнего цветка, и Андрей вышел в лоджию, чтоб выпустить ее на волю. Наташа окликнула: «Андрей Дмитриевич!...» Он махнул рукой, и мы отошли под навес соседней почты, куда он выбежал в одной домашней куртке.

* См. последнее действие «Бесприданницы» А. Н. Островского.

Минут сорок мы простояли незамеченные, беспорядочно разговаривая обо всем сразу. Андрей опасался, что нас могут растащить, и начал расспрашивать про Чернобыль. У него была лишь официальная информация*. Я мало что мог добавить к ней. Еще Андрей попросил исправить его ошибку: во время недавнего приезда фиановцев его спросили, не хочет ли он снова заняться термоядом. Он ответил отказом, мотивируя тем, что давно отстал от этого дела, а тем временем термоядерная наука ушла далеко вперед. Сейчас же, взвесив все, он принимает это предложение. (В Теоретделе ФИАНа очень обрадовались, когда я сообщил им о согласии Сахарова.)

Было сыро и зябко. Андрей пошел за теплой курткой и, вернувшись, сказал, что Люся, несмотря на нездоровье, сейчас выйдет. Но еще раньше появилась «обслуга». Они прошмыгивали около нас, некоторые с фото- и киноаппаратами, и, не таясь, в открытую щелкали и жужжали.

— Поставщики Виктора Луя, — определила Люся.

Сахаровы всегда произносили Виктора Луи на русский лад. Ударение, впрочем, иногда, ради рифмы, переносилось: Луя́.

* Сколько административного идиотизма в том, что в предельно «нештатной» ситуации в Чернобыле никто — ни министры, ни академики! — не подумали (или не решились?) привлечь к ликвидации аварии Сахарова — мастера нетривиальных технических решений. А вот во время армянского землетрясения выпускали ведь из тюрем. И ничего, потом все выпущенные вернулись.

Обслуга не унималась, и Люся предложила попытаться сесть в машину и уехать. Нас не задержали, хотя плотно проводили до машины. Поехали в Зеленый Город — главную зону отдыха горьковчан. По дороге на маленьком рынке купили огурцы и помидоры, в магазине, кроме хлеба, нашли и сметана с творогом, дождь кончился. Сахаровы утром не успели поесть, и Андрей с удовольствием предвкушал «завтрак на траве». «Трава» обернулась грубо сколоченным столом с двумя лавками, такие столы заботами горсовета были раскиданы по роще Зеленого Города, слава Богу, на большом расстоянии друг от друга.

Наружное наблюдение утратило прежнюю наглость. В ближних кустах и за деревьями Андрей засек пару «статистиков». Время от времени мимо нас медленной походкой проходили какие-то штатские. Может быть, и обыкновенные прохожие. Парень приволок велосипед со спущенной камерой, выпросил у Люси автомобильный насос и, расположившись у нашего стола, полчаса «накачивал» камеру в режиме воздух-воздух.

В этой роще мы и провели несколько часов. Им было что рассказать о пяти прошедших годах... Сейчас обо всем этом можно прочитать в двух книгах воспоминаний Андрея и в Люсином «Постскриптуме». Настроение шло по синусоиде. Радость встречи чередовалась с глухой тоской от нынешней безнадеги. У меня и сейчас звучат в ушах Люсины слова:

— Нас тут уморят до смерти, а на Западе все еще будут крутить проданные Луем кагэбинные фильмы. И зрители возрадуются — вот как хорошо живет Сахаровым в Горьком!

— Да и вас с Наташей могут теперь показать на американском экране. Так что и тебе недалече до Луёвых гор! — добавил Андрей, и я обрадовался отсылу к Пушкину*. Значит, не сломали его эти годы.

Напоследок покатались в дозволенном режиме границах. Перед отъездом в Москву Наташе и мне надо было навестить больного М. Миллера. Сахаровы довезли нас до его дома. Прощание было долгим и трудным.

Мы сидели в машине, говоря какие-то последние отчаянные слова. Андрей опять, как при первой нашей встрече, повторял пушкинские строки к Пушкину. У Наташи в глазах стояли слезы. У меня сорвалось: «Промчится год, и с вами снова я», но тогда в это не верилось.

Мы пересекли улицу, прошли сквозь арку. Сахаровская машина оставалась на месте...

Через час, уйдя от Миллера, мы сразу напоролась на милиционера, сопровождаемого штатским. Милиционер проверил документы, штатский показал свою книжечку и без обиняков спросил:

— Есть ли у вас какие-нибудь бумаги, переданные Андреем Дмитриевичем и его женой?

— Есть. Елену Георгиевну выпроваживали из Москвы с такой поспешностью, что она не смогла взять ряд вещей домашнего обихода. Она передала мне их список. Для отправки

* Луёвы горы «недалече» от корчмы на литовской границе («Борис Годунов»).

почтой. И еще она впопыхах увезла с собой сберкнижку мужа, на которую перечисляется его академическое жалованье. Эта книжка живет в Москве, с нее снимаются деньги для большого брата Андрея Дмитриевича.

— Я не буду проверять, есть ли у вас еще что-нибудь, но хочу предупредить. Сейчас Сахаровы пытаются всеми правдами и неправдами передать за рубеж лживые и клеветнические сообщения и призывы. И если в ближайшее время на Западе появится что-нибудь новенькое, то у нас не будет сомнений относительно источника. Вы свободны. Можете идти.

В моем кармане лежала согнутая пополам трехкопеечная ученическая тетрадка. На ее внутренней обложке Андрей, сидя за столом в роще, нарисовал картинку. По старой памяти, как в студенческие времена, когда я завидовал его умению рисовать. Вот эта картинка. Каждый волен понимать ее по своему разумению.

IV

На другой день после исторического звонка Горбачева я позвонил в Горький. Пересказав разговор, Андрей добавил:

— Сегодня у меня знаменательный день. Первый раз за семь лет без месяца я переступил порог научного учреждения. И не простого, а академического! Привозили в Институт прикладной физики на свидание с Марчуком. Так что сдавал меня один президент, а принимает другой. Подробности при встрече.



— Когда?

— Боюсь, что не очень-то скоро. Надо ведь, чтобы Люсе отменили ссылку. А юристы торопиться не любят.

Получилось, конечно, скоро, и началась московская круговерть в жизни Сахаровых. Только через несколько недель они выкроили — уж не знаю как! — целый свободный вечер, и мы снова вчетвером сидели за столом, теперь уже в четырех стенах. Разговор был куда веселее, а харч побогаче, чем в Зеленом Городе, и Андрей мог подогреть свою долю на газовой плите. Сахаровы были полны планов и намерений. Люся даже показала длинный список неотложных дел, по моей оценке ме-

сяца на три. Я пошутил, что им еще надо отдать мне четыре визита.

— Домашний только один! — осадил Андрей. — А улочные набегут сами, если считать поштучно.

— Нет уж, тогда считай по чистому времени.

— Дай Бог, наберу и по сумме всех τ_i .

За отпущенные Андрею еще три года жизни сумма τ_i , я думаю, набралась. А вот домашний визит не получился, хотя Андрей не раз вспоминал о своем «долге». И однажды, забежав ко мне на несколько минут, подчеркнул, уходя, что «это не считается».

Речь за столом шла и о Чернобыле. Андрей за это время успел заpastись кое-какой информацией, а я принес ему нечаянный плод моего касательства к предыстории катастрофы, о котором я говорил еще в Горьком. Летом 86-го дачные знакомые — механики Г. И. Баренблат и А. А. Павельев — обратились ко мне с неожиданной просьбой найти у Шекспира слова леди Макбет: «Известно всем, что безопасность — всех смертных самый первый враг». Эта цитата, «подтверждая извечный принцип единства и борьбы противоположностей», венчала статью академика В. А. Легасова, В. Ф. Демина и Я. В. Шевелева «Нужно ли знать меру в обеспечении безопасности?», напечатанную в журнале «Энергия» в августе 1984 года В статье утверждалось, что вовсе не следует стремиться к максимальной безопасности в ядерной энергетике. Безопасность, математически характеризующаяся ценою риска, должна входить как слагаемое

в суммарный баланс различных факторов (экономический эффект, расходы, зарплата и т. д.), и надо искать оптимум соответствующей суммы. Ведь люди ценят не только продолжительность жизни, но и ее полноту, приятность, качество. Иначе они не летали бы на самолетах, не занимались альпинизмом, не рисковали бы жизнью ради богатства. «Затраты на защитные мероприятия отвлекают средства из других областей, в частности тех, где формируется качество жизни». Все эти рассуждения, разбавленные формулами, графиками и специальной терминологией, и подводили читателя к диалектической мудрости леди Макбет.

Но ни в одном русском переводе таких слов леди Макбет нет. Не говорила она их и по-английски. Однако в подлиннике есть слова «*And you all know security Is mortals' chiefest еpenу*». Только произносит их не леди Макбет, желающая мужу успеха, а предводительница ведьм Геката, стремящаяся погубить Макбета. И говорит она эти слова по делу: в любом комментированном издании Шекспира отмечается, что в его время *security* означало «легкомыслие, самонадеянность», а вовсе не «безопасность», как теперь.

Эти шекспировские изыскания сделали меня соавтором антилегасовской заметки, посланной нами под заголовком «Еще раз о культуре перевода» в «Литгазету». Там, конечно, учуяли мину и посоветовали обратиться в «Литучебу»...

Прочитав нашу заметку и ксерокс легасовской статьи, Андрей сказал, что рассуждения трех авторов — пошлый и подлый софизм. Человек вправе рисковать собственной

жизнью ради удовольствия, наслаждения или выгоды. В «Египетских ночах» трое мужчин — у каждого своя причина! — даже не рискуют, а сразу отдают жизнь за ночь Клеопатры.

Другое дело увеличивать «качество жизни» одной группы людей, в частности свое (награды, звание, служебное положение), ценою риска для других людей. И даже если последние тоже что-то выигрывают, то все равно необходимо получить их согласие на риск. Смешивать все это в одну кучу — то же самое, что приравнять героев книги нашей юности «Охотники за микробами», рисквавших собственной жизнью, к «врачам» концентрационных лагерей, ставившим опыты на заключенных.

Особенно разозлила Андрея еще одна литературная аргументация статьи:

«Человек, озабоченный исключительно своим здоровьем, уподобляется ворону из калмыцкой сказки, рассказанной Пугачевым в назидание молодому дворянину. Большинство людей отвергает такой стиль жизни».

— Как они смеют тянуть себе на подмогу Пушкина! Я бы на вашем месте включил в заметку ответ Гринева: «Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину». В назидание ученым мужам, привыкшим любое одеяло тянуть на себя.

— Но они хоть помнят «Капитанскую дочку». А я вот встречал академиков, полагававших, что «ежовы рукавицы» появились в русском языке лишь в 37-м году.

— Врешь! — и через минуту: — Послушай. Забавно, что истинный смысл «ежовых рукавиц» и лукавое толкование Петруши для немца-генерала относятся друг к другу так же, как истинные задачи III отделения и наказ императора Бенкендорфу: «Утирай слезы вдов и сирот!».

Я не знаю, пригодилась ли Андрею наша заметка на тех заседаниях по ядерной энергетике, в которых он принимал участие. Но он вспомнил о ней, когда стало известно о самоубийстве Легасова:

— Хорошо, что тогда не напечатали вашу заметку. А то бы тебя мучило: вдруг она стала той маленькой гирькой, которая потянула коромысло весов в сторону страшного решения... Знаешь, у меня один раз был затяжной приступ черной тоски. Такой, что если бы не дети и жена...

Андрей не кончил фразы, а я не решился задать вопроса.

Не надо думать, что Пушкин был для Сахарова чем-то вроде иконы, на которую можно только молиться. Конечно, его возмущали попытки — вроде легасовской — покрывать Пушкиным свои горшки, но добросовестное неприятие пушкинских взглядов и осуждение его поступков всегда вызывали у Андрея глубокий интерес и желание отцедить для себя крупицы истины. Еще в юности он предпочитал язвительно-го Писарева восторженному Белинскому. Да и сам Андрей не раз спорил с Пушкиным.

Пока Андрей жил в Горьком, в Москве скончался знаменитый математик — академик Иван Матвеевич Виноградов. У него не было родных, и с его наследством вышла очень не-

красивая полууголовная история. Часть утвари и библиотеки разобрали и разворовали, завещание оказалось сомнительным и чуть ли не подделанным. Личный архив покойного, состоящий в основном из писем, запихали в чемодан, отвезли в Стекловский институт, директором которого был Виноградов, а на другой день сожгли на заднем дворе.

Вернувшись в Москву, Андрей узнал все это от кого-то из академических знакомых и спросил меня, не знаю ли я подробности и причины. Его особенно возмущало сожжение архива. Жгли его не кадровики, для которых такое занятие является рутинным, а доктора наук, причем, как выразился Андрей, «из хороших фамилий». Подробностей я не знал, а о причинах мне рассказывали приятели-математики. После войны Иван Матвеевич заболел антисемитизмом. Причем не абстрактным, а весьма действенным: Виноградов обладал огромной властью в научно-административной сфере, намного превосходящей его институт, стерильно очищенный не только от евреев, но и от мужей евреек. Люди, бывшие у него дома, рассказывали, что зачастую, когда речь заходила о каком-нибудь математике, хозяин вытаскивал из ящика стола письмецо этого математика, сообщавшее, что автор — стопроцентно русский человек и крещен там-то и тогда-то, а вот у его конкурента на должность или академическое место мать жены — еврейка. И только ради спасения чести цвета отечественной математики стекловские доктора наук сожгли — не читая! — все письма, хранившиеся Виноградовым.

— Собачья чушь! — отрезал Андрей. — Неужели эта кучка сикофантов составляла цвет нашей математики? Не Сергей

же Новиков и Людвиг Фаддеев сочиняли такие доносы. Все куда проще. Небось у самих докторов или у их дружков-приятелей было рыльце в пушку! А ведь они сожгли, может быть, и письма великих: Харди и Литлвуда, Шнирельмана и Гельфонда. Но и блевотину эпохи нельзя жечь — она нужна истории... А те, кто придумал такое оправдание, они не ссылались на Пушкина? Мол, Пушкин радовался, что Мур сжег дневники Байрона. Тут Пушкин абсолютно не прав! Написал он это, я думаю, сгоряча, обидевшись на Левушку, читавшего в столичных салонах сугубо личные письма брата. И потом, за всю оставшуюся ему жизнь он ни разу не повторил эту мысль. Напротив, он больше всего ценил чужие дневники и воспоминания и кого только не тянул, чуть ли не силком, писать их. Слава Богу, Жуковский не сжег тетрадь, где написано, что дежурный офицер, увидевший голую жопу императрицы в ее последний час, имеет все основания писать мемуары... Забавно, в письме о Байроне Пушкин пишет, что не следует показывать великих людей на судне, а годы спустя сам каламбурит про Екатерину Великую:

...флоты жгла,
И умерла, садясь на судно.

Острое чувство слова проявлялось у Сахарова и в его интересе к каламбурам. В горьковские времена он получил записку с утешением: нет пророка в своем отечестве. Я тогда вспоминал два стиха из лагерной поэмы моих друзей:

Что ж, дайте срок, дождется пророка..
Пророку бы не дали только срока!

и Андрей несколько раз повторил вслух эти строки, передвигая ударение каждый раз на другое место.

Были у него и куда более серьезные упреки Пушкину. За «Записку о народном воспитании» и стихотворения 31-го года, названные Вяземским «шинельными». Имперская позиция, по мнению Сахарова, как эстафетная палочка передавалась через поколения. От Пушкина и Тютчева до П. Л. Капицы.

— Имперский дух им всем подгадил! Но они всегда с уважением говорили о противниках. Как и «бард британского империализма» Киплинг. Ведь баллада о Востоке и Западе написана про Афганистан, войну с которым Англия проиграла. А наши теперешние доморощенные киплинги только и умеют, что обливать врагов грязью и дерьмом. И все это в сочетании с глупой трусостью. Как в твоём рассказе о Шерлоке Холмсе*.

А к антисемитизму у Сахарова была жесткая и абсолютно бескомпромиссная ненависть. Любое, даже косвенное или за-

* Во время одной из наших встреч в Горьком я рассказал Андрею, что в телевизионном «Шерлоке Холмсе» по требованию начальства произвели переозвучивание. При первом — хрестоматийно знаменитом — знакомстве Холмс сразу угадывает, что Ватсон вернулся из Афганистана, где как раз идет война. Велено было заменить «Афганистан» на «восточные провинции».

чаточное его проявление вызывало мгновенный отпор. Тут и чувство юмора изменяло Андрею. Вскоре после начала работы Первого съезда он спросил у меня: видел ли я по телевизору Станкевича? Говорят, что у него очень похожая картавость. Так ли это? Ведь человек своего голоса по-настоящему не знает. Я брякнул, что картавят люди моей породы, а они со Станкевичем грассируют. И получил от Андрея форменную выволочку.

К С. Станкевичу и еще нескольким молодым депутатам он относился с какой-то трогательной надеждой.

— Ведь он старше моего Димки всего на пару лет! Их поколению расхлебывать старое и сооружать новое. А наше дело долго не протянет... Помнишь, сразу после войны привезли песенку стариков-фольксштурмистов:

Wir — alten Affen
Sind neue Waffen*.

Впрочем, когда начали заниматься neuen Waffen, я был вполне молодой обезьяной. Как нынешний Болдырев... А Пушкина в Лицее звали «смесь обезьяны с тигром»... — нырнул Андрей в начало прошлого века.

Модные сейчас рассуждения о глубокой религиозности позднего Пушкина Андрей не принимал всерьез. Конечно, Пушкин восхищался Библией, перечитывал ее и знал лучше

* Мы, старые обезьяны, и есть новое оружие.

инобогослова. Еще в Михайловском — «Шекспир и Библия». Без Библии не было бы не только стихотворений последних лет, но и «Анчара». Однако в 25 лет он написал цикл «Подражания Корану», а позже гениальное «Стамбул гяуры нынче славят...», пропитанное мусульманской нетерпимостью. Почему бы тогда не утверждать, что Пушкин склонялся к исламу?

Когда аятолла Хомейни приговорил к смерти писателя Рушди, чем-то оскорбившего любимую жену Пророка, некоторые наши патриоты, считая, конечно, смертный приговор чрезмерным, с пониманием отнеслись к оскорбленным религиозным чувствам иранских фанатиков и полностью одобрили их праведный гнев, близкий по духу к инвективам «литроссиян» против Синявского. В связи с одной из публикаций такого толка Андрей заметил:

— Рушди — теленок по сравнению с нашим Пушкиным. Во всей мировой литературе нет произведения более кощунственного для истинно верующего христианина, чем «Гавриилиада». Божия Мать прямо перед тем, как понести от Святого Голубка, с охотой отдавалась Лукавому и Архангелу! А у Рушди всего-навсего намек на неблаговидное поведение Айши. Нашим «хомейни» следовало бы предать сочинителя «Гавриилиады» вечному проклятию, а заодно пригрозить смертью всем издателям его сочинений. И я понимаю, что Пушкин был навсегда благодарен Николаю за то, что тот закрыл «дело» и спас его от пожизненного заточения в монастырь. Полежаева ведь за обыкновенную студенческую похабщину отдали

в солдаты... А какие стихи! Все гаремные описания в «Бахчисарайском фонтане» — бледная тень по сравнению с тем, что в «Гавриилиаде». И сколько озорства! Забавно*, что почти в одно и то же время Пушкин одалживает у Крылова «самых честных правил» для «моего дяди», а «Шестнадцать лет... бровь темная...» в описании Марии заимствует из «Опасного соседа» своего дядюшки! И заметь, что Пушкин всюду снижает небесное начало Богородицы — «с сыном птички и Марии!» — и подчеркивает ее земную прелесть. Вот и в «Мадонне» ему хочется иметь картину «без ангелов». Само сравнение невесты с Пречистой Девой достаточно греховно. Пушкин страстно торопил свадьбу с Натальей Николаевной вовсе не для того, чтобы на нее молиться... В дневнике есть запись: «Я очень люблю царицу». Я думаю, что в приступах поэтического воображения он бывал неравнодушен и к Царице Небесной. Так что стихи:

Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа

— упрек не только рыцарю бедному, но, в какой-то степени, и самому Пушкину... А эти, вместо живого, противоречивого Пушкина, пытаются сотворить новый миф. Раньше все время напирала на народность. Теперь — на православие поэта, то-

* Андрей часто употреблял это слово. По его наблюдению, мы оба заразились «забавно» от М. А. Леонтовича.

го гляди дойдут и до последнего члена уваровской триады — самодержавия.

Кстати, о мифотворчестве. В «Книжном обозрении» напечатали статью Г. Ханина о пробуксовывании нашей науки, статью хорошую и дельную, но, к сожалению, с перехлестами. Например, утверждалось, что к антисахаровским заявлениям принудили практически всех членов АН, не поддались только П. Л. Капица, И. Е. Тамм, В. А. Энгельгардт и еще два-три академика. Я написал письмо в «КО»: не замаралась большая часть списочного состава АН; что же касается названных поименно, то правильно указан лишь Капица. Конечно, Тамм не принял бы участия в такой недостойной кампании, но он умер за два года до ее начала. А Энгельгардт подписал обе академические коллективки — «сороковку» и «нобелевскую».

Узнав, что моя заметка не пошла в печать (из-за переполненности портфеля редакции), Андрей сказал:

— Миф всегда выигрышней и понятнее действительности... «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман...» Лет через десять станут писать, что Комитет поддержки объявившего голодовку астрофизика имел предметом не доктора Хайдера, а академика Сахарова. И что председатель этого Комитета не на командировочные тысячи летал в Вашингтон, а за свой, кровный четвертной купил туда-обратный билет в Горький... Я тогда очень переживал поведение Энгельгардта. Какой великолепный человек скурвился! Интеллигент высшей пробы. Патриций... Евгений Львович рас-

сказывал прелестную историю. В газетах писали про открытие новой частицы, предсказанной теоретиками, и в перерыве Общего собрания АН Энгельгардт спросил об этом Д. В. Скобельцына. Тот выставил замену — стоявшего неподалеку Е. Л. Фейнберга. Когда членкор Фейнберг закончил объяснения, академик Энгельгардт повернулся к академику Скобельцыну и с легким поклоном сказал:

— Спасибо, Дмитрий Владимирович!.. Слава Богу, у «Илиады» не болел живот*.

Сахаров был прав — мифотворчество продолжается. Не прошло и года со дня его смерти, а уже в «Известиях» можно прочесть: «Николай Вавилов, Петр Капица, Николай Семенов, Андрей Сахаров своими позициями и поступками спасали честь отечественной науки». Семенов — великий ученый, на счету которого немало добрых дел, но его подпись стоит под обоими поносными письмами, в которых Сахаров клеймится как раз за то, что сейчас называется спасением чести нашей науки. Так что столь близкое соседство в обойме на четверых не удивит лишь людей с очень короткой памятью.

— Самое противное в академическом начальстве — это сочетание сервизма по отношению к высшей власти со шляхетским высокомерием к тем, кто является настоящим костью науки, — сказал Андрей, узнав о реплике «Чернь

* «У «Илиады» болит живот!» — концовка античного анекдота о богаче, который завел живой цитатник из обученных рабов.

пытается навязать нам свою волю», отпущенной одним из вице-президентов во время мятежа академических институтов. И добавил: — Сейчас у нас вместо кухарок вице-президенты Академии наук. Каждый рвется управлять государством. Лезут через все щели в народные депутаты. Один даже через Общество шведско-советской дружбы.

В разгар выборных баталий мне вспомнились пушкинские стихи:

Оратор Лужников, никем не замечаем,
Мне мало досаждал своим безвредным лаем.

— Времена меняются, — ответил Андрей. — Но все равно попридержи язык. «Сейчас не время помнить...» А то подхватит какой-нибудь газетчик.

В своих публичных выступлениях, в том числе с самых высоких трибун, Сахаров часто пользовался привычным обращением «товарищ». Честно говоря, я не замечал этого, пока не начала жить «Московская трибуна». Уже на первом учредительном собрании, с легкой руки Л. М. Баткина, основной формой стали «коллеги!». И иногда «друзья!», в особых случаях «господа!», а если кто и говорил «товарищ!», то сразу же поправлялся. Один только Андрей оставался «со товарищи!». Позже он ответил мне, что эмоциональная окраска слова, его ± значение образовались у него в детстве. И «товарищ» пришел к нему не с газетных страниц, а из «Капитанской дочки», «Судьбы 120 товарищей, братьев...», «К Чаадаеву»...

— Что ж, теперь прикажешь читать: «Коллега, верь: взойдет она...»?

А вот слово «патриот» до сих пор существует для него в двух ипостасях. Французская, из «Марсельезы» и Виктора Гюго — со знаком плюс. А на русской стоит клеймо «Господина Искарियोтова» и щедринского «потреотизма».

Запинки и сбои в речах, принимаемые многими за легкое косноязычие, на самом деле всегда имели причиной поиск максимально точных слов для выражения мысли. Он стремился к этому даже в самых экстремальных ситуациях, например, в момент червонописской истерии зала. Задолго до нее, еще во время первых нападков на канадское интервью, Андрей заметил, что стрелять в сдающихся солдат могли, вообще говоря, и без особого приказа сверху. Потому как по военному Уставу и по Уголовному кодексу добровольная сдача в плен есть величайшее преступление; недаром во всех художественных произведениях, очерках и статьях на темы последней войны все положительные персонажи не сдаются, а попадают в плен в бессознательном состоянии. Сразу после ТВ-показа кремлевского заседания я вспомнил об этом разговоре и заглянул в старый УК, изданный в 1938 году. Там не оказалось отдельной статьи о плене, а в статье 193²² была вполне разумная формулировка: «...Самовольное оставление поля сражения во время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой...», замененная сейчас на «добровольную сдачу в плен по трусости или малодушию».

Сообщив это по телефону Андрею, я справился о его самочувствии.

— Не волнуйся. Мне не привыкать к нападкам. Я же мог отбиваться и, по-моему, успел сказать главное. Не то что последние месяцы в Горьком, когда я чувствовал себя, как мышь в стеклянной банке, из которой постепенно выкачивают воздух.

Стремление к предельной словесной точности никогда не оставляло Андрея. В газетах появились сообщения о том, что В. Боярский, пыточных дел мастер сталинских времен, после 53-го года с успехом подвизался в аппарате Президиума АН. Причем не в отделе кадров или иностранном отделе — законных вотчинах органов, а в уважаемом редакционно-издательском совете, где он командовал научно-популярной литературой и даже достиг известных ученых степеней. Прочитав мне стишок

АН была когда-то царской..
Теперь в ней дух царит боярский,

Андрей, как бы извиняясь, добавил:

— Тут, конечно, есть маленькая неточность. АН была не царской, а императорской. Но это простительная поэтическая вольность.

Приведу еще один стишок, сочиненный нами вместе после опубликования мерзкой карикатуры, на которой выдворенного А. И. Солженицына встречали с распростертыми объятиями Иуда, Брут и Кассий. Автор ее явно подпал под влияние Данте, начисто забыв о традициях русских, да и не только

русских романтиков, для которых Брут был героем-тираноборцем. Больше часа мы пыхтели над переделкой пушкинского «К портрету Чаадаева». Андрей придирчиво отбирал каждое слово из принадлежащих нам двух строк, и в результате получилось:

Он вышней волею Небес
Рожден в России. Выдворен оттуда.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес.
У нас он тоже Брут... И Кассий, и Иуда.

Другой раз мне посчастливилось стать первоначальным толчком, вызвавшим поэтический порыв Андрея. Мы случайно встретились во дворе ФИАНа, зашли в «Академкнигу», где я купил том Б. Рыбакова об авторах «Слова», а потом, не торопясь (Люся была в отъезде), побрели в сторону метро «Ленинский проспект». Дорога шла под горку и поэтому нравилась Андрею. Где-то на середине пути я вспомнил, что у меня в кармане лежит листок с текстом ходившей тогда по Москве эпиграммы. Вместе с листком наружу вытащились осводовские «корочки», служившие обложкой для проездного билета. Андрей поинтересовался:

— Что у тебя общего с ОСВОДОм?

И я объяснил, что «корочки» — шальной подарок моего приятеля, возглавляющего — для ради отметки об общественной работе — ОСВОД в своем научном заведении. Андрей стал расспрашивать, ему всегда хотелось побольше узнать

о следующем за нами поколении. Потом мы несколько минут шли молча. Мне показалось, что губы Андрея слегка шевелятся, и я подумал, что он проговаривает про себя только что прочитанную эпиграмму. И тут он сказал:

— Смотри, что у меня получилось.

Ловкость, богиня, воспой Леонида, слуги Посейдона,
На Воробьевых горах он возглавляет ОСВОД
Плещучи крыльями, Дева-Обида от Синего Дона
Мимо Каялы-реки мертвых ведет хоровод.

Части, правда, не стыкуются, но ведь и в самом «Слове» такое не редкость.

Я пришел в восторг: гекзаметр, да еще рифмованный, что на Руси большая редкость. А Андрей со скромной гордостью обратил мое внимание на то, что в четверостишии есть еще и внутренняя рифма!

Последняя наша встреча была 8 декабря, на похоронах Софьи Васильевны Каллистратовой. Из Коллегии адвокатов на Пушкинской, где проходила гражданская панихида, в церковь Илии Пророка в Обыденском переулке катафалк шел большой петлей, проезжая Никитские ворота. Андрей, Люся и я ехали сзади в одной машине, и всю дорогу продолжался рваный разговор, начатый еще на Пушкинской. Воспоминания о покойной перемежались спонтанными ассоциациями. Андрей пожаловался, что запомнил прежнее название Кинотеатра повторного фильма. «Унион», — подсказал я, и он

как-то по-детски обрадовался. А в виду Мерзляковского переулка он сказал, что проучился в 110-й школе (тогда 10-й) совсем недолго, никого там толком не знал, но вот сейчас, как ему передавали, бывшие ученики этой школы всю рассказывают фантастические истории о маленьком Сахарове, его успехах и тогдашнем всеобщем восхищении. Вот так и рождаются мифы.

Я спросил, видели ли Андрей и Люся любимый мной памятник мальчишкам из 110-й, погибшим на войне. Пять скульптурных портретов в полный рост, работы их одноклассника Даниэля Митлянского. Узнав, что доски с баснями Крылова на Патриках тоже его работы, Андрей стал уточнять местоположение памятника, и я объяснил, что он стоит не у старого здания школы в Мерзляковском, а около слепой стены нового — как раз напротив храма Большого Вознесения. Тут Андрей прервал меня:

— В этой церкви не только Пушкин венчался с Натальей Николаевной. Там венчались и мои папа и мама. А маленьким мальчиком меня приводили сюда причащаться.

Должно быть, Андрею было приятно это легкое пересечение собственной жизненной линии с линией Пушкина. Так мне тогда показалось...

8 декабря исполнилось три года со дня смерти Анатолия Марченко. Во время отпевания многократно повторялись имена новопреставленной рабы Божией Софии и приснопоминаемого раба Божия Анатолия... Позже, когда служба кончилась, Андрей сказал:

— Как хорошо это поминальное объединение Софьи Васильевны и Толи!.. Оба они... «за други своя»...

Через несколько дней, перебирая в памяти подробности похорон, я сообразил, что часа за три до отпевания было еще одно объединение Софьи и Анатолия. На гражданской панихиде один из выступавших очень правильно сравнил Софью Васильевну с великим русским юристом Анатолием Федоровичем Кони. Я решил обязательно сказать это Андрею. Но не успел...

Утром 15 декабря я последний раз видел вблизи лицо Андрея. Спокойное лицо спящего. Только лоб и губы были холодные. И в углу рта, а может быть, мне показалось, запеклось маленькое белое пятнышко. Когда тело увезли, мы с Наташей ушли из дома, где уже начались похоронные переговоры с начальством.

Вечером стало известно, что посмертную маску привезли снимать Митлянского. И я вдруг вспомнил, как еще в студенческие годы Андрей говорил, что он больше верит гипсу посмертной маски Пушкина, чем стихотворному описанию Жуковского. Ведь Пушкин так мучился перед кончиной...

Но я видел лицо Андрея и верю, что он умер легкой смертью.

КОММЕНТАРИИ

«Воспоминания»

Глава 26

¹ Эрколи и Вальтер — партийные псевдонимы Тольятти и Тито, под которыми они жили в Москве.

² Правильно — не 29 мая, а 26 мая.

³ В зарубежном издании «Постскриптума» (Париж, изд-во «La Presse Libre», 1988).

⁴ 13 февраля 1938 г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Геворка Алиханова к расстрелу; в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. (см. комм. ⁶ к гл. 2) приговор был приведен в исполнение в тот же день. В 1954 г. Геворк Алиханов был реабилитирован. (Об этом можно прочитать, например, в статье Елены Георгиевны Боннэр, фрагмент которой мы публикуем как дополнение 8.)

⁵ По сообщению Е. Г. Боннэр — расстрелян.

⁶ Речь идет о героине романа И. С. Тургенева «Накануне» Елене Стаховой (Инсаровой).

⁷ В 1983 г. умерла и З. Задунайская. В начале 1984 г. Н. Гессе эмигрировала; в 1998 г. она умерла.

Глава 27

¹ С 1976 г. Анатолия Лупыноса стали перебрасывать из одной психбольницы в другую. Освободили его летом 1983 г.

² 1-й выпуск «Хроники текущих событий» датирован 30 апреля 1968 г., 64-й (последний) — 30 июня 1982 г.

³ Второй раз Юрия Шихановича арестовали 17 ноября 1983 г.

⁴ Переезд Тани и Ремы состоялся в пятницу 14 января 1972 г., в тот же день по Москве прошла серия обысков. «Ремонтная толка» в доме на ул. Чкалова проходила 15 января; 15-го же в пос. Черноголовка Ногинского р-на Московской обл. был обыск у Кронида Любарского, после которого ему вручили повестку на допрос на 17 января. 17 января после допроса его арестовали.

⁵ Н. Строкатая была арестована в декабре 1971 г. В январе 1972 г. на Украине было произведено по крайней мере 19 «политических» арестов.

⁶ В сентябре 1972 г. в Москве был арестован также Виктор Красин.

Глава 28

¹ См. дополнение 1.

² 1 сентября 1973 года Московский городской суд приговорил П. Якира (1923—1982) и В. Красина к 3 годам лишения свободы и 3 годам ссылки каждого.

5 сентября состоялась упомянутая пресс-конференция. 28 сентября Верховный суд РСФСР в кассационном порядке изменил наказание П. Якиру — на 1 год 4 месяца лишения свободы и 3 года ссылки, В. Красину — на 1 год 1 месяц лишения свободы и 3 года ссылки (напомним, что П. Якир был арестован в июне 1972 г., В. Красин — в сентябре 1972 г.).

Глава 29

¹ «Личное поручительство» — одна из предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом мер пресечения.

В данном случае А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр просили заменить для Ю. Шихановича меру пресечения «заключение под стражу» на меру пресечения «личное поручительство».

² Кронид Любарский (1934—1996) был ученым секретарем Московского отделения Всесоюзного астрономо-геодезического общества.

³ В 1937 г. Е. Г. Боннэр оказалась в Ленинграде без всяких документов, в частности — без метрики (см. гл. 26). Ее направили на медкомиссию, где ей определили возраст 16 лет; поэтому в феврале 1938 г. она получила паспорт с годом рождения 1922.

Глава 30

¹ Интервью Улле Стенхольму можно прочитать в «Тревоге и надежде», т. 1.

² В статье обозревателя ТАСС Ю. Корнилова «Поставщик клеветы» (см. «Тревога и надежда», т. 1, дополнение 2) никакая конкретная газета не называется.

³ По-видимому, Андрею Дмитриевичу в этом месте немного изменила память: статья Ю. Корнилова была напечатана 18 июля, а газетная кампания, которую он здесь упомянул, началась в конце августа (о ней он пишет в следующей главе).

⁴ Насколько нам известно, «огульного автоматического» приема в комсомол не было. Вероятно также, сам факт присутствия на «ленинском уроке» приема в комсомол еще не означал.

Глава 31

¹ В 1937 г. Б. Дмитровка была переименована в Пушкинскую улицу; после 1990 г. старое название восстановили.

² Эту запись можно прочитать в «Тревоге и надежде», т. 1. Со многими другими документами, связанными с жизнью Андрея Дмитриевича в 1973 году, можно ознакомиться по «Pro et Contra»*.

³ Текст этого письма с подписями см. «Тревога и надежда», т. 1, дополнение 1.

⁴ По свидетельству С. С. Герштейна, Я. Б. Зельдовичу также предлагали подписать это письмо и он тоже отказался.

⁵ В марте 1956 г. Ю. Ф. Орлов (род. в 1924 г.) выступил на партийном собрании (кандидатом в члены партии он стал еще в армии, в 1945 г.; в 1948 г., в университете, стал членом) Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ тогда назывался Теплотехнической лабораторией), в котором работал с 1953 г. По решению ЦК за это выступление его исключили из партии и уволили, не дали защитить диссертацию. В Ереване Ю. Ф. Орлов в 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1963 г. — докторскую; в 1968 г. его избрали членом-корреспондентом АН Арм. ССР, в 1970 г. ВАК присвоил ему звание профессора. В 1965 г. Ученый совет ИТЭФ по предложению И. Я. Померанчука и директора ИТЭФ А. И. Алиханова провел Ю. Ф. Орлова по конкурсу на

* Андрей Сахаров — «Pro et contra» (1973 год: документы, факты, события) (М.: ПИК, 1991). Далее — «Pro et contra».

должность старшего научного сотрудника. Это вернуло Ю. Ф. Орлову московскую прописку, однако в Военно-промышленной комиссии ЦК ему заявили, что в ИТЭФ ему работать не позволят. В 1972 г. Ю. Ф. Орлов вернулся в Москву и в конце 1972 г., при помощи академиков Л. А. Арцимовича и Р. З. Сагдеева, с трудом устроился на работу в Институт земного магнетизма и распространения радиоволн АН СССР. Осенью 1973 г. Ю. Ф. Орлов в форме открытого письма Л. И. Брежневу выступил с упомянутой Андреем Дмитриевичем статьей — в январе 1974 г. его снова уволили. С тех пор и до ареста (февраль 1977 г.) он ни в каком советском учреждении не работал.

⁶ Этот ответ был напечатан 17 октября в «Литературной газете» («Pro et contra», стр. 240).

⁷ Кирилл Хенкин — автор дважды упомянутой выше книги «Охотник вверх ногами» (например, М.: ТЕРРА, 1991).

Глава 32

¹ 18 октября 1973 г. был четверг. Визит эмиссаров «Черного сентября» был в воскресенье 21 октября.

² Сборник «Sakharov speaks» вышел в США в 1974 г. Упомянутое автобиографическое предисловие «О себе» можно прочитать, например, в «Pro et contra» (стр. 274).

Глава 33

¹ Законопроекты в США вносятся не в Конгресс как таковой, а в его палаты, то есть в Палату представителей или в Сенат. Президент США, не имея права законодательной инициативы, направляет желательный для него законопроект в Конгресс, но рассмотрение этого законопроекта в той или иной палате начинается лишь после того, как он будет внесен каким-нибудь членом этой палаты.

В начале 1973 г. при обсуждении в палатах Конгресса идентичных законопроектов о пересмотре Закона о торговле (основанных на законопроекте, представленном президентом США) очень сходные поправки были внесены в Палате представителей конгрессменами Уилбуром Милзом и Чарльзом Ваником (Vanik; мы сохранили транскрипцию Андрея Дмитриевича — в нашей печати применяется обычно транскрипция «Вэник») и в Сенате сенатором Генри Джексоном. Поправки увязывали возможность предоставления странам с нерыночной экономикой статуса наибольшего благоприятствования в торговле и гарантированных правительством США кредитов со свободой эмиграции из этих стран.

В декабре 1973 г. законопроект о пересмотре Закона о торговле с уточненной поправкой Ваника (совпадающей с поправкой Джексона) был принят Палатой представителей. В конце 1974 г. законопроект с поправкой Джексона был принят Сенатом. 3 января 1975 г. новый Закон о торговле, включающий поправку Джексона—Ваника, был подписан президентом США.

² В американском издании «Воспоминаний» цитаты из «Теленка» неточны. Здесь они приведены в соответствие с изданием YMCA-PRESS, 1975.

Глава 34

¹ См. «Тревога и надежда», т. 1.

Глава 35

¹ См. «Тревога и надежда», т. 1.

Глава 36

¹ См. «Тревога и надежда», т. 1, дополнение 3.

² С 1974 г. по инициативе Кронида Любарского и Алексея Мурженко (1942–1999), бывших тогда в Мордовских лагерях, 30 октября стал отмечаться День политзаключенного СССР. С 1988 г. власти перестали мешать проводить его. В октябре 1991 г. Верховный Совет России объявил 30 октября Днем памяти жертв политических репрессий.

³ В «Конвенции относительно принудительного или обязательного труда» Международной организации труда, вступившей в силу для СССР в июне 1957 г., сказано, что «термин «принудительный или обязательный труд» в смыс-

ле настоящей Конвенции не включает в себя <...> всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа...».

⁴ В июне 1992 г. в действовавший в то время Исправительно-трудовой кодекс (ИТК) были введены смягчающие изменения. В частности, были сняты ограничения на переписку, отменены взыскания «лишение свидания» и, на лагерном жаргоне, «лишение ларька», отменены также пониженные нормы питания в ШИЗО, ПКТ и карцерах, посылки разрешены с начала срока.

⁵ Формально наказания «лишение переписки» в ИТК, введенном в действие 1 июня 1971 г., нет. Фактически администрация лагеря произвольно лишала, кого хотела, переписки, конфискуя письма и заявляя, что они «содержат условности» (и что «условности» администрация указывать не обязана).

⁶ «Длительные» (или «личные») свидания разрешались только с родственниками; их продолжительность — от суток до 3 суток. «Краткосрочные» (или «общие») свидания разрешались — по ИТК — также с «иными лицами», но практически политзаключенным это не разрешали; их продолжительность — от 2 до 4 часов.

⁷ В ИТК 1971 года термина «БУР» нет.

⁸ После выхода 27-го выпуска, датированного 15 октября 1972 г., «Хроника текущих событий» временно перестала выходить. 7 мая 1974 г. Татьяна Великанова (1932—2002), Сергей Ковалев и Татьяна Ходорович передали группе западных корреспондентов 28-й (датирован 31 декабря 1972 г.), 29-й (31 июля 1973 г.) и 30-й (31 декабря 1973 г.) выпуски «Хроники». Тогда же они опубликовали заявление: «Не считая, вопреки неоднократным утверждениям органов КГБ и судебных инстанций СССР, «Хронику текущих событий» нелегальным или клеветническим изданием, мы сочли своим долгом способствовать как можно более широкому ее распространению. <...>».

В предуведомлении к 28-му выпуску объяснялась причина перерыва в выходе «Хроники»:

«<...> Причиной приостановления издания «Хроники» явились неоднократные и недвусмысленные угрозы органов КГБ отвечать на каждый новый выпуск «Хроники» новыми арестами — арестами людей, подозреваемых КГБ в издании или распространении новых или прошлых выпусков <...> Природа нравственной ситуации, в которой оказались люди, поставленные перед тяжелой необходимостью принимать решения не только за себя, не нуждается в пояснениях. Но и дальнейшее молчание означало бы поддержку — пусть косвенную и пассивную — «тактики заложников», несовместимой с правом, моралью и достоинством человека. Поэтому «Хроника» возобновляет публикацию материалов <...>»

⁹ Точное название: Московская рыбоводно-мелиоративная опытная станция.

¹⁰ Было немного не так: измятое письмо без конверта занес С. Ковалеву домой молодой человек, сказавший, что он подрабатывает в близлежащем отделении связи почтальоном и нашел письмо лежащим в подъезде на шкафу с почтовыми ящиками.

¹¹ Это пожелание Андрея Дмитриевича нам удалось выполнить: см. фронтиспис.

¹² Этот портрет находится в Ахене (Германия), в музее «Ludwig Forum».

Глава 37

¹ См. комм. ⁴ к гл. 26.

² См. «Тревога и надежда», т. 1.

³ С. Ковалеву инкриминировались, в частности, сбор материалов для выпусков 28—34 «Хроники текущих событий» (см. комм. ⁸ к гл. 36), их изготовление, редактирование и передача за границу.

⁴ Андрей Дмитриевич не совсем верно описал суд над Сергеем Ковалевым: 10 декабря, во второй день суда, после оконча-

ния допроса свидетелей председательствующий, несмотря на возражения С. Ковалева, в нарушение УПК сказал, что свидетели могут быть свободны, и объявил перерыв; в перерыве «наших» свидетелей силой удалили из зала суда; после перерыва С. Ковалев заявил, что он объявляет голодовку до тех пор, пока свидетели и все желающие не будут допущены на суд, и потребовал увести его — в ответ председательствующий объявил перерыв до следующего дня; 11 декабря «наши» свидетели после обращения к председателю Верховного суда Литовской ССР получили разрешение присутствовать в зале суда; С. Ковалев потребовал допустить в зал А. Д. Сахарова, Т. М. Великанову и еще нескольких человек и заявил, что, если его требование не будет удовлетворено, он не прекратит голодовки до окончания суда и требует удалить его из зала, — его вывели; после выступления обвинителя суд удалился на совещание; 12 декабря начальник следственного изолятора спросил С. Ковалева, желает ли он поехать на суд; когда С. Ковалев ответил утвердительно, тот, немного удивившись, сказал, что предстоит зачитание приговора; узнав, что таким образом его лишили права произнести последнее слово, С. Ковалев ехать отказался — приговор в суде зачитали без него.

⁵ То есть 7 лет лишения свободы с последующей ссылкой на 3 года.

⁶ В Италии книга «О стране и мире» в сентябре 1975 г. была напечатана несколькими «подвалами» в газете «Il jour-

пале пиово». Редакция газеты в подарок Андрею Дмитриевичу сброшюровала их в виде книги, о которой здесь речь.

Глава 40

¹ В годы «перестройки» она была напечатана и в России (например, М.: Юридическая литература, 1989).

² А. Твердохлебова арестовали 18 апреля 1975 г.

³ М. Джемилев родился в ноябре 1943 г.; в мае 1944 г. при депортации крымских татар из Крыма его семья попала в Узбекистан. В июле 1975 г., за 3 дня до окончания его очередного срока, против него возбудили дело по ст. 190¹ УК РСФСР — он объявил голодовку, которую прекратил лишь после суда. Второй раз А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр прилетели в Омск 13 апреля — суд проходил 14 и 15 апреля. Кроме специально подобранной публики, в зал суда пустили сначала мать Мустафы, двух братьев и сестру. За показания, данные Владимиром Дворянским на суде, против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в «заведомо ложном показании», и ему добавили к сроку 1 год (максимум по соответствующей статье УК). В настоящее время (2006 г.) М. Джемилев — председатель Меджлиса крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины.

⁴ Эти воспоминания опубликованы и в России: «Записки диссидента» (М.: СЛОВО, 1991).

⁵ Точное название статьи: «Мадам Боннэр — “злой гений” Сахарова?».

⁶ Эти два события произошли даже в один день (18 декабря 1976 г.).

⁷ М. Ланда была освобождена из ссылки по амнистии в марте 1978 г.

Глава 41

¹ См. комм. ² к гл. 25.

² В этом письме Картера указывается, что январское письмо А. Д. Сахарова он получил; поэтому не совсем понятно, почему выше Андрей Дмитриевич пишет: «У меня нет никаких данных, что оно было направлено или передано Картеру...». Кроме того, содержание письма А. Д. Сахарова от 20 января в дополнении 3 в некоторых деталях не совпадает с тем, как Андрей Дмитриевич описывает его в книге.

³ Об этом Андрей Дмитриевич написал Картеру во втором письме (см. дополнение 3).

⁴ Правильно: не иск, а «частную жалобу».

⁵ «Открытое письмо» С. Липавского с редакционным послесловием «ЦРУ: шпионы и “права человека”» было опубликовано в газете «Известия» 5 марта (в московском вечернем выпуске «Известий» — 4 марта).

⁶ Л. Лукьяненко — член Украинской Хельсинкской группы с момента ее создания (ноябрь 1976 г.), арестовали его в декабре 1977 г. Предыдущий «срок» кончился у В. Стуса (1938—1985) в августе 1979 г., вновь арестовали его в мае 1980 г.

⁷ М. Руденко (1920—2004) и О. Тихий (1927—1984) были арестованы 5 февраля 1977 г.

⁸ В 1957 г. О. Тихий был осужден не только за упомянутое письмо (между прочим, это письмо он отправил председателю Президиума Верховного Совета УССР и копию — своей знакомой). В 1977 г. О. Тихого незаконно осудили по ч. 2 статьи «Антисоветская агитация и пропаганда» (и, соответственно, незаконно признали его «особо опасным рецидивистом» и послали в лагерь особого режима), так как в феврале 1972 г. его судимость по предыдущему приговору была погашена, а инкриминируемые ему в 1977 г. деяния относились к более позднему времени.

⁹ Имеется в виду председатель Верховного суда РСФСР (в 1972—1984 гг.) А. К. Орлов.

Глава 42

¹ Мельников Д. Е., Черная Л. Б. «Преступник номер 1 (Нацистский режим и его фюрер)» (М.: АПН, 1983).

² Издание на русском языке «Андрей Сахаров. «Тревога и надежда. Один год общественной деятельности Андрея Дмитриевича Сахарова» (Нью-Йорк: Хроника, 1978)» содержит выступления А. Д. Сахарова с июня 1976 г. до ноября 1977 г.

³ См. «Тревога и надежда», т. 1.

⁴ «Ядерная энергетика и свобода Запада» («Тревога и надежда», т. 1).

⁵ См. «Тревога и надежда», т. 1, дополнение 3.

⁶ В 1932—1990 гг. Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы вместе назывались улицей Горького.

Глава 43

¹ Анатолий Щаранский был обвинен по ст. 64 УК РСФСР «Измена Родине» в «шпионаже» и «оказании иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР» и по ст. 70 «Антисоветская агитация и пропаганда».

В настоящее время (2006 г.) Натан Щаранский — израильский политик.

² Х. появляется также в «Постскриптуме»; там он — «дядя Веня».

Глава 44

¹ МТИ — Массачусетский технологический институт.

² Юла Закс приходила к Андрею Дмитриевичу 28 января 1979 г.

³ Имеется в виду зам. председателя Верховного суда СССР (в 1977—1987 гг.) Е. А. Смоленцев.

⁴ С одной стороны, согласно ст. 335 УПК РСФСР участие обвиняемого (точнее, осужденного) в кассационном суде допускалось.

С другой стороны, это был не кассационный суд: Верховный суд СССР рассмотрел дело С. Затикяна, А. Степаняна и З. Багдасаряна по первой инстанции (суд продолжался с 16 по 20 января, 24 января был зачитан «расстрельный» приговор, 30 января всех троих расстреляли — см. статью Н. Геворкян «Взрывы в московском метро. 16 лет спустя» в еженедельнике «Московские новости» за 6 июня 1993 г.).

⁵ Это сообщение (без указания месяца) помещено в № 13/14 «Информационного бюллетеня» (31 июля 1979 г.) — так в 1979 г. назывался бюллетень, издаваемый К. Любарским (с 1980 г. — «Вести из СССР»).

⁶ В декабре 1977 г., когда у М. Джемилева кончился предыдущий срок, он был привезен в Ташкент, там освобожден и поставлен под административный надзор. 8 февраля 1979 г. его снова арестовали. 6 марта «за злостное нарушение правил административного надзора» его приговорили к 4 годам ссылки.

⁷ Владимир Андреевич Шелков (1895 г. р.) с 1931 г. по 1934 г. находился в ссылке; в 1945 г. его арестовали и приговорили к расстрелу, после кассации расстрел был заменен 10 годами лагерей; в 1957—1967 гг. он отбыл еще один десятилетний срок. Председателем Всесоюзной Церкви Верных и Свободных Адвентистов Седьмого дня В. А. Шелков был избран в 1949 г. Последний раз он был арестован в марте 1978 г. В марте 1979 г. его приговорили к 5 годам лишения свободы. В январе 1980 г. он умер.

⁸ Точное название: Христианский комитет защиты прав верующих в СССР.

⁹ Правильное название: Инициативная группа защиты прав инвалидов в СССР.

¹⁰ Правильное название: ЦНИИ судебной психиатрии им. проф. В. П. Сербского (до ноября 1979 г.) и ВНИИ общей и судебной психиатрии им. проф. В. П. Сербского. (С декабря 1992 г. новое название: ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. проф. В. П. Сербского.)

Глава 46

¹ Теперь знаем: согласно публикации в № 2 за 1993 г. журнала «Отечественные архивы» решение о вводе войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 г. на заседании политбюро ЦК КПСС под председательством Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, одобдившем «соображения и мероприятия, изложенные» председателем КГБ СССР Ю. В. Андроповым, министром иностранных дел А. А. Громыко и министром обороны Д. Ф. Устиновым.

² В один день с указом о лишении государственных наград был принят (но не опубликован) указ о выселении из Москвы (см. дополнение 5).

Глава 47

¹ Первая строчка этого стихотворения: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит».

² «Письмо иностранным коллегам» написано мной к трехлетию ссылки Сахарова. Знал ли КГБ о моем авторстве? Полагаю, что после обыска у меня 17 ноября 1983 г. (в связи с арестом Ю. А. Шихановича), когда у меня забрали оставшиеся копии письма, знал. (Прим. Б. Л. Альтшулера.)

³ См. «Тревога и надежда», т. 1.

⁴ Эта статья (см. «Тревога и надежда», т. 1) была написана специально для американского еженедельника «Parade» и была в нем опубликована в августе 1981 г.

⁵ В марте 1981 г. Анатолий Марченко был арестован в шестой раз.

⁶ Карабаново — город во Владимирской области.

⁷ Как Т. Осипова, так и И. Ковалев были приговорены к 5 годам лишения свободы и 5 годам ссылки.

⁸ М. Костава был осужден на 5 лет и 1 месяц лишения свободы (1 месяц — за неотбытую, по предыдущему приговору, ссылку).

⁹ «Спектральная плотность собственных значений волнового уравнения и поляризация вакуума» («Теоретическая

и математическая физика» 23 (2), 178—190 (1975) или «Научные труды», стр. 163).

10 «Массовая формула для мезонов и барионов с учетом шарма» (Письма в ЖЭТФ 21 (9), 554—557 (1975) или «Научные труды», стр. 132).

11 «Массовая формула для мезонов и барионов» (ЖЭТФ 78 (6), 2112—2115 (1980) или «Научные труды», стр. 135).

12 «Оценка постоянной взаимодействия кварков с глюонным полем» (ЖЭТФ 79 (2), 350—353 (1980) или «Научные труды», стр. 139).

13 «Барионная асимметрия Вселенной» (ЖЭТФ 76 (4), 1172-1181 (1979) или «Научные труды», стр. 235).

14 Автор книги «Царица Мира и ея тень (энергия и энтропия)» (Петроград: Научное книгоиздательство, 1919; перевод с немецкого) — Феликс Ауэрбах.

15 Первая из них указана в комм. ⁵ к гл. 18, вторая: «Многолистные модели Вселенной» (ЖЭТФ 83 (4), 1233—1240 (1982) или «Научные труды», стр. 283).

16 М. Левин четыре раза встречался с Андреем Дмитриевичем в Горьком (в марте и августе 1980 г., летом 1981 г. и ле-

том 1986 г.); об этих встречах он рассказывает в мемуарном очерке «Прогулки с Пушкиным» (дополнение 9).

17 Правильно: вице-президент.

18 А также к насильственным госпитализациям и изуверским принудительным кормлениям во время голодовок 1984—1985 гг. — см. «Постскриптум».

Глава 48

1 Бутман — не «самолетчик»; он получил 10 лет на так называемом «ленинградском околосамолетном» процессе (май 1971 г.; на этом процессе его и еще 8 человек обвиняли, среди прочего, в участии в организации захвата самолета).

2 На «Неделю» официальной открытой подписки тогда не было.

3 В. Л. Гинзбург сообщил, что номер газеты «Сетте джорни» сунули ему в портфель по возвращении в Москву при таможенном досмотре.

4 Речь здесь идет о секретном указе Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 г.

⁵ См. «Тревога и надежда», т. 1.

⁶ См. комм. 5 к гл. 24.

⁷ По-видимому, Андрей Дмитриевич имеет в виду ст. 162 действовавшего в то время Кодекса о браке и семье РСФСР: «<...> В тех случаях, когда <...> браки советских граждан с иностранными гражданами заключены вне пределов СССР с соблюдением формы брака, установленной законом места его совершения, эти браки признаются действительными в РСФСР <...>».

⁸ Не путать с одноименным письмом, упомянутым в гл. 47.

⁹ Статья «Очередная провокация» была напечатана в московском вечернем выпуске газеты «Известия» за 4 декабря и в «общесоюзном» выпуске за 5 декабря.

Глава 49

¹ Хотя под заключительной главой «Воспоминаний» Андрей Дмитриевич поставил дату «15 февраля 1983 года», в ней описываются события февраля-ноября 1983 г. Последняя часть рукописи «Воспоминаний» была отослана на Запад весной 1984 г. С другой стороны, после возвращения в декабре 1986 г. в Москву он успел снова просмотреть рукопись и в 1987—1989 гг. сделал многочисленные «добавления».

На русском и других языках «Воспоминания» вышли на Западе только в мае-июне 1990 г., т. е. уже после смерти Андрея Дмитриевича.

² См. «Тревога и надежда», т. 1.

³ Семья Ковалевых здесь — это Сергей Ковалев, его сын Иван Ковалев и жена И. Ковалева Татьяна Осипова.

⁴ Семья Руденко — это Микола Руденко и его жена Раиса Руденко. Семья Матусевичей — это Микола Матусевич и его жена Ольга Гейко.

⁵ Об этом подробнее пишет Елена Георгиевна Боннэр в «Постскриптуме».

⁶ «Новый мир», 1962, № 12.

⁷ Посты установили с 20 мая — со дня заранее объявленной Еленой Георгиевной пресс-конференции (см. «Воспоминания», т. 3, стр. 47–50).

⁸ Это неверно (см., например, «Воспоминания», т. 3, стр. 58–59 и 110).

⁹ См. «Тревога и надежда», т. 1, дополнение 4.

¹⁰ См. комм. ⁵ к гл. 40.

¹¹ Название статьи 7 действовавшего в то время Гражданского кодекса РСФСР: «Защита чести и достоинства».

¹² В московском вечернем выпуске газеты «Известия» письмо четырех академиков было напечатано 2 июля.

¹³ Летом 1984 г. Елену Георгиевну судили по ст. 190¹ УК РСФСР (см. «Постскриптум»).

¹⁴ Правильная цитата: «Я верю, что человечество найдет разумное решение сложной задачи осуществления грандиозного, необходимого и неизбежного прогресса с сохранением человеческого в человеке и природного в природе».

Эпилог

¹ Правильное название: форум «За безъядерный мир, за выживание человечества».

² 14 декабря 1989 г. Андрей Дмитриевич Сахаров умер.

Дополнения 3–7

Впервые в России опубликованы в 1996 г. (А. Сахаров. Воспоминания, т. 2), кроме «Заявления для печати и радио» (дополнение 7), напечатанного в 1991 г. («Сахаровский сборник»).

Дополнение 9

¹ Два следующих абзаца взяты из публикации этих воспоминаний в сборнике «Он между нами жил... Воспоминания о Сахарове» (М.: Практика, 1996).

² Статья 11¹ («Оскорбление или дискредитация государственных органов и общественных организаций») была добавлена в закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» указом Президиума Верховного Совета СССР 8 апреля 1989 г. (В тот же день она — под номером 74¹ — указом Президиума Верховного Совета РСФСР была внесена в Уголовный кодекс РСФСР.) В июне I съезд народных депутатов СССР отменил ее.

³ См. также «Научные труды» (М.: Центрком, 1995), с. 502.

⁴ «Сахаровский сборник» (М.: Книга, 1991).

⁵ Имеется в виду «Канцона» Осипа Мандельштама.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 26

Люся — моя жена 9

ГЛАВА 27

Поэты. Беседа с Туполевым. Дело Лупыноса. Суд над
Буковским. Поездки в Киев. Новые аресты. Диссиденты 30

ГЛАВА 28

Средняя Азия и Баку. Обращения об амнистии и смертной казни.
«Памятная записка» и «Послесловие». Встреча со Славским.
Дело Якира и Красина 54

ГЛАВА 29

Арест Шихановича. Демонстрация у ливанского посольства.
Грузия и Армения. Исключение Тани из МГУ. Суд над Любарским.
Первое интервью. Люся расстается с партией 71

ГЛАВА 30

Встречи с И. Г. Петровским. Выезд Чалидзе.
Статья Чаковского. Интервью Улле Стенхольму.
Статья Корнилова. Алеша не принят в МГУ 89

ГЛАВА 31

Вызов к Малярову. Пресс-конференция 21 августа 1973 года.
Газетная кампания. Выступления Турчина, Шрагина и Литвинова.
Статья Чуковской, статья Солженицына. Заявление Максимова,
Галича и Сахарова в защиту Пабло Неруды. Заявления Люси
и Барабанова 112

ГЛАВА 32

Заявление об Октябрьской войне. «Черный сентябрь» в нашей
квартире. Заявление о поправке Джексона. Вызовы Люси
на допросы в Лефортово. Запрос о поездке в Принстон.
Искаженная публикация. Больница АН СССР 130

ГЛАВА 33

«Странный шар» (Солженицын о Сахарове) 147

ГЛАВА 34

Люсиная операция. «Архипелаг ГУЛАГ». Высылка Солженицына.
Моя статья о «Письме вождям» Александра Солженицына 158

ГЛАВА 35

Отдых в Сухуми. «Мир через полвека». Люсины глаза.
Первая голодовка. Сильва Залмансон и Симас Кудирка 170

ГЛАВА 36

Премия Чино Дель Дука. Фонд помощи детям политзаключенных.
Мои выступления 1974–1975 годов: Винес, Давидович,

«О праве жить дома», немецкая эмиграция, письмо Сухарто, в защиту курдов, встреча с Генрихом Бёллем и совместное обращение. День политзаключенного. Угрозы детям и внукам. Сергей Ковалев 179

ГЛАВА 37

1975 год. Борьба за Люсину поездку. «О стране и мире». Болезнь Моти. Люся в Италии. Нобелевская премия. Суд в Вильнюсе 201

ГЛАВА 38

Евгений Брунов и Яковлев 255

ГЛАВА 39

1976 год. Ефим Давидович. Петр Кунин. Григорий Подъяпольский. Константин Богатырев. Игорь Алиханов 262

ГЛАВА 40

1976 год (*продолжение*). Эмнести Интернейшнл. Суд в Омске над Мустафой Джемилевым. Андрей Твердохлебов. Якутия. Тбилиси. Хельсинкская группа. Желтые пакеты. «Русский голос». Дело Зосимова, Эль-Заатар, интервью Кримскому. Обмен Буковского. Пожар у Мальвы Ланда 275

ГЛАВА 41

1977 год. Обращение к избранному президенту США о Петре Рубане. Обыски в Москве. Взрыв в московском метро. Письмо Картеру о 16 заключенных. Инаугурационная речь Картера. Вызов к Гусеву. Письмо Картера. Аресты Гинзбурга и Орлова.

«Лаборантка-призрак». Дело об обмене квартиры.
Арест Щаранского. Аресты на Украине, в Прибалтике,
Грузии и Армении. Руденко. Тихий. Вэнс и Громыко319

ГЛАВА 42

1977 год (*продолжение*). Мотя и Аня. Вторая поездка Люси.
Отъезд детей и внуков. Сахаровские слушания.
Против смертной казни. Ядерная энергетика.
Амнистия в Индонезии и Югославии. Приглашение АФТ—КПП.
Алеша и его дела. Поездка в Мордовию 345

ГЛАВА 43

1978 год. Отъезд Алеша. Суды над Орловым, Гинзбургом,
Щаранским. Отдых в Сухуми. Негласный обыск 380

ГЛАВА 44

1979 год. Третья поездка Люси. Дело Затикяна, Багдасаряна и
Степаняна. Мои обращения к Брежневу. Две поездки в Ташкент. Новое
дело Мустафы Джемилева. Адвентисты. Владимир Шелков. Письмо
крымских татар Жискар д'Эстену и мое новое обращение к Брежневу.
Збигнев Ромашевский. Вера Федоровна Ливчак. Новые аресты 394

ГЛАВА 45

Письма и посетители 436

ГЛАВА 46

Афганистан, Горький 450

ГЛАВА 47

Дом в Щербинках. «Режим». Кражи и обыски. Общественные выступления. Научная работа. Люся в эти годы 495

ГЛАВА 48

Дело Лизы Алексеевой 565

ГЛАВА 49

Заключительная 629

ЭПИЛОГ 688

ДОПОЛНЕНИЯ

1. Обращения об амнистии и об отмене смертной казни (лето 1972) ... 691

2. А. Сахаров. Заявление о поездке в Принстон (ноябрь 1973) 694

3. Переписка с президентом Картером (январь–февраль 1977) 696

4. А. Сахаров. В защиту преследуемых за рубежом (1976, 1979) 701

5. Указ Президиума Верховного Совета СССР (8 января 1980) 703

6. А. Сахаров, Е. Боннэр. Заявления о высылке в Горький
(январь–февраль 1980) 705

7. А. Сахаров. Заявления о кражах рукописей (1978, 1981, 1982) 715

8. Е. Боннэр. Голоса минувшего (фрагмент). 724

9. М. Левин. Прогулки с Пушкиным 731

КОММЕНТАРИИ 799

Литературно-публицистическое издание

Андрей САХАРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Воспоминания. Том 2

Редакторы

Елена Холмогорова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Корректор

Елизавета Полукеева

Выпускающий редактор

Татьяна Тимакова

Верстка

Иван Земляченко

Подписано в печать 17.04.2006. Формат 70×108¹/32.
Бумага для ВХИ. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 36,4. Тираж 2000 экз. Заказ № 294.

«Время».

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

Телефон (495) 231 1864

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@vremya.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru

